



International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#94

KRESCHATIK
International Literary Magazine

#94

Международный
литературно-
художественный
журнал



Руководитель проекта
Борис Марковский (*Бремен*)
тел. (+49) 421-522-647-65
borismark30@T-Online.de
markovskiy@rambler.ru

Главный редактор
Елена Мордовина (*Киев*)
тел. (+38) 067-83-007-11
kreschatik@rambler.ua

Зав. отд. прозы
Игорь Савкин (*Санкт-Петербург*)

Зав. отд. поэзии
Герман Власов (*Москва*)
german_vlasov_2016@mail.ru

Редакционная коллегия:

Татьяна Ретивова (*Киев*),
Вячеслав Харченко (*Москва*),
Игорь Силантьев (*Новосибирск*),
Борис Констриктор (*Санкт-Петербург*),
Петр Казарновский (*Санкт-Петербург*),
Максим Матковский (*Киев*),
Виталий Амурский (*Париж*),
Александр Моцар (*Киев*),
Айдар Хусаинов (*Уфа*)

Креативный директор
Андрей Коровин (*Москва*)

Технический директор
Павло Маслак (*Киев*)

Художник
Иван Граве (*Санкт-Петербург*)

Год издания двадцать четвертый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

В. Markovskiy, Kornstr. 22
28201 Bremen, Deutschland
<http://www.kreschatik.kiev.ua/>
<https://magazines.gorky.media/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2021 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Евгений Чигрин / <i>Москва</i> /	«Никуда не ходи» — говорит...»	5
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	«Я вижу, как с темной Лиговки...»	27
Вася Бородин / <i>Москва</i> /	Из стихотворений 2017–2021 годов	37
Аман Рахметов / <i>Шымкент</i> /	Твои цветы — наш новый адрес	127
Геннадий Кацов / <i>Нью-Йорк</i> /	Акту-ау!-альные стихи	135
Дмитрий Ларионов / <i>Нижний Новгород</i> /	Пчела толкает клевер	151
Елена Зейферт / <i>Москва</i> /	Моя любовь — твоё уединение...	156
Евгений Витченко / <i>Тюмень</i> /	Из цикла «Аварийный ангел»	165
Алексей Зарахович / <i>Киев</i> /	Мишура	170
Владимир Салимон / <i>Москва</i> /	«Прогулки на рассвете поутру...»	190
Галина Комичева / <i>Киев</i> /	Дождь в понедельник	261
Андрей Дмитриев / <i>Нижний Новгород</i> /	«На пустых пакетах из "Пятёрочки"...»	271
Иван Плотников / <i>Екатеринбург</i> /	«Идешь поперек хоророда...»	286
Максим Якубсон / <i>Санкт-Петербург</i> /	Слово	307
Михаил Рахунов / <i>Чикаго</i> /	«Отважно музыка дает...»	326
Алексей Росовецкий / <i>Киев</i> /	Довод	333
Мария Игнатьева / <i>Барселона</i> /	На пляже	349
Илья Рейдерман / <i>Одесса</i> /	«Опять трамвай заблудился...»	368
Анна Долгарева / <i>Москва</i> /	Выше ноги от земли	379
Тимур Зульфикаров / <i>Душанбе</i> /	Белый буйвол Лао-Цзы	394
Олег Селедцов / <i>Краснодар</i> /	Другу детства	403
Валерий Скобло / <i>Санкт-Петербург</i> /	«Не о легкой смерти, не о ней...»	407
Ростислав Ярцев / <i>Москва</i> /	Песни сада	419

Проза

Евгений Каминский / <i>СПб.</i> /	Голод. <i>Маленькая повесть</i>	10
Сергей Шаталов / <i>Донецк</i> /	Проект прекрасного воскресенья	32
Александр Моцар / <i>Киев</i> /	Тыл. <i>Хроники нового времени</i>	42
Евгений Ильин / <i>Киев</i> /	Ностальгия. <i>Рассказ</i>	130
Борис Липин / <i>Дрезден</i> /	Иностранки. <i>Рассказ</i>	142
Леся Тышковская / <i>Париж</i> /	Трещины на стекле. <i>Рассказ</i>	159
Ефим Гаммер / <i>Иерусалим</i> /	«Войти в меридиан». <i>Повесть</i>	194

Илья Поляков / <i>Владимир</i> /	Письма Форкиды	265
Селим Ялкуп / <i>Нью-Йорк</i> /	Сезон цветения вишни	274
Марк Борнштейн / <i>СПб.</i> /	Мама	289
Александр Зайцев / <i>Москва</i> /	Смерть Ильина	329

Переводы

Кай Касък / <i>Таллинн</i> / <i>Перевод Веры Прохоровой</i>	Светлый день доктора Карелля	174
Эваристо Каррьега / <i>1883–1912</i> / <i>Перевод Павла Алешина</i>	Дорога к дому. <i>Стихи</i>	178
Игорь Павлюк / <i>Киев</i> / <i>Перевод Владимира Пимонова</i>	Мезозой. <i>Отрывок из романа</i>	180

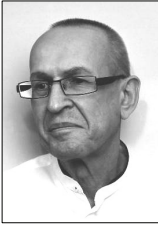
In memoriam

Людмила Маршезан / <i>Париж</i> /	Владимир Загреба. Следы прошлого	310
-----------------------------------	----------------------------------	-----

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Григорий Марговский / <i>Бостон</i> /	Три эссе	336
Владимир Шубин / <i>Мюнхен</i> /	Баварские штрихи	353
Инесса Розенфельд / <i>Потсдам</i> /	И словно жаль несбывшегося чуда...	373
Борис Останин / <i>СПб.</i> /	«Догадки о Набокове»	383
Тамара Буковская / <i>СПб.</i> /	О книге А. Ожиганова «Шестикнижие»	397
Александр Балтин / <i>Москва</i> /	Памяти Петра Мамонова	405
Барри Шер / <i>Хановер, США</i> /	Достоевский и евреи	410
Юрий Касянич / <i>Рига</i> /	Сердце приморской сивиллы	423
Б. Констриктор / <i>СПб.</i> /	Зет (<i>предрецензия</i>)	431



Евгений ЧИГРИН

/ Москва /

* * *

«Никуда не ходи», — говорит
 Мозг расплавленный вязкой жарою,
 Снился с книгой дождя не друид,
 Но похожий: стоял над рекою,
 Заклинанья шептал-бормотал,
 Цветом с местом сливались лохмотья,
 Разливал старый месяц нектар,
 Мглу зелёную певчая рота
 Прошивала. Стоял над рекой
 Тот похожий, выпрашивал тучи,
 Под мостом ошивался смешной
 Призрак жизни, конечно не лучший.
 Призрак смерти баркас отвязал
 И отправил себя за незримым.
 Мозг от жизни чертовски устал,
 А случалось, бывал одержимым
 Чем-то важным. Теперь ерундой
 Так набит, точно птичками Пришвин.
 Твой двойник всё стоит над рекой?
 Всё стоит. Ну вот так и запишем
 В память неба. Жара нарасхват.
 И не в пользу двуногих прогнозы.
 То ли это июнь, то ли ад...
 В ожидании метаморфозы.

* * *

Парки в парке парились на солнце,
 Жёлтый луч подкатывал к ежу,
 Жизнь смеялась в смуглом стихотворце:
 Доверялся мир карандашу.

Жизнь смотрела ангелом джинсовым
В пурпурном старинном колпаке,
Облаком большим и мотыльковым...
...А внизу покойники к реке

Шли вдвоём, конечно, на свиданье
С демоном Хароном, налегке:
Каждый нёс последнее прощанье,
Тот, что в шляпе — гиацинт в руке,

Тот, что в кепке... Впрочем, что там кепка,
Если столько солнца на двоих.
«Человек привязан к жизни крепко», —
Кто сказал? Читатель детских книг?

Децима, планидой наделяя?
Морта, перерезавшая нить?
Ангел в синем держит вымпел рая,
Никого не хочет торопить...

Ангел в синем. Парки в парке летом.
Нет Харона да и Леты нет.
Кто спешил за бессмертным ветром
Превратился в самый чистый свет.

* * *

Стоит и смотрит твой двойник на то,
Как на луне расселся чёрт двурогий:
На нём по моде, в клеточку, пальто
И некому сказать: куда вы боги
Глядите, а? Всё чаще Сатана,
Своих расставив по местам, смеётся,
Флюидной ведьме говорит: «вина!» —
И ведьмовское пойло шире льётся,
Чем это многоточие... Двойник
Просунул тело в старость — вот не радость —
Не то чтоб сник... пожалуй, всё же сник...
Болеет чаще. В хилом теле слабость
И птицы, те, что к веточкам души
Слетались часто — позабыли это.
Приятели в загробный лес ушли,
В них амнезию подсадила Лета.
А он остался доживать свой бред,
Цейлонский пить, смотреть кинострашилки:
Видал в гробу Варлей (сыграла Смерть),
А троглодиты свой открыли цирк и... —

И ничего. Сестра в другой стране:
Молчит по скайпу, и WhatsApp в отставке.
Двойник заснёт: мерцает жизнь на дне...
Проснётся в пять: лежит тенью в Кафке,
И мается, как в сказке: дед Кощей,
Служившую могилой с бедным мохом,
Избу на курьих предлагает — щедр
К приматам и другим некрепким лохам.

* * *

...Гонит лунный пастух на луне
Бледно-жёлтых одну-две коровы,
А в моём почерневшем окне
Все кусты и деревья готовы
Обнажиться, предаться дождю,
Прокатились на молнии черти.
Медноцветную лупит листву
Водный бог, точно в поисках жертвы.

Всё залило. В деревьях вода,
Подмосковные розы промокли.
Вторник смыт. Водяная среда.
Где-то рядом промоклие мойры,
Что любую планиду легко
«Могут выткать в своей полудрёме...» —
Так Дюма королеве Марго
Обещал написать в новом томе.

ОКНА

Сова воображения к сове
Потянется. Мелькнёт Кощей бессмертный
В твоей, набитой хламом, голове,
Затем двойник, такой же интровертный
Нас стул присядет, и переберёт
Твои дела, и вымахнут обломы.
Соткётся ворон и колдун зайдёт —
Откроет рот, в котором пламя домны...
Окно откроешь, за окном дурдом —
Почти Аид и дети из Аида?
Вот угадай с трёх раз: они о чём?
Над головами их башкою гидра
Трясёт зачем? Ну, без подсказок тут!
Эй, пёс Аида, пасть закрой, по фене

Мы тоже знаем veri-veri gut,
И вам салют, египетские тени.
В окне втором... закрой-закрой-закрой,
А то узнаешь, где зимуют раки,
Которые повязаны с горой:
Гефест в ней спрятал огненные страхи.
А в третьем — ты не хочешь рассмотреть —
«Двор Сатаны» насечено на стеле...
Закрой-ка рот, не в жилу рифма «смерть»,
Присядь-ка в кресло. Что ты, в самом деле,
Так стушевался? Всякий стих хорош,
Когда Кощей мелькнёт, а совы только
Свихнут воображения на грош...
Синеет в чёрном облаков пелёнка.

* * *

Ты тоже видел Азазелло,
Убийца-демон шёл на дело,
Поразвлекаться-убивать.
Клык изо рта, широкоплечий,
Весь соткан из противоречий,
А сколько девок шли в кровать
К нему?! Умел и всё такое...
Не ты ли (дело молодое)
В монстрообразного играл?
Навряд ли с эфиопской книгой
Еноха ты знаком был. Цыкай
На тех, с которыми «Орал»¹
Мешал с убойной коноплёю,
Смущал ундин, что над рекою
Встречали песней Рождество.
А дома видел — из трельяжа
Сигал тот демон. Персонажа
Ты ждал и вышло колдовство.
А дальше — больше: виски в баре,
Химеры, глюки, ссоры, твари
И, соггу, рядом муравьед
Гигантский, даром что беззубый,
Захочешь видеть, все Ютубы
В таких зверищах — мерзкий бред.
Теперь ты стар, как вещий филин,
Себе противен, чаще смирен,
Подруги скрылись и т.д.

¹ Болгарские сигареты.

И в этом вот «т.д.» житуха,
Все новости теперь вполуха
Ты слышишь, и не слышишь где
Случилось то, другое, третье...
Кто сдох на Брэдбери-планете?
Летишь в сновидческих мирах
С убийцей-демоном. В натуре,
Так лучше, чем в зайчачьей шкуре,
Вот что зависло на устах.
Ты б выпил кровь барона?¹ Выпил?!
Смотри, вот чаша, только выстрел
Вас разделяет. Ну так как?
Холодный рыцарь Азazelло
Тебя поднял, и бросил... Гелла
Плюётся в твой аморфный прах.

* * *

Сад говорил на языке жар-птицы,
Которая вчерашней сказкой снится
И, как всегда, сулит жемчужный клад.
Возможно всё, когда листвою смущённой
Нагнётся жизнь и мальчик изумлённый
Обнимет в сновиденье яркий сад.

Сад скажет: что ты потерял, ребёнок,
Тебя как будто видел я спросонок,
И забывал в потерянной листве?
Кого ты ищешь, твой Мегрэ из книжки,
Скурив две трубки, не откроет фишки:
Кто твой отец? И с кем ещё в родстве?

Глаза отводит старый сад, а ветер
Перебирает тех, кого приметил
Когда смотрел, как дождь смывает все
Следы того, кого признал бы малый,
Селена впишет грустный взгляд в сценарий
И остановит луч на той слезе,

Что спрятана в подушку. Мальчик вырос...
Отец — душа на ветер, торс — на вынос,
И мать ни взглядом, ни молчаньем не
Поможет больше. Там за облаками
Вздыхает Тот, что вместе с рыбаками...
Сад с головой в рубиновом огне.

¹ Барон Майгель — персонаж произведения Михаила Булгакова (1891–1940).

Евгений КАМИНСКИЙ

/ Санкт-Петербург /



ГОЛОД

маленькая повесть

Мертвая зона Индийского океана — пустыня. Правда, с особенностью: тут вместо моря песка море воды. Но остальные признаки пустыни налицо: солнце, жарящее как сковородка, одиночество, тоска. Ну и жажда. То есть голод. Голодуха...

Примерно в шесть утра, измерив за ночь то, что было положено, на своем рентгеновском анализаторе, Бызов босиком (было приятно ощущать пятками остывший за ночь металл палубы) отправился на поиски летучих рыб.

Летучие рыбки теперь, после того как Бызов почти победил морскую болезнь, были его надеждой и спасением.

Эти летуны то и дело выпрыгивали из воды и пытались перелететь судно. Тем, что пытались лететь поперек судна, это удавалось. Те же, что имели наглость делать это вдоль, шлепались на корму, бак и полубак, и становились добычей Бызова. Тот употреблял их сырыми, с головой и костями (рыбы крылья он не ел из уважения к любым крыльям). Употреблял, правда, предварительно вскрыв рыбок, всыпав в каждую щепоть соли, туго перетянув вскрытых и посоленных бечевой и потом на несколько часов заложив в морозильную камеру. Этому его научил таллиннский рыбмастер, подвизавшийся в этом легендарном научно-исследовательском рейсе палубным матросом.

Насобирав летучих рыбок — сегодня их было три, и каждая весом не более ста граммов — уже уснувших на свежем воздухе и без предсмертного ужаса отошедших в мир иной, потому-то потрошителя Бызова в данном случае нельзя было считать полновесным душегубом, он отнес их к холодильнику судовых фотографов — важных для успеха этой экспедиции специалистов, обеспечивающих фотосъемку морского дна на глубине в шесть с половиной километров с помощью автоматических камер собственной конструкции.

Подготовив пищевую закладку, Бызов сунул ее в морозилку и пошел спать, предвкушая минуты, когда, пробудившись, одну за другой съест рыбок.

Сегодня Бызов отказался от сушки сухарей.

Обычно после заготовки рыбок у него еще оставался трудовой энтузиазм, и он шел на камбуз, где уже тяжело ворочал сковородами и кастрюлями измученный кок, брал у того вчерашний хлеб и резал, резал, резал — делал заготовки для сухарей. Эти заготовки Бызов относил к судовой трубе (здесь всегда был жар) и раскладывал присоленные хлебные кусочки по дну жестянки от балтийской сельди пряного посола, лежащей на горячем металле, чтобы ровно в шестнадцать тридцать, когда команду позовут пить чай, у него было с чем его пить. Пшеничную, манную и перловую каши Бызов не переносил на дух, а хлеб с прогорклым сливочным маслом в него категорически не лез. Да и кусок сыра с потемневшими, как подол плаща, краями, не очень-то вдохновлял.

Сухари да летучие рыбки были для Бызова альфа и омега его существования в этой пустыне. Совсем как акриды для Иоанна Крестителя.

Соленые сухари никогда не вызывали в нем отторжения. А подмороженные рыбки питали его мозг и плоть. А иначе как протянуть полгода в пустыне?!

Морскому делу геофизик Бызов не был обучен, и потому, впервые попав в море, обречен был нищенствовать и побираться. Поначалу (первые две недели) он надеялся на то, что все ему здесь будет, и потому ни о чем не беспокоился. И пока он надеялся и не беспокоился, члены команды выметали все съедобное из судовой лавки и растаскивали это по своим каютам.

Бывало идущий по коридору Бызов наткался на моремана, тащившего на горбу, помимо ящика с тушеной говядиной, еще и копченую свиную ногу. Мореман весело подмигивал Бызову, мол, вот, ногу оторвал у *второго*. (Второй помощник капитана ведал лавочкой, и в вечерние часы, покрикивая как баба, становился за прилавок.)

И на что только надеялся Бызов, если стоимость продуктов, положенных каждому на суточное питание на этом судне, не должна была превышать девяносто копеек?!

Уж так решили в министерстве большие государственные люди, может, и не вникавшие как следует в жизнь маленького человека, зато много чего понимавшие в жизни вообще, когда однажды озаботились необходимостью ввести для советских граждан на судах дальнего плавания хоть какой-то ранжир на харчи.

Не всем же, ей-богу, поровну, если коммунизм еще не наступил?!

Не всем же одинаково сытно и вкусно, когда изобилие еще не достигнуто?!

Есть ведь большие люди, а есть маленькие, которые, конечно, хотят стать большими и потому трудятся, не покладая рук и не жалея себя. Одним словом, в поте лица своего едят хлеб свой. Нет, ничего хорошего не получится, если на пропавшем килькой сейнере измазанному тавотом рыбаку во время обеда предложат на тарелочке с каемочкой те же разносолы, что и обряженному в белоснежный китель с золотыми нашивками штурману круизного лайнера. Ведь тогда маленькие люди с рыболовецких сейнеров еще до прихода коммунизма почувствуют себя полностью удовлетворенными. И вместо того чтобы сливаться в едином порыве у туго набитого килькой трала, приближая тем самым коммунизм, станут валяться в койках, *забив* на коммунизм и вяло ковыряя спичкой в зубах. Ковыря да поплеывая.

Ну и ввели министерские тузы правило: сколько тонн водоизмещения имеет твое судно, на столько копеек и будешь питаться. Правда, спохватившись, водоизмещение поделили на десять. Так что если водоизмещение твоего СРТМ девятьсот тонн, изволь выжить на девяносто копеек в сутки.

Понятно, что на рыболовецких траулерах подобный бюджетный рацион рыбаки добирают выловленной рыбой. Но бызовский СРТМ не ловил рыбу, а поднимал на борт железомарганцевые конкреции со дна океана. Причем в местах, где рыба не водилась. Никакая, кроме, конечно, несчастных летучих рыб и акул.

Но кто считает акулу рыбой?!

Хотя та — самая настоящая рыба из надотряда хрящевых.

На довольно длительных (пяти-шести часовых) стоянках на «точке», пока осуществлялся спуск и подъем грейфера (ковша, черпавшего донный грунт с конкрециями), все свободные от вахты развлекали себя ловлей акул.

Этих *всех* интересовал исключительно процесс да, пожалуй, акульи челюсти, которые можно изъять у выловленной твари, покрыть лаком, и по возвращению домой предъявить родным в качестве трофея.

И только для двоих — боцмана и бызовского соседа по каюте — это был промысел. Боцман изготавливал из акульих хребтов пижонские трости, чтобы дарить их важным в пароходстве людям. Сосед же срезал с выловленных акул плавники и, высушив их на солнце, совал в холщевый мешок, который поначалу прятал в общей с Бызовым каюте, но когда Бызов взвыл от нестерпимой вони, перепрятал в трюм. (В Сингапуре сосед сдал плавники в один из рыбных ресторанов и заработал на японскую стереомагнитолу, джинсы «Леви Страус» и двое наручных часов «Seico» и «Casio».)

Бывало, вооружившись ножом поострей, стараясь не дышать носом, Бызов отделил от выловленной акулы челюсть, зубы которой всякий раз незаметно резали ему до крови пальцы и ладони. От акулы пахло мочой. Так несло, что Бызову приходилось дышать ртом, на время отключив обоняние.

Тем не менее, всякий раз препарируя, Бызов любовался акульей плотью: в разрезе акула напоминала... осетра, которого Бызов застал еще на прилавках продмагов времен правления кукурузника Никиты Сергеевича.

И время от времени, когда особенно хотелось есть (так хотелось, что Бызова, как несчастную скрепку к магниту, тянуло на камбуз, и только ударяющий в нос на подходе к камбузу запах подгоревшего в комбижире лука сдерживал Бызова от решительного броска к котлу с крутящимися в нем мослами), его посещала безумная мысль: а что если вымочить акулу в маринаде и тем самым отбить запах мочи?

Тогда, возможно, получится осетрина!

Раздался голос вахтенного штурмана, приглашавшего команду обедать, и Бызов бодро открыл глаза.

Можно было, конечно, еще немного понежиться в тряпках, зевая и потягиваясь. Однако его живот уже прилипал к позвоночнику, предвкушая встречу с летучими рыбками. Наскоро умывшись, Бызов направился к холодильнику фотографов, чтобы извлечь свою закладку и насладиться белковой пищей.

Но закладки там не оказалось.

Бызов обшарил морозильную камеру, потом холодильную — пусто. Ничего, кроме всего того, что обычно держали в холодильнике фотографы.

Такое случилось впервые, и, внутренне затвердев (не на шутку разозливший и даже сжав кулаки!), Бызов попытался наметить план действий по выявлению причастных к этому хищению. Однако его разум был настолько возмущен, что оказался не способен к выработке одного плана.

Обедал Бызов, мрачно глядя в тарелку. Похищенные рыбки выбили его из привычной колеи. Он вспомнил их вкус сейчас особенно ярко и цепко держал его в памяти. А вот то, что в этот момент Бызов вяло пережевывал, имело вкус ваты.

Предложенная на второе котлета оказалась и вовсе невыносимой — пахла горелым луком и окисленными панировочными сухарями. Ее он только понюхал и кольнул вилкой в бок, совсем как журнальный крокодил колот в шестидесятые годы бракодела. Пришлось добиваться кратковременной сытости добавкой макаронных изделий.

Со словами, в которые, кажется, вложил всю душу: «Что, опять не понравилось?» — кок добавил ему макарон, а Бызов подумал о том, что лучше б кок вкладывал свою душу в котлеты.

Обед лежал в желудке Бызова мертвым грузом, желудочный сок не выделялся, и Бызов, как лагерный доходяга, опустив руки вдоль тела, потащился к трубе, где в жестянке еще должны были оставаться подсоленные сухарики. По дороге он думал о том, как вычислить похитителей «закладки». Для начала, конечно, следовало допросить фотографов. Но что-то Бызов подсказывало, что те либо пошлют его куда подальше, либо соврут что-нибудь правдоподобное. В желудки-то им не заглянешь, чтобы уличить!

Но в жестянке сухарей не оказалось. Выходит, и до его личных сухарей добрались мазурики...

Бызов, сколько себя помнил, всегда чтит подсоленные сухарики из круглого ржаного хлеба за четырнадцать копеек! А сам круглый ржаной за четырнадцать премного уважал. Его надо было брать в магазине еще тепленьким, сразу после того, как от магазина отъезжал фургон с надписью «Хлеб». И обязательно ту буханку, что была с «губой» — поджаристой трещиной на боку. Дома в качестве компенсации за «ходку» в магазин можно было рассчитывать на горбушку с «губой» от этого круглого. Собственноручно, но под присмотром бабушки, отрезав от круглого горбушку с губой, следовало подушечками пальцев вдавить хлебную мякоть внутрь, потом насыпать в углубление соли и смять горбушку так, чтобы получился пирожок с *таком*. И пока пирожок не остыл в ладони, Бызов самозабвенно хрустел им, даже не глотая откушенное, а впитывая его жадным нёбом. Подобная горбушка круглого за четырнадцать и была чем-то вроде *соли земли*, по крайней мере, для юного Бызова. Уж очень важной, чуть ли не самой необходимой, помимо футбола и хоккея, конечно, была она в его детстве. Возможно, вследствие этого и сам Бызов теперь как минимум на три четверти состоял из круглого ржаного за четырнадцать и соли. А иначе как объяснить то обстоятельство, что Бызов считал себя исключительно русским человеком, для которого *хлеб да каша пища наша*, хотя никогда и не отрицал того, что в нем может быть намешано много чего еще и совсем *не русского*?!

Так вот, сухари с солью. Их он помнил до сих пор. Они были спасением Бызова с раннего детства. Обычно утром (если речь не шла о походе в школу) бабушка (блокадница, как, впрочем, и мать Бызова и, значит, генетически сам Бызов) выставляла их с братом за дверь до позднего вечера, позволив перед убитием набить сухарями карманы. Те были топливом на весь световой день. Их можно было грызть, а можно было рассасывать, как конфету «Дюшес» или «Барбарис» стоимостью в одну копейку. Бызову с братом на день полагалось по одной такой, и, рассосав сладкую с

кислинкой *барбариску*, Бызов потом по инерции рассасывал соленый с горчинкой сухарь, который, правда, не становился от этого сладкой конфетой.

То и дело забрасывая сухари в рот, как поленья в паровозную топку, можно было до самого заката, не заходя домой на обед, бегать, играя в футбол, воевать, бросаясь камнями, стреляя из рогатки, и даже схватываться в рукопашной до крови и синяков. И еще можно было незаметно для бабушки, время от времени поглядывавшей на Бызова из окна, покинуть двор и, прикупив у тетки в фартуке, кукующей возле бочки с надписью «Квас», два литра одноименного напитка по двенадцать копеек за литр (двухлитровый алюминиевый бидон не контролировался бабушкой), двинуть в компании дворовых хулиганов к совхозным полям, и там, если повезет, накопать ведро картофеля. И потом, на берегу реки устроив костер, испечь в золе картофель, к которому оказывались кстати и соленые сухари, и квас на всех поровну.

Откуда, однако, у Бызова, который как-то и трех копеек не смог наскрести, чтобы купить себе в *овощном отделе* соленый огурец (у него имелись лишь две копейки, найденные им возле парадной, а продавщица требовала с него три) двадцать четыре копейки?

Ну, по десять копеек на детский сеанс по воскресеньям им с братом бабушка нет-нет да выдавала, понимая, что кино важнейшее из искусств, и, значит, Бызов этот гривенник мог отложить, отказавшись от просмотра навязшего в зубах «Кошечка бессмертного». Хотя как его отложишь, если на каждом углу без ограничения продают фруктовое мороженое за семь копеек и молочное за девять, которое почти ничем не отличается от сливочного за тринадцать?!

Но двадцать четыре копейки?!

Двадцать четыре копейки — это всего лишь две пол-литровые темно-зеленого или коричневого стекла пивные бутылки, обычно валяющиеся в кустах возле районного роддома или в канаве у больничного морга, собранные и сданные на ближайшем пункте приема стеклотары по двенадцать копеек за штуку под видом бутылок от лимонада, если, конечно, горлышки этих бутылок не имеют сколов в том месте, где запечатывается металлическая пробка. Оба напитка — и лимонад, и пиво — в те времена разливались в одинаковые пол-литровые цветные бутылки. А вот бесцветные, тоже пол-литровые, сдать Бызову было невозможно. Почему? Да потому что на ликероводочном заводе в подобные бесцветные разливали настойки и ликеры. И уж конечно, не стоило даже пытаться сдать вытянутые, объемом семьсот и более миллилитров, винные бутылки. Советские дети не пили ни ликеры, ни вино даже по праздникам, и потому не имели права сдавать подобные бутылки в пунктах приема. А вот зеленые да коричневые пол-литровые из-под лимонада «Буратино», «Колокольчик» или «Ситро» — будьте любезны. И не

важно, что ваша бутылка от лимонада «Буратино» подозрительно пахнет прокисшим «Жигулевским» пивом. Во-первых, у приемщика стеклотары свой производственный план, а то и повышенные обязательства, поскольку он участвует в социалистическом соревновании и надеется на квартальную премию, и чем больше стеклотары у населения он примет, тем лучше государству, ну, и ему, грешному. А во-вторых, он ни перед кем не обязан отчитываться в том, от кого (уж не от пионера ли?) и при каких обстоятельствах получил каждую конкретную бутылку, и даже ту, на дне которой еще осталось на глоток несущей дрожжами кислятины...

Опустив руки и повесив нос от расстройства, Бызов шел на пубак в надежде найти там летучих рыб. Шел, сознавая, что их там нет, а если б и были, то, пролежавшие столько времени на раскаленной палубе, уже успели стать несъедобными...

И в голову ему лезло совсем уж *отчаянное* и потому едва ли осуществимое: надо обратиться к совести похитителей! Отправляя нарезанный хлеб в жестянку, а приготовленных рыбок в морозилку, он будет сопровождать эти закладки короткими записками, из которых всякому станет ясно, что сухари и рыба принадлежат Бызову, что все это он употребляет вместо обеденной котлеты. То есть всякий вместо бызовских рыб и сухарей теперь может рассчитывать на бызовскую котлету, если, конечно, у этого человека нет совести.

И едва он об этом подумал, ему вспомнился июльский день, небо, прозрачное, тонко звенящее чистотой после грозы, на котором солнце сияло, как надраенный самовар в комнате у соседа Толика, иногда приглашавшего Бызова с братом к себе поиграть в *дурака* и попить чай с сушками.

Бызов со своим школьным приятелем Бокой только что притащились к кинотеатру «Пламя» и обосновались во дворе возле дверей, через которые публика покидала зрительный зал после окончания киносеанса. И тот, и другой надеялись на противоходе проникнуть в зал и там затаиться под креслами, а когда в зал из фойе хлынет публика с билетами на следующий сеанс, слиться с массами.

Бызов с Бокой уже не раз так бесчинствовали. На дневном сеансе обычно находилась пара-тройка свободных мест, и Бызов не сомневался в том, что и сегодня им с Бокой удастся посмотреть фильм бесплатно. Денег-то на кино все равно взять было неоткуда: с раннего утра ребятня на пляже и в скверах трудилась на сборе пивных бутылок. Причем некоторые из сборщиков, самые отважные, имели наглость подойти к мирно отдыхающим с дюжиной пивных бутылок заводчанам и предложить им добровольно отдать использованную стеклотару. Так что у Бызова с Бокой, сначала до посинения накупавшихся, а потом еще набивших свои животы кислой вишней, сегодня не нарисовалось бы и двенадцати копеек на двоих...

Однако двери зрительного зала все еще были закрыты. За ними доигрывалась какая-то драма; когда Бызов подходил к двери и замирал, до его слуха долетали всхлипывания зрительниц и сдержанные покашливания их взволнованных кавалеров.

До начала следующего сеанса оставалось еще минут двадцать и, значит, до окончания текущего никак не меньше пятнадцати. Бызову нестерпимо хотелось есть, но сдаться, уйти домой обедать значило лишиться себя возможности посмотреть новый фильм, где, как говорили уже посмотревшие его дворовые уркаганы, было кое-что, правда, совсем чуть-чуть, из того, на что не позволено глазеть детям до шестнадцати, и именно это, недозволенное, было целью пятиклассников Бызова и Боки. Час назад на другом конце города, где начинались дачные участки заводчан, пятиклассники под проливным дождем влезли на два вишневых дерева (каждый на свое), растущих возле забора какого-то частного и по этой причине посчитавшихся пятиклассниками ничейными, и обнесли эти вишни как липку. Теперь у обоих в желудках было кисло и как-то особенно пусто.

— Глянь сюда! — позвал Бока дрожащего под порывами ветра Бызова, на котором все еще не просохла после дождя рубашка, к открытому зарешеченному окну, выходящему во двор кинотеатра.

Бызов встал на цыпочки, заглянул в окно, и ему открылась та часть буфета кинотеатра, которая обычно скрыта от посетителей прилавком и красногубой буфетчицей с шиньоном на голове. Совсем рядом с открытым окном на столе покоились два подноса: на одном ровными, как тетради на учительском столе, стопками были разложены ломти свиного окорока, прикрытые белоснежной матерчатой салфеткой, на другом, тоже под прикрытием, виселись горки нарезанной сырокопченой колбасы, кажется, «московской», ждущие голодных зрителей следующего сеанса.

Бока был повыше Бызова, и его рука, соответственно, длинней бызовской. И она, эта рука Боки, вдруг отчаянно потянулась к ближайшему подносу с ломтями ветчины. Голова Боки при этом врезалась в металлическую решетку, а сам он зажмурился от напряжения, стараясь таким образом удлинить свою руку на недостающий до края подноса с ветчиной метр. Бызов тоже напрягся и зажмурился, надеясь помочь Боке в этом его намерении.

Но ничего не вышло. Буфетчица была опытным кадром и знала контингент. Возможно, она специально оставила эти подносы с едой за решеткой у раскрытого окна с тем расчетом, чтобы вечно голодная ребятня, караулившая окончание киносеанса и контрабандой проникавшая в зрительный зал, хотя бы на этом, предварительном этапе беззакония, истекая слюной, страдала, компенсируя своим страданием последующее беспрятно получаемое наслаждение.

Теперь уже и не помню, вследствие ли только нещадного голода в ту минуту, или еще по какой-то внезапной причине, Бызов по-

дошел к продуктовым в хлам разбитым деревянным ящикам, вытащил вместе с гвоздями две продольные доски и соединил их — вбил гвозди на конце одной доски в конец другой, таким образом сделав почти метровой длины деревянное приспособление, из края которого, как зубья столовой вилки, торчали три гвоздя, и на которые вполне можно было наколоть кусок ветчины. Сделанное Бызов молча протянул Боке. Тот понял все без слов и замотал головой, отказываясь воспользоваться приспособлением для добычи ветчины и молчаливо предоставляя сделать это самому изобретателю. И Бызов решился. Что-то на него нашло, что-то отчаянное и преступное, совсем не свойственное Бызову. Словно буфетчица, ведавшая этим пищевым великолепием и отвечавшая за каждый кусок колбасы перед законом, была личным врагом Бызова.

Дрожащий от волнения, но больше от страха, Бызов протянул свое приспособление сквозь прутья решетки, быстрым движением наколот на гвозди сразу два куска ветчины и вытянул их наружу. Сняв ветчину с гвоздей, один кусок Бызов протянул Боке, тут же принявшемуся рвать ветчину зубами и по-собачьи глотать. Второй сунул себе в рот. Как кляп. Чтобы не оставлять такую важную улику в деле.

Вкуса у этой ветчины не было. И запаха тоже.

Бызов разломал дистанционное приспособление и... побежал домой, напрочь забыв о том, что собирался пробраться в кинозал и посмотреть новый фильм.

Какой там фильм!

Бызову сейчас надо было отсидеться дома под столом, совсем как раненому зверю отлежаться в своей норе. Он шел и механически жевал ветчину, надеясь все же почувствовать вкус украденного...

На палубе Бызов столкнулся с соседом — чистеньким, выглаженным, застегнутым и затянутым, в отличие от распоясанного Бызова.

Сегодня сосед был в обрезанных до коленей джинсах «Леви Страус» и белой майке с американским флагом на груди. И от соседа подозрительно пахло мясными деликатесами. Правда, Бызову, взвинченному пропажей рыбок и сухарей, это, возможно, лишь казалось.

Почему-то пряча глаза, сосед предложил Бызову перед ужином заняться ловлей акул. Максимально приблизившись к соседу, раздраженный Бызов демонстративно принюхивался, пытаясь определить, какие именно деликатесы тайно употребляет сосед, но запах, исходящий от губ соседа, был настолько перемешан с запахом сурика и мазута, царивших на палубе, что определить артикул пищевого изделия оказалось невозможным.

В желудке у Бызова все еще без движения, как пожарные рукава на складе, лежали макароны.

Неожиданно вахтенный штурман по спикеру пригласил на корму всех желающих поживиться «хряпой», коей назывались останки сухофруктов, после того, как из них сварен компот.

Заскочив в кают-компанию за ложкой, Бызов поспешил на корму.

Там уже сидели любители «хряпы», человек шесть с ложками и мисками, а возле них с широко распахнутыми глазами стоял краснолицый Матти — кухонный рабочий, только что притащивший огромную кастрюлю с «хряпой». Матти, не знавший ни слова по-русски и прежде живший где-то на хуторе среди свиней и коров, вероятно, хотел наконец понять, почему образованные люди, живущие в больших городах, едят то, чем брезгают даже хуторские свиньи.

Самым ценным компонентом «хряпы» единодушно считалась груша. Она не так сильно, как всё остальное, разваривалась, и ее можно было разжевать и при этом даже почувствовать вкус. За грушей следовала курага. Но ее было ничтожно мало, в общей массе она встречалась крайне редко и доставалась только счастливым. Также ценился изюм, в результате варки вновь становившийся почти полноценным виноградом. В основном же хряпа состояла из резаных яблок, превратившихся в безвкусное яблочное пюре. Но и оно было съедобно. И если им набиться под завязку, можно было не спешить на ужин.

Набившись хряпой, Бызов отправился в каюту что-нибудь почитать, по возможности, без описания застолий. Улегшись на койку, он взял томик Куприна и стал осторожно вчитываться, боясь нарваться на блины с икрой, ростбиф или расстегаи.

Однажды поселившись в Бызове, присосавшись к нему, впившись в него своими желтыми клыками, голод не собирался отпустить Бызова, иссушая, искушая и сводя его на нет.

Остальным членам экипажа, видимо, тоже было несладко. Но они, бывалые, повидавшие жизнь и ничего дармового от нее не ждущие, имели у себя в рундуках и сало в тряпице, и палки колбасы, и тушеную свинину с говядиной, и даже кильку в томате, которой в те времена повсюду было — есть не хочешь, и только у Бызова не было.

Вот и бызовский сосед, похоже, имел нечто подобное у себя во вьючном ящике, всегда закрытом на замок. И конечно, время от времени запускать в него руку. То-то от него, безмятежно сопевшего в койке в утренний час, когда Бызов возвращался с работы, всегда тянуло чем-то мясным, а то и откровенно шибало чесноком, который, как известно, прилагается к салу.

И все ж судьба в том первом для Бызова океанском рейсе предоставила ему шанс завязать жир вокруг пупка.

На одном из судовых собраний Бызова единогласно избрали председателем ревизионной комиссии. И Бызов тут же (одним этим решением) встал над вторым помощником капитана, ведавшим всем съестным на судне. В том смысле, что теперь второй — хохол, хитрован, — за которым водились грешки по присвоению общественных продуктовых излишков и усвоению их в *одну харю*, обязан был отчитываться перед Бызовым за каждую банку тушенки, за каждый брикет сливочного масла и за каждый килограмм перемороженного картофеля, еще в декабрьском Таллинне погруженных в трюм.

После собрания Бызов незамедлительно — тут надо было действовать незамедлительно, чтобы хитрован не успел спрятать концы в воду — отправился в свой первый рейд по судовым закромам, чтобы свести дебет с кредитом и на месте выявить недостачу. С блокнотом и карандашом в руках.

И там, в закромах, как всегда голодный Бызов потерял дар речи.

Он пересчитывал жестянки с балтийской сельдью, брикеты сливочного масла, головы российского сыра, палки сухой колбасы, ни кусочка которой Бызов пока что не отведал, синих цыплят, трагически повесивших плешивые головы, свиные полутуши, замороженные до мраморной хрупкости, лежавшие одна на другой, как радиаторы парового отопления, ящики с макаронами, ящики с тушенкой, из которых можно было сделать столько порций макарон по-флотски, что хватило бы хоть раз, но до отвала накормить весь морской флот.

Бызов был въедливым контролером, все проверял и перепроверял, не веря на слово *второму*, сколько тот ни напирал на собственные чистые руки и горячее сердце.

Ревизия, как и предполагал Бызов, выявила нарушения.

Но только не недостачу, а излишки!

Услышав от Бызова о выявленных излишках, *второй* цинично заулыбался (чего, мол, не бывает в жизни), а Бызов покраснел: стоял и не знал, куда деваться от стыда. *Второй* уговаривал Бызова закрыть глаза на такую мелочь как излишки колбасы и сливочного масла, которые — «Ну как ты не понимаешь?!» — обычное дело в хозяйстве любого второго помощника капитана. Вот если б обнаружилась недостача запасного гребного винта или якоря, это было бы дело. А так всего-то — лишняя колбаса с маслом!

Бызов начал составлять акт об излишках. *Второй* же уверял Бызова в том, что все это — выеденного яйца не стоит, и обещал покрыть излишки... недостачей.

— Покрой. Но только здесь и сейчас, — вспылил голодный Бызов.

И *второй*, посмеиваясь, удалился к себе в каюту... с полной сумкой излишков.

Бызов схватился за голову: поймать *второго* за руку не представлялось возможным.

Все было бессмысленно.

Наверняка, *второй* состоял в сговоре с коком, который мог, например, не докладывать мясо и в котлеты и в макароны по-флотски, и в борщи, и еще куда угодно. Ну, кто будет взвешивать свой кусок колбасы, масла или сыра?! Только приставив Бызова ко *второму* и коку в момент передачи продуктов от одного к другому, можно было контролировать продовольственные потоки на судне.

Но момент передачи был всегда внезапен. К тому же *второй* с коком никогда бы не позволили Бызову *лезть не в свое дело*. Отвечал-то Бызов за ревизию, а не за перемещение продуктов, и передача последних из рук в руки была тайной за семью печатями, даже таинством: в момент, когда *царские ворота* за коком и *вторым* затворялись («святая святых!»), остальным оставалось лишь надеяться и верить.

Вернувшийся из каюты с пустой сумкой *второй* не к месту шутил и улыбался, говоря, что вот и нет повода составлять акт. А при расставании сунул Бызову промасленный сверток, уверив Бызова, что так полагается — закон моря! — за проведение ревизии продуктового запаса.

В каюте, все еще ошарашенный увиденным в закромах, Бызов развернул промасленный сверток. В нем оказалась копченая грудинка, с темно-коричневой шкуркой снаружи и розовым прожилком внутри.

Едва не захлебываясь слюной, Бызов воззрился на грудинку. Потом, воровато глянув по сторонам, лизнул ее. И покраснел так, словно сделал что-то постыдное, противоестественное. А ведь это была всего лишь копченая грудинка — благословенная грудная часть заколотой кем-то свиньи.

И что теперь: одному съесть эту грудинку?

Нет, он не мог себе позволить тут же впиться в нее зубами. Ему пока хватало сил, как когда-то в детстве, терпеть.

Каждое лето мать с бабушкой сдавали Бызова с братом в городской пионерский лагерь. От греха подальше. Бабушке, на которой готовка, уборка, стирка, было не уследить за ними, а мать была все время на работе. Из городского лагеря братья возвращались после полдника, неся в руках или по куску пирога с капустой, или кексу с изюмом, или по две пышки с сахарной пудрой, чтобы дома разделить все это на четверых: мать, бабушку и их. Поровну! И не дай Бог, если кто-то из братьев, не выдержав пытку голодом, откусывал от пирога, кекса или пышки! Несмываемый позор на всю жизнь. И упрямый Бызов терпел пытку, опасаясь только одного — несмываемого пожизненного позора. Вот тогда-то Бызов и усвоил, что все, что дается людям в жизни, а особенно продукты питания, должно быть разделено между ними поровну, по справедливости. Непременно.

А как иначе, если все люди — братья?!

Тот случай с украденным куском ветчины оставался единственным позорным в его биографии, и Бызов считал его трагической ошибкой, хотя иной раз и позволял себе позлорадствовать, вспоминая широкую в кости, уверенную в себе красногубую буфетчицу из кинотеатра, вероятно, так и не выявившую недостачу двух кусков ветчины...

Следующим вечером Бызов пригласил к себе друзей выпить и... закусить.

Пришедшие к Бызову друзья, увидев грудинку на столе, тут же, как врага ненавистного, изрубили ее на куски и немедленно закинули себе рты этими кусками.

Только проглотив грудинку, они немного успокоились и приступили к бызовскому вину и вежливым пустым разговорам.

Съел и Бызов свой кусок. И тут же (к своему стыду) пожалел, что у него столько друзей.

И еще были ревизии, и Бызов выявлял то излишки, то недостачу, и *второй* всякий раз смотрел на него не мигая, как змея. И излишки мигом покрывал недостачей, а недостачу скопившимися у него в каюте излишками. И вновь говорил, что излишки с недостачей — обычное для *вторых* дело, но если Бызов такой принципиальный, то не надо было взваливать на себя эту тонкую и ответственную должность, не надо было становиться председателем ревизионной комиссии.

И краснея, Бызов соглашался со *вторым*. И думал о том, что ревизия — всего лишь лукавство, ложь, призванная прикрывать неприглядную правду; комедия, в которой один хитрит и вывертывается, а второй обязан ловить его на слове или за руку и уличать, уличать, уличать.

Бызову было стыдно участвовать в комедии. Может, еще и поэтому он не сообщал о делишках *второго*. Никогда и никому, хотя те, наверное, были достойны огласки. *Второй* же, понимая, что дела его шиты и крыты, (ведь никакие санкции к нему до сих пор так и не применены), к тому же вида краску на лице Бызова, приписывал все это к осознанию последним собственной вины. Ведь Бызов схватил наживку — ту самую грудинку и, значит, у него самого теперь рыло в пуху. *Второй* полагал, что Бызов сломался. Но Бызов не сломался. Просто в растерянности отошел в сторону, поняв бессмысленность миссии по выявлению и пресечению.

Ему было ясно, что *второй* не переделается, потому что всегда был таким. И в детстве наверняка съедал свои пышки и кекс с изюмом, и кусок пирога с капустой прямо у раздачи. Все было бессмысленно: Бызов будет выявлять нарушения, а вто-

рой привычно покрывать излишки недостачей, а недостачу излишками из собственного рундука. И, выпроводив Бызова из закровов, тут же тащить в свою каюту целую сумку съестного, таким образом восстанавливая до следующей ревизии порядок вещей...

Сосед, все еще пахнувший чем-то недоступным Бызову (возможно, тот и не пах: просто при виде соседа память Бызова сама выдавала вожденный запах, а Бызов воспринимал этот фантом как истину) растолкал его, уснувшего после прочтения первого же абзаца классика.

— Я у кока свинину из завтрашнего борща выдурил. И снасть приготовил. Американскую! (Снасть была японская — Бызов это точно знал). Пошли...

И Бызов отправился на палубу.

Насадив кусок свинины («Пожарить бы и съесть!» — вихрем пронеслось в Бызовской голове) на крючок с трехметровым стальным поводком, привязанном к двадцатиметровому куску фала, они бросили его в воду.

Судно шло к следующей точке на предельных одиннадцати узлах. Так что весть о свинине распространялась по океану как минимум с той же скоростью, и рыбаки могли надеяться на то, что скоро у них клюнет.

И у них клюнуло! И они, промурыжив акулу минут сорок, вытащили ее и довольно долго ждали, когда она заснет...

И опять Бызов, стараясь не дышать носом, отделял от выловленной акулы челюсть, зубы которой незаметно резали ему пальцы до крови, и вновь любовался тугой плотью акулы, в разрезе напоминавшей плоть осетра, виденного им в шестидесятих на прилавках продмагов...

И тут Бызову настолько сильно захотелось осетрины, что он наконец поделился своими фантазиями с соседом. Тот, услышав о том, что акулу путем вымачивания в маринаде можно превратить в осетра, ухмыльнулся, неопределенно пожал плечами и согласился попробовать.

И они приступили.

Бызов отправился на камбуз и выпросил у кока бутылку уксусной эссенции, из которой компаньоны приготовили «маринад». В маринад поместили куски акулы и большую акулью печень. Некоторое время компаньоны смотрели, что будет. Глотая слюну и понимая, что осетрины ему сегодня не видать, Бызов отправился на камбуз резать вчерашний хлеб на сухари (сил уже не было терпеть голодуху). Сосед же остался на палубе менять маринад, который почему-то быстро желтел и пузырился.

Через два дня компаньоны решили отведать *осетринки*.

Бызов взял в руки отрезанный соседом кусок, потерявший и цвет, и структуру, но только не запах мочи (тот упорно не сдавался маринаду) — и содрогнулся.

— Не могу, — сказал Бызов.

— Может, тогда попробуем ее печень? — предложил сосед. — По-моему, она не так воняет.

— Еще как воняет! — не согласился Бызов.

— Ну и пусть! Печень акулы — голый витамин А. Из нее в Штатах во время Второй мировой добывали этот самый витамин для американских летчиков. А чем мы хуже американских летчиков, а?! — И ухмыляясь, сосед выпятил белоснежную грудь со звездно-полосатым флагом от плеча до плеча.

И они оба проглотили по кусочку акульей печени — Бызов, дрожа от омерзения, а сосед, натянув на лицо вежливую улыбку.

Ночью Бызов взвыл.

По всему телу у него высыпали прыщи, и Бызов принялся их расчесывать сразу двумя пятернями. Когда же до крови расцарапал руки и ноги, у него вдруг зачесалась еще и спина, притом в местах, куда Бызову было не добраться.

И Бызов понял, что только содрав с себя кожу, он сможет жить дальше.

Наутро, однако, Бызов не умер. Заляпав кровью простыню, он худо-бедно притерпелся к зуду, то и дело смачивая расцарапанные места собственной слюной и лишь иногда, когда терпеть уже не было сил, пуская себе свежую кровь.

Узнав о такой напасти, старпом отдал Бызову ящик с судовой аптечкой, и Бызов, забыв о голоде и сне, принялся изучать инструкции к медицинским препаратам. И отыскал-таки противоаллергическую мазь и нужные таблетки! И тут же намазался и наглотался. И лег в ожидании выздоровления.

Сосед чесался не до крови, но и он, видимо, страдал. Правда, скрывал это от Бызова — крепился, хорохорился, поскольку считал и себя немного виновным в этой напасти.

Когда Бызов протянул ему мазь и таблетки, сосед прогундосил:

— Что для американца хорошо, для русского смерть. Правда?

Никогда не доверял им! Ну что за люди? Все наши неприятности от них. Даже акул используют, чтобы только насолить...

Каждое новое утро Бызов тенью скользил вдоль палубы, собирая летучих рыб. Найденных он тут же вскрывал и съедал, чуть присолив их перед употреблением. Как простодушный людоед зазевавшегося под пальмой туриста.

Бызов подзревал, что, возможно, именно отсутствие завтрака в ежедневном рационе превратило его в доходягу. И потому теперь

он завтракал. В шесть утра, прямо на палубе и — тем, что ему посылал Бог. А тот посылал Бызову каждый Божий день и, кажется, не думал останавливаться, с удовлетворением поглядывая сверху на чавкающего от удовольствия Бызова.

Обросший шелушащейся коростой, словно жук хитиновым панцирем, Бызов теперь с удивлением прислушивался к тому, что звучало у него внутри. Теперь там жил не только голод (тот, конечно, никуда не делся, но все ж ослабил свою хватку), но и еще кое-что существенное: в Бызове завелись правильные мысли. И одна из них о том, что голод необходим человеку в жизни. Не как, скажем, деньги или любовь скромному, но бедному юноше, а как розги закоренелому хулигану.

Он думал о том, что счастливого, обеспеченного всем необходимым в жизни человека порой несет черт знает куда, а он и думать об этом не хочет. Некогда ему остановиться, оглядеться, прицениться. Вот и рубит он сплеча, и, поплеывая сквозь зубы, судит о всех и вся, как прокурор. А сам-то уже ничего в этой жизни не понимает, только эксплуатирует ее до изнеможения. Совсем как распаренный в парилке до самоварного блеска мужик, вцепившийся в кружку холодного пива. А тут ему вдруг — голодуха. Ни фуагра, ни копченого угря, ни даже свинины по-французски, а только горбушка с солью и кружка с кипятком. И вопит тогда счастливчик: «Кого? Меня?! Это по какому праву?» И наконец переводит взгляд себе под ноги, а там — пропасть, и он на самом уже краю.

А голод — не тетка — уже как наждаком сдирает с его жизни лакировку, а с него самого — шкуру. И приходит в себя наш счастливчик: память возвращается к нему, а с нею — и страх, и сомнения, и стыд. И совестно ему от собственной жизни, и сомневается он в безоблачности своего будущего...

Постепенно, исподволь внешнему Бызову стал открываться внутренний Бызов. И внешний с ужасом взирал на внутреннего, подмечая в нем много чего неприятного, глупого и жалкого, а то и откровенно звериного, чего прежде в себе не предполагал, но что, оказываясь, всегда жило в нем, ничем до поры себя не выдавая. Теперь у Бызова во рту всегда был тот, украденный, кусок ветчины, не имевшей вкуса. И с сокрушением понимал Бызов, что по сути он не лучше второго помощника и тех неизвестных, что съели его рыбу и поживились его сухарями. Что голод, как ни сопротивляйся ему, освобождает в человеке, который всегда хочет казаться кем-то другим, подлинного человека — того, который как раз никем казаться не хочет. И потому-то всякий усиленно прячет в себе этого подлинного человека, стыдясь его посконного простодушия и животных наклонностей. И порой всю жизнь носит в себе один жадного несуну, второй жалкого ревнивца, а третий и вовсе мрачного душегуба.

Что же поделаться, если таков человек?!

Но однажды тот, что сидит внутри, выходит наружу, и делает из внешне порядочного человека порядочную свинью. Ведь сколько ни прячь себя подлинного от окружающих, а когда тебе наступили на большую мозоль, это подлинное с поросычьим визгом лезет из тебя на всеобщее обозрение.

И это открытие неожиданно успокоило Бызова, поскольку у него не осталось малейших оснований гордиться собой и уж тем более кого-то за что-то осуждать. В Бызове началась капитальная перестройка: из легкого, почти воздушного вещества безотказного рубахи-парня стал складываться полновесный мужик, понимающий главное: чтобы всегда оставаться человеком, надо время от времени страдать. Хотя бы — от зверского голода, который, если знаешь, для чего он тебе ниспослан, не позволяет сделаться зверем.

Правда, и это универсальное средство действует лишь до определенного предела...



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

* * *

Я вижу, как с темной Лиговки
И через Сангальский сад
Застегнутого на все пуговики,
Ведут бедолагу в детсад.

И там, перед манною кашей,
Еще не остывшей вполне,
Расскажет им нянечка Даша
О том, как была на войне.

Звучали ему два аккорда
Из недр ленинградских трущоб.
А нынче он бродит по городу,
Чтоб чувствовать — жив еще.

* * *

Позабуду едва ли...
Переулки молчат.
Вы куда подевали
Моих серых крольчат?

Это небо с овчину,
Сестрорецкий снежок.
Где в ту зиму загинул
Славный пёсик Дружок?

Это белые мухи
Вьются у фонаря.
Время встало на шухер,
И, конечно, не зря.

* * *

Спирты, дистилляты и виски,
Вы главных напитков главней!
А нам на закуску сосиски
Отрадою сумрачных дней.

Он ставит кастрюльку на плитку
И теплый фуфырик — на стол.
А время ползет, как улитка,
Насаживая на кол

Похмельный... Сто лет привыкали,
Да вот не привыкнуть никак.
А где-то чхавери с хинкали,
Кюфта и армянский коньяк.

* * *

Утром дымный ветер упруг,
Подкинуло в койке рано.
Ничего-то не выйдет, друг,
Без гранёного стакана.

Переулочек-переул,
Здесь мы грани содвинем тесно.
Всё равно наш век затонул
В городской трясине местной.

* * *

Где серое до сини
У невских берегов,
Снесли завод «Россия» —
Стоял, и был таков.
У них такая карма...
Подумаешь, века! —
И снесены казармы
Лейб-гвардии полка.
Снесут еще немало,
Ликуя и губя.
Жаль, время не настало,
Когда снесут себя.

* * *

Сериал слезит пенсионера —
женщина садится на пять лет...
Зло уже совсем офонарело,
хоть кому подбросит пистолет.

Но, однако, шапка не по Сеньке
олигарху — вот кто убивал!
Наша правда!
Обождем маленько,
завтра будет новый сериал.

* * *

В стране, где не проскочит мышь,
где виноват любой,
кого, братишка, удивишь
трагической судьбой?

Страна рабов, страна господ,
взбесившихся монад,
где если затолкали под,
уже не суйся над.

* * *

Смотришь старые фотографии —
Будто читаешь эпитафии.

Снег на дне двора-колодца белый-белый.
Шляется мальчик с утра без дела.

Глядит пристально из своего далека.
Гуляй, милый, жизнь легка...

* * *

Человек уходит в лес.
След его почти исчез.

Поздний мартовский снежок
Будто свет в лесу зажег.

У него сомнений нет —
Он идет на этот свет.

* * *

Морские тянутся коньки
По небу. В вазе — три пиона.
Вдали на кранах огоньки —
Два красных и один зеленый.

Вот, собственно, и все дела.
Остыл твой чай, доеден пончик.
С горы ползет густая мгла,
И день, как нудный фильм, закончен.

СЕМЬ ЧЕТВЕРОСТИШЬИ

1

...Но лишь короткие стихи,
Беспечные четверостишья,
В которых не наплёл ты лишнего, —
Простят, как мелкие грехи.

2

Когда открылись нам скрижали,
Вдруг спросил один чужак:
«За что людей уничтожали?!»
За просто так, за просто так...

3

Чего ни вытворяет Бахус!
Друзья, налейте ж поскорей
Вы гражданину Авербаху-с —
Он алкоголик, хоть еврей.

4

Пиитов современных лица,
Читатель слёзы льет ручьем!
А мне никак не наостриться —
Высоким штилем ни о чем...

5

Пришла пахучая эпоха,
Как видно, бог на нас сердит, —
Бомжи в подъездах пахнут плохо,
От власти попросту смердит.

6

Мы одержали победу,
Но она растворилась в воздухе.
Не огорчайтесь, утешают,
Зато вы дышите воздухом победы!

7

Небосвод цвета медной окалины
Присобачен к земле острой.
Вместо этой страны нераскаянной,
И не жду, — не возникнет другой...

ДВУСТИШИЯ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Контрабандисты

Янаки, Ставраки и Папа Сатырос
Везут контрабандою коронавирус.

Эрмитаж

Бродят в поисках античности
Пандемические личности.

Беспилотник

Раз один знакомый плотник
Смастерил нам беспилотник.

Обнуление

Хрен поймет, что делать с ним,
Если он незаменим.

Проговаривание травмы

У меня разрыв мениска! —
Закричала феминистка.

Прошлое и будущее

Герои отвратительного прошлого
Все устремились в будущее пошлое.

Сергей ШАТАЛОВ

/ Донецк /



ПРОЕКТ ПРЕКРАСНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

киносценарий по мотивам рассказа Хулио Кортасара
«В конце этапа»

Он сидит в машине рядом с ней (она следит за дорогой и курит), то ли всматриваясь в бегущую небесную строку, то ли вспоминая давно написанное письмо, монотонно говорит:

«Вот передо мною молодая, красивая и многими желанная женщина. Она готова пожертвовать не только карьерой, но и молодостью, пожертвовать всем, чего от неё потребуют, лишь бы ей позволили любить, да так, чтобы от избытка этой любви она могла душить предмет своего обожания. (Пауза). Я не осмеливался признаться ей, что больше не люблю её. Не мог! Потому что в решающий момент выяснения отношений, вдруг, физически понимал, что мне необходим этот человек... Она просила всего-навсего не делить её с другой. Однако быть избранным для столь исключительного переживания значило для меня многое».

Женщина и дорога в едином порыве. Это не позволяло сидящей за рулём заметить, что вместо говорящего мужчины на автомобильном кресле дымилась сигарета. Дама, пытаясь погасить начинающийся пожар, затормозила машину.

Эта территория не была обозначена ни на одной карте. На вопрос: «Как называется город?» прохожие отвечали явной растерянностью. За столиком первого встречного кафе пообещали уточнить их местонахождение, но ближе к вечеру. Прохладные напитки и табачный дым сняли с женщины напряжение и усталость.

— Городок, сами понимаете, небольшой, и достопримечательностей...

— Их нет... — перебил первого официанта второй.

— Я хотел сказать...

— Он хотел сказать, зря вы сюда приехали...

Женщина поперхнулась сигаретой, догоревшей до самых губ.

— И что мне теперь делать?

— Наслаждаться звенящей тишиной и трогать руками время. Оно в этих местах живое. (Пауза). Ну, почти живое.... — уточнил второй официант, оттолкнувшись от её удивлённого выражения глаз.

Прикрываясь улыбкой, женщина с привычным для неё самообладанием встала из-за стола и пошла по улице в надежде открыть для себя некую здешнюю особенность. Вот магазинчик невзрачного антиквариата, а вот старинный фасад музея изящных искусств. Персональная выставка, неизвестный художник с труднопроизносимым именем. Женщина купила билет и вошла в первый зал непритязательного здания. Ей вручили проспект, содержащий общие сведения о творчестве художника, связанном, в основном, с этим городом. Она положила его на рядом стоящий столик и принялась разглядывать картины. В первое мгновение женщина решила, что это фотографии, хотя удивлял их размер — никогда раньше ей не приходилось видеть цветных фотографий, увеличенных во столько раз. Она не сразу поняла, что это всё-таки картины с подробно выписанными мелочами, будто они срисованы с самой жизни. И, хотя света в залах было достаточно, женщина долго не могла разобраться, что это — «живые» копии или плод реалистического наваждения, уводящего художника за грань здравого смысла.

В первом зале висело четыре или пять картин, изображавших пустой стол, освещённый резким солнечным светом. Рядом стоял стул, стол же лишь дополнял вытянутую от бокового света тень.

Во втором зале женщина увидела нечто новое: на одной из картин был изображён мужской силуэт, и эта фигура объединяла интерьер комнат с дверью, распахнутой в нечётко выписанный сад; человек был изображён со спины, он удалялся от стола на переднем плане. Без сомнения, на всех полотнах был запечатлён один и тот же дом, теперь к нему прибавилась длинная зелёная веранда с той, другой картины, где мужчина, повернувшись спиной, смотрел на дверной проём. Странно, но пустые столы были изображены куда более отчётливей, чем этот человек; казалось, он забрёл сюда случайно, без особой цели прогуливаясь по комнатам заброшенного строения. Кругом стояла тишина, не только потому, что женщина была единственным посетителем маленького музея — от этих холстов веяло одиночеством, и тёмный мужской силуэт придавал ему непоправимую безысходность.

Войдя во второй зал, женщина удивилась тому, что, помимо новой серии картин с пустыми столами и человеком, по-прежнему стоящим спиной к зрителю, были и полотна, изображавшие то одинокий телефон, то несколько неясных фигур. Конечно, она смотрела и на них, но словно не видела — это повторение пустых столов оказалось столь навязчивым, что все остальные изображения превращались, по сути, в обрамление.

Вспомнив, что не всё разглядела на просмотренных полотнах, женщина вернулась в первый зал. И в самом деле, на столе, кото-

рый вначале показался ей пустым, стоял кувшин с кисточкой. Пустой же стол был изображён на холсте напротив, и она остановилась, чтобы получше разглядеть фон — открытую дверь, за которой угадывалась следующая комната, возможно, часть камина или ещё одна дверь. Сам же художник незаметно удалился, кроме, разве, тех полотен, где он был изображён в виде чёрного силуэта (однажды — в длинном плаще) всегда спиной к посетителю. Женщина снова прошла второй зал и приблизилась к закрытой двери, ведущей дальше. Смотритель музея (человек, очень похожий на её спутника по машине) сообщил:

— Музей в полдень закрывается, однако в половине четвёртого снова будет открыт.

— А много ли ещё осталось? — поинтересовалась женщина.

— Нет, один зал. Да и там — всего одна картина... Хотите её увидеть? Я могу подождать.

— Не утруждайте себя, я подойду ровно в половине четвёртого!

— Новый билет не покупайте, — сказал смотритель, — я вас запомнил.

Уже на улице вдалеке она увидела прежнее кафе и подумала, что пора бы и поесть. Но, глядя на удаляющуюся фигуру смотрителя музея, вдруг произнесла:

— Быстро же ты меня забыл! Разве так бывает?

— Конечно, бывает! — ответил смотритель.

— Испугался?

— Вряд ли...

— Значит, другая женщина?

— Ты сегодня обворожительна!

— Это не про меня...

— Про тебя! Про тебя!..

Ничто не мешало её бесцельной прогулке. Плутая по безлюдным, безмянным улочкам, она вдруг случайно увидела приоткрытую калитку, за которой угадывались внутренний дворик, колодцы и коты, спящие на песке. В запущенном саду почти не было деревьев, и ничто не мешало видеть распахнутую дверь старого дома. Там, в полумраке, женщина узнала галерею, точно такую же, как на одной из картин в музее. Ей почудилось, будто она вошла в картину с другой стороны, со стороны сада. Если и было в этом что-то странное, то лишь то, что это событие несколько не поразило её. Она уверенно проникла в сад и подошла к двери. Вошла в первую пустую комнату, где через окно бил резкий жёлтый свет и, растекаясь по боковой стене, вырисовывал пустой стол и единственный стул. Слева уже открывалась другая дверь, и в комнате с высоким камином неизменный стол отбрасывал невероятно длинную тень, так что казалось, будто столов два. Новой деталью была только дверь в глубине, запёртая, а не приоткрытая, как другие, и это слегка замедляло продвижение. Ей подума-

лось, что дверь закрыта, потому что она не вошла в последний зал музея, и если она заглянет за эту дверь, то словно вернётся туда и завершит осмотр.

На первый взгляд, комната была недоступна. Хотя дверь легко распахнулась от транзитно летящей пчелы, и женщина обнаружила за ней то же, что и везде: струю жёлтого света, которая разбивалась о стены, стол, оказавшийся ещё более пустым, чем другие, с вытянутой тенью, будто кто-то резко сорвал с него чёрную скатерть и швырнул на пол. А почему бы не взглянуть на этот стол иначе и не увидеть в нём застывшего на четырёх лапах зверя, с которого только что содрали шкуру — вот она лежит теперь рядом у её ног. Женщина чуть разочарованно подошла к столу, села и закурила, забавляясь дымом, который вился в полоске света, рисуя сам себя.

Она вышла на улицу. В переулке какой-то парень спросил у неё, который час. Она подумала: что ей нужно поторопиться, чтобы успеть поест. Она уже знала, что вернётся в музей.

— А вот и вы! — официант проводил её к заказанному столику, потом торжественно раскрыл меню и стал читать: — В один прекрасный день, я бы добавил, в необыкновенно особенный... — официант улыбнулся, — я задушу тебя, если, конечно, ты не успеешь меня опередить!

— Nevermore¹... — произнесла женщина, всем своим видом демонстрируя, что она уже не здесь.

По пути в музей её встретила группа туристов с фотоаппаратами. Должно быть, она заслужила фотосессию, как новоиспечённая достопримечательность. На облако фотовспышек слетелись пчёлы. Пчёлы, свет и она...

Уже в музее женщина неторопливо прошла первые два зала (во втором была молодая пара, почему-то молодёжь общалась между собой шёпотом). Она задержалась у двух или трёх картин, где впервые незримый свет вошёл в неё, заставив поверить в то, во что не захотела поверить в том одиноком доме. Она дождалась, когда посетители уйдут, и тут же неожиданно для себя оказалась у двери, ведущей в последний зал. Картина висела на левой стене, надо было встать в центр этого помещения, чтобы как следует разглядеть стол и стул, на котором сидела женщина. Так же, как и стоящий спиной человек на тех полотнах, где его партнёрша по картине расположилась в абсолютно чёрном, но сейчас её лицо было повернуто, каштановые волосы падали на плечо, скрытое в темноте. Она мало выделялась на фоне остальных предметов, она вписывалась в эту картину, как и мужчина, обозначая ещё одну фигуру в пределах единой эстетической воли. И всё же было нечто, возможно, объясняющее, почему в последнем зале нет других картин. Поза женщины: левая рука свисает вдоль тела, туловище слегка наклонено, и

¹ Nevermore — никогда больше (рефрен стихотворения Эдгара По «Ворон»).

вся тяжесть как бы переносится на невидимый локоть, опирающийся о стул — создавалось ощущение полного одиночества, больше, чем просто задумчивость или забытьё. Эта женщина была мертва — вот почему её рука свисает и спадают волосы, а загадочная неподвижность гораздо безысходнее неподвижности предметов и людей на других картинах. Лишь дым сигареты казался живее всех живых.

Не помня себя, она оказалась на улице. Села в машину, выехала на раскалённую автостраду и тут же набрала запредельную скорость. Лишь когда сигарета обожгла ей губы, приостановила свой «бег», обрета способность видеть реальную дорогу. Рядом рука зрителя музея включила магнитофон с очень знакомой мелодией. Но женщина всё ещё была в том месте, из которого только что выехала. Её тянуло обратно. Она убеждала себя в том, что всё это чушь собачья, что не было никакого дома, или что дом, пожалуй, был, а вот в музее она посетила выставку абстрактных рисунков, возможно, выставку исторических полотен, которые никаких особых чувств вызвать не могут.

И всё-таки ей необходимо вернуться. Она развернула машину и уже через мгновение мчалась по автостраде в обратном направлении, сбавив скорость лишь при появлении окрестностей города. Она проехала площадь, вспомнив, что слева был тупичок, в котором можно оставить машину, прошла по пустому переулку; заброшенный дворик был всё там же, огромная дверь оказалась открытой.

Останавливаться в первых двух комнатах — лишнее. Столы были на своих местах, дверь же в третье помещение, наверное, закрыла она сама, когда выходила. Она уже знала, что её нужно только толкнуть, беспрепятственно войти и увидеть незыблемый стол со стулом. Снова сесть, чтобы выкурить сигарету (горстка пепла от первой сигареты всё ещё томилась на краю стола), опереться локтем, чтобы укрыться от льющегося из окна светового потока. Она отыскала в сумочке зажигалку, проследила взглядом за первым колечком дыма, извивающегося в лучах заходящего солнца. Сигарет хватит до утра. Теперь можно опереться на столешницу и позволить взгляду раствориться во мраке у дальней стены. Конечно же, она в любой момент могла уйти. Но могла и остаться. Наверное, это так красиво: луч, который медленно плывёт по стене, малопомалу удлинняя тень и её самой, и стола, и стула.

Или же навсегда замереть — луч, застывший вместе со всем остальным, с нею и с неподвижным дымом, в котором, не останавливаясь, кружит пчела.



Вася БОРОДИН

/ Москва /

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 2017–2021 ГОДОВ

* * *

сон кукует, тень куёт
всё становится краями
и ликует как своё
солнце отдавая яме

чем затылками горбы
колотить свои, пойдём-ка
от судьбы и от трубы
как танцуя, как подёнки

прощелыги прощены
не бывают, но пируют
дуя чаю на луны
зыбь сырую, часть вторую

* * *

снег каких-то вещей
синей тряпки наждак
шкафа трещина щель

с шумом грузовика
в снега скрип входит шаг
а над ним человек

а над ним беломор
отпускает себя
но не как невермор —

как форевер, как пар
дальних широких труб —
кругл и прав, слаб и груб

* * *

Верлен просверлен и по нём
стреляют в тире

небесном — медленным огнём
пули висят

ни даже первая ещё
не долетела

а им уже потерян счёт
ружья несут

* * *

мы смотрели на собак
мы смотрели на кабак
мы смотрели на табак

мало ли прекрасных лодок
получается из рук
в них несёшь друг дружке сердце
оно падает из рук —

вверх, всплкнёт планетой Марсом
самолётиком мигнёт
хмыкнет Фрейдом, крякнет Марксом:
мысли — крылья, чувства — гнёт

* * *

в кружке железной подпрыгнув, вода
прыгает снова, и на проводах

копится каплями; капли ползут
как поезда — те, что письма везут

от разлюбивших — не любящим: там
дождь начинается, бьёт по цветам

ТРИ ПЕСНИ

1

идут солдаты
трам-прам-брам
идут монахи
храм храм храм
идут сапожки
хруп-пип-хром
всем понемножку
гром гром гром

пуля солдата
не бери
похоть монаха
не борí
гóре сапожкам
плюх-хлюп-грязь
всё понемножку
зря зря зря

2

колóтится лодочка
о серый причал
ангельское воинство
в березняк сквозит
а другое воинство —
ельником сырым
...ночь качает лодочку
а там день кричит

что́ я буду буду ли
баю-баю где
и когда разбудят нас
для новой земли?
в одной чаше пепел сор
кость и яма лжи
а в другой горят водой
камни-голыши

и ча́ши качаются
баю-баю-бай
колóтится лодочка
спит день
ночь не спит

3

плуги
флаги их — грачи
их ван Гоги — силачи

едут в нашем балагане через дождика лучи

о'бручи
«ад и обратно»
львы летучего ума

едут как слепые пятна через спящие дома

через
крышу небосвода
и свобода впереди

слёзы распирают грудь, и цепи рвутся на груди

* * *

с камнями в карманах идёт жонглёр
за синими днями как война
с тяжёлой слезой посреди груди
когда она выйдет — он умрёт

о Франция мысли и листвы —
всё в тебе ползёт-поёт!

летучие тучи, шерсть огня
небесного, как в следах колёс
когда время вышло и пришло —
одно и есть что свет слёз

планета Земля — как в руке земля
и морось вслед дрожи звёзд

* * *

что ты видишь как лесное
как лесное лицо
это — стог снега
это — сноп зноя
это — цепь, на которой сидит лист-царь

отвернуться угнаться
обознаться уткнуться —
в всё чужое родное
только и биться
превращаясь в просветы — не дыша, зная

* * *

эх ты!
зерно-человек!

сколько у тебя, быка, было
мешков одной мысли!

а пошёл сквозь песок времени
как вот я

не спеть и песни
похожей на любую

на ничью песню —
которую поёшь

как это объяснить? —
как бы... дую в пустое

зная
впустую

Александр МОЦАР

/ Киев /



ТЫЛ

Хроники нового времени

Моему брату Сергею

Меланхоликом становишься, когда размышляешь о жизни, а циником — когда видишь, что делает из нее большинство людей.

Эрих Мария Ремарк «Три товарища»

Почти все ситуации и разговоры в этой повести — это невыдуманные реалии лета 16-го года. Я, конечно, понимаю, что зафиксированные мной здесь положения не разворачивают полной картины происходящих тогда событий, в Киеве в частности и в Украине в целом, но это то, что видел и слышал именно я. Медиа-реальность большинства. Вера националистов и сепаратистов. Противостояние. Всё это останется на полях этого рассказа. Здесь несколько бесед небольшого круга людей. О них ниже. Итак:

Он смотрит на мокрую скользкую брусчатку, которая переливается, мигает, веселится отражающимся цветным неонам. Вечер, суета перед праздником. Ветер отталкивается от стен, меняет направления, напрягается мелкой дрожью в морозящей влаге, которая не может решиться, быть ей снегом или дождём. Вокруг шаги, тени, голоса — всё то, что давно не интересует его. Люди в его сознании перестали удивлять и стали говорящим потоком, изображением на общем экране, с которым нельзя поговорить. Кто-то за спиной громко произносит его имя, он подымает голову и невнимательно, рассеянно оглядывается по сторонам — лица, спины, взгляды. Он всматривается в людскую массу и никого не видит. Цветные, серые, разные они идут мимо него плотным, целеустремлённым речитативом, обсуждая друг друга.

Из подземки метро «Театральная» выходит пара с букетом цветов и направляется ко входу в театр. Там суета перед тремя звонками. Люди встречаются, дожидаются, топчутся на месте, гово-

рят по телефону, с телефоном, с людьми, с голосами людей. Перед афишами мужчина нервно выговаривается перед молодой женщиной, та, улыбаясь, смотрит мимо него. В её улыбке явная угроза. Мимика человеческих отношений.

Телефонный звонок отвлекает его от невольных наблюдений. Он недовольно морщится и отвечает, после короткого разговора идёт вниз по улице Хмельницкого к Крещатику. Навстречу ему идут две симпатичные девушки в костюмах 19 века. Яркие юбки, меховые шубки, шляпки, перчатки, улыбки. У них лотки, на которых конфеты и цветная полиграфия. Он берёт конфету и флаер, благодарит и смотрит на уходящих красавиц. Только сейчас его накрывает ощущение скорого праздника. На здании ЦУМа светящейся гирляндой выложены цифры наступающего года — 2014. Он выходит на Крещатик.

Палатки, костры в железных бочках, кордоны, нервный, весёлый накал неподчинения. По телефону его ориентируют друзья, и скоро он полностью окунается в атмосферу протеста, беспорядка, где люди говорят матом и лозунгами, где есть враги и герои. Он невнимательно слушает последние новости в зоне оппозиции и с удовольствием принимает флягу с коньяком. Глоток, еще глоток. Рядом потянуло сладковатым дымом марихуаны. Люди шумно договариваются о совместной встрече Нового года.

Из поддонов делают сцену, на которой ему сегодня предстоит выступать. Вечер гражданской лирики. Несколько фотографов, знакомые, незнакомые лица, безликий корреспондент немецкого радио. Короткое бессмысленное интервью.

Все возбуждены каким-то новым делом. Все уверены в своей правоте и нужности, и эта уверенность заражает своей искренней простотой. Здесь все знают, что нужно делать и наконец-то все нужны друг другу. Он чувствует это общее настроение и нарастающую тенденцию к объединению и невольно инстинктивно отстраняется от всех. В толпе он замечает своего приятеля-журналиста, политолога. Спрашивает о его впечатлениях, звучит слово революция. «Это не революция, — отвечает приятель, — это карнавал». Взрыв петарды, его шумно окликают. Он видит перед собой своего соседа, молодого парня, футбольного фаната. Этот настроен решительно. Короткие, резкие фразы, вера. Здесь он уже получил приказ. «Олег Глота, к сотнику», — парень рывком, не простившись, срывается с места и убегает к группе людей, которые неумело, неловко, ещё стесняясь друг друга, пытаются организовать строй. 28 декабря 2013. Суббота.

1

Олег Глота, вернувшись с фронта, несколько дней поил друзей нерядовым алкоголем под круглосуточным супермаркетом. «Нарядившись» до безоблачного состояния, он, смеясь и икая, рассказы-

вал истории о пережитом. На пятые сутки такого времяпровождения Олег пришёл домой, заперся у себя в комнате, надел постиранную матерью военную форму, лёг на кровать, обложил себя иконами, заткнул уши наушниками, включив плеер на полную громкость и, сделав себе «золотой укол», т.е. смертельную инъекцию наркотического препарата — умер.

Как выяснилось позже, наркоманом Олег стал на войне. Соседи полушёпотом делились сплетнями о самоубийце и диких обстоятельствах его смерти.

На похоронах, когда из парадного вынесли гроб для последнего прощания, собралась большая толпа любопытных, подогретая всевозможными слухами. За формальным и искренним сочувствием родным Олега явно чувствовалось иное настроение. Многим хотелось посмотреть на лицо самоубийцы и на лицо его матери. Это желание было скорее непроизвольным. Люди всматривались в некую бесплотную тайну, оставшуюся от добровольно ушедшего из жизни человека. Стремлением заглянуть в это потустороннее особо явно проявилось у одного из сослуживцев покойного. Пожилой человек лет пятидесяти в новом, с иголки, камуфляже настолько пристально вглядывался в окаменевшие черты мертвеца, что ему сделали замечание, на что он зло, матерно огрызнулся, но испугавшись собственной реакции, быстро отошёл от гроба и наблюдал за похоронами уже со стороны.

Владимир Лутковский смотрел на происходящее из-за кухонной занавески. Выйти на улицу или хотя бы на балкон он так и не решился. Непонятное чувство — смесь страха, вины и досады — удерживало его в квартире, хотя почти все соседи вышли проститься с Олегом.

Владимир давно знал Глота, хоть и не был ему близким приятелем. Они были соседями по подъезду и не больше. Лутковский был на несколько лет старше Олега и в детстве у них были разные компании. Юность их развела окончательно, и друзьями они так и не стали, тем более что сферы их интересов не пересекались. Глота был страстным футбольным болельщиком и ходил тренироваться в «качалку». Лутковский интересовался исключительно гуманитарными дисциплинами и несмешливо презирал культуру тела. Тем не менее, соседские отношения молодые люди поддерживали, здоровались друг с другом, а также в случайных совместных перекурах обсуждали как локально-дворовые, так и мировые или национальные новости.

Сейчас, глядя на собравшихся людей, пытавшихся пробраться поближе к гробу, чтобы посмотреть на покойника, так скандально ушедшего из жизни, Володя подумал, что если вставить данный эпизод в повесть, которую он задумал, то, пожалуй, все сочтут это литературщиной и плохим вкусом автора. — «Однако это произошло», — пробормотал Лутковский.

Он зашёл в комнату и посмотрел на часы. Было без двух минут десять. Завыла похоронная музыка. Женский истерический плач дополнил эту акустическую какофонию. Володя закрыл балконную дверь и включил телевизор. Тут же затарахтел всегда жизнерадостный телеканал. Лутковский лёг, почти упал на диван. Взгляд его привычно упёрся в потолок. По потолку ползла крупная муха. Владимир закрыл глаза и сразу увидел перед собой жёлтое лицо покойника, на которое тут же уселась та же муха. Лутковский вздрогнул от этого видения и перевернулся на бок лицом к стене. Он подумал, что неплохо бы записать увиденное им только что, но какая-то сила сдержала его порыв. Лутковский остался лежать на диване. За стеной раздражённо заработала дрель.

Лутковскому Владимиру Александровичу шёл 35-й год. Он жил в Киеве, работал редактором в издательстве, но считал себя писателем. Впрочем, публикации в литературной периодике подтверждали перед интересующейся публикой его репутацию литератора.

Писал он обычно бойко, много и успешно. В начале лета 2014 года Лутковский задумал написать повесть «Тыл». Эта мысль пришла ему в пляжной шашлычной, где он отдыхал в привычной компании приятелей, пишущих стихи, прозу и комментарии в блогах. Говорили о войне и о девушках, аппетитно греющихся в щедрых лучах того лета. Лутковский озвучил свои планы на повесть. Планы всем понравилась. За их скорейшую реализацию и выпили. И всё. Планы так и оставались нереализованным грузом, над которым, впрочем, Владимир время от времени задумывался.

Лутковский понимал, что в этой затее было всё многообещающее. Тема энтропии общества в новостном потоке войны и мира казалась ему нужной и актуальной, но вот как подступиться к ней он не мог понять. Владимир не мог вычислить главного героя в общей толпе. Присматриваясь к разным активным социальным сообществам, от националистов до сепаратистов, он понимал, что все они живут какой-то своей однополой жизнью, переполненной лозунгами и истеричными декларациями, размышлять над которыми было ему неинтересно. Все эти люди под знамёнами казались ему существами неспособными на самостоятельную реакцию, на свою оценку происходящего вокруг. Владимир видел бессмысленное передвижение масс в строго заданном идеологическом направлении, где своё мнение воспринималось как отступничество, преступление. Ему казалось, что люди, попав в эти потоки, теряли личность и просто повторяли друг за другом то, что транслировали их лидеры. Но самое интересное, что при этом средний человек обретал уверенность в себе и чувствовал себя более устойчиво, чем в серые, многоголовые дореволюционные времена. Такие выводы делал для себя Владимир, общаясь с людьми, которые, как они уверяли, обрели, наконец, свободу.

Итак, поток жизни перестал быть стандартным, но тем не менее, все эти навязчивые видения Лутковский не мог объединить в конкретный сюжет. Мысли о фантастическом остросоциальном анекдоте он отбросил сразу, оставив эту добычу для крепкозрых интеллектуалов, пришедших в Киев с бескрайних картофельных просторов страны, примыкающих к Карпатским горам, и до сих пор рассуждающих о «Конце истории» Фукуямы как о философии.

Постепенно Лутковского захватила повседневная суета, и замысел повести отошёл на второй план. Вернее, так он объяснялся с собой, объясняя отсутствие прогресса в задуманном деле наличием иных дел. Но, в общем, Владимир понимал, что все повседневные препятствия он искусственно создавал сам, чтобы оправдать свою неспособность что-либо написать на тему. Махнуть рукой и задуматься над чем-нибудь другим, отвлечённым от реальности он тоже не мог. Происходящее вокруг волновало его не только как культурная перспектива, но и по-человечески.

Сама тема, которая раньше ему представлялась обширной и значительной, при ближайшем рассмотрении определялась несколькими обидными словами, которые Лутковский и сам произносил, рассказывая о своем замысле. Было очевидно, что писать, по большому счёту не о чем. В целом город спокойно переживал драматургию войны, отвлекаясь только на значительные события, такие как «котлы» или убийства основных фигурных событий. Сознание людей почти не менялось. Прежний поток проблем пробил новое русло в завалах новой истории и почти не отвлекал людей от привычной жизни. Постепенно примелькались люди в камуфляже и обычным фоном стали даже сообщения о потерях армии.

Лутковский выключил телевизор, по которому начались общенациональные новости, и взял в руки телефон. Он задумался, кому бы позвонить, дабы взбрызнуть алкоголем гнетущее настроение. Адресная книга телефона предлагала массу соблазнительных вариантов. Можно было прямо сейчас вызвонить нескольких бойких подруг и разговорчивых приятелей и прелестно провести остаток этого дня, шатаясь от кабака до кабака по центру города. Впрочем, можно было проложить и другие маршруты. К примеру, плюнуть на всё и «зарыться» на сутки в тёмные пивные Лукьяновки с их диким, непредсказуемым контингентом, глядящим сквозь окружающую действительность мутным, как табачный чад, взглядом. Смотреть в эти далёкие, пустые глаза, не слушая, что говорит собеседник, думать о своём, сакральном, о том, что в нормальной бытовой обстановке не придёт в голову. Этот вариант показался Лутковскому самым соблазнительным, но одному опускаться на это дно сегодня не хотелось. Нужен был собеседник способный поддержать его настроение. Лутковский опять начал исследовать телефонную книгу и очень скоро убедился, что люди, которые могут поддержать беседу не на уровне анекдота, все вне зоны досягаемости. Владимир отложил телефон и закрыл устало глаза, но тут раздался звонок в дверь.

Подскочив от неожиданности с дивана, Лутковский заметался в раздумьях — открывать или нет. Он никого не ждал и инстинктивно почувствовал, что за порогом его не ждёт ничего хорошего. Звонок повторился, и, изобразив на лице недовольство, Лутковский пошёл навстречу незваному гостю. Отворив дверь, Владимир увидел перед собой пожилую соседку, в руках у которой был исписанный лист бумаги и ручка.

— Деньги на похороны, — бодро и в упор сказала она, — кто сколько может.

Лутковский быстро, но почему-то на цыпочках забежал в свою комнату, и, вывернув бумажник, отсчитал примерно половину из всей наличности, что у него была, и так же быстро, галопом вернулся к общественнице, вручил ей деньги и отчего-то подобострастно улыбнулся.

— Фамилия ваша? — повелительно спросила тётка.

— Лутковский, — покорно ответил Владимир, желая поскорее отделаться от навязанной ему благотворительности.

— Сколько здесь денег? — не унималась женщина.

— Не знаю... триста двадцать девять, — пересчитал он.

— Ого.

— Ничего, ничего, берите.

— Вы больше всех дали.

На этих словах, Лутковский, не простившись, со скверным чувством захлопнул дверь. Но звонок затрещал вновь. Владимир, сжигаемый внутренним негодованием, снова открыл дверь и увидел, что и ожидал — т.е. ту же тётку, которая грозно подступила к нему:

— Что же вы дверь закрываете под носом? А список, а роспись! — Женщина решительно наступила на порог и тем самым пресекала возможность Владимиру повторно закрыть дверь.

— Какой список? — растерянно спросил Лутковский.

— Вот здесь, — женщина протянула ему лист бумаги, — укажите квартиру, фамилию, сумму и подпись поставьте. Так положено.

Лутковский послушно взял ручку, лист бумаги и, прислонив его к стене, попытался вывести на нём свою фамилию, но ручка предательски не писала. Поднажав, Владимир добился только того, что проколол список:

— Ручка не пишет, я сейчас, — как можно спокойней сказал он, и, мысленно проклиная тётку, пошёл к себе искать ручку.

Как оказалось, это была непростая задача. Но, перерыв почти всю комнату, Владимир нашёл то, что искал и снова вышел в коридор. Женщина подала ему лист бумаги. Ставя свою роспись, Лутковский заметил, к своему неудовольствию, какие суммы подавали соседи. Почти всегда это было двадцать гривен. Ровным каллиграфическим столбиком эти цифры упирались в его триста двадцать девять. Лутковский нервную потёр ногой о ногу и отчего-то почувствовал себя полной сволочью. Угрюмо он всучил список активистке и, тихонько прихлопнув за собой дверь, аккуратно посмотрел

в глазок. Женщина всё еще стояла на лестничной площадке. Лутковский внимательно, жгучим взглядом смотрел на нее, испытывая при этом непонятно откуда взявшееся чувство страха. Активистка надела очки, посмотрела на список, что-то пробормотала, спрятала полученные от Владимира деньги в пухлый конверт и отправилась на этаж выше. Лутковский в нервном надрыве вышел на балкон, прихватив по дороге пачку сигарет. На душе у него сделалось нестерпимо гадко. «Вот какого я подсматривал за ней?», — подумал он, сделал первую затяжку и облокотившись на перила, мрачно посмотрел на улицу.

Перед подъездом на асфальте лежали разбросанные в беспорядке цветы — следы недавних похорон Олега. Возле бордюра валялся черный платок. Резкий порыв ветра поднял его и опустил на ветку яблони. Платок с промозглым трепетом потянулся за ветром, но очень скоро бессильно повис, иногда вздрагивая от очередного несильного порыва. От этого зрелища улица заделалась еще более покинутой. В поле зрения не было ни единой души. Глядя на всё это, Лутковскому неожиданно сделалось уютно. Он с удовольствием ещё раз затянулся и мысленно отметил, что на похоронах отчего-то всегда себя чувствует неплохо. Мало того, в этих обстоятельствах именно он является инициатором внеплановых поминок в дорожных кафешках, а то и вовсе под забором. Отчего-то эти импровизированные застолья, как правило, заканчивались неприличным ржанием поминающих. «Впрочем, смех на похоронах скорее закономерность, чем исключение», — подумал Лутковский.

В дверь снова позвонили. Владимира передёрнуло. «Не буду открывать, — подумал он, — еще чего доброго на поминки затянут». Звонок повторился. Лутковский шёпотом кратко матюкнулся и продолжил стоять на месте. Эта навязчивость настроила его решительно. Владимир окончательно окреп в мысли напиться вне дома.

К осуществлению данного немудреного плана Лутковский решил приступить незамедлительно, но после того, как докурит сигарету. Он опять облокотился на перила и посмотрел во двор. Некоторое время было тихо, но внезапно в этой статичной летней заторможенности открылась дверь парадного, и на улицу нехотя, вразвалочку вышел человек в камуфляжной куртке. Он вытащил пачку сигарет, чиркнул зажигалкой, выпустил клуб дыма и, повернувшись лицом к дому, посмотрел прямо в глаза Лутковского. Владимир сразу узнал своего друга Марка Ленца.

— Ты что не открываешь? — крикнул Ленц, прикрыв глаза козырьком ладони.

— Быстрее заходи — обрадовано прокричал в ответ Лутковский.

Марк, подхватив рюкзак, нырнул в парадное. Владимир, раздавив недокуренную сигарету о дно пепельницы, отправился открывать дверь.

2

Марк Ленц был одним из немногих закадычных друзей Лутковского. Они познакомились на литературном фестивале, когда оказались в одном гостиничном номере, куда их поселили организаторы. Сошлись они быстро. Широкий спектр общих интересов — от музыкальных пристрастий до литературных предпочтений — способствовал быстрому сближению. К тому же склонность обоих к мистицизму упрочила их дружбу, связав приятелей увлекательными потусторонними разговорами. У Ленца ещё был один редкий дар, а именно — умение слушать. К тому же он сам так забавно и умело вёл разговор, что даже самые бестолковые собеседники не перебивали его. Мысли Ленц всегда выражал чётко и ясно, не напрягающим тембром, который так подходил к его внешности. Впрочем, выглядел он весьма прозаично — средний рост, глаза карие, волосы каштановые.

После революции и начала боевых действий Ленц выступал в качестве волонтера и бывал в Киеве редко, поэтому радость Владимира от неожиданной встречи с другом была такая естественная и искренняя.

Открыв входную дверь, Лутковский с удовольствием прислушался к шагам друга. Наконец, к звукам тяжёлой поступи прибавилось тяжёлое дыхание Ленца, сразу после чего появился и сам Марк. Друзья искренне обнялись и прошли в квартиру Владимира.

— Я думал, ты не в Киеве, — обрадованно проговорил Владимир, захлопнув ногой дверь.

— Здесь. Уже сутки как дома. В городе-герое Киеве, колыбели двух революций, — весело докладывал Марк. — Представляешь, подхожу к твоему парадному — цветы, с похорон явно. Подымаюсь наверх, по этой скорбной тропинке, а она ведёт всё ближе и ближе к твоим дверям. Подумал, грешным делом, что ты издох.

— А ты что не позвонил? Я уходить, между прочим, собирался.

— Телефон навернулся. Штаны вот отстирывал и забыл достать.

— После Донецка отстирывал?

— А? Да, смешно, — улыбнулся Ленц, — так почему цветы? Помер, что ли, кто-то?

— Да, — откликнулся Лутковский, — тут парнишка один с собой покончил. Вернулся с АТО и вот...

— Причина? — в упор спросил Ленц.

— Я же говорю, с АТО вернулся и вот. Три дня мимо дверей его квартиры на цыпочках бегаю.

— Ну, мало ли людей с войны возвращаются, не все же так себя ведут, — ответил Ленц, — может, он вообще из-за девушки. Он записку оставил?

— Не знаю.

— Ладно, бывает, — равнодушно пожал плечами Ленц.

— Ты представляешь, иконами обложился перед смертью...

— И?

— «Золотой укол».

— В задницу? — усмехнулся Ленц.

— Марк, ты что?

— Да ладно, — смущённо ответил Ленц, — поднабрался там, так сказать казарменного юморка. Но не бзди, это пройдёт... я надеюсь. И кстати, что за похороны такие дикие?

— В смысле? — не понял Лутковский.

— Ну гроб домой приволокли, коллективное прощание у парадного — судя по растоптанным цветам, соседи. Я о таком давно не слышал. Сейчас хоронят тихо, не соблюдая обряда трёх дней, быстро, и чтобы не заметили. Если ты не артист, конечно.

— Это мать его настояла. Прикинь, крышка гроба на лестничной клетке стояла. Я чуть не поседел, когда увидел.

— Странно всё это — задумавшись пожал плечами Ленц. — Вообще, погребальный обряд одна из основополагающих традиций общества, фундамент так сказать, ключевая религиозная практика, ритуал. Здесь отношение к потустороннему определяет общую этику общества. Я помню, когда отец умер, бабушка после сильно переживала, что мама не положила деньги в гроб. Папа даже снился бабуле с просьбой о деньгах, так что в итоге повезли её на кладбище, и она таки закапала купоно-карбованцы в могильную землю, осыпая при этом упрёками потрясённую маму.

Лутковский невольно хохотнул и, туже сосредоточившись, сказал:

— Его однополчане хотели по каким-то обрядам языческим похоронить, на щите, с топором в руках или что-то в этом роде, но мать забрала тело из морга себе домой.

— И таким образом в советской, не декоммунизированной традиции простились с героем. Устремления бойца были не поняты родней с постколониальным сознанием, — в нервной, пафосной злобе сказал Ленц.

— Да что с тобой? — с досадой обратился к другу Владимир. — Тебе какая разница, как похоронили парня?

— Действительно, какая разница. Что-то я разошёлся не по теме. Пройдёт, надеюсь.

— И я надеюсь, — сказал Лутковский, внимательно посмотрев на товарища.

— Да, занятно, самоубийство, и такое театральное... Ты заметил, Володя, что очень часто, самоликвидация — это именно театральная жест... мол, запомните меня таким, — отвернувшись от взгляда Лутковского, сказал Ленц. — Самоубийца хочет привлечь внимание к себе или к чему-то, причем в максимально жуткой фор-

ме, чтобы память осталась надолго. Мне знакомый криминалист рассказывал, что один из его клиентов камней наглотался.

- Как это, камней?
- Не знаю, не пробовал.
- Драгоценных?

Ленц регулярно ездил в зону боёв, но не в качестве бойца, а в качестве человека с неопределёнными обязанностями. Порой вообще было непонятно, что он там делает, и кто, под каким гипнозом его туда пропускает. Он постоянно организовывал какие-то выступления, концерты никому неизвестных провинциальных знаменитостей, привозил в боевые части коробки с ненужным хламом, как-то: плеера с проповедями лютеранских пасторов и диски с записями духовной музыки, литературу сомнительного содержания и прочую раздражающую полиграфию. Впрочем, Ленц участвовал и в организации обмена пленными.

При этом всё он всегда грубо высказывался о происходящем. Когда его конкретно спрашивали о политической позиции, он неизменно посылал вопрошавшего ниже пояса, причём направление «на» или «в» он не уточнял, тем самым оставляя возможность корреспонденту самому выбрать свою дорогу. Но, тем не менее, к Ленцу привыкли, так как человек он был комфортный, способный разрядить гнетущую атмосферу.

К слову сказать, он никогда не выставлял свои приключения в социальных сетях, как это делали многие его коллеги, пиаря таким образом свои персоны. Он был знаком со многими так называемыми «лидерами мнения», но сам с иронией относился к подобной популярности. Собственной персоной он редко появлялся в бесконечном сквернословии нынешних политических дебатов, но судя по редким комментариям, внимательно следил за этим полупохмельным толковищем. В общем, о Ленце можно было смело сказать, что он был интересующимся человеком. Вот и на вопрос Лутковского, зачем, мол, Ленц постоянно таскается в зону боевых действий, Ленц, пожав плечами, просто ответил:

- Из любопытства. Интересно.

На кухонном столе нарисовался скромный натюрморт из бутылки водки принесённой Ленцем и простой закуски. Друзья сели за стол, чтобы отметить встречу.

— Ну, за встречу, — сказал и залпом проглотил свою водку Ленц.

— Давай, — согласился Лутковский и тоже выпил. Повертев рюмку в пальцах, он аккуратно поставил ее на стол и, посмотрев на друга, сказал со вздохом:

- Что-то ты грубый какой-то стал.
- Я? — удивился Ленц, — отчего же?
- Не знаю, — пожал плечами Лутковский.

— Это всегда так, после походов и житья на свежем воздухе.

— Да нет, Марк.

— Что нет? Хочешь сказать, что изменения произошли в результате пребывания вблизи передовой? — Ленц улыбнулся, — так я там не был, кстати, как и не было большинство расхаживающих по Киеву людей в камуфляже. Ну да ладно. Ты-то как здесь?

— Да так, занимаюсь фигнёй всякой.

— А конкретней? — настаивал Ленц.

— Да вот, задумал повесть написать, «Тыл».

— Это о чём же? — с весёлым удивлением спросил друга Ленц.

— По правде говоря, я и сам не знаю о чём.

— Это плохо.

— Да уж, — согласился Лутковский, — но вот не могу отделаться от этой мысли. Навязчивая, зараза.

— Мысль действительно забавная, но я не о том, — Ленц прищурился в сторону друга. — Знаешь, Володя, по моим наблюдениям, у тебя еще остались остатки совести, или зачатки ее. Тут еще надо разобраться. А занятия хуйнёй, фигнёй и прочими литературными экспериментами приводят к тяжёлым раздумьям, порой даже фатальным.

— Макс, так поэтому ты туда отправился?

— Не понял, по какому этому?

— Я про остатки совести.

— Ну ты даёшь, — Ленц хохотнул и почесал затылок, — говорю же, из любопытства. И вообще, люди с совестью опасны на войне.

— И в тылу, — мрачно добавил Лутковский.

— Это ты о чем? — прищурился Ленц.

— О ком.

— Ну и о ком.

— Да вот, говорил же тебе, что сосед с собой покончил.

— А, ну да. Лес рубят — кости хрустят. Ладно, идем лучше покурим.

Ленц решительно встал из-за стола и отправился на балкон, втолковывая идущему за ним Лутковскому, что новое литературное произведение, задуманное Владимиром, лучше будет назвать «Повесть про совесть» и посвятить его революционной молодёжи в суровые дни испытаний. Вышли на воздух. С перил балкона вспорхнула ворона.

3

Двор всё так же был в статичном беспорядке. Разбросанные, растоптанные цветы и жужжащая мухами тишина летнего знойного дня. Даже вечно галдящие дети куда-то исчезли, оставив в песочнице поломанную куклу и игрушечную лопатку.

— Хорошо у тебя — с удовольствием констатировал Ленц — такие дворики сейчас редкость. Так сказать — пролом в иную реальность. Тихий центр. Остатки странного Киева.

— Двор как двор — с сомнением ответил Лутковский — следующий точно такой.

— Это да. Но всё-таки есть что-то.

— Это ситуативно.

— Что ты имеешь ввиду?

— Да вот цветы эти, после похорон.

— Гм, цветы наоборот должны... но ты, наверное, прав. Есть что-то в этом. Инфернальный уют. Есть что-то в смерти...

— Тем более такой, — перебил Ленца Лутковский.

— Чем страшнее, тем лучше. Я слышал, что аудитория фильмов ужасов очень немаленькая, и увлечены этим жанром не только подростки. Вот и игры компьютерные всякие, там тоже рожки корчат, будь здоров.

— Да я сам люблю так отдохнуть.

— Именно отдохнуть, — с напором сказал Ленц. — Ужас, который ненастоящий, который на экране, а тем более, которым ты управляешь при помощи мышки, это качественный отдых.

— Станный отдых — в штаны наложить.

— В штаны накладывают от поворотов в реальность. А от фильмов, вернее сказать, во время фильмов, штаны пачкают только в том случае, если напряжённый сюжет увлекает зрителя настолько, что тот забывает про сортир.

— И от чего же, по-твоему, такой отдых?

— От того реального ужаса, который управляет людьми. Зрители понимают то, что у них перед глазами, на экране, всё ненастоящее, и мысленно себя успокаивают тем, что и то, что за экраном, не реальность, а такое же кино, ну, или игра.

— С такими рассуждениями и дерьмо можно конфетой объявить.

— Запросто, — уверенно сказал Ленц, — ты же сам объявил, что отдыхаешь в таком формате.

— Итак, по-твоему, ужас — это отдых? — ухмыльнулся Лутковский.

— Ужас — это рейтинговое зрелище, которое собирает немалую аудиторию. Кстати, телевидение приезжало на похороны?

— Нет, не видел. А почему оно вообще должно было приехать? Парень как парень. Умер, правда, невесело.

— Вот именно, невесело. Спорим, что этого простого парня к концу дня отфаршмачат для новостей. Ты, кстати, сделал фотографии для социальных сетей?

— Перестань.

— Зря. Собрал бы массу лайков. А правильные подписи добавили бы тебе авторитета в СМИ.

— Ты циник, Марк, — вздохнул Лутковский.

— «Где труп, там соберутся орлы», — Пробормотал Ленц и равнодушно продолжил: — даже если это так, то я не хуже всех остальных, комментирующих эту войну.

— Ну, наверное. — Пожал плечами Лутковский, вспомнив, что заголовки о военных самоубийцах постоянно всплывают у него перед глазами, и свою реакцию на эту информацию.

— Не наверное, а точно. Так приезжали журналисты?

— Я не видел.

— Странно. Должны были приехать. Подобные истории любят показывать людям.

— Смерть вообще любят показывать, особенно сейчас.

— Всегда. Всегда любят и любили показывать. Для смерти слова «сейчас» не существует. Слушай, а давай здесь на балконе выпьем, с видом, так сказать... — Ленц искренне обрадовался своей идее, и не дождавшись ответа Лутковского, отправился на кухню, откуда очень скоро вернулся с бутылкой водки, рюмками и надкушенным огурцом.

— Ну и пекло.

— Самый разгар. Может, обстановку сменить? — неожиданно даже для себя предложил Лутковский.

— Ты о чём? Нормально сидим.

— Не знаю, — вздохнул Лутковский, — я вот до твоего прихода думал на Лукьяновку смотаться. В кабаке отсидеться.

— От чего отсидеться? — С любопытством спросил Марк.

— Настроение говно и поговорить об этом не с кем.

— Бывает. А с кем ты собрался бухнуть? — равнодушно спросил Ленц.

— Этого я не решил. Я не знал, что ты в городе.

— Соблазнительно, вообще-то, и как раз под настроение, — Ленц зловеще улыбнулся. — Метафизическое мракобесие — это как раз то, что надо сейчас для порядочного разговора. А какой чудесный народ там собирается, — смакуя воспоминания, обратился к Лутковскому Ленц.

— Да уж, то что надо персонажи.

— Заводские, менеджеры, СИЗО, семипудовые бабы с рынка, — аппетитно загибал пальцы Ленц, — не протолкнуться от бэсов. И обязательно кто-то подсядет с потусторонней биографией и неполной поллитрой.

— Так поехали, дополним картину. Без нас она недовершённая, — решительно сказал Лутковский.

— Давай допьем сначала, — уточнил Ленц. — Для такой поездки и состояние соответствующее надо приобрести.

— Согласен, — рассмеялся Лутковский.

— Тогда наливай.

— Лутковский...

- Ну что?
- Посмотри, что это за толпа бредёт?
- Ага, с похорон возвращаются люди, — Владимир нервно дёрнул за рукав Ленца, который в упор рассматривал идущих людей, при этом чуть ли не до половины высунувшись за борт балкона.
- Что такое? — недовольно оглянулся Ленц.
- Идём отсюда, а то еще на поминки позовут.

4

Ленц, заложив ногу за ногу, сидел за кухонным столом и настойчиво терроризировал Лутковского. Основным его требованием было спуститься в квартиру самоубийцы — он упорно называл Олега Глоту именно так — и помянуть его вместе с родственниками, соседями и друзьями. Лутковский яростно отвергал столь дикое предложение друга и настаивал на первоначальном плане ехать на Лукьяновку, подальше от поминального застолья. Он грубо настаивал на том, что Ленц, увлекающий его на поминки, окончательно рехнулся и не отдаёт себе отчета в своих действиях.

— Ты там совсем с ума сошёл, — горячился он, — сейчас пьяные припрёмся вдвоем... Счастье-то какое на голову родным...

— Ты не прав, Володя. Во-первых, мы не пьяные, а выпившие, и наше состояние не является аномальным в этих обстоятельствах. А во-вторых, это только на обычных посиделках лишний, тем более незнакомый гость — обуза. Поминки другое дело. Там каждую голову считают. Чем больше поминающих, тем как бы величественнее сам покойник. Также важен социальный статус присутствующих. Вот тебя ведь наверняка знают в доме как человека порядочного.

— Что ты мелешь? — недовольно перебил друга Лутковский.

— Неужели за порядочного не держат? — хмельно улыбнулся Ленц.

— А за что меня считать порядочным человеком? — пожал плечами Лутковский, — вот если бы родня Олега сейчас услышала, о чём мы с тобой разговариваем, то наверняка набила бы нам наши гнусные рожи, или, в крайнем случае, наплевала бы в бесстыжие глаза.

— За что? — возмущённо удивился Ленц.

— А ты считаешь, не за что?

— Конечно, не за что. То, что я не сочувствую родственникам этого Глоты, не значит, что я совсем пропащий человек. Наверное, если бы издох я, то и они вряд ли искренне посочувствовали бы моим близким. Скорее всего, поинтересовались бы обстоятельствами смерти. Сказали бы дежурные слова о том, что нужно крепиться, и занялись бы своими повседневными заботами. Это не цинизм. Это самозащита человека.

— Нет, я с тобой точно не пойду туда — решительно заявил Лутковский.

— Это отчего же? — театрально изумился Ленц — отчего именно со мной не пойдёшь? — буйно спросил он Лутковского.

— Ещё не хватало, чтобы ты там бутылку украл.

— Ничего не проси. Сами дадут, — неточно процитировал Булгакова Ленц.

— Этого только не хватало. Тебе что, на бухло не хватает? — возмущенно буркнул Лутковский.

— Экий ты непонятливый, — осуждающе посмотрел на друга Ленц.

— Ну что еще? Я действительно не понимаю.

— Идем, спустимся за поминальный стол — и через десять минут всё поймёшь. Ведь всё по настроению, и по моему, и по твоему настроению, как я понимаю.

— Ну вот откуда ты знаешь о моем настроении? — возмущённо дёрнулся Лутковский.

— Да вот оттуда. Иначе не стал бы ты с порога докладывать мне о своих замыслах написать повесть, да еще жаловаться на то, что эта повесть упорно не пишется. А между прочим, вот тебе тема, вот тебе «тыл» под самым носом, во всей пугающей и необузданной красе.

— Вот еще, — смутился Лутковский, — я не о том хотел писать.

— А о чём? О том, как богемные барышни вяжут солдатам носки?

— И об этом тоже...

— Так об этом тысячу раз писали, — перебил Лутковского Ленц, — ты лучше сходи на поминки, спустись, послушай о чём говорят мужики и бабы. Не дамы и господа, паны та панночки, а именно мужики и бабы, а также дети и подростки, словом, о чем говорит народ.

— Нет, — твёрдо оборвал друга Владимир.

Наступила недолгая, но пронзительная пауза. Лутковски в упор, решительно смотрел на Ленца. Тот в свою очередь нахально, с полупьяной улыбкой рассматривал Владимира. Неожиданно он примирительно вздохнул и ошарашил друга следующим своим решением.

— Тогда я сам спущусь, — Ленц выпил рюмку водки и двинулся к двери.

— Марк, ты что, сдурел, — испугался Лутковский и схватил Ленца за руку.

— Я только понохаю в замочную скважину, чем там пахнет. Может, чем-нибудь вкусеньким, — нагло вывернулся Ленц и тут же рванулся к выходу. Лутковский не успел сообразить, что делать. Дверь хлопнула, и он остался один в комнате.

Устало опустившись в кресло, Владимир в злобе стиснул зубы, мысленно представляя дальнейшее развитие этой истории. Больше всего его возмущало то, что в случае скандала, а скандал ему ка-

зался неизбежным, Ленц отделается только небольшими моральными и возможно телесными ушибами. Ему же, Лутковскому, предстояло жить с этими людьми дальше. Смотреть им в глаза. Напряжённо здороваться при встрече. И переживать то, что собирается натворить сейчас Марк своей индивидуальной совестью.

Сборы заняли несколько минут. Захватив все оставшиеся в доме наличные деньги, Владимир запер входную дверь и начал спускаться по лестнице. Пройдя два пролёта, он нервно прибавил шагу, и даже не оглянувшись на дверь, за которой поминали Олега, быстро спустился к выходу из парадного. Лутковский был уверен, что Ленц сейчас за поминальным столом, и поэтому немало удивился, когда столкнулся с ним в дверях.

— Ты куда это собрался? — удивился Ленц, весело рассматривая друга.

— А ты где был? — не менее удивлённо спросил Лутковский.

— Да вот, за «Бехеровкой» ходил. У нас ведь водка закончилась.

— Так договорились же под Лукьяновку нырнуть.

— Слушай, Володя, мне перехотелось. Не то это, по сравнению с поминками.

— Ты мне о поминках не напоминай.

— Хорошо, тогда давай во дворике сядем. Как-нибудь укромно, от посторонних глаз, а то что-то неохота опять к тебе на кухню. Под ногами поминки и соблазнительные перспективы. Надо сменить обстановку, а? Идём куда-нибудь, потрясём кадыками, доказывая друг другу прописные истины.

— Хрен с тобой, давай.

— Давай, коль хрен со мной — улыбнулся другу Ленц.

5

Друзья забрались в дальний уголок двора, который был окружён кустами еще не осыпавшейся сирени и уселись на бетонных ступенях у давно заколоченных дверей проходного парадного. Это было одно из любимых мест нескольких поколений детей, которые выросли в этих дворах и впоследствии трансформировались в менеджеров, мерчендайзеров и прочее офисное население, склонное к ностальгическим запоям и творчески переработанным воспоминаниям.

В этом же дворе рос и сам Лутковский.

Живущие на другом конце Киева родители Владимира частенько отправляли его в долговременные гости к бабушке, то есть сюда. Академическая занятость и командировки вынуждали их к этим мерам. Впрочем, Володя любил эти поездки, так как любил и саму бабушку — заслуженную и всячески титулованную учительницу русской литературы. Лутковский оставался здесь часто и надолго, по-

этому двор для него был родным. Он знал все сакральные закоулки, все тайны и шорохи, все предания и легенды этого типового послевоенного пятиэтажного советского жилого объекта.

В свое время Володя также неплохо знал и население двора, но будучи уже подростком, постепенно отбилась от этой пристани, стал реже навещать бабушку и со временем «оброс» другими знакомствами.

Окончательно он переехал сюда только после смерти бабушки. Напуганный этим обстоятельством, Лутковский тогда даже хотел продать квартиру, но со временем примирился с уходом родного человека и остался тут жить. Ему было здесь комфортно, хотя и двор, и его население значительно изменились после детства. Немного было знакомых лиц. Чуть больше полузнакомых, в числе которых было и семейство покойного Олега Глоты. Сам Лутковский был старше Олега на несколько лет и хорошо помнил эпизоды его детства. Нельзя сказать, что оно чем-то отличалось от его собственного дворового воспитания.

— Но всё-таки пресимпатичное твоё дворовое болото. И место это уютное.

— Это почему болото? — недовольно спросил Лутковский.

— Да что у вас тут? — отмахнулся Ленц, — все одинаковые, и лица, и биографии. Квартиры распределялись от предприятий, и люди соответственно... хотя пардон, ты, безусловно, знаменитость двора, — рассмеялся Ленц, — даже по телевизору показывают.

— Да на меня-то как раз им всем с прибором, — ответил Лутковский, — тут свои знаменитости есть, и если хочешь знать, весьма эксцентричные типажи.

— Хочу знать, — немедленно ответил Ленц.

Лутковский довольно посмотрел на друга:

— Ну ладно. Вон там, к примеру, на третьем этаже, — Лутковский указал рукой направление, — жил убеждённый самогонщик по кличке Алхимик. Но это был не простой жлоб при самогонном аппарате. Это был, что называется, артист, поэт самогонварения. Он составлял различные настои и называл их соответственно действию, впечатлению, которое они производят на потребителя. — Лутковский почесал затылок, как бы обдумывая сюжет, и усмехнувшись чему-то, продолжил. — Были у него убойные купажи, искажающие до неузнаваемости природу человека, и назывались они страшно: арлекиновка, фантомасовка и психопатовка. Эти состояния Алхимик часто рекомендовал своим клиентам, примерно как врач рекомендует микстуры. К примеру, для разговора с лодырями из ЖЭКа он советовал психопатовку, арлекиновкой снабжал людей перед свиданиями с эксцентричными дамами из соседнего общежития, фантомасовкой интересовалась всё больше публика с криминальными наклонностями, но лишённая природной фантазии. Этими настоями он, как мне кажется, манипулировал людьми, вводя их в

определённые состояния, направлял по выгодному для себя пути, то ли для смеха, а вернее, для самоутверждения. Да, было в Алхимике что-то демоническое. Впрочем, это психология и мои догадки. А в реалии дело шло легко и успешно, пока...

— Постой, — перебил Лутковского Ленц.

— Что случилось? — недовольно спросил друга Владимир.

— Давай выпьем, — предложил Марк. — Аппетитно рассказываешь.

Друзья выпили. Разгорячённый Лутковский вытащил сигаретку и, подкурив ее, выпустил клуб дыма в бесцветное знойное небо. Ленц последовал примеру друга и с напускной нетерпеливостью потребовал продолжения рассказа:

— Ну, что там было дальше? — весело спросил он, — люблю подобных персонажей.

— Дальше, — усмехнулся Владимир, — дальше произошло вот что. Сам Алхимик употреблял исключительно кюммель собственного производства. Он строго придерживался рецептуры рижских винокурен и ни в коем случае не экспериментировал с любимым напитком. Кюммель расслаблял его до философии о бытии человека. И именно в этом состоянии он жил и творил. Но как у мастеров, так и у философов случаются ошибки. И порой эти ошибки фатальны.

— Ты согласен со мной? — театрально строго спросил Ленца Владимир.

— Валяй дальше. Мне не скучно, — ответил Марк.

— Однажды, — продолжил Лутковский, понизив тон до зловещего шёпота, — Алхимик в более расслабленном состоянии, чем обычно, решил садануть поверх любимого настоя рюмку арлекиновки.

— Ну? — нетерпеливо перебил его Марк.

— А вот тебе и ну. За первой рюмкой пошла вторая, а вскоре булькнула и третья. Алхимик с радостью прислушался к своему новому бесшабашному настроению, но, к сожалению, не понял, насколько опасно оно. Новое влекло к дальнейшим высотам. Вслед за арлекиновкой Алхимик решил проглотить стакан фантомасовки и перекурить, но эта спиртосодержащая новость оглушила его организм капитально. Алхимик стал настолько артистичен и самоуверен, что даже подошёл к зеркалу и скорчил рожу, чего раньше никогда не делал даже в детстве. Именно тут, возле зеркала его и осенило. — Лутковский остановил рассказ. Взял в руку бутылку и серьёзно отхлебнул из горла.

— А мне? — возмутился Ленц.

Владимир заторможенным взглядом посмотрел на друга. Передал ему бутылку и в нервном возбуждении продолжил:

— Вдохновенной реакцией на ненормативные напитки, разум Алхимика был осиян новым рецептом. Абсолютовка — именно так он решил озаглавить свой духовный итог, своё завещание миру.

И основой его Абсолюта должна была быть... «Нет, не может быть», — растерянно пробормотал Алхимик и побледнел от догадки. Его шатало от волнения. Он решительно подошёл к сакральной кладовой. Он отчётливо услышал, как мелкой хрустальной дрожью бесятся некогда им наполненные брутальным содержимым бутылки. Резким порывом открыл дверь. В лицо ему захохотала перегаром мутная бутылка ебанутовки...

— Какая ебанутовка? — перебил Лутковского Ленц. — Не было никакой ебанутовки.

— Заткнись, — нетерпеливо крикнул Владимир.

— По ходу что-то придумывает от себя, — продолжил несколько картинно возмущаться Ленц. — Психопатовка была, а не ебанутовка.

— Заткнись. Мысль сбиваешь, — потребовал Лутковский и горячо продолжил: — Не помня себя, Алхимик грубо схватил её за горло. В трахее психопатовки что-то булькнуло, потом еще раз и еще, и, наконец, её мутная сущность горлом полилась в гранёный стакан. Стакан уже был полон, но сущность всё еще лилась и лилась. По рукам, по столу на пол и ниже, ниже, туда, где шипел сам Ад пылающими гадюками и живыми стейками на раскаленных сковородках. Борьба продолжалась несколько минут, пока Алхимик чётко не осознал, что психопатовка умерла. Потрясённый содеянным, Алхимик отскочил к стене. Потом медленно подошёл к столу и пальцем прикоснулся к лежащему труп. Всё было кончено. Машинально, в три глотка Алхимик выпил то, что осталось в стакане от психопатовки. Он тревожно огляделся. Мир новой мерой отмерял ему реальность. И уже эта реальность держала за горло Алхимика, злым шёпотом выговаривая в его посиневшее лицо, что именно он, а никто другой в мире, именно он убийца, и убийца своего же детища — психопатовки...

Лутковский оторвал полубезумный взгляд от Ленца и ошалело оглянулся.

— Давай, продолжай. Не волнуйся, я записываю всё на диктофон, потом запишешь, если еще не записал, — подбодрил друга Ленц.

— Не могу, Марк, — заглотнул Лутковский, — знаешь, я ведь сейчас чуть Алхимика не повесил.

— В сортире на собственных подтяжках? — строго спросил Ленц.

— Нет. Его должны были линчевать повешением его же клиенты-алкоголики, потребители психопатовки, арлекиновки и фантомасовки.

— Да, это лучше, чем самоубийство, — согласился Ленц. — А вообще, существовал этот персонаж, которого ты сейчас так написал, или ты выдумал всё?

— Был, — неуверенно кивнул Лутковский, — и кличка его, и названия напитков, кроме абсолютовки, всё из истории.

— Из истории, говоришь...

— Да, я вот задумал написать эпическую историю нашего двора. Биографии доминошников, алкашей, бабушек, сидящих на скамейках. Это же эпоха. Спаяю их с современными типажам. Тоже попадают забавные.

— Олег Глота, например.

— Оставь его в покое.

6

Владимир сел на бетонные ступени и вгляделся сквозь сирень во двор. Было по-прежнему непривычно пусто. На балкон вышла старушка и внимательно осмотрелась вокруг. Не увидев ничего для себя интересного, она еще немного потопталась на месте, провела ладонью по сохнувшему белью и вошла в комнату. Лежащий на асфальте огромный рыжий кот проводил её невнимательным взглядом, зевнул и лениво шевельнул хвостом. Неожиданно, из-за поворота стремительно вылетели несколько мальчишек, вооружённые игрушечным оружием.

— Ты же сам говорил, что хотел написать повесть про совесть «Тыл», — усмехнулся Ленц.

Лутковский нахмурился:

— Что значит «хотел»? Обязательно напишу, — раздражённо ответил он.

Ленц как-то подло улыбнулся и со змеиной вкрадчивостью спросил:

— А о чём?

— Как о чём. Не знаю, о словоблудии. Об имитации действия, что ли... не знаю, как объяснить, всё время нить теряю. Все атрибуты присутствуют, я имею в виду, люди в камуфляже, разговоры и разговорчики, дамочки, вяжущие носочки солдатакам, и прочие волонтеры, — Лутковский запнулся.

— А также персонажи, которые стальным пером и золотым словом мужественно куют победу в тылу, — вяло усмехнулся Ленц. — Ну, продолжай, продолжай.

— А ну тебя в жопу.

— А ты знаешь, я ведь думал, что ты пошутил насчёт повести. Ну, вернее, не пошутил, а так... останется такая себе нереализованная тема, удобная для разговоров в кабаках. Хорошо поговорить, пофилософствовать в тылу под закуску об этом самом тыле.

— Буду писать, — убеждённо сказал Лутковский. — Только не пойму, с чего начать.

— А ты знаешь, начни с самоубийства и похорон.

— А ты знаешь, я сегодня думал над этим, — язвительно сказал Владимир.

— И что придумал?

— Да литературщина всё это. Хоть и происходило на самом деле. Вернее, вот сейчас и происходит.

— Литературщина? — засмеялся Ленц, — слушай, Володя, не обижайся, ты, конечно, классный рассказчик, но, — Ленц запнулся, подыскивая термин, — несколько гротескный, — продолжил он. — Это безусловный плюс, по-моему. Это подойдёт к твоему замыслу. Я вот что подумал... Хороший поступок, не вызванный состраданием — это социальная механика, навязанная обществом, общественным мнением, а это самое мнение только и может спекулировать социальными статусами. Хороший поступок при грамотном расчёте порой очень прибыльное дело. И общественное мнение награждает таких хорошистов весьма щедро. К тому же, как ты видишь, общественное мнение не призывает к состраданию. Или не видишь?

— Нет, ну это возмутительно, — нахмурился Лутковский.

— Конечно, возмутительно. Вот ты и возмущаешься.

— Я твоими голословными и наглыми утверждениями возмущён.

— Да? А сам-то ты страдаешь семье этого Глоты? Может, ты сейчас рядом с ними? Может, ты рядом с семьей Глоты и у тебя сердце кровью обливается...

— Иди ты в задницу.

— Да я серьезно. Смерть — дело привычки. Наличие трупа порой не так расстраивает, как отсутствие сигарет. Вообще, смерть — хорошая тема для разговора. Она утверждает жизнь, — Ленц сорвал подувявшее соцветие сирени и дружелюбно бросил им в Лутковского. — Посмотри, какой восхитительный цветной праздник на кладбищах в поминальные дни. Какая жизнерадостная суета. Лица живых светятся по-особому. Это самый главный праздник жизни, и такой праздник может состояться только на кладбище. Мда, только там живой ощущает себя в полной мере живым. Это же целая мистерия с обильными возлияниями и закусками. Обрядами и традициями, которые соблюдаются и передаются поколениями. И, кстати, этот праздник один из самых любимых в народе. Радуница — название-то какое радостное, чистое, весёлое.

— У нас «гробки» это праздник называют, — хмуро ответил Володя.

— У вас вообще... мда, безобразие... но, всё же, не гробы, а в умилительно-ласкательном варианте, — Ленц весело посмотрел на Лутковского.

Лутковский отвёл взгляд от друга и посмотрел на двор. На дворе всё было по-прежнему. Пустое пространство с мёртво лежащей пылью и разбросанными в ней похоронными цветами, алеющими на асфальте пятнами грязной крови. Две женщины вышли из

парадного, тихо переговариваясь. У обеих в руках были пакеты. Одна из них свернула с дороги к мусорному баку и, подойдя к нему, высыпала в миску, выставленную для кошек и собак, объедки и громко позвала — «кис-кис-кис». Рыжий кот быстро подбежал к миске и, понюхав предложенное, принялся осторожно есть. Птица вспорхнула с ветки. Больше ничего. Тишина. Тяжёлое марево тупым, бездушным зноем растеклось по бетонным районам города. Казалось, даже время остановилось, вплавилось в раскалённый асфальт и больше никогда не вырвется из этого капкана.

— То-то ты весь в сомнениях, Марк.

— Что, так заметно? Это плохо. Сомнения в себе рождают у окружающих сомнения в вас, друзья мои, — сказал Ленц, обращаясь к пустым окнам многоэтажки.

— И ты моментально становишься лёгкой добычей для окружающего тебя мира, — пробормотал Лутковский.

— Что? — машинально спросил Ленц.

— Трагедия мыслящих людей.

— А? Да, может быть, — рассеянно пробормотал Марк, после чего сел на ступеньки и налил в стаканчики очередную порцию алкоголя. Не чокаясь, выпили. Ленц повесил свой стаканчик на обломанную ветку сирени.

— Сирень ломали, — сказал он.

— Да, ломают, — подтвердил Лутковский, — я тоже когда-то ломал бабуге. Она любила, хоть и ругала меня за это.

— Слушай, я тебе расскажу еще про одного знакомого, так сказать, парадоксиста. И заметь, эта история полностью правдивая, в отличие от твоих литературных занятий. В компанию твоему Алхимику в самый раз. Напои его абсолютовкой и используй.

— Любопытно.

— Очень. Итак... как начать-то, не знаю. Словом, дофилософствовался один симпатичный персонаж литературного подполья... ладно, неудачно скаламбурю — застолья — до повседневного понимания астрономов и не только их, что планета Земля, в конечном итоге, прекратит своё существование, то есть планета тоже смертна. А, следовательно, и человечество со всей животной периферией вымрет тоже. Люди и прочие животные, ладно, туда им и дорога, наверное, думал он, обгрызая грязные ногти, но то, что превратится в ничто всё, что человек создал! — всё великое, всё невообразимо ценное — великая литература, архитектура, музыка, живопись и далее всё, всё, всё... эта «новость» поразила его наповал. Причём, успокаивающие для живущего большинства сроки в миллиарды лет на него не действовали. Он, что называется, погрузился во тьму. И во тьме этой он видел скользящие по заданной орбите обломки Земли, а также обломки культурных объектов земной цивилизации. Всё человечество с его историей оказалась ему бессмысленным. Даже заманчивая доктрина существования духа вне мате-

рии не вдохновляла его. Больше всего его расстраивало то, что вместе со всем миром испарится и Достоевский с Шопенгауэром, и далее Сведенборг с Даниилом Андреевым. Это выводило его из себя. При мне он открыл альбом с фотографией Венеры Милосской и едва не расплакался. Он оплакивал её — представляешь? Парень дошёл до нервного расстройства. Он, конечно, не бросался на стены, но очень изменился, поверь мне, даже физически он изменился. Я надеюсь, ты понял, что речь идёт не о банальном похудении? Я тогда часто разговаривал с ним. Все его разговоры, даже всё его молчание требовало одного — пощупать Бога. Пальцем дотронуться до него, по его выражению. Не увидеть, не ощутить, а именно дотронуться...

— Что это за Фома неверующий у тебя? — перебил Ленца Лутковский.

— Да так, из компании Сикорского и Ошева. Но это не важно. Важно, что он доходил до иступления, до религиозного иступления, а еще важнее, что всё это прошло и представь себе, безболезненно, без пеленания человека в смирительную рубашку или того хуже.

— И как, любопытно?

— Просто. Его искания обстебали симпатичные девушки.

— Вот тебе и финал.

— Вот тебе и большинство финалов таких вот искателей. Не от этих ли остроумных, острословных насмешек и бежали в пустыню пророки?

— Ну, не знаю — смутился Лутковский. — Но концовка какая-то тихая.

— Это тебе что, литература?

— Ну, не знаю...

7

Ближайшее знакомое друзьям питейное заведение находилось недалеко от дома Владимира. Это был подвальчик с непростой историей, сменивший несколько раз хозяев и целевую аудиторию.

До начала 90-х эта локация была приписана ЖЭКу для ведения хозяйственной деятельности по благоустройству территории и использовалась как подсобное помещение. Здесь хранили инвентарь, ветошь, плакаты, которые извещали граждан об очередных победах социализма, а также портреты вождей, генеральных секретарей и прочий нужный хлам. Заведовал всем этим хозяйством пожилой мужчина, которого все приписанные к ЖЭКу жильцы знали исключительно по отчеству — Ильич. Подконтрольное ему помещение Ильич украсил портретами двух тёзок — Ленина и Брежнева. Изображениями остальных руководителей он манкировал, кроме одного. Журнальная вырезка с «отцом всех времён и народов» Иосифом Джугашвили-Сталиным также украшала стену этого помеще-

ния. Изъятый в своё время из этой агитационной коллекции портрет Сталина Ильич пытался восстановить, но неудачно. Дело было так: реабилитировать культовую персону Ильич решил на портрете его обидчика волонтериста Хрущёва, но, как говорилось выше, эта попытка окончилась полным фиаско. Пририсованные Никите Сергеевичу усы Иосифа портили имидж как упомянутых руководителей по отдельности, так и всего советского государства в целом. Разочаровавшись в живописи, Ильич скрыл своё безобразие в топке, но не успокоился. Натура этого человека требовала действия. И наконец, эта жажда реализовалась в новой доктрине. А именно — Ильич разработал инновационную схему бытия. Его философия и жизненный опыт трансформировались в некую субкультуру, которую некоторые его современники оценили по достоинству.

Идея собрать вокруг себя идеальное общество и осчастливить его, реализовалась в следующей конструкции. Ильич вошёл в контакт с людьми, которые потенциально были готовы к переменам, и собрал общину из тридцати одного пенсионера. Это число не было случайным. Это число полного месяца. Далее — каждый день в этой группе пропивалась пенсия одного из посвящённых участников. Деньги, которые оставались в неполные месяцы, аккуратно учитывались, суммировались и грандиозно пропивались в великие праздники: 7-е ноября, 1-е мая, 9-е мая, а также в новогоднюю ночь и в траурные дни поминок внезапно умершего члена группы. Выбывшие естественным образом участники концессии заменялись персонами из числа наиболее перспективных соискателей. Учитывалось всё — размер пенсии, рекомендации и характеристики действительных членов общины, а также состояние физического и психического здоровья соискателя. Особо учитывалась психологическая совместимость человека с соседями и родственниками. Словом, меры предосторожности соблюдались на должном уровне. Из всего этого делались выводы, которые обсуждались коллегиально, на ежедневных попойках. Особенно тщательно рассматривались биографии кандидатов, их жизненный путь. Предпочтение отдавалось участникам боевых действий, бывшим работникам правоохранительных органов, а также добровольцам великих строек социализма, словом, тем историческими персонажам, которым было что рассказать при застолье. Но допускались и просто хорошие люди, которые честно прожили свою жизнь, но не были отмечены чем-то выдающимся. Эти члены товарищества отличались хорошей пенсией, нереализованной удалей и умением прекрасно рассказывать анекдоты.

Конечно, на эту компанию обратили внимание и даже хотели привлечь Ильича к ответу, но у него было сильнее лобби, состоящие из кавалеров высших наград Советского Союза и даже одного Героя социалистического труда. Под таким прикрытием праздник мог бы продолжаться вечно. Если бы не это неумолимое и вечное «если бы».

Нет ничего вечного в нашем обозримом настоящем, кроме этого словосочетания. Если бы не ряд причин, приведших к закономерным последствиям, в результате которых, однажды...

Однажды всё рухнуло, включая Союз нерушимый.

С развалом Союза, обретением Украиной независимости и переходом на новые экономические рельсы у перспективного нежилого блока появился конкретный хозяин со своими планами и ключами. Сразу после того, как этот хозяин вступил в право собственности, он прогнал Ильича и заменил дверь. Ильич сгинул в бурях перемен. Из той же бури на свет вышли другие исторические персонажи.

Первая вывеска над шестью ступенями вниз извещала граждан, что здесь, за тяжёлой бронированной дверью появилось новое братство, а именно спортивный клуб, культивирующий строительство тела. Короткостриженные строители, одетые в спортивные костюмы и лакированные туфли, дали поэтическое название своему клубу. Они назвали его «Атлант». Подобные подвалы с самодельными тренажёрами открывались по всему пространству рухнувшей империи и имели грозную славу. Это был франчайзинг по производству пушечного мяса для криминальных войн. Конкретно этот клуб принадлежал охранной фирме «Конкретное решение» и ковал железных сотрудников сей грозной организации. Рекламный слоган под вывеской «Атлант» гласил: «Реальные цены на реальные услуги». Наверное, поэтому молодые люди, оказывающие эти услуги, называли себя реальными пацанами. Услуги клуба далеко выходили за рамки, дозволенные уголовным кодексом, из-за чего ротация в рядах пацанов была частая. Текучесть кадров была обусловлена горячим временем накопления первичного капитала. Время селекционировало нового человека, и многие из горячих сторонников конкретных решений так и не пережили этот сложный период, успев накопить первичный капитал только на подержанную иномарку, похороны и чёрный мраморный памятник в полный рост. Реальные пацаны меняли реальность, но, в конце концов, реальность изменила их. Похоронив соратников и закопав конкурентов, остепенившиеся перед ликом смерти атлеты легализовали свою разбойничью деятельность, объявив себя бизнесменами, и свободное время предпочли проводить в кафе, ресторанах и банях, совершенно забросив тренировки.

Так, в начале 2000-го года атлетический клуб «Атлант» прекратил свою работу, и освободившееся помещение вскоре переоборудовали в кафе под лихой вывеской «Похоть». Эти перемены мгновенно оценил Лутковский.

Однажды, гуляя по району в компании друзей, он остановился как вкопанный. Владимир был поражён столь вольной атрибуцией

нового пункта общественного питания. Увидев светящееся неонем это вульгарное слово, юный и горячий Лутковский ощутил манящую потребность, граничащую с первым половым влечением, немедленно посетить «Похоть». И, конечно, Владимир спустился на это дно, где к своему удовольствию обнаружил уютный притончик, наполненный душевным контингентом. Здесь Лутковский надолго растворился в месиве и пространстве, которое каждый вечер заполнялось вольными студентами, липовыми бандитами, юными предпринимателями, а также мелкими, очень мелкими, даже микроскопическими буржуа-рантье, которые сдавали квартиры, комнаты и даже углы своих умерших бабушек креативным менеджерам и пропивали получаемые от нового перспективного сослуживца деньги в подобных злочных заведениях.

Ах, если бы знали они, кто оплачивает их застолье. Кто отдаёт большую часть своей зарплаты в их трясущиеся от похмелья руки и униженно называет их хозяевами, копя в душе зависть и злобу. Кто работает в ненормированном режиме, стремясь железными когтями зацепиться за окраины столицы и не скатится опять в бесперспективные хляби провинции. Кто они?

Менеджеры низшего и среднего звена. Работа, аренда жилья, ипотека, кредиты, романы Пелевина, Коэльо, Мураками и огород в родном селе — всё это сделало из людей со средними умственными и физическими способностями необычайно живучих существ, способных приспособливаться к любым экстремальным условиям. Эти качества, приобретённые в эволюционном споре с другими видами, выделили менеджеров в наиболее конкурентоспособный вид своего времени, который требовал для себя всё больше и больше места, как под солнцем, так и у барной стойки. По пятницам и субботам они организовывались в задорные компании, которые громко обсуждали на своём рабочем сленге свои насущные дела, подчёркивая тем самым свою принадлежность к некоей новой субкультуре. Они также культивировали и своё внешнее отличие от остального населения. Розовые мужские рубашки под блестящими костюмами и строгий тоталитарный стиль офиса у женщин выделяли эти компании в особый фон города. Вскоре этот фон вытеснил все остальные творческие проявления и полностью завладел пространством. Однотипные деловые здания заполнялись однотипными деловыми людьми, которые оптимизировали реальность под конкретные стандарты. Под новый класс стандартизировалась и сфера услуг. Организованное платежеспособное сообщество не устраивали прежние критерии сервиса, и славное кафе потеряло для многих свою актуальность, оказавшись в числе непрестижных клоак с запахом еды в зале и дешёвым алкоголем. Тихий центр вытеснил «Похоть», и её место занял суши-бар «Панда».

Почему именем одного из символов Китая назвали столовую с японской кухней, сказать было сложно. По-видимому, этот красивый бамбуковый медведь у хозяина заведения больше ассоциировался со страной восходящего солнца, и именно поэтому на вывеске упомянутое животное было изображено на фоне багрового восхода, что, несомненно, производило определённое впечатление на несведущих в зоологических тонкостях посетителей. Впрочем, всё это мелочи, на которых, возможно, и не стоило бы останавливаться, если бы можно было остановиться на чем-либо более серьёзном. К сожалению, нет. Ничего интересного о суши-баре «Панда» рассказать нельзя, так как ничего интересного там не происходило.

У Лутковского были весьма скудные впечатления об этом месте. Пару раз он заходил туда, делал заказ, пил сакэ, закусывал роллами и разочарованным покидал «Панду», не найдя в ней ни душевности, ни покоя. Этот стандарт объединял других посетителей. Долго казалось, что всё это станет незыблемым правилом поведения большинства на многие десятилетия, но ничего подобного не произошло.

Как всегда — критическая масса одинаковых людей стала объектом для злых и остроумных шуток. Это не были уважительные остроты про «новых русских» первого десятилетия новой эры. Это было откровенное презрение к целому классу людей. Мерчендайзеры, супервайзеры и прочий хлам делового мира обговаривались в самых уничижительных выражениях. Достоинство ответить на такие высказывания эти молодые люди не могли, так как, увы, творческий потенциал данной группы был сведён к стандартному офисному юмору. Оставаться менеджерами стало не модно. А то, что не модно, не культивируется в свободное время. «Панда» не пережила даже ближайшего мирового экономического кризиса и тихо умерла.

Этот факт Лутковский даже не сразу заметил. Его внимание было отвлечено от «Панды» сооружением нового клуба в помещении бывшего хлебного магазина «Булочная №1», который в своё время соседствовал с Владимиром. Хозяева этого притона долго не могли принять решение о названии. Об их сомнениях случайно, через своего знакомого гомосексуалиста, узнал Владимир и предложил учредителям оставить старую вывеску — «Булочная №1». Так с его лёгкой руки у него под домом появился гей-клуб с экстравагантным названием, чем Лутковский очень гордился. Не посещая это заведение, он часто рассказывал о «Булочной» как о значном объекте в разных богемных компаниях и даже сочинил о клубе стихотворение, которое с удовольствием читал со сцены. Словом, Лутковский гордился своим вкладом в историю города.

Что касается подвала с шестью ступеньками вниз, то он трансформировался в магазин «Продукты 24», открытый молодой и симпатичной девушкой Аней. Впрочем, она очень скоро сообразила,

что самый ходовой товар в данной локации — это алкоголь. Про-заические продукты питания быстро уступили место завлекательной вывеске «Вина Крыма». Место пользовалось спросом, тем более что в магазинчике было несколько столиков для дегустации вин. Среди спорящих на разные темы дегустаторов часто оказывался и Владимир Лутковский. Наспорившись, он шёл домой отсыпаться, чтобы через несколько трезвых дней опять вступить в спор об искусстве или геополитике. Туда же иногда заходил и Олег Глота поговорить со своими друзьями о спорте и политике. Короче, место было бойкое. Владимир и Марк решили отправиться именно туда.

По дороге Ленц постоянно требовал слушанных и переслушанных историй об этом подвале. Ему хотелось окунуться в атмосферу того Киева, который был до всех политических и социальных перемен последнего времени. В руках у Марка были цветы для Ани. Эти цветы он подобрал на асфальте у подъезда Владимира. Цветы с похорон Олега Глоты.

8

До винной лавки идти было недолго, минут пятнадцать вольным шагом, но друзья шли гораздо дольше. Ленц постоянно отвлекался на мелочи. Рассматривал фасады домов, комментировал сохнувшее бельё на балконах, особенно женское, рвал незрелые яблоки с деревьев и, сморщившись от кислого вкуса, швырял их в стены и заборы. Было видно, что его что-то беспокоило, как будто он что-то потерял и искал эту потерю в бытовых мелочах сонного, распаренного летней жарой города. Лутковский заметил это и сам невольно оглядел знакомое пространство.

Всё было, как и прежде, как всегда. Дома послевоенной застройки с палисадниками возле парадных. Низкорослые яблони. Могучие каштаны с образцовыми кронами, в тени которых стояли самодельные лавочки. На лавочках чинно сидели старушки, внимательным взглядом провожавшие друзей. Одна из них позвала Лутковского:

— Володя, подойди сюда.

Тот послушно отправился к грузной белокурой женщине.

— Здравствуйте, Лидия Владимировна, — уважительно сказал он.

— Ты на кладбище к бабушке когда поедешь?

— Ну, не знаю, — неуверенно ответил Лутковский. — Наверное, на её день рождения съезжу.

— Ты вот что, Володя, когда надумаешь ехать, то мне скажи. Я с тобой поеду. Сложно мне в автобусе, а у тебя машина.

— Хорошо, тётя Лида, скажу.

— Вот так, — добродушно сказала женщина и, подумав секунду, спросила: — Олега похоронили, а тебя не было. Ты чего не поехал?

— Не хочу, — поморщившись, ответил Лутковский.

— Ну ладно, — махнула рукой Лидия Владимировна. — Ты только зайди к Вале. Скажи ей что-нибудь.

— Хорошо, зайду, — послушно сказал Владимир.

— А это кто с тобой в военной форме? — грузная Лидия Владимировна указала на подошедшего ближе Марка. — Тоже военный, как Олег? — спросила она.

— Я рыбак, — ответил за Лутковского Ленц, — только с рыбалки приехал.

— Ну и дурак, — ответила на это Лидия Владимировна. — Ладно, идите. Не пейте только сильно, — по-доброму отпустила она приятелей и добавила, — алкоголики.

Лутковский толкнул в бок Марка, который хотел что-то ответить доброй женщине, тот мгновенно осёкся, и они молча пошли своей дорогой.

— Володя, а ты не колешься? — вдруг спросила Лидия Владимировна уходящего Лутковского.

— Не, не колюсь, — обернулся Лутковский и прибавил шагу.

Завернув за ближайший угол, Ленц притормозил Лутковского.

— Стой. А давай здесь еще выпьем. За углом.

— Что-то колбасит тебя сегодня, Марк. Места себе не находишь, — настороженно сказал Лутковский, свинчивая пробку с бутылки «Бехеровки».

— А кто эта почтенная дама? — спросил Ленц, выглянув за угол.

— Тётя Лида. Подруга бабушки. С ней в школе работала. Математике дураков учила.

— И тебя?

— Нет, я в другой школе учился.

— Судя по твоим робким ответам этой тёте Лиде, она влияние на тебя имеет. Гоняла тебя с бабушкой за курение?

— Гоняла, — ответил Лутковский, отхлебнув из горлышка и передав бутылку Ленцу. Марк, в свою очередь, закурил и передал пачку Владимиру.

— Ну что, покурим не в затыжку, пока шухер не подняли, — улыбнулся он.

— Жвачка есть зажевать? А то училка мамке запалит, — подыграл ему Лутковский.

Ленц отхлебнул из горла и упёрся взглядом в бледно-голубое небо. По выцветшему летнему бескрайнему пространству нехотя, лениво, с востока на запад плыли облака. На их белом, как бумага, фоне зависла чёрная галочка птицы, которая через секунду рванула в сторону невидимым росчерком и растворилась в этой вечной

неиссякаемой глубине. Лутковский таким же прищуренным взглядом окунулся в эту вечность. Чем дольше друзья смотрели в небо, тем тише и спокойнее становилось вокруг. Казалось, это бескрайнее пространство впитывало в себя все лишние звуки, наполняя мир гармонией, умиротворяя хаос, привнесённый человеком.

— А сколько километров до космоса? — неожиданно спросил Ленц.

— Не помню, километров сто, по-моему.

— Что значит, по-твоему? А по мнению учёных?

— Это по их мнению. Я точную цифру не помню.

— И хрен с ней, с точной цифрой, — задумчиво сказал Ленц. — Главное, мы выяснили, что это недалеко — за час на машине добраться можем. Поехали. Где твоя «Дэу», не пропил еще?

— Пьяными быстрее доберёмся, — ответил Лутковский. — До первого столба и напрямиком в ад.

— А почему в ад, а не в противоположную сторону?

— Туда пьяными не ездят, — ответил Владимир.

— Откуда ты знаешь, какими туда ездят, — Ленц отхлебнул из горла и передал бутылку Лутковскому. — Муть какая-то. Стену, что ли, обоссать, — задумчиво сказал он. — Ладно, идём к Ане, а то цветы совсем завянут.

Приятели снова бодро пошли в выбранном ранее направлении. Лутковский время от времени пытался вырвать у Марка подобранные им цветы и выбросить их куда-нибудь подальше. Он справедливо считал этот жест друга неоправданным цинизмом, неостроумной выходкой, незаслуженно оскорблявшей как покойного Олега Глоту, так и Аню, которую такой подарок, несомненно, возмутил бы до глубины души. Владимир пытался это втолковать Ленцу, но тот игнорировал все его аргументы и отшучивался каким-то тяжёлым, не свойственным ему-прежнему юмором.

9

В магазине стояла тишина, и было пусто. За стойкой никого не было. Так что, зайдя в помещение, Лутковский и Ленц остановились в секундной нерешительности, соображая, как поступить дальше — звать ли хозяйку или молча подождать её появления. В эту невольную паузу Владимир огляделся по сторонам. Магазин предстал в привычном оформлении. Фотообои, на которых были изображены винные бочки и бутылки. Поверх них красовалась наклеенная карта Крыма с географическим обозначением института виноделия «Магарач» и портретом Никиты Хрущёва. В самом помещении стояли несколько круглых столиков для дегустации вин и иной алкогольной продукции. На отдельном стенде покупателям предлагались коньяки и настойки в слегка запylённых бутылках,

что свидетельствовало о непопулярности здесь этих недешёвых напитков. Стопка пустых пластиковых стаканов на стойке и непривычная пустота.

Пустота была заполнена жарой и еле уловимым запахом винных испарений. В этом кислом мареве тяжело прожужжала оса и села на лоб Ленцу. Тот отмахнулся. Оса перелетела к Лутковскому, который в свою очередь испуганно замахал ладонью и, проклиная матерщиной насекомое, заметался по помещению. На этот шум немедленно вышла Аня — хозяйка заведения. Она внимательно присмотрелась к происходящему и дружелюбно усмехнувшись, констатировала:

— Явились.

— Мы запылились, Аня, — сурово ёрничая, ответил ей Ленц. — Мы с ног до головы во прахе. К тому же мы жутко устали. Так что налей нам лёгкого прозрачного вина, милая Анюта.

— Рислинг холодный подойдёт?

— Вполне, — согласился Ленц и протянул Ане цветы.

— Вот ещё, — удивилась девушка. — Откуда веник принёс?

— Как откуда, — усмехнулся Ленц. — Из цветочного магазина. Такие цветы на дороге не валяются.

— Дохлые какие-то цветочки, — с сомнением констатировала Аня. — Небось, тёлки не дождался какой-то, а выкинуть полюбился. — Аня скептически рассмотрела букет и поставила его в красивую пивную кружку, снятую для этой цели со стенда, налив предвзвешенно в неё воды из пластиковой бутылки.

— Вот уж нет, Аня. Всё было совсем не так, — решительно ответил на предположение девушки Ленц. — Володя, подтверди. — Потребовал он правды от друга.

— Не так. — Печально вздохнув, согласился Лутковский.

— Ладно, пейте вино, — усмехнулась Аня. — А я только открылась. Всё утро как белка в колесе.

— Что так? — спросил Марк, принимая литровую бутылку вина.

— Брат из Крыма приезжал. Документы ему здесь надо оформить для его делишек.

— И как там, в Крыму? — поинтересовался Ленц.

— Ничего, — равнодушно ответила Аня. — Он мне свой телевизор пересказал, я ему свой. Почти поссорились.

— Отчего же «почти»? Что вас остановило на этом пороге? — Спросил Лутковский.

— Ну как... близкие люди...

— Это не тормоз для нормальной ссоры, — перебил девушку Ленц. — Брат на брата — это нормальный исторический процесс.

— Наверное, — пожала плечами Аня, — но мы не поссорились. Вернее, почти поссорились.

— «Почти» — это не поссорились, — усмехнулся Лутковский.

— Ты не прав, Володя, — убеждённо ответил Ленц. — Эмоциональная невысказанность очень опасна. Такое, бывало, наворотишь в себе месиво, что отравиться от собственных мыслей можно. Это ведь только кажется, что человек молчит. А на самом деле постоянно лясы точит и в большей степени со своим воображением. Доказать самому себе, что ты круче всех — милое дело. Уверен, что большинство людей, задумчиво идущих или едущих по городу, спрят с воображаемым персонажем — родственником или другом, но в исконном варианте с самим собой.

— Марк, ты за всех-то не расписывайся, — сказала Аня.

— Ну хорошо. Вот ты в машине едешь. Или идёшь куда-нибудь, о чём думаешь? — спросил Аню Ленц.

— Не переживай, — ответила Аня, — исключительно о тебе. Кстати, а где ты пропадал? С зимы тебя не видела. Или с весны, не помню.

— Он под Донецк консервы возил и проповеди пастырей, — ответил за Ленца Лутковский. — Я же рассказывал тебе.

— Если бы ты говорил мне, я бы запомнила, — веско ответила Аня. — А почему пастыри сами туда не ездят? — спросила она.

— Ездят, — нехотя ответил Ленц. — По крайней мере, одного я видел.

— Слушайте, давайте я с вами выпью. За возвращение.

— Я не воевал, Аня, — рассмеялся Ленц.

— А что ты там делал?

— Пердел да бегал.

— Слушай, не пошли, — обиделась Аня, слегка покраснев. — Что это за юморок у тебя туповатый появился?

— Ладно, Аня, не обижайся на это. Просто сорвалось...

В магазин зашёл пожилой человек и, не обратив внимания на Ленца и Лутковского, попросил у Ани налить полуторалитровую бутылку портвейна. Пока Аня отпускала вино, покупатель напряжённым, доверительным шёпотом сообщил ей о скандальной смерти Олега Глоты, не называя, впрочем, ни имени, ни фамилии, которые, по всей вероятности, не знал. Со слов этого информатора выходило, что из-под Донецка приехал солдат и сразу повесился. Аня посерьёзнела и, отпустив клиента, мрачно спросила:

— Вы с похорон, что ли?

— С чего ты взяла? — мрачно буркнул Ленц.

— Не знаю. Странные вы какие-то сегодня. И цветы эти, — Аня подозрительно покосилась на букетик в пивной кружке.

Лутковский хотел что-то сказать, но Ленц перебил его:

— Вовкин сосед от передоза помер. Представляешь, с войны вернулся, а тут накрыло парня. Но на похоронах мы не были, — торопливо добавил Марк.

— Какой сосед? — обратилась к Лутковскому Аня.

— Олег Глота. Может быть, знаешь, — ответил Владимир.

Аня задумалась. На лбу у девушки собрались морщинки, глаза затянула тревога. Она покачала головой.

— Не помню, — сказала она. — А как он выглядит?

— Да как выглядит, — пожал плечами Лутковский. — Обычно. Рост средний. Волосы тёмные... Что ещё? — Владимир смущённо задумался. — Одежда как одежда. Такая как у всех одежда. Шарфик «Динамо» только...

— С шарфиком помню, — всплеснула руками Аня. — Надо же.

— Может, не того помнишь? — недоверчиво усмехнулся Лутковский.

— Того, — уверенно вмешался Ленц. — Футболка, штаны, шарфик, семечки, сорт пива, бабы, разговоры. Всё у них одинаковое.

— У кого это у них? — недовольно спросила Аня.

— У фанатов.

— Ну, знаешь, мой папа тоже болельщик.

— Я не о болельщиках говорю, Анюта, а о фанах, ультрас, — перебил Аню Ленц. — И неважно, чего они фанаты — мотоциклов, рок-группы или футбольной команды — это люди в ареале своих кумиров, и выйти из этого ареала очень сложно.

— Расскажи, что у вас просто, — усмехнулась Аня. — Тоже за километр видно, что художник или писатель. И одевается одинаково, и говорите тоже. Так что не надо на других херню всякую говорить. Просто не сотвори себе кумира.

— Не сотвори из себя кумира, — громко и торжественно сказал Лутковский, как будто его осенило, и, запнувшись на фразе, он неожиданно икнул.

Зазвенел колокольчик, дверь открылась, и в магазин протиснулся очень толстый человек.

— Здравсте, — фамильярно сказал он и близоруко прищурился, разглядывая Ленца и Лутковского.

10

Это был человек небольшого роста при выдающихся телесных габаритах, с копеечным немигающим взглядом, крупной зальсиной и беспокойным поведением. Даже стоя на месте и вглядываясь в наших персонажей, он заметно волновался, по крайней мере, визуально создавалось именно такое впечатление. На нём была футболка с Тарасом Шевченко в камуфляже и разгрузке. Кроме того, Кобзарь держал в руках винтовку М-16. Мужчина вытер о футболку руку, улыбнулся и протянул ладонь в сторону Ленца и Лутковского.

— Привет, — обрадовано сказал он. — Не ожидал вас здесь увидеть.

— Привет, Аркаша, — удивился Ленц. — И я тебя не ждал здесь. Каким ветром?

— По работе, — кратко, но не без гордости ответил толстый мужчина. — Я теперь на телевидении, — добавил он с напускным равнодушием.

— Кириченко, не мути, — недружелюбно сказал Лутковский. — На каком телевидении? Кто из идиотов тебя туда забрал и что ты здесь ищешь?

— А что ты стартуешь сразу? — обиделся на Лутковского Аркадий. — Ну, Паша Онисько устроил на «плюсы». Он сейчас...

— Знаю, где он сейчас, — прервал рассказ Аркадия Лутковский. — А здесь чего? Нас искал для интервью?

— Нужны вы кому-то, — высокомерно хмыкнул Кириченко. — Тут герой войны с собой покончил. Застрелился.

— А то, что он застрелился, это точно? — перебив Кириченко вмешался Ленц.

— Точно. Похороны были вот только. Мы опоздали. Но парень герой.

— Этот парень мой сосед, — после короткой паузы сказал Лутковский. — Он накачал себя наркотой до смерти, предварительно обложившись иконами.

Кириченко выпучил глаза и громко, по слогам произнёс: — Ни-ху-я-се-бе! — с каждым слогом глаза его расширялись всё больше и больше. В этой карей пустоте замерцали радостным предчувствием какие-то безумные искры. Даже сам матерный выкрик выражал удовлетворение и радость, как при находке чего-то ценного. Глядя на журналиста, Ленц скептически усмехнулся и сказал:

— Знаешь, Аркаша, когда-нибудь в Киеве памятник поставят жертвам журналистики. И даже не памятник, а мемориал.

— Памятник, — растерянно пробормотал Кириченко. — Так стоит же. На Отрадном, в парке.

— Ты видел это чудо? — Ленц обратился к Лутковскому.

— Рука с эскимо. Да, видел, — равнодушно ответил Владимир.

— С микрофоном, — поправил Кириченко.

— Тогда уже скорее с гранатой, — усмехнулся Ленц. — Но я, Аркаша, о другом памятнике говорил. С диаметрально противоположным смыслом. Ты всё прослушал, Аркаша. А ещё интервью у Володи хочешь взять.

— Да, — Кириченко хищно, в упор посмотрел на Лутковского, — Ты наговоришь нам на камеру, а мы поставим в титрах, что ты писатель.

Лутковского внутренне передёрнуло от этого предложения. Он брезгливо поморщился и неожиданно для себя согласился. Эта перемена от полного неприятия до согласия произошла мгновенно,

без мучительных раздумий и сомнений. Как будто кто-то переключил телевизор с одного канала на другой. Перед глазами Лутковского вспыхнул экран, с которого он говорит правильные вещи, правильным тембром голоса, с правильным выражением лица и под этим видением отчётливо сияла подпись: «Владимир Лутковский, писатель». Некая неконтролируемая сила накрыла Владимира, он ощутил значительный прилив энергии, который был способен сокрушить нравственные кордоны.

Эта будоражащая трансформация была обычной реакцией Лутковского на подобные предложения. Их было немного, и от этого каждое из них действовало с силой убойного галлюциногена. Другое дело, результат этих появлений на экране. Владимиру всегда было немного стыдно смотреть на себя со стороны. Чувство разочарования гасило первичные эмоции, накрывавшие его в момент съемки. И, тем не менее, Лутковский всегда принимал предложения интервью, особенно телевизионного.

Не остановила Владимира даже настоятельное требование Кириченко снять интервью у парадного, из которого только что выносили тело Глоты. Насмешливое молчание Ленца и скептический взгляд Ани тоже не повлияли на решение Лутковского.

— Скоро приду, — мрачно бросил он в сторону друзей и пошёл вслед за Кириченко.

На улице стоял микроавтобус с логотипом ТВ, у которого молча курили двое парней. Увидев выходящих из магазина Аркадия и Владимира, один из них недовольно прокричал:

— А где бухло? Почему с пустыми руками?

— Работа есть, — делово ответил Кириченко и, указав пальцем на Лутковского, представил его. — Это сосед того парнишки. Сейчас снимем его и бухнём.

Владимира покорило от слова «сосед». Такое определение аннулировало всякий стимул к съемкам. Владимир задумался, как бы поинтересней послать эту затею к чертям, вместе с Кириченко и всей его шайкой, но тут один из телевизионщиков узнал его.

— Простите, вы Лутковский? — спросил он и протянул руку. — Саша. — Представился он и добавил, — у меня ваша книга есть, про клоунов.

Лутковский невольно поморщился, маскируя этим своё явное удовлетворение от того, что его узнали, и, поймав себя на этом противоречии, искренне протянул руку Саше.

— Очень приятно, — сказал он и, попытавшись состричь, добавил. — Читаете мои книги, у вас хороший вкус.

Обменявшись рукопожатиями, Владимир попросил сигарету у Саши. Тот суетливо достал пачку и зажигалку. Лутковский, внимательно смакуя эту хлопотливую моторику вокруг своей персоны, по-доброму сказал:

— Кстати, в магазине тусуется Марк Ленц.

— Ленц, — повторил Саша, — не знаю. А кто это?

— Хороший поэт. Мой друг.

— Нет, не знаю. Не читал, — с сожалением ответил Саша.

Лутковский невольно улыбнулся, но эту приятную для Владимира беседу прервал Кириченко:

— Ну что, поехали? — обратился он ко второму парню, молча стоявшему рядом. — Валера, заводи. Саня, Володя, по местам.

— А что снимать будем? — уже в микроавтобусе по-деловому спросил Саша.

— Вот Лутковский говорит, что парень этот не стрелялся, а от передоза умер. Снимем его комментарий у парадного. Там цветочки рассыпаны. Дашь общую панораму.

— А нахуя снимать репортаж, если это было не самоубийство? — удивлённо спросил Саша.

— Чтобы было дохуя. Володя говорит, что парнишка иконами обложился перед смертью и «золотой укол» себе вкатил. Короче, поднимем проблему. После можно будет еще на ток-шоу обмусолить этот случай. Экспертов привлечём.

Машина внезапно дернулась, и Кириченко грузно упал в проходе между кресел. Падение произвело впечатление и на пассажиров, находящихся в салоне, и на сам автобус. Всех резко подбросило в креслах. С верхнего стеллажа упала сумка с аппаратурой.

— Блядь, Валера! — визгливо прокричал Кириченко и проворно пополз на коленках по проходу. Он попытался подняться, опершись руками об заднее сидение, но тут к нему подбежал Саша и довольно сильно пнул его под зад ногой.

— Поза-доза, Аркаша! — весело крикнул он и засмеялся.

— Блядь, Саня! — возмущённо проговорил Кириченко. — Я тебе хуй оторву.

— Блядь, рассядетесь наконец, — крикнул водитель Валерий. — Мы едем или нет?

Кириченко и Саша сразу смолкли и послушно расселись по местам. Владимира удивила эта реакция на выкрик темпераментного водителя. Он посмотрел на Кириченко, тот конфузливо развёл руками и тихо, доверительно прошептал:

— У него брат погиб в начале года.

Лутковский сочувственно пожал плечами и устался в окно. Машина медленно пробиралась между знакомых домов. Владимир увидел Лидию Владимировну, восседающую на своём привычном месте и близоруко наблюдающую за двором. Дети пробежали по дороге и скрылись за каштанами. Возле гаражей несколько мужчин эмоционально о чём-то беседовали. Всё было как обычно, как всегда, как будто в мире ничего не происходило. И эту великую гармонию резко взорвал водитель Валера:

— Так значит, паренёк на ширеве затормозил, — грубо сказал он.

— Да, не стоит говорить о том, как он умер. По крайней мере, я озвучивать эти подробности не стану.

— А что тогда ты скажешь? — растерянно поинтересовался Кириченко.

— Скажу, что Олег Глота был хорошим парнем и погиб, защищая родину.

— Да ну... — скривился Кириченко.

— Постой, — перебил его Лутковский. Тихо, чтобы не слышали другие, он добавил: — Ты задашь мне наводящие вопросы. Я уклонюсь от ответа. Вот тебе интрига. Дальше наведёшь справки у ментов. Они тебе нарисуют детальную картинку.

11

Лутковский с досадой смотрел на отъезжающий микроавтобус со съёмочной группой. Ему захотелось немедленно пойти домой и тщательно вымыться. Тяжёлое чувство вины перед Олегом накрыло Владимира сразу после интервью. Внешне всё выглядело нормально — ему задавали заранее оговорённые вопросы, он корректно отвечал на них, но именно эта благопристойность более всего и угнетала Владимира. Он отчётливо понял, что просто пиарился на смерти своего соседа. Это не был открытый цинизм Ленца с его подобранными на асфальте цветами для Ани. Это была его собственная подленькая натура, грызущая остатки своей же совести. Лутковский представил, с какой язвительной усмешкой встретит его Ленц, и ему расхотелось, возвращаться в винный погребок, где Марк, без сомнения, поджидал Владимира. Он решил вернуться домой и, отключив всевозможные контакты, попытаться заснуть.

Владимир зашёл в парадное и нехотя, через силу начал подниматься на свой этаж. Он отчётливо понимал, что дома, скорее всего, вместо сна его накроет полубредовое состояние с провалами в кошмары, или же он просто с закрытыми глазами будет беспокойно ворочаться в своих мыслях. Возможно, и даже наверняка, через какое-то время в дверь позвонит, а затем постучит ногой пьяный Ленц, не дозвонившись ему по телефону, который Владимир по приходу собирался отключить. «Впрочем, — вспомнил Лутковский, — телефона у Марка нет. А значит точно припрётся».

Владимир представил, как после наружного грохота и угроз Марка он предстанет перед возмущённым другом, изобразив на лице сонное, а скорее глупое выражение. И как после шуточных объяснений они продолжат пить...

Лутковский внезапно остановился. Он увидел дверь, за которой недавно жил Олег Глота. Эта обыденность неожиданно смутила Владимира. Он взволнованно посмотрел на тёмный дверной глазок и невольно улыбнулся болезненной, кривой улыбкой. Его как магнитом потянуло к этому испуганному пространству, в котором сей-

час, в какой-то иной реальности жили люди. Лутковский протянул руку и ладонью прикоснулся к серому дерматину, после чего вытянул шею и застыл в неосознанном ожидании чего-то. Тут же он услышал отголосок человеческой речи. Говорила женщина, но настолько нечётко, что Лутковский невольно подставил ухо к самой двери и напряжённо вслушался в речь. На монотонное женское бубнение грубо отозвался мужской голос. Отчётливо послышалось звяканье посуды. Лутковский повторно улыбнулся, услышав эти звуки и голоса, и в этот момент у него зазвонил телефон. Громко зазвонил. Неожиданно громко. Лутковский вздрогнул и тут же услышал, вернее, ощутил, как там, за дверью мгновенно всё замерло. Испугавшись этой тишины, Владимир бросился вниз. Выбежав на улицу, он быстро зашагал в сторону винного магазина Ани, даже не сообразив сначала, что идёт именно туда.

Сделав несколько торопливых шагов, Лутковский почувствовал себя уже довольно пьяным. Спало неестественное напряжение, затормозившее его возле двери Олега. Также испарились впечатления после интервью, в процессе которого он старался максимально контролировать себя. Вместо этих мобилизующих ощущений пришла расслабленность, а вместе с ней его захлестнула беспечность нетрезвого человека, благополучно избежавшего опасности. Инцидент у дверей показался ему забавной детской шалостью. Он вспомнил, как детьми по нескольку раз звонили в двери и, убегая от гнева жильцов, присушивались, открыли те дверь или нет. Забегали и к маме Олега. «Как её зовут?» — Лутковский даже остановился, чтобы вспомнить её имя. «Как её там, тётя Таня, Валя... Точно, Валя. Тётя Валя», — Лутковский вспомнил некогда молодое лицо женщины, которая довольно лояльно относилась к жизни детей во дворе. Их сложная иерархия, обменные делишки, где дорогая вещь могла цениться гораздо ниже, чем грошовый пластмассовый солдатик, находили понимание и даже уважение у этой женщины. Впрочем, на детском горизонте Владимира тётя Валя появлялась редко, так как Олег был младше Лутковского на несколько лет, а это был существенный порог для короткого знакомства между детьми.

— Вован, привет. Ты что людей не замечаешь? — услышал Лутковский у себя за спиной. Он оглянулся и увидел знакомую компанию молодых людей, сидящих на лавочке. Это были друзья его детства — Тарас Притула, Костя Бычков по кличке Салямалейкум и Гена Варламов. Все погоды Лутковского. Все они учились в одной школе, хоть и в разных классах, кроме Лутковского, который навещал их эпизодически, когда приезжал к бабушке. Но, несмотря на нерегулярность этих встреч, та дружба была крепкая и настоящая — детская, нерасчётливая и неосмысленная.

Все трое держали в руках чашки, в которых, судя по запаху, был кофе, и внимательно рассматривали Лутковского. Владимир,

смущённый этим вниманием, даже посмотрел, не расстегнута ли у него ширинка и, найдя свой гардероб в полном порядке, подошёл к друзьям.

В последнее время Лутковский с друзьями встречался редко, и при встречах всё ограничивалось рукопожатием и традиционным вопросом о делах, который не подразумевал глубокого ответа. Разнонаправленность интересов давно развела школьников-лоботрясов в противоположные потоки человеческого бытия. Саяля-малейкум переехал в другой район Киева, оставив о себе воспоминания и слухи, которые при встречах остальных друзей кратко обсуждались и тут же оттеснялись на периферию сознания более актуальной информацией — о политике, футболе, семье. Были еще приступы ностальгии, требовавшие вернуть детство, но и это проходило очень быстро как лёгкая незаразная болезнь. Сетование на то, что друзья редко собираются, постепенно превратились в обязательный ритуал при встречах с отсылками к своей занятости. В общем, обычная судьба детской дружбы.

Лутковский с нескрываемым удивлением посмотрел на компанию и подошёл к друзьям.

— Привет, — обратился он ко всем. По очереди протягивая руку и повторяя приветствие, Владимир поздоровался со всеми. За три рукопожатия он сумел разобраться в своих противоречивых чувствах, т.е. остаться и поговорить с пацанами или, сославшись на срочную занятость, убежать в подвальчик к Ленцу и Ане. Лутковский решил ненадолго остаться.

Прежде всего он обратился к Бычкову, которого не видел пару лет:

— Саяля-малейкум, Костик, — поприветствовал он друга.

— Ты не дерзи, Вовочка. И вообще, что за детство. Будь серьёзней со своим прошлым, — обиделся Бычков. — Но, если не хочешь меня обидеть и, как следствие, обидеться сам, называй меня просто — Костя.

— Не гони беса, Бычков. Вова всё ещё в детстве живёт, стихи пишет, — отозвался Тарас. — Тебе, кстати, нормально за куплеты платят?

— Ты уже спрашивал, — ответил Лутковский. — Не нормально.

— Я уточнить, — дружелюбно сказал Тарас, язвительно улынувшись. — Может быть, что-то переменилось.

— Жопа, — кратко резюмировал тему Гена Варламов и отхлебнул кофе.

Все четверо парней только внешне были разные люди. Пожалуй, друг от друга их отличал лишь стиль одежды. Бычков был в наряде нерядového менеджера — темно-синяя рубашка, тёмно-серый костюм и черные туфли. Бордовый галстук был на время снят

и небрежно засунут в карман. Тарас Притула сидел на кортах, в брендовых джинсах и футболке. Он с юности так ходил, задолго до того, как стал убеждённым таксистом. Гена Варламов заторможено смотрел перед собой. На нём были серые брюки раннего постсоветского покроя, мятая рубашка и тапочки на босу ногу — короче, костюмный ансамбль городского неудачника, хотя сам он никогда таковым не был. Занимался Гена прикладной математикой в родном киевском Политехе и на всякую одежду было ему давно наплевать. Он еще раз внимательно посмотрел на Лутковского и сказал:

— Неисповедимы пути теории вероятности. Можно было вычислить твоё появление.

— Это по каким признакам? — спросил Лутковский.

— По косвенным.

— А конкретнее?

— Через парадное живёшь. Дорога к магазину за бухлом пролегает аккурат через точку нашего пребывания.

— Что же это сразу за бухлом ты меня посылаешь? — обиделся Лутковский.

— Мы видели тебя с твоим другом военным. Вы с ним бухали. Дальше примитивная логическая цепочка должна привести тебя в магазин.

— Логично, — согласился Лутковский, — только друг не военный.

— А чего в камуфляж тогда вырядился? — спросил Тарас. — Типа герой, уступите место.

— Мне насрать, — перебил тему Гена и, обратившись к Лутковскому, предложил: — Володя, тебе молочка надо похлевать трохи, протрезвеешь слегка для дальнейших подвигов. — И не дождавшись ответа Лутковского, он постучал в окно первого этажа. — Маша, налей Вовочке молока. В окне появилась симпатичная женщина и, скептически улыбнувшись, прокомментировала появление Владимира:

— Все в сборе, — и обратившись к Гене, сурово добавила: — Тебе ещё Иру забирать из садика.

— Мы не пить собрались. Мы просто так, — успокоил жену Гена, принимая из её рук чашку.

— А ты чего на похоронах не маячил? — спросил Костя Бычков Лутковского.

— А ты что, специально приехал? — перебил вопросом его вопрос Владимир.

— Нет. Мой младший брат с этим Глотой учился и тусил. Позвонил сегодня, мол, не запахло двести баксов одолжить. Они там со своими корешами типа на памятник сбрасываются. Короче, слово за слово, и я тут. Приезжаю, малой в финале. Квартира обрыгана. Ну и понял я, что помянули хлопца по-человечески. Положил гроши под бутылку. Вышел во двор. И вот стою с вами.

— А что младший, на поминках так нарезался? У тётки Вали, что ли? Что это вообще за оргия? — спросил Тарас Притула.

— Нет. Точно не там. Под забором, наверное. Я знаю их компанию, они нормальные и деньги точно на памятник пойдут. Просто напились сгоряча. В общем, железный повод у пацанов.

— Хрень какая-то, — нервно проговорил Тарас. — Пришёл пацан с войны и на тебе, зажмурился.

— Причём по собственной воле, — констатировал Гена Варламов. — Салямалейкум, ты от брата подробностей не слышал?

— По телефону спрашивал. Ничего конкретного. Брат кацапов во всём винит, — пожал плечами, ответил Костя Бычков.

— Кацапы-то кацапами... — пробормотал Варламов и замолчал, не став продолжать свою мысль.

— Ты сам-то кто? С Горького к нам приехал, — усмехнулся Бычков.

— А ты кто? — спросил Костю Лутковский.

— Ладно, хватит пургу гнать, — перебив этот разговор, сказал Тарас. — А то договоримся до срача.

Все замолчали. Повисла нелепая и неловкая пауза. Лутковскому сразу стало неуютно в этой внезапно проявившейся атмосфере. Он почувствовал, что и его приятели испытывают точно такой же дискомфорт. Молчание трансформировалось в пустоту, из которой хотелось немедленно уйти. Всё должно было окончиться парой дежурных фраз, после которых все бы разошлись в разные стороны, но Бычков неожиданно продолжил тему:

— Я когда в Самарканде жил, узбеки там были самыми лютыми националистами. Они всех белых людей русскими называли. Вот интересно, у тех пацанов, с которыми я тогда тусил, какие национальности были?

— Разные, — ответил Лутковский отхлебнув из чашки.

— Зато мы сейчас все узбеки, — усмехнулся Тарас.

— В смысле? — спросил Варламов.

— В смысле, кто не с нами, тот кацап, — ответил Лутковский.

— Кстати, — задумчиво сказал Тарас, — а как мы называем этих узкоглазых?

— Узкоглазыми, — ответили в унисон Варламов и Лутковский.

— А, ну да, — махнул рукой Тарас.

— Что-то много на себя берём — узкоглазые, черножопые, кацапы. Мечты о мировой гегемонии — это для нас равно состоянию аффекта, — усмехнулся Лутковский.

— Так это у всех так. Моё село найкраще — критическая формула, оправдывающая агрессию против соседнего села, — заявил Варламов. — И без всякого аффекта.

— Преступления, совершённые в таком состоянии, не караются законом, — убеждённо сказал Тарас.

— Брехня, — ответил Бычков. — Это в исключительных случаях работает. Типа, на твоих глазах твоего ребёнка убили, и ты в полной невменяемости чудишь с топором в руках, а после, очнувшись по колена в крови, заявляешь на себя в мусарню, мол, пидор я гнойный и вонючий, вяжите меня по рукам и ногам. Тогда тебя помещают в самый строгий дурдом и после успешного лечения отправляют на выписку.

— А Глота, интересно, тоже в аффекте на себя руки наложил? — спросил Притула.

— Вполне вероятно, — ответил ему Варламов. — А хули. Все эти иконы как-то ненормально смотрятся в этом контексте.

— Жутко, — уточнил Лутковский и с удовольствием констатировал: — хорошее молоко у тебя, Гена. Я такого сто лет не пил.

— Это козье, Маша где-то покупает, — скоро проговорил Гена и вернулся к прежней теме: — Может, на эту жуть этот Олег и рассчитывал. Даже если это аффект, то явно парень думал об этом. Смотрится как акция.

— Типа привлечь общественность к проблемам ветеранов, — злобно усмехнулся Лутковский, вспомнив недавнюю беседу с журналистами.

— Иди, поговори об этом со своими коллегами, — ответил Варламов.

— Уже поговорил, — скептически сказал Лутковский. — Вы что, не видели, как я интервью давал?

Друзья молча посмотрели на Лутковского. Владимиру сразу стало неуютно от этих взглядов — тесно и душно, как в комнате, переполненной незнакомыми людьми. Он мгновенно сообразил, что хорошо было бы сейчас попрощаться и покинуть компанию, но такая поспешность могла показаться чересчур вызывающим жестом. «Как ни крути, но это самый плохой вариант из возможных», — думал Лутковский, большими глотками поспешно допивая молоко. Как человек с развитым воображением, Владимир понимал, что после такого бесславного бегства, он, пожалуй, начнёт избегать встреч с друзьями. Представив себе возможные насмешки в свой адрес, тут же понял, что сам конструирует себе проблему.

— Знаете что? — обратился к друзьям Лутковский, ещё точно не представляя, что скажет дальше.

— Что? — после паузы спросил Варламов.

— Свины мы, — ответил Лутковский.

— Ну, это мы, положим, знаем, — за всех ответил Бычков. — Дальше-то что?

Лутковский отстранённо посмотрел на товарища и, неожиданно его осенила простая идея.

— Надо, как твой младший, тоже сбросится по двести баксов.

— А мы каким боком в эту историю лезем? — удивился Бычков.

— Я за, — поддержал идею Притула. — Тётъ Валя на пенсию живёт.

— Кисло, — сказал Варламов. — Скинемся Тарасу. Сейчас принесу.

— Тогда и мне одолжи, — попросил Бычков. — Я завезу тебе на неделе. Или на карту гривнами кину.

— И мне, — попросил Варламова Лутковский.

— У меня в заначке только пятьсот.

— Мне жена столько не даст, — предупредил просьбу Лутковского Тарас.

— Не суетитесь, пацаны. Ща принесу, — сказав Лутковский, и вернув пустую чашку Гене, отошёл от компании.

12

Владимир решил взять в долг деньги у Марка, а если у него не будет, попробовать занять названную сумму у Ани. Шагая по направлению к цели, он ощутил душевный подъём. Во-первых, он был рад, что так легко и благовидно отделался от компании друзей детства, разговор с которыми зашёл в критический тупик и, во-вторых, теперь ему не будет так неловко перед Марком, который предельно циничным взглядом и усмешкой проводил его на это ненужное и бездарное интервью.

Зайдя в помещение винного погребка, он сразу увидел Ленца. Тот озабоченно разглядывал меню телефона и не обратил сначала на вошедшего друга внимание. И только после того, как Владимир дёрнул его за плечо и попросил у него денег, Марк изумлённо опомнился.

— Двести баксов? — машинально повторил он за Лутковским.

— У меня нет, — отчего-то за Марка ответила Аня, — и поспешила переменить тему. — Ты что, кефир пил?

— Нет, молоко козье. Друзья налили. Говорят, алкоголь осаждает. — Ответил Лутковский и, отвернувшись от Ани, снова попросил денег у Ленца.

— А зачем тебе? — поинтересовался Марк и, не дождавшись ответа Владимира, окончательно прояснил ситуацию. — Я у Ани последнее забрал. Вот, телефон купил. Как раз двести баксов.

— Знаете, что, — вмешалась в разговор Аня, — давайте я вам чай заварю на травках, очень хорошо он алкоголь нейтрализует.

— Я категорически против! — Громогласно заявил Ленц. — Сегодня хочу допить до обморока, и не важно, с вами или нет. И кстати, Аня, принеси нам муската.

— Да что с тобой такое сегодня, — сердито пожала плечами Аня и ушла вглубь магазина.

Лутковский огорчённо присел возле друга и рассказал о своих последних приключениях, о друзьях и о том, как он договорился с ними помочь материально матери Олега Глоты.

— Ну, не одни же мы у тебя кредитоспособные друзья, — ответил на это Марк, — сейчас позвоним кому-нибудь и решим вопрос.

Лутковский недовольно поморщился.

— Марк, куда тебя всё тянет? Нормально сидим. Выпиваем. Недалеко от дома. В случае чего, есть где окончательно приземлиться. Ты всегда был сторонником безопасного распития спиртных напитков в опасных местах.

— Чем это тебе опасно у меня? — возмутилась Аня выглянув из за ширмы.

— Ночная улица для пьяного большой соблазн, — наставительно сказал Ленц.

— Да ладно, — отмахнулась Аня, — я всю жизнь с пьяными работаю. Почти все смирные, как дети, даже дерутся на улице. Нет, ну бывают, конечно, инциденты.

— Какие это? — без особого любопытства спросил Ленц.

— Мало ли, — пожала плечами Аня. — Вот паренёк этот, которого хоронили сегодня, он у меня накануне смерти своей пил. С кампанией не на шутку разгулялся.

— И о чём они говорили? — переглянувшись с Лутковским, спросил Ленц.

— Ни о чём, — недовольно ответила Аня. — О чём всегда. О футболе и о москалях. Напились как поросята и на войну собрались все скопом идти.

— Нормальный информационный поток, — констатировал Ленц. — Сейчас все переживают эти темы.

— Так уж и все, — скептически усмехнулась Аня.

— Футбол, конечно, можно заменить «Танцами на льду», — сказал Ленц, — но основная тема несокрушима. Вопрос «кто виноват, татарин или жид?» — самый актуальный вопрос для всех времён и народов. Этот вопрос даже беллетризировал господин Герцен, известный революционер и борец за гражданские права...

— Слушай, Аня, — перебил друга Лутковский, — а тебе не показалось, что этот Олег Глота не в себе?

— Нет, — коротко ответила Аня, показав резкой интонацией и видом, что не желает больше разговаривать на эту тему. При этом она вышла к барной стойке и оставила перед Ленцем и Лутковским чашки, из которых подымался ароматный пар.

— На нет и суда нет, — убеждённо сказал Ленц, хлопнув себя ладонью по колену и равнодушно, не замечая подмены напитка, отхлебнул из чашки. — А то хочешь, устроим всеукраинскую рекламу твоему бару. Вызовем сейчас Аркашу Кириченко, — неожиданно предложил он.

— А это кто еще? — Спросила Ленца Аня, тревожно посмотрев на него.

— Это тот жирный, которому Володя только что интервью давал.

— Никаких интервью у меня в магазине, — жёстко потребовала Аня. — И парень этот мне тоже не нравится, хоть он и грузный, но замороженный какой-то, — подумав, сказала девушка.

— Это сейчас он такой, — усмехнулся Ленц. — А еще недавно был парень хоть куда. И вообще, ты знаешь, что его отец чуть не лишил жизни самого Дэвида Боуи?

— Это как? — заинтересовалась Аня новым поворотом.

— Если коротко, то примерно так. Ты в курсе, что в семидесятых Боуи приезжал в СССР?

— Ну, наверное. И что из этого? — ответила Аня.

— Молодая. Не понимаешь, — усмехнулся Ленц. — А ты представь, что в то время подобная поездка считалась как значительный поступок. Это как сейчас в Северную Корею съездить.

— Простой пиар-ход, — вмешался в рассказ Лутковский. — Они с Игги Попом туристами поехали...

— Погуляли они по Москве, — перебил Лутковского Ленц, — сфотографировались, где надо, и отправились обратно. Поехали поездом Москва–Западный Берлин. Расположились в том самом вагоне, в котором проводником служил отец известного нам Аркаши. И вот, визуально оценив могучую фигуру старшего Кириченко, они возжелали его. Если ты не в курсе, то я доложу, что Боуи и его друг Игги были гомосексуалистами. Не знаю, что их там возбудило в молодом и статном вагоновожатом, может быть, форменная одежда на пуговицах с серпом и молотом, может быть, им просто захотелось поиметь советского человека неестественным для него способом, но, словом, процесс пошёл. Откупорили они бутылку водки, купленную в столице советского государства, и попытались поговорить с папенькой Аркаши на общие темы. Тот сначала по инструкции отказался пить с этой компанией, но через пару слов догадался, на что эти сукины дети намекают. И вот обуял его праведный советский гнев. Глядя на этих мужеложцев, он затеял недоброе. А затеяв, блестяще воплотил в жизнь свой грандиозный план мести. Итак, он присоединился к предлагаемому застолью, причём присоединился радушно, в комплекте со своей бутылкой коньяка. Потом еще раз сбегал и принёс бутылку, и в итоге накачал негодяев так, что те отключились лицом в подушку. Оценив беспомощное состояние рок-музыкантов, находчивый проводник спустил со своих обидчиков штаны и, проведя полоску клея между ягодницами, сплющил их своими трудовыми, кряжистыми ладонями на несколько секунд, как и было сказано в инструкции к этому герметику.

Аня рассмеялась и сквозь смех сказала:

— Этого не может быть. Это всё выдумки.

— Возможно, и выдумки, — ответил Ленц, — но пресс-конференция по итогам пребывания артистов в Союзе Советских Социалистических Республик была отменена.

— Здорово! — резюмировала свои впечатления от этой истории Аня. — Заклеил попу Игги Попу.

— Да, небезнадёжно, но скорее всего, это выдумка, — авторитетно подтвердил Лутковский.

— Но почему? — Спросил Ленц. — По отдельности все факты не фантастические, согласись. Во-первых, поездка была. Во-вторых, в купе эта скандальная парочка вполне могла спровоцировать на поступок даже человека с крепкими нервами. В-третьих, даже если Боуи и Игги не объявили себя открыто пидорами, то их внешний вид и манера поведения могли спровоцировать ответное дискриминационное действие у советского человека, тем более при исполнении. И в-четвертых, закономерный вопрос: отчего не посадили проводника? Всё просто, пострадавшая сторона не обратилась с заявлением в милицию. И согласитесь, даже сам акт заклеивания анальных отверстий ментально советский, мол, задницы всем пидорам позаклеивать надо. Так и звучит напористый пролетарский голос за этим приговором. Так что ничего в этой истории невероятного нет.

— И все-таки это брехня, — убеждённо объявила Аня.

— Не сотвори себе кумира, — наставительно сказал Ленц, — Ладно, не буду запальчиво утверждать, что это чистая правда, но, согласитесь, друзья, все мы не раз становились свидетелями самых невероятных историй, которые до устной или письменной реконструкции казались обыденными эпизодами, ну может, с лёгким налётом гротеска. Понимание эпичности произошедшего происходит позже, когда история выходит на уровень маловероятной легенды. В любом случае, человек, рассказавший эту историю, был человеком с фантазией.

— Вопрос, старший или младший из Кириченок был этим человеком? — уточнил Лутковский. — И почему был? А сейчас?

— А сейчас нужно позвонить закадычным закадыкам и обсудить дальнейшие планы на вечер. Уже, между прочим, без десяти четыре, — Ленц рукой указал на часы, висевшие у Ани на стене. — Володя, продиктуй мне номера друзей. Возобновлю записную книжку.

Лутковский протянул другу свой телефон: — Держи, смотри сам, кто тебя интересует.

Ленц с отстранённым видом смотрел в экран телефона и, тихо приговаривая — «меня интересует, меня интересует...» просматривал телефонную книгу Лутковского. Время от времени он останавливался на знакомых фамилиях и расспрашивал о них так, как будто не видел этих людей много лет, хотя в Киеве отсутствовал всего полгода.

— Коваль Миша, где сейчас?

— Где и был. В заднице, — ответил Лутковский.

— В какой именно? — уточнил Ленц.

— У него батя помер. Он продал его квартиру. Открыл бар и реанимировал свою группу. Бар мог бы и работать, но группа его всех посетителей распугала. Я там презентацию книги устраивал...

— Андрюха Ковач?

— В невменухе. Теперь всем телевизор пересказывает. Тем, кто не верит «проверенной информации», устраивает форменные истерики.

— Это как? Он же вроде бы не поддерживал Майдан.

— Натурально. Он до марта 14-го Майдан не поддерживал. Но первого марта марочку кислоты с Гагариным купил, чтобы на космос посмотреть. Нализался, и тут телевизор ему сказал, мол, Путин объявил войну. Натурально, Ковач очень испугался говорящего телевизора и его вместо «на космос» пробило «на сердитый». Крышу сорвало напрочь. Он погнался за ней с криками «Героям слава». Прибежал ко мне на дачу в Бучу. А у нас здесь аэродром. Самолёты страшно гудят. Он, наверно, подумал, что это русская авиация, и начал в небо дули крутить и громко орать о любви к родине. Короче, пока его таксист-сосед кулаком в лицо не выключил, творил всякие безобразия.

— Кстати, о нём я слышал, что он перед администрацией родной Смелы себя пивом облил и пытался совершить самоподжог, в знак протеста против каких-то там договорённостей с сепаратистами, — сообщил Ленц.

— Очень может быть, — с досадой ответил Лутковский. В своё время с Ковачем они очень дружили. — Ты знаешь, — подумав добавил он, — он когда-то телевизор молотком разбил. Говорил, что хочет таким образом обезопасить себя от навязанной ему реальности.

— Телевизор молотком по голове не убьёшь, — угрюмо ответил Ленц.

— Раньше так чёткость изображения подстраивали, — усмехнулась Аня. — Били кулаком по телевизору и слушали, что он ответит на это.

— Ладно, где Оля Павлова? — задумчиво продолжил опрос Марк.

— Она теперь Шматкевич. Замуж вышла. Кстати, резко перешла на мову. Пишет об этом в Фейсбуке. Срывает бешенные аплодисменты патриотической публики.

— А за кого замуж вышла?

— За Шматкевича. Не знаю, кто он. Из Гродно прибыл к нам. И чем обольстил Олю, не в курсе. На нем татуировки в виде белорусской вышиванки, может быть, этим. Они сейчас в Польшу переехали.

— Майборода?

— Кино снимает, про войну.

— Где снимает?

— Здесь, под Киевом. Только я к нему не поеду. Вокруг него уже новая компания.

— А Кулиш Миша?

— В тюрьме сидит.

— Как в тюрьме? — с весёлым удивлением спросил Ленц. — Он же совсем не в политике был! Только не говори, что он радикализовался до неволи.

— Да какое там, — махнул рукой Лутковский. — Он в Буркина-Фасо сидит. Ему там негры три года дали за то, что он утром по саунне с двумя бивнями шёл.

— Как это? Он же стрелять не умеет, не охотник до охоты.

— Да уж, не охотник. Он и не охотился, — усмехнулся Лутковский. — Как ему с таким весом за слонами бегать? Всё проще. Слоны на протяжении многих тысяч лет помирили естественной смертью, но бивни их оставались нетленными. С местными копателями договариваются наши авантюристы и на этом зарабатывают.

— А Миша?

— А Миша сидит в тюрьме. Трое вышли из-за баобаба и предстали при исполнении.

— Откуда такие подробности?

— Так Ксюха за ним поехала. Как жена декабриста. Кстати, она рассказывала, что в тюрьме он там самый уважаемый человек, так как самый белый и самый толстый среди невольников.

— Класс! Но об этих героях не пишут в газетах, — резюмировал Ленц, глядя на экран телефона. — Тихонов?

— Этот счастлив. Ненавидит москалей. Участвует в факельных шествиях. В масленицу агитировал за местные вареники вместо москальских блинов. В общем, обрёл себя хлопец. На вид спокоен и уверен. Взгляд устремлён в светлое будущее.

— Понятно, — равнодушно вздохнул Ленц.

— Его Юра Мельник троллит, грозит упаковать в смирительную вышиванку.

— Что ж такое, учились в одном классе и давят друг друга. Где Юра, кстати? Там же, в дурдоме?

— Да, из буйных психов добрых граждан делает. Защитил диссертацию о влиянии толпы на личность.

— Тема. В яблочко.

— Я, кстати, с ним и с Феликсом Сикорским ходил на факельное шествие. Собственно, Феликс меня и Юру туда затянул. Атмосферка, я скажу тебе...

— Постой, как с Сикорским? Феликс на факельном шествии?

— Ну, у него профессиональный интерес.

— Это у тебя и у Мельника профессиональный. С Сикорским что-то не так. И друзей он всегда сторонится. Даже Новый год один встречает.

— Я сам удивился...

— А где он сейчас? Давай ему позвоним, — засуетился Ленц.

— Он в Китае сейчас, по-моему, — пожал плечами Лутковский. — Фотки Мао постит оттуда.

— А что он там делает? — спросил Ленц, набирая номер на своём телефоне.

— Не знаю. Может быть, издатели пригласили. Или просто экскурсия в Поднебесную.

— Алло...

13

«Книги, друзья мои, надо печатать на бумаге, которой можно потереться. И только те книги, которые пройдут испытание санузелом, станут бессмертными. Прочие, с трепетом выпавшего из гнезда птенца, забьются в смертельных конвульсиях в сливном потоке времени и пропадут в черной дыре истории», — подобные наглые констатации были нередкими в блогowych записках Сикорского. Он вообще был странным человеком с тяжёлой репутацией в литературных кругах. Его поведение было порой пугающее, порой не от мира сего. У него была та внутренняя свобода, которой опасались люди, даже близко знавшие Феликса. Он не боялся публики, и это выделяло его среди литераторов. Сакральные, внутренние темы, которыми обычно не делятся на людях, вызывали его живой интерес. Он мог рассказать о смерти дочери в шокирующих подробностях и тут же переключиться на анекдот о бывшей жене. При этом многие понимали, что это был с его стороны не спектакль, не пошлая игра в цинизм на публику ради сомнительного статуса чудака. Это была его природа. Тут, правда, стоит добавить, что таким странным образом он открывался не перед всеми. Для большинства Сикорский был замкнутым человеком с прозрачным взглядом сомнамбулы и еле заметной блуждающей улыбкой наблюдателя. Лутковский как-то заметил в разговоре, что жизнь Феликса напоминает пристальное любопытство постороннего при препарировании разлагающегося трупа.

Сикорский редко появлялся в формате светской тусовки, хотя его статус довольно известного писателя открывал перед ним двери клубов и салонов, в которые пускали только по спискам. Чаще его можно было встретить в богемных притонах с сомнительной публикой, где он сидел молча и, кажется, не слушал пьяных, крикливых рассуждений стрессонеустойчивых молодых людей о стихах и прозе их собственного сочинения.

При своей довольно значительной известности среди читающего сообщества Сикорский не был литературной знаменитостью. Со стороны казалось, что он просто не умеет себя вести как культовый писатель. Он насмешливо, но как-то неблестяще, неуклюже избегал нужной тусовки и необходимого самопиара, реализуя себя (его вы-

ражение) в иных плоскостях. Впрочем, по версии людей, знавших его близко, он просто не хотел этого статуса, сознательно отказавшись от ненужной ему популярности.

Друзей у него было немного. Кроме Лутковского и Ленца были еще пара человек, которым он доверял — бывшая жена, врач-психиатр Юрий Мельник и какой-то алкаш, по имени или по прозвищу Герасим, непонятно почему заинтересовавший Феликса.

К революционным событиям Сикорский отнёсся не с прямолинейностью революционера или контрреволюционера, но как-то по-своему. После победы Майдана он прямо заявил, что беспорядки в столице ему нравились как зрелище, но к поражению власти он относится негативно, чем вызвал тогда ненормативный гнев националистов и пламенные истерики националисток. Сделав пару апокалиптических заявлений, на которые никто не обратил внимания, Сикорский, казалось, отошёл от бурлящей нечистотами темы революции и замолчал. Но всё же время от времени он напоминал о себе различными экстравагантными выходками, такими как, к примеру, упомянутое Лутковским участие в факельном шествии. Зачем ему это было нужно, никто не знал. Своих выводов от увиденного Феликс не публиковал. Пока, по крайней мере.

Именно об этом «пока» и разговорились Володя и Марк, идя на встречу со своим другом. Сикорский с неожиданной радостью согласился на предложение выпить и закусить где-нибудь под уютным забором, хотя и предупредил о том, что во времени он ограничен. Договорились, где встретиться и во сколько. И вот, широко и развязно шагая к центральному почтамту, в возбуждающем предчувствии нового этапа пьянки, Ленц с любопытством расспрашивал о впечатлениях от шествия националистов.

— Так вы тоже там орали, что Бандера ваш герой?

— Конечно же, орали. Причём с выпученными глазами и пеной у рта. Я даже подивился своей искренности. Ты же знаешь, я не националист.

— Это ты опять не националист, — едко заметил Ленц, — а когда маршировал в строю, был им. Непременно был. Сам же сказал, что в искреннем порыве выкрикивал лозунги.

— Ну, не так искренне, чтобы в погромах участвовать.

— Appetit приходит во время еды.

— Да ну тебя в жопу.

— Эх, жаль, меня с вами не было. И как это я сам не догадался?

— Ты что, не насмотрелся как маршируют? Сам-то откуда приехал? Забыл?

— Я из марширующего строя хочу посмотреть на прохожих, то есть на условно нормальных людей, — сказал Ленц, глубоко вздохнув и не обратив внимания на замечания Лутковского. — А вообще, как они тебе показались?

— Кто они?

— Прохожие.

— Фотографируют.

— Навалив в штаны?

— Хер знает, за вспышками не видно.

— А по характерному запаху?

— Что-то развезло тебя, я вижу, — заметил Лутковский.

— Фигня. Ты лучше на вопрос ответь.

— На какой?

— Запах улицы изменился от вашей железной поступи?

— Я не принюхивался. Ты у Мельника спроси, он специалист по психическим девиациям толпы.

— Спрошу, конечно, при случае. Но если честно, не люблю я его. Смотрит на тебя как на лабораторную крысу.

— Это как?

— Равнодушно, — и прервав возможные возражения друга, Ленц насмешливо потребовал ответа на ранее поставленный вопрос, — ты всё-таки не ответил на вопрос о липком запахе улицы.

— Дерьмом не пахло, не помню, факелы чадили.

— Ну ты молекула, Володя. Не разнюхать самого главного. Страх обывателя. Это даже круче, чем обожание толпы. Вот за этим, наверное, и попёрлись Сикорский и Мельник на этот карнавал.

— За чем — за этим? Дерьмо прохожих нюхать?

— Да.

— Кстати, по поводу трепещущей толпы ты не обольщайся, — насмешливо заметил Лутковский. — Я выходил из строя по нужде. А после шагал рядом с шествием, и честно говоря, никакого страха обывателя не увидел. Несколько ёбнутых, всё остальное привычный, любопытный Майдан. Или равнодушные.

— Да не равнодушные они, Володя, — обрушился на Лутковского Ленц. — Разве ты сам не почувствовал? Интуитивно ведь почувствовал их страх. Понятно, что люди не бегали по улице и не орали в ужасе, не прятались за углами или под юбками своих жён-торговок. Потому что страх — это не трусость. Страх — это переживание, трусость — поведение. Страшно и герою, и трусу. Страх объединяет всех против всех. Вот этими сакральными токами ты и проникся, — Ленц, взволнованно достал и закурил сигарету, после чего продолжил. — Всё, конечно, здесь переплетено инстинктами, но страх в этой путанице — самое молчаливое, потайное, шестое чувство, о котором сам человек может даже и не догадываться. Ты это всё интуитивно ощутил, Володя, и пришёл к определённым выводам. Отсюда твоя искренность речёвок. Но тут, кстати, под лозунгами, маршировала не твоя индивидуальность, а общее, коллективное бессознательное, первобытное, идущее в ногу вместе со всеми. Стая. Опустившись до животного уровня, ты, Сикорский и те, кто

шагал с вами рядом, стали одним пугающим целым. Вот тогда вы, как всякое хищное существо, уловили это напряжённое молчание тех, кто вас ненавидит, боится.

— Куда тебя понесло, Марк? — перебил друга Лутковский. — Инстинкты, физиология, это всё так заезжено доморощенными пьяными философами типа тебя. Психология толпы — Лебон, Юнг, Фрейд и прочая терминология. Кстати, — усмехнулся Владимир, — моя юная родственница рассказала мне, что одна из её подруг живёт на Крещатике. Окна квартиры выходят ровно на улицу. Так вот, каждый раз, когда там происходит очередная факельная иллюминация, они с друзьями и подругами заводят специально купленный граммофон с пластинками кабаре Веймарской республики, одеваются в платье того времени и безобразно кутят, цитируя поэзию немецких декадентов. Вот тебе отличная, хотя и банальная иллюстрация к твоим понятиям о страхе.

— Конечно, банальная. Как всякая неосмысленная природа. И поддавшись этой природе, всякая индивидуальность растворяется в общем настроении. Твоя богемная молодёжь не оригинальна в своём «пире во время чумы». И именно отсюда твой восторг во время шествия, который ты объяснить не можешь. Те, кто с тобой рядом шли, не исключая Сикорского, тоже шли за переживаниями. Они знали, что их боятся прохожие. Боятся и камуфлируют свой страх под уважение, равнодушие или пьяный декадентский разгул. Вот ты, когда только шёл на марш, ощущал мандраж?

— Ну да, было не по себе.

— Вот и Сикорскому, небось, тоже не по себе было. Может, он и взял тебя с собой именно поэтому...

— Нет, — перебил Ленца Владимир, — у него там были знакомые, тёмные связи какие-то. И мы маршировали в самом активе, не как приبلуды, а с факелами в руках.

— После бухали?

— Да.

— Класс.

— Ничего хорошего. Мельник свалил еще на марше, а Сикорский молча нажрался до блевоты. Так что пофилософствовать на тему не пришлось.

— Как это молча? Хоть какие-то комментарии были?

— Наверное. Помню, мы тогда включили телевизор, а там новости, в том числе и о нашем походе. Огни, знамёна, речёвки. И глядя на это всё, я вдруг понял, что и мне и ему стыдно друг перед другом. Непонятно почему, но стыдно. Сикорский вырубил трансляцию и пробормотал что-то типа — телевидение — это стойло для скота, а история человечества — это спор с примерами между Богом и дьяволом.

— Это такое, третьесортная повторяемая теософия для тех, кому сказать нечего, — махнул рукою Ленц.

— И я так считаю.

Разговаривая таким образом, друзья скоро прибыли на Майдан Независимости и подошли к зданию почтамта.

Под колоннами, у центрального входа главного почтового отделения страны, где Лутковский и Ленц договорились встретиться с Сикорским, было, как всегда, людно. Это было известное место для встреч. Здесь назначали свидания влюблённые пары, «забывали стрелки» деловые люди, аферисты, договаривались о встречах друзья, саботыльники, туристы и прочее пёстрое население столицы. В последнее время это пространство стали заполнять люди с радикальными политическими взглядами. Под колоннами, на которых революционный Майдан оставил надписи о своей победе, теперь нередко располагались психически неустойчивые пропагандисты, нечленораздельно агитировавшие прохожих следовать за ними, к новым, вернее, окончательным победам. Впрочем, люди, не обращающие на них внимания, спешили по своим делам. Огибая лотки с сувенирно-патриотической продукцией, они растворялись в вечной галдящей толпе центральной площади Киева.

Группа весело гомонящих детей в сопровождении строгих взрослых строилась в колонны по двое и, держась за руки, взволнованно заходила вовнутрь помещения почтамта. Один из мальчиков оступился и упал, при этом нечаянно зацепив девочку, шедшую рядом с ним. Девочка вскрикнула, немного подалась вперёд, но устояла на ногах. На этот шум оглянулась одна из воспитательниц. Она скоро подошла к упавшему малышу, подняла его, отряхнула и строго приказала не хныкать перед девочками. Мальчик и не думал хныкать, но от слов взрослого человека отчего-то смутился. Неожиданно из уходящего строя детей выбежала та самая девочка и с каким-то испугом заявила, что мальчик нарочно толкнул её. Мальчишка удивлённо посмотрел на голубоглазую в белоснежных бантиках ябеду, дёрнул рукой и, освободившись от хватки воспитательницы, упрямо остановился. Та приказала всем стоять и что-то проговорила малышу, причём по доносящимся невнятным отголоскам в её голосе явно звучали просительные интонации. Детский строй при этом, несмотря на приказ не расходиться, потерял чёткую линию и растёкся по воле детей в бесформенное столпотворение. Мальчик оказался в центре внимания своих одноклассников. Неожиданно сначала один, затем несколько детей начали обвинять мальчишку. Вскоре эти дети возбуждённым хором поведали курирующим их взрослым, что видели, как мальчик специально толкнул девочку. Обвиняемый малыш был поражён этой несправедливой атакой. Он серьёзно насупился и заложил руки в карманы. Было видно, что дети настолько увлеклись этой ложью, что уже искренне верили себе и друг другу. Дети подошли ближе к испуганному мальчишке, и тут он не выдержал. Он попытался, как-то болезненно скривился, взглядом нашёл воспитательницу, и тут же протянул к ней руки, интуитивно прося защиты. Женщина взяла ребёнка за руки и обратилась к одному из детей:

— Коля, как ты мог видеть, что произошло, если ты шёл впереди строя? — спросила она.

— Видел, видел — убеждённо подтвердил Коля. — Он толкнул.

— Ну хорошо. Ещё поговорим об этом, — сказала воспитательница и повела детей за собой.

Лутковский довольно прищурился и прокомментировал увиденное:

— В общем, получилось трогательно. Но я ждал большего.

— Ты о чём?

— Об инстинктах.

— Обычная история, — пожал плечами Ленц. — Ложь — это главное открытие детства.

— Я думал, любовь, — усмехнулся Лутковский.

— Я бы сейчас выпил, да место людное.

— Не ной, вон Сикорский идёт.

14

Друзья взяли бутылку текилы, апельсиновый сок и лимон. Феликс предложил было ограничиться легким вином, намекая на безоблачное состояние Ленца и Лутковского, однако те легкомысленно отмахнулись от этого предложения. С тем и двинулись по направлению к памятному пустырю.

Шагая к месту, Лутковский внимательно рассматривал обгоревшее здание дома Профсоюзов. Когда-то здесь был штаб революции со своей суетой и неразберихой. Сейчас мёртвые стены здания завесили грозными плакатами, возвещающими о победе народа над тиранией. Ржавые цепи разрывали мускулистые руки. Со стороны звенья оков скорее напоминали разорванные кольца недорогой полукопчёной колбасы. Это развеселило Лутковского. Владимир хотел рассказать друзьям о своем наблюдении и даже улыбнулся в предчувствии остроумных комментариев, но что-то неприятно задело его и он, с досадой махнув рукой, продолжил путь молча.

Дойдя до локации, с неудовольствием обнаружили, что периметр пустыря обнесли забором, готовясь к чему-то строительному. Войдя на территорию, друзья взволнованно огляделись. Всё было не так, по-другому, иначе. Не успев открыть бутылку, они заметили, как к ним приближается крепкий усатый мужчина в синей форменной куртке. Он подошёл вплотную к друзьям и, доложив им, что он здесь работает охранником, задал конкретный вопрос.

— Нет, мы не срать, — ответил мужчине Сикорский.

— И не срать, — развеял опасения усатого стража Ленц. Но, не удовлетворившись этими краткими и исчерпывающими ответами, охранник начал подробно рассказывать об охраняемой им террито-

рии и строгом указании начальства насчёт посторонних лиц. На сей раз вместо ответа он получил купюру в пятьдесят гривен и, рассматривая её на свет, удалился к себе в вагончик.

— Так вот, идея противостояния большинству, которое объявляется серым, оборачивается дисциплиной, — продолжил прерванный разговор Сикорский. — Ничто так не дисциплинирует, как борьба за свободу. Парадокс — во имя свободы люди с готовностью строятся в шеренги и позволяют собой командовать подорванным на идее психопатам в камуфляже, при этом именно эти шествия объявляются триумфом воли свободной личности.

— Ты имеешь в виду местных нациков? — спросил Лутковский. Не дождавшись ответа, продолжил. — Ты знаешь, я всегда их считал, да и сейчас считаю одной из группировок неформалов. Чем-то вроде панков, готов, эмо. Заметь, у них есть своя музыка, своя литература, своя форма одежды, своя обязательная модель поведения. И чем они, по-твоему, хуже вонючих хиппи? Те, кстати, как те, так и эти — политизированы до припадков. Лепечут что-то о своей свободе.

— Именно! О своей свободе. Вернее, о своём представлении свободы. О свободе одного человека над другим. На мотивацию других людей им, естественно, плевать. Впрочем, как и всем. Бунтари. — Сикорский рассмеялся. — Бунты 60-х — убогое восстание клоунов в декорациях обанкротившегося уличного балагана. Дефиле на помойке. Только они давно не лепечут свои лозунги. Поколение 60-х сегодня обрело полноту власти. Теперь привычный старческий маразм политиканов наложился на галлюциногенные воззрения эпохи воинствующих пацифистов, которые некогда решили осчастливить мир беспорядочной еблей, кислотой и ромашками в сальных патлах. А что? Демократия, защита меньшинств — отличная идеология для ковровых бомбардировок. Кстати, вы заметили, друзья, что сейчас все войны миротворческие, гуманитарные операции, так сказать, по принуждению к миру, — Сикорский отошёл на несколько метров от компании, расстегнул ширинку и начал поливать стену забора, продолжая рассуждать при этом. — Хиппи, мать их, эти миротворцы вшивые, давно наверху и успешно трюхают тех, кто под ними. Ты просто не замечаешь этого. То, что они переоделись в солидные костюмы, не означает, что они отказались от своих идей. Копни любую биографию европейского политика, и ты увидишь, что я прав.

— А копни любую биографию нашего представителя истеблишмента, — смеющийся Ленц жестом закавычил последнее определение, — и ты увидишь фарцовщика.

— Причём перепродающего пластинки «Дорз» или «Битлз», — поддержал тему Лутковский.

— Совершенно верно, — согласился Сикорский и разлил текилу по стаканчикам. — Революция — вполне коммерческий продукт. Всё на продажу — перманентная революция Троцкого и культурная революция Мао оформляется в коммерчески успешную революцию №9 Леннона. Я, когда в Китае был, — неожиданно переменяю тему Сикорский, — зашёл в их национальный музей. Зал Мао. Туристов тьма. Фотографируются под портретами и красными знамёнами. На лицах щирые улыбки. Тут же отправляют фотографии на свои воюющие странички в социальных сетях. Считают лайки.

— Ну и что? Я в Освенциме такое видел, — сказал Ленц.

— Вот именно, что в этом нет ничего удивительного, — отчего-то обрадовано сказал Сикорский. — Простое любопытство. Люди хотят всё увидеть своими глазами — и «танцы верности» председателю Мао, и газовые камеры нацистов. А увиденное зафиксировать. Потому что это зрелище. Чем масштабней зрелище, тем больше людей стекается к нему, и в этом рефлексивном порыве люди незаидеологизированы. Идеология накрывает позже, когда любопытные становятся непосредственными участниками событий. Приходят посмотреть на событие своими глазами и втягиваются в пространство происходящего.

— Революция как арт-пространство. Я как-то писал об этом, — перебил друга Лутковский.

— И что? — спросил Сикорский.

— Почти никто не заметил. Даже сроча в коментах не было.

— А твои выводы? — спросил Ленц.

— Мои выводы сомнительны. Как и всякие выводы. А вообще я писал тогда про сцену как главный центр революций. О том, что без сцены невозможен удачный протест. И, собственно, неважно, кто на ней стоит — фанатик, мошенник, придурок или рок-звезда. Важно, что сцена под объективами мира. А это, согласитесь, заводит толпу.

— Толпа — это некорректный термин в данном контексте, — заявил Сикорский. — Толпа бывает неуправляемой, но здесь, под сценой, она мутирует в революционную массу, которой можно спокойно дирижировать.

— При наличии дирижерского таланта, — вставил Ленц

— Совершенно верно, — подтвердил Сикорский, кивнул головой и продолжил. — Кто под сценой? — люди. В сущности, они не слышат тех, кто на сцене, это не важно, так как они слушают друг друга. Именно эта возможность — быть наконец услышанным, и притягивает на подобные события публику. Быть впервые услышанным — это так важно для маленького человека. И здесь, в этом винеграде, он впервые в полной мере ощущает себя большим, значимым, частью чего-то великого, эпохального, от которого зависит история, о чём можно будет рассказывать детям и внукам.

Не найдя конкретного сюжета для вероятного литературного произведения, друзья посмеялись над возможными вариантами, такими как: солдат приходит с фронта и с упреком наблюдает, что происходит вокруг. Офицер «Правого сектора» секирными доводами убеждает отца-ватника вступить в добровольческий батальон. Батя вступает и вскоре становится комбатом с позывным «Батька», сменив на этом посту погибшего сына. «Или вот, — предложил Лутковский, — приключения беженцев из Донецка в Киеве».

— У нас беженцев нет. Согласно официальному определению, они «переселенцы», — заметил Марк.

— Да, это тема, с беженцами, — весомо сказал Феликс. — Может получиться ситуативный бестселлер. Донецкая ментальность в нашей действительности. Но нам этого не писать, мы, к счастью, не беженцы.

— У меня есть знакомые беженцы, — заявил Лутковский. — Живут в нашем доме. Нормальные люди. Я почитываю блог одной из девочек.

— И как? — спросил Сикорский.

— Патриотизм зашкаливает. Но, по-моему, мечтает съехать в Канаду.

— Не съехать, а съебаться, — угрюмо уточнил Ленц, присев на корточки и облокотившись спиной об забор. — Тут у нас в Киеве их, конечно, «по-королевски» приняло местное бычье. С размахом. Как людей второго сорта. От этого приёма и патриотизм у многих.

— Думаешь, показательной, маскировка? — спросил Лутковский.

— Нормальная реакция загнанного существа. Мимикрия, — ответил Ленц.

— Ну, ты совсем о людях как о животных, Марк, — возмутился Лутковский. — По-твоему, все следуют животному инстинкту, и чувство патриотизма не присуще никому.

— А я и патриотизм считаю животным инстинктом, — ответил Ленц.

— Да ну тебя. Напился уже как зюзя, — с досадой сказал Лутковский.

— Для социологии нужна выборка побольше чем два-три чело- века, — заметил Ленц, — а у нас знакомых беженцев по пальцам одной ноги посчитать можно. Критическое меньшинство.

— Почему ноги? — пожал плечами Сикорский, — ах да, беженцы, бегут. Убогое сравнение, — Сикорский закурил. — Но ты не прав, Марк, относительно меньшинства. Сейчас меньшинство — это мощная политическая сила. Вернее, инструмент. Всё просто — для эффективного управления большинством выделять из него меньшинство, любое, на выбор — сексуальное, религиозное, национальное — и начать агрессивно защищать их права, навязывая

всем прочим их идеологию. Агрессия порождает агрессию. Меньшинство перестают брезгливо не замечать, и люди начинают в раздражённой злобе их ненавидеть, сначала про себя, после объединяться в группы, движение. И вот тогда, на этих эмоциях можно решать геополитические или внутренние вопросы социума.

— Ну, наше меньшинство, я имею в виду беженцев, точно защищать не станут, — усмехнулся Лутковский. — Во всяком случае, в обозримом будущем.

— Обозримое будущее не простирается дальше пяти минут, — наставительно сказал Феликс. — Пора бы это знать. Но если пройти по логической цепочке, то вырисовывается следующая картина. А именно — вслед за революционером появляется контрреволюционер. Это мы уже видели. Далее, от того и от другого отпочковываются десятки, сотни малоумных ублюдков, знающих, как обществу, народу жить дальше. Их борьба за существование неизбежно повернёт революцию к эволюции. Выживет не сильнейший, но приспособившийся. Так было всегда. Так что, цветы и плюшевые медвежата на могилы погибших.

— И при чём тут беженцы? — спросил Лутковский.

— Как это при чём? — удивился Сикорский. — Пострадавшая сторона, перед которой метрополия должна испытывать глубокое чувство вины.

— Судя по репортажам самих беженцев из поликлиник и прочих присутственных мест, пока что именно их призывают к этому чувству, — усмехнулся Лутковский.

— А помните, во время первого Майдана была такая листовка: «Не мочись в подъезде, ты ведь не донецкий», — спросил друзей Сикорский.

— Я помню, — ответил Ленц.

— А у меня такая есть, — сказал Лутковский. — В своем парадном сорвал.

— Ух ты, какой запасливый у нас, — усмехнулся Сикорский.

— Сам-то как консервами холодильник законопатил в четырёхнадцатом году, забыл? — возмутился Владимир.

— Я это делал из гастрономической жадности, — рассмеялся Феликс.

— Я тогда серьёзно всё воспринимал, — отозвался Ленц.

— А сейчас? — насмешливо спросил Сикорский.

— Осмысленно, — сыронизировал Лутковский.

— Не знаю, — ответил Ленц.

— Кстати, — Сикорский резко повернулся к Владимиру, — вот тебе темы для писательства. Запиши рассказами про все эти консервы, беженцев, пьянки наши — и будет тебе вполне осмысленный текст.

— Нет, не выйдет, — немного подумав, ответил Владимир. — А вообще всё это однобоко. Если бы беженец писал текст о тыле, у

него была бы одна картинка. Если бы националист, у него другая. У сепаров — своя реальность. Все эти группы свято уверены в своей правоте и движимы несомненным категорическим императивом, будь он неладен. Все они точно знают, почему они хорошие, а их оппоненты плохие. У них у всех есть цель, и цель эта, разумеется, благая — сделать мир прекрасным, таким же прекрасным, как как они сами. — Лутковский усмехнулся, — только у нас троих уродов отвлечённые разговоры за забором, которые, скорее всего, непонятны для большинства. Словом, пустая это затея и скучная.

— Ты просто ленишься...

— А ты человека убей, — неожиданно и агрессивно перебил Сикорского Марк, — и скука твоя развеется.

Лутковский и Сикорский переглянулись. Ленц это заметил и, выдержав небольшую нервную паузу, сказал:

— Ну и что задумались? Ничего пояснять не стану.

— Что пояснять, Марк? — растерянно спросил Владимир.

— Плюнь. Он над нами издевается. И шутки у тебя Марк какие-то неловкие стали, — с досадой сказал Сикорский.

— Вот и славно. Пошутили и хватит, — бодро резюмировал этот эпизод Ленц и предложил: — может, идём отсюда? Надоело здесь торчать.

— И куда пойдём? — спросил Лутковский.

— Можно к тебе, — ответил Ленц. — Кстати, мы тебе не рассказывали, у Володи в парадном парень с собой покончил. С войны вернулся и самостоятельно зажмурился.

— Знакомый парень? — спросил Сикорский Владимира.

— Близо не знал, но, конечно, виделись.

— Заманчиво, конечно, к тебе зайти, — Сикорский на несколько секунд задумался. — Нет, не могу. Встреча важная. Нельзя отменить. У меня еще минут сорок есть на вас. А вы лучше не домой езжайте, а к Юре Мельнику в его персональный дурдом отправитесь. Там у него в кабинете хорошо, спокойно, водка, рыбки в аквариуме, дураки и истории их болезней. Там ваша болтовня совсем к месту будет.

Эта идея была с энтузиазмом воспринята Лутковским, который не хотел с пьяным другом возвращается домой, мимо квартиры покойного Олега. Но Ленц, в свою очередь, эмоционально раскритиковал перспективу этой поездки и снова назвал Мельника страшным человеком, для которого все люди — крысы. После этой речи Марка все замолчали, остановившись каждый на какой-то своей мысли. Лутковский внимательно посмотрел на своих друзей и вдруг ясно осознал, что сейчас хочет избавиться от них. Хочет уйти от этих ничего не значащих разговоров, которые чем дольше длятся,

тем становятся более циничными. Владимир посмотрел на небо, после чего перевёл взгляд на Марка и искренне улыбнулся ему. Ленц, в свою очередь, тоже улыбнулся.

— Знаешь, — задумчиво сказал он, — а я ведь недавно видел Мельника, в военкомате. Нет, не удивляйтесь, в добровольцы он не записался. — Предупредил расспросы Марк. — Он авторитетно консультировал местных, военных врачей-психиатров. Там к ним на призыв по повестке явился молодец, везущий на верёвочке за собой детский грузовичок, в кузове которого он транспортировал анализ кала. Военные, конечно, возмутились, затопали ногами по паркетному полу, побагровели от крика, но отправить на передовую копро-хулигана не решились, затребовали мнение авторитетного специалиста, на которое можно ссылаться при подобных случаях. Так вот наш Юра сумасшедшим человека с грузовичком не признал, но при этом не рекомендовал зачислять конкретно этого призванного и подобных ему в строй, аргументируя своё решение тем, что у подобного индивидуума слишком живая фантазия и что личности с такой нестандартной фантазией оружие в руки давать категорически нельзя.

— А Мельник тебя видел? — спросил Сикорский.

— Да.

— Ясно, поссорились.

— Нет, не поссорились, — ответил Ленц. — Просто я для него человек с фантазией.

На грохот разбитого об забор стекла вышел охранник и строго заявил, что вызвал полицию. Всем стало ясно, что тема себя исчерпала. Не сговариваясь, трое молча двинулись по направлению к выходу. Лутковский оглянулся. На площадке оставалось битое стекло, окурки и смятая сигаретная пачка. Недалеко, в куче бетонного мусора, Владимир заметил обожженную покрывку и деревянный поддон, которыми укрепляли баррикады. Не комментируя друзьям свои неожиданные исторические находки, Лутковский достал из кармана купленные к текиле сушёные апельсины, и на мгновение задумавшись, швырнул пакет в сторону помойки.

Выйдя на Крещатик, друзья постепенно снова разговорились. По второму кругу повторили уже проговоренные темы. Вежливо объяснились с полицейским, вышедшему из машины на крики Лутковского, который запальчиво возражал Ленцу, доказывающему возможность свободы личности, и не только в пустыне. Разговор закончился общим смехом, и наконец, отсмеявшись и наговорившись, вызвали такси.

— А поехали в гей-клуб, — неожиданно заявил Ленц.

— Куда? — удивился Сикорский.

— Весёлые булки, или просто булки, не помню. Недавно открыли, — сказал Марк.

— «Булочная №1» — пояснил Лутковский. — Открыли недалеко от моего дома...

— Поехали, — перебил Ленц. — На пидоров посмотрим.

— Весело у вас, но не могу, — с завистью сказал Сикорский.

— Поехали, — хмельно настаивал Ленц.

— Я вечером телевизор включу и тоже увижу пидоров.

— Там, кстати, среди них и Володю заметишь, — рассмеялся Ленц.

— И что ты там комментировал? — спросил Сикорский.

— Да ну вас всех в жопу, — обиделся Лутковский и толкнул Марка в плечо.

16

Такси наглухо завязло в автомобильной пробке, и в этом нервном, тяжёлом передвижении, метании, сознание Лутковского заполнилось липкой, тягучей тревогой. Ему стало неуютно в присутствующей действительности. И дело было даже не в дорожном заторе, а в общем предчувствии чего-то ненужного, нелепого, того, что, возможно, останется неприятным воспоминанием на всю жизнь. Он посмотрел на Марка. Тот небрежно и не настаивая пытался разговорить таксиста на общественно-политические темы, но пожилой мужчина, управляющий подержанным «Ауди», рассудительно помалкивал. В конце концов Марк отстал от водителя и даже заснул. Лутковский не стал будить товарища и дал ему время проспать. Марк, время от времени вздрагивая, просыпался и проклиная затор, жару, менеджеров, закончивших офисную работу и заполнивших трассу, засыпал вновь.

Не отвлекаемый пустыми разговорами, Лутковский замер на неопределённой мысли о перспективе ближайшего будущего. В этом расфокусированном состоянии он перебирал варианты развития событий и всегда ловил себя на мысли, что хочет отделаться от Ленца. Он смущённо отгонял от себя это навязчивое желание. В беспокойном, хаотичном состоянии Владимир внимательно посмотрел на замершее лицо спящего друга и тут же внезапно вспомнил его слова об убийстве человека, которые он недавно сказал в компании с Сикорским. Лутковский поморщился от этого воспоминания и мгновенно для себя объявил этот эпизод пьяной брехнёй. Это воспоминание настолько расстроило Владимира, что он даже с досады толкнул в бок Ленца, чтобы прояснить этот нелепый разговор. От толчка Марк замычал, но не проснулся, и Лутковский, поняв, что подобные расспросы при водителе такси были бы неуместны, не стал больше тормошить друга. Обдумывая, переживая все эти события, Владимир снова на некоторое время погрузился в заторможенное состояние, некий ступор. Он не был расслаблен, но в тоже время он отсутствовал в общей реальности. Его сознание внимательно

фикси́ровало цветные пятна трасы и звуки города, но вся эта сумма событий и впечатлений не провоцировала ни одной связанной мысли Лутковского. Он просто, не задумываясь, молча, внимательно смотрел в безликое пространство проспекта.

При очередном нервном толчке автомобиля Владимир как бы очнулся и осознал, что наблюдает за окнами маршрутки, движущейся параллельно с такси, но наблюдения эти не сфокусировались в отвлечённые образы и картинки, которые обычно появлялись в его фантазии. Здесь люди на расстоянии перестали интересовать его. Он весь был занят, поглощён своими мутными переживаниями. Лутковский попытался отделаться от этого гнетущего состояния, сконцентрировавшись на образе самой симпатичной, как ему показалось, пассажирке маршрутки. Он попытался мысленно заговорить с ней. Девушка, по видимому, сетевой менеджер, удивлённо посмотрела на Владимира и тут же с видимым неудовольствием отвернулась от него, картинно сосредоточив своё внимание на тексте из гаджета. Владимир решил мысленно заглянуть в чтение девушки, в надежде узнать в нём какое-либо литературное произведение, и таким образом опознать характер, личность человека, но текст оказался плохо сочетаемым набором слов. «Мир, коттики, дружба, зомби», — эти слова, вернее, последнее слово, взволновали Лутковского. Он понял, что менеджер знает о нём всё. Мало того, девушка, девица внимательно следит за его деятельностью и деятельность эту явно не одобряет. Курируя производство небоевых, городских зомби она отвечает перед Экспериментом за приемлемый социологический климат своего района, к которому адресно относится и его, Лутковского, дом, вернее квартира. Все странные разговоры, Ленц, Сикорский — всё это ей известно, структурировано и доложено по вертикали наверх. Там, Верховным зодчим Малого Эксперимента для локализации и ликвидации очага неверия в народные усилия и мерзости разложения монолитного общества на отдельные личности принято решение о корректном зомбировании всех упомянутых персонажей. Для этого в предел локации неблагоннадёжных комиссован Олег Глота, который добровольно трансформировался в зомби путём внутривенной инъекции галлюциногенного препарата, добываемого из мозгов новостных ведущих, дикторов, диктующих праведную волю то разгневанного, то расслабленного народа. Под воздействием этого препарата видения зомби способны воплощаться в реальность, радикально меняя, адаптируя её под задачи Эксперимента. Таким образом, действительность — это настроение Верховного зодчего. Но Лутковский точно знает, как это настроение можно контролировать. Итак, Глота становится ключевой фигурой апокалиптического мира, на полюсах которого находятся Великий зодчий и Владимир Лутковский. Именно это противостояние определит историю человечества.

Мысль о покойном Олеге огорчила Владимира своей бесчувственной наглостью. Он вспомнил утро, гроб, венки, цветы у парадного, людей в траурных одеждах, автобус с чёрными лентами. «Вот по этому проспекту они ехали на кладбище, — печально думал Лутковский. — Те же люди, спешащие, гуляющие, не обращающие внимание на мелочи. Те же дома, в которых любовь, ненависть, страх, осмысление, смерть и продолжение жизни. Всё это — среда, в которой живёт и умирает человек. Дальше могильные плиты, ограда. Там для Олега бесплатный участок для погибших солдат».

— Ты знаешь, — обратился к нему Ленц, — мне сейчас сон приснился, в котором Юра Мельник тащит по коридору военкомата грузовичок с дерьмом.

— Нормальный сон, к деньгам, — усмехнулся Лутковский.

— Да, но я в сновидении был водителем этого страшного грузовичка. Мельник с неуклонной волей тянет гружённый транспорт за верёвочку, а я, в свою очередь, рулю, пытаюсь безуспешно переменить маршрут движения и не попасть в страшную лабораторию для анализов кала и прочего.

Лутковский весело засмеялся:

— Твой сон, Марк, гораздо интересней и апокалиптической моих видений, — сообщил он сонно улыбающемуся другу.

— А у тебя что? — поинтересовался Марк.

— У меня зомби на кладбище, которое совпадает с границами Украины, — сообщил Лутковский продолжая невольно додумывать свой сюжет.

— Ну, это так, чепуха, — махнул рукой Ленц. — Ты способен на большее. — Слушай, давай здесь выйдем, пройдемся пешком до твоего дома. Тут всего квартал. Развеемся в прогулке, — предложил Марк.

Расплатившись с молчаливым водителем, друзья выбрались из салона автомобиля. Ощувив свободу от тягучего этапа автомобильной пробки, невольно потягиваясь и разминаясь, они немало воспряли духом, и вдохновившись этой переменной, уверенно зашагали по направлению к дому Владимира.

— Хорошо, что сейчас вышли, надоела эта дёрганая езда, как на конвейере, — сказал Марк. — Когда добрые люди пьяны, но едут не быстро и не с ветерком, это мучение.

— Точно, — подтвердил Лутковский. — Для человека выпившего, пробка — это ад. Так что радуемся свободе.

— И кстати, ещё каштаны не отцвели. Пройдемся по нашему светлому Киеву, — сказал Ленц в неудачной попытке в прыжке дотянуться до соцветия каштана.

— А жаль, что Сикорский с нами не поехал, — с сожалением сказал Лутковский.

— Да ладно. Пусть спешит наш Феликс по жизни. Мы вольные сегодня. Гуляем.

— А куда, кстати, гуляем? — спросил друга Сикорский. — Можно обратно к Ане в магазин, можно ко мне, а можно в голубую «Булочную».

— Какой страшный выбор, — картинно погрузившись, сказал Марк, — смотри, какое убогое пространство, в которое мы себя загнали. Здесь не развернуться духовным титанам вроде нас. На этой мизерной площадке можно только убить время. Ты чувствуешь, Володя, какая это тривиальная задача для смертного существа?

— Чувствую, — с удовольствием подержал этот разговор Лутковский. — Остаётся только надеяться, что время — это временно. Как всё искусственное, т.е. сотворённое по воле разума.

— Тогда давай убьём диктатуру разума обильными возлияниями, — решительно пропел Ленц, увлекая скорым шагом друга за собой в магазин.

Расплатившись на кассе и выйдя во двор, друзья решительно отправились к дому Владимира, дабы уже в стационарном, respectable состоянии решить все волновавшие их вопросы. Они заготовили для себя немало волнующих тем, касающихся волнующих их вопросов, которые охватывали темы не только социологии, геополитики и свободы воли, либерти над инстинктами примата. Друзья уже видели клубок противоречий в каждой простой вещи и даже начали было осмысленно рассуждать о метафизическом значении простой, но качественной закуски к крепким алкогольным напиткам, как Ленц неожиданно остановился и весело сказал: — Смотри, прямо к нам поп идёт, — Лутковский внимательно посмотрел на идущего к ним навстречу человека в рясе, и посерьёзнев, пояснил другу: — Это Батон, мой одноклассник.

17

Человек в рясе действительно приближался к друзьям. Лутковский неуверенно, стесняясь вышел ему навстречу и пожал протянутую священником руку. Ленц, внимательно наблюдая за встречей, вытащил сигарету из пачки, но так и не закурил её, прищуром оценивая нового для себя человека.

Это был высокий молодой мужчина с уверенным взглядом и волевым лицом. Густая, с рыжим оттенком, ухоженная борода скорее украшала его и не была смешным дополнением к повсеместной моде. Ряса на нём сидела стильным нарядом, но выглядела при этом естественно и корректно дополняла весь его облик. Большой крест, сделанный, по-видимому, из дерева, но очень искусно, священник произвольно придерживал рукой, как бы постоянно управляя его, и только этот невольный жест показывал его волне-

ние. При этом все эти едва заметные волевые колебания не нарушали его удивительно устойчивого образа. В целом, эта уверенность в себе и внешняя ухоженность сначала, в первое мгновение, скорее отталкивала, но одновременно и концерттировала внимание на священнике. Он отличался, выделялся, он был заметным.

Ленц мысленно усадил священника на тяжёлый, красный мотоцикл с хромированными деталями, пытаясь таким образом приравнять его к обыкновенным бородатым байкерам, но что-то не срослось. Какие-то неуловимые движения лица и взгляда делали этого человека не простым обывателем на мотоцикле, но кем-то более осмысленным, значимым. Человеком с ясной целью.

Коротко переговорив с товарищем, Лутковский, несколько сомневаясь, провёл его к Марку.

— Фёдор, — подал руку священник. — Фёдор Роцин, — уточнил он

— Марк, — отрекомендовался Ленц и тут же экспромтом предложил — выпьете с нами?

— Выпью. Но если можно, не здесь, — неожиданно согласился священник и тут же уточнил своё положение. — Я с поминоков. Вы знаете, с каких...

— А разве можно самоубийц отпевать? — удивился Ленц.

— Нет.

— Так как же?

— Я к прихожанке пришёл. Мать Олега попросила, чтобы в рясе. Вот и явился. Страшно отказывать в таких просьбах. Но я не об этом. Надо бы зайти к ним.

— Вот тебе неожиданный поворот, Володя, — обратился к Лутковскому Марк, — как тебе такое продолжение?

— Никак. Я говорил уже тебе. Куда мы погрёмся? Тем более пьяными. Батон, сходи с Марком. Он туда ломился настойчиво.

Роцин удивлённо посмотрел на Марка.

— Олег что, знакомый ваш?

— Да нет...

— Нет, Батон, никакой он ему не знакомый. Просто Марк съёт свой нос туда, где припахивает.

— Ты при мне священника Батоном не называй, — рассмеялся Ленц, — а то у меня крыша поедет. Я не готов к этому...

— Глупости всё это, — перебил разговор Роцин, — действительно надо сходить. Мать за каждое доброе слово о сыне цепляется. Она не увидит, что вы пьяные, ей не до этих мелких подробностей. Она увидит, что вы пришли.

— Ужас, — искренне вздохнул Лутковский и мотнул головой.

— И не говори, — мягко сказал Роцин.

— М-да, — процедил сквозь зубы посерьезневший Ленц.

— Надо идти, — решительно сказал Лутковский.

— Пойдите, — встrepенулся Ленц, — давайте минут через пять, — надо в себя прийти. Подготовиться.

— И то верно, — согласился Рошин.

Он попросил сигарету и закурил.

— За сигаретами и спустился, — пояснил он, глядя на тлеющий окурок. — Давно не курил. Голова кружится.

— А я предлагал ему на поминки пойти, — голосом ябеды начал Ленц, но тут же переменял тон, — но как-то не сложилось. — Грустно сообщил он.

— Да не люблю я этого, — махнул рукой Лутковский.

— А кто любит? — спросил Рошин.

— Все, — ответил за Лутковского Ленц, — или почти все.

— Да, в общем, любителей хватает, — согласился священник, — но вы-то понимаете, что туда не любопытства ради надо идти?

— Так уж и надо, — пробормотал Лутковский.

— О тебе, кстати, спрашивала мать Олега, — обратился к Лутковскому Рошин.

— С чего бы это? — растерялся тот.

— Там что-то с деньгами. Я так и не понял.

Лутковский матерно выругался. И решительно заявил:

— Теперь точно не пойду.

— А что случилось? — спросил Рошин.

— Да вот он, — Ленц указал горлышком бутылки на Лутковского, — по неосторожности, желая быстрее отделаться от просителей, всучил им сумму, намного превышающую общепринятую норму приличия. Так сказать, дал больше всех. Теперь, как видите, жалеет.

— Дурак. Я не о деньгах жалею.

— Стесняешься, значит, — усмехнулся Ленц, — своей же совести и стесняешься.

— Да какой совести, — возмутился Лутковский, — сунул, чтобы отделаться.

— Чтобы отделаться, суют гораздо меньше.

— Слушай, Володя, — вмешался в беседу Рошин, — это не тема. Я понимаю тебя. Я сам стесняюсь каждый день, что в рясе хожу, но там действительно хреново людям. Давай ходим.

Лутковский развёл руками и кивком головы согласился.

— Ну вот и славно, — констатировал согласие Ленц. — А почему вы стесняетесь рясы? — спросил он у Рошина.

— Потому что ряса — это не штаны и рубашка. Потому что одет не так, как все остальные, — улыbnулся тот.

— Люди наоборот, ищут индивидуальности в одежде, а вы стесняетесь, значит.

— Что-то я не видел ни одного человека, одетого оригинально, — усмехнулся Рошин. — Мелкие группы с индивидуальным пошивом встречал. Но и они копируют друг дружку. Это природа. Как птички...

— Или рыбки — кивнул головой Ленц. — Только что говорили об этом. Вы, кстати, не бывший хиппи?

— Нет, — коротко ответил Роцин и продолжил, — знаете, чего я больше всего стеснялся? — неожиданно спросил он друзей.

— И?

— Того, что я отец Фёдор.

— Не понял — удивился Лутковский.

— «12 стульев», — подсказал Ленц другу.

— В точку, — подтвердил Фёдор Роцин.

— Ну, ты, Батон, совсем...

— Представляешь, как-то по телевизору наткнулся на фильм и, что называется, густо покраснел. До этого не задумывался.

— А я вот сразу оценил, — обратился к Фёдору Ленц. — И кстати, не просветите, отчего это он называет вас Батоном? Кличка, согласитесь, больше подходящая дворовой шпане. А вы человек культурный...

— Я батон украл когда-то, — перебил Ленца Роцин.

— У Лутковского? И до сих пор раскаииваетесь?

Роцин улыбнулся и внимательно посмотрел на Ленца.

— Я так спросил, вообще, — смутился Марк.

— Да ты вообще у нас любитель в говне кувыркатся, копать-ся, — с досадой сказал Ленцу Лутковский.

— Это копанье называется анализ, — с напускной солидностью обратился к Лутковскому Ленц, — а людей, занимающихся этим, нужно называть аналитиками. На данном этапе, к примеру, я пытаюсь проанализировать, отчего люди стесняются своей доброты. Согласитесь, что многие добрые люди очень обижаются, когда их называют добрыми, как, будто их в чём-то постыдном уличают. Отец Фёдор, как, по-вашему, стесняются люди доброты?

— Батон, пошли его подальше, — посоветовал Фёдору Лутковский.

— Бывает, стесняются. Только я бы уточнил — добрые люди стесняются, когда их добрыми называют, — ответил тот.

— Солидное уточнение, — кивнул Ленц.

— А бывает, даже милостыни стесняются, — продолжил Фёдор, — вроде бы и хочет дать, даже карман ощупывает, но так и пройдёт мимо.

— А вы наблюдательны, батюшка, — сказал Ленц.

— Не больше, чем продавец на рынке. И, кстати, если охота порассуждать на темы, то и добро напоказ не менее актуальная тема.

Следуя к подъезду, Лутковский грозно смотрел в спины Ленца и Роцина. Шли молча. Ленц между пальцами держал горлышко купленной ими бутылки.

— Ты бы хоть бухло спрятал, — недовольно сказал Лутковский.

— Ну и куда я его спрячу? — обернулся к Лутковскому Ленц, — за пояс заткнуть её, что ли?

— Действительно, бутылку надо спрятать, — сказал Рощин, — а то припрёмся, придём «на троих» со своим. Володя, поставь у себя дома.

— Э, нет, тогда идёте все, а то...

— Что — то? — перебил Ленца Лутковский, — ты как маленький. Можно подумать, что я сбегу, закроюсь у себя, чтобы не идти на поминки.

— Ладно, но по тебе же видно, что ты в великом обломе.

— Зато ты сияешь весенним праздником.

— Пацаны, хватит, — примирительно сказал Рощин, — все на нервах. Особенно люди, которые там. Сам бы с удовольствием сбежал бы домой.

Лутковский, переступая через три ступеньки, быстро поднялся к себе домой, поставил бутылку в холодильник и инерционно, вскользь посмотрев в окно, неожиданно остановился. Тот же самый застывший пейзаж с растоптанными грязными цветами, безжизненной, почти осыпавшейся сиренью и застывшим воздухом раннего, жаркого лета почему-то трансформировался в душное настроение, которое накрыло Владимира внезапным безразличием ко всему. Это было не подавленное состояние духа, а скорее безразличие ко всему происходящему. Лутковский без эмоций вспомнил, что ему надо спуститься на этаж покойного Олега, вспомнил о его матери, но не испытал испуга от предстоящего визита. «Всё верно, — подумал он, — надо показаться перед соседями. И то, что пьяный, даже к лучшему».

Хлопнув входной дверью, он быстро спустился к друзьям. Те молча ждали его на лестничной площадке, раскуривая сигареты. Лутковский тоже достал пачку и тоже закурил.

— Что-то ты, Федя, одну за одной тягаешь, — обратился он к Рощину.

— Бросал, да вот иногда...

— И часто такие иногда? — спросил Лутковский.

— Иногда, — ответил Рощин и затушил сигарету о карниз. — Бросать надо.

— Сейчас докурим и пойдём, — сказал Ленц.

— Курите, я с вами постою.

— Кстати, — обратился к Лутковскому Ленц, — а ты давно этого Олега знал?

— Да так, видел его. Здоровались, — пожал плечами Лутковский.

— И я так же, — ответил Рощин.

— А если меня спросят, кто я ему, то что набрехать? — взволнованно спросил Ленц.

— Скажи, что знакомый Олега, — посоветовал Лутковский.

— Скажите, что вы друг Володи и что случайно оказались здесь, и что сочувствуете... если, конечно, сочувствуете, — сказал Роцин.

— Конечно, сочувствую, — смущённо промямлил Ленц, — что я, деревянный, что ли.

В это время дверь в квартире Глоты открылась, и из неё вышла женщина. Она внимательно взгляделась в компанию и, разглядев в сигаретном дыму Роцина, удивлённо улыбнулась ему.

— Ничего, ничего, — улыбнулся ей в ответ Роцин, — вот, школьного друга встретил и его приятеля. Он тоже знал Олега. Только он не решается зайти так сразу.

— Да как же так, — захлопотала женщина, — надо зайти. Обязательно надо зайти и помянуть. А то не по-человечески как-то.

Друзья тут же одновременно засуетились и невольно толкаясь, начали подыматься по ступенькам к дверям.

— Валя, — крикнула женщина в квартиру, — тут к тебе.

Лутковский, который шёл последним, вдруг обратил внимание на надписи на стене. Он остановился, церемонно пропустил спускавшуюся вниз женщину и снова всмотрелся в настенную графику. На нескольких, почти стёртых временах названий рок-групп были отчётливо выведены новые надписи — «14/88» и «Слава Украине». Их кто-то зарисовал оскорбительным слоганом — «Украинские нацисты — пидарасы и вафлисты» с подписью «161». Далее и на этом граффити появилось поверху привычная уже угроза «Слава нации — смерть врагам». Лутковский достал ключ от квартиры и перечеркнул всю эту короткую переписку, процарапав слово «Хуй», после чего быстро проследовал в квартиру Олега Глоты.

Владимир переступил порог квартиры и застыл в прихожей, увидев закрытое чёрной материей настенное зеркало. Он отчётливо вспомнил этот ритуальный обряд. От неожиданности он попятился, но его буквально затащили в прихожую Ленц и Роцин. Лутковский решительно прошёл чуть дальше и нагнулся, чтобы снять обувь. Шнурок, как назло, затянулся в узел. Владимир лихорадочно стал распутывать его, скосив взгляд на дверной проём. Ему был виден край накрытого стола и несколько человек, сидящих за ним. Неприятная мысль о том, что на этом столе еще несколько часов назад лежал покойник, кольнула его. «Что за дикий обычай? Ещё бы поверх гроба накрыли», — про себя возмутился он, отводя взгляд от застолья. Владимир посмотрел на своих друзей и заметил, что и они в нерешительности топчутся на пороге комнаты, но, чтобы скрыть свою собственную неуверенность, в упор, как бы осуждающе смотрят на него и с видимым показным нетерпением ждут, когда он

расшнурует свои кеды. Лутковский сильно дёрнул шнурок, чтобы разорвать его, но тот не поддавался. Тогда Володя рукою стащил с ноги непокорный кед, спокойно снял второй и зашел, наконец, в комнату. На него пристально посмотрели шесть человек. Среди них Володя узнал своих соседей, и ему неожиданно полегчало. То тяжёлое чувство не то вины, не то раскаяния, которое не раз за этот день трансформировалось то в тупое равнодушие, то в обиду на весь мир, которое его преследовало с утра и, особенно в последние минуты, вывернулось в искреннее сочувствие, и это чувство дало ему уверенность в себе. Он подошёл к матери Олега, пожал её ладонь, и ничего не сказав, сел на свободное место. Какая-то женщина поставила перед ним столовые приборы и рюмку. Рядом с Лутковским сели Рошин и Ленц. За ними тенью суетились женщины.

— Надо помянуть, — услышал Лутковский тихий голос. Он взял наполненную кем-то рюмку и залпом выпил водку. Ленц тоже выпил, но поперхнулся алкоголем.

— Закусывайте, закусывайте, — обратилась к нему мать Олега, и сама положила ему на тарелку отбивную котлету.

— Спасибо, — смущённо пробормотал Ленц.

— Вы тоже там были? — спросила мать, глядя на камуфляжную куртку Ленца.

— Нет, я так... — ещё больше смутился Ленц.

— Марк — волонтёр, — вмешался в разговор Лутковский.

— Да-да, — покачала головой мать, — пишут, что им там есть нечего, что только волонтёры и привозят... но я высылала ему посылки, — поспешно добавила мать.

— Шоб очи повылазили у тех, кто начал это, — неожиданно зло сказала какая-то ситцевая старушка.

— Кто начал это... — тихо повторила мать, и неожиданно обратившись к Ленцу, сказала: — Кто остановит это?

Лутковский видел, как Ленц от вопроса вздрогнул и взволнованно посмотрел на него. Взгляды их встретились. Ленц растерянно улыбнулся. Лутковский отвел глаза и принялся рассматривать комнату.

Это было обычное, типовое жилое пространство 80-х годов с ковром на стене, диваном, мебельным гарнитуром, забитым книгами и хрустальной посудой. Лутковский присмотрелся к корешкам книг. Библиотека показалась ему странной. Она состояла наполовину из классики — Достоевский, Булгаков, Гоголь, а наполовину из бульварных дамских романов в ярких обложках. К корешкам книг была прислонена фотография Олега. Рядом с фотографией стояла икона и рюмка водки с кусочком хлеба сверху. Лутковский вспомнил, что Олег перед смертью обложился иконами, и внимательно присмотрелся к образу. Но ничего необычного он не увидел. Икона как

икона — бумага, наклеенная на картон и вставленная в рамку. — «Неужели одна из тех...» — подумал он и отвёл взгляд от Лица Спасителя. Он огляделся. Всё было по-прежнему монотонно. Кроме матери Олега.

На первый взгляд, её фигура тоже была спокойно-одеревенелая. Но тут же Лутковский понял, что этот покой не от мира сего. Что мать «заторможена» некоей мыслью, и что эта мысль волнует её сильнее, чем то, что происходит вокруг. Но при этом она хищно-внимательна к каждому передвижению, к каждому сказанному слову.

Вокруг тихо переговаривались. Говорили о погоде, о видах на предстоящие огородные урожаи. Какой-то мужчина в мятом костюме деловито рассуждал о рыбалке. Беседа была естественная для застолья, но только немного приглушенная. Можно было подумать, что люди собрались не по этому страшному поводу, а так. Голоса менялись. Время от времени Лутковский слышал то Ленца, то Рощина. Они отвечали на вопросы. Рощин спокойно, Ленц внимательно обдумывая каждую свою реплику.

— И что вы туда возите? — спросила Ленца бойкая нестарая женщина.

— Да что вы даёте, то и везём, — ответил её Ленц.

— У нас в магазине тележки стоят, туда люди еду собирают, — махнула рукой в сторону магазина женщина.

— Я видел, — улыбнулся Ленц, — что-то мало собирают.

— Так денег у людей нет, — ответила женщина, — что же это, цены каждый день растут, а зарплаты и пенсии на месте.

— И то верно, — домовито согласился Ленц.

— Сталина на них нет, — неожиданно убеждённо сказал рыбак в помятом костюме.

19

Лутковский, Ленц и Рощин переглянулись.

— Обычное дело, — тихо пробормотал Ленц.

— Налейте хлопцам, пусть помянут, — сказала ранее молчавшая женщина.

Рюмки наполнили. Рощин толкнул локтем в бок Лутковского и довольно громко пробормотал:

— Надо сказать что-то.

— Ну, что тут скажешь? — выдохнул Лутковский. Он даже не обиделся на Рощина, который навязал ему поминальную речь. Он понимал, что это не тот случай, когда можно отмолчаться. Он заметил, как мать Олега пристально смотрела на него. Лутковский поднялся с места. — Я знал Олега как искреннего человека, — начал он, — встречались с ним, говорили о пустяках. Еще недавно встречались. Вот, — запнулся Лутковский. — Да что тут скажешь, — повторил он. — Олег всегда мне казался порывистой, романтической

натурой и при этом очень доверчивым человеком. Как оказалось, в наше время это очень опасные качества. Я искренне сочувствую тем людям, кто знал Олега больше, чем я. И сожалею, что я так и не узнаю его ближе. Это большая потеря.

Лутковский выпил и сел за стол. Он невольно украдкой осмотрелся, пытаясь понять, какой эффект произвела его речь. Все по-прежнему заторможено молчали. Со стороны эту реакцию можно было бы принять за равнодушие, но это было не так. В этом молчании чувствовалось тихое, напряжённое сопереживание. Владимир посмотрел на мать Олега и увидел, что она, в свою очередь, так же по-прежнему внимательно рассматривала его. Лутковский смущённо отвёл взгляд от женщины.

— А вот Олег тоже стихи писал, — услышал он голос матери. Эта новость застала врасплох Лутковского. Ему стало неловко. Он не любил, когда его обличали как поэта люди, посторонние тусовке, тем более соседи.

— Вот как, — пробормотал он.

— А откуда вы знаете, что Володя знаменитый поэт? — подло спросил Ленц.

— Его как-то по телевизору показывали, мы как раз смотрели с Олегом. После программы Олег в интернете нашёл твои стихи, — обратилась она к Лутковскому.

Тот, в свою очередь, почувствовал, что краска густо заливает ему лицо. — «Скотина» — мысленно обратился Лутковский к Ленцу. Но вслух спокойно сказал:

— Марк — вот тоже поэт. И очень мастит... — при этом Владимир указал на Марка вилкой, на которой был наколот гриб.

— Да ладно, — перебил Лутковского неожиданно растерявшийся Ленц.

— Действительно, оставим... — вмешался Рошин, — а то, что Олег был человеком творческим, это хорошо. Я помню, и музыкой занимался.

— Да, — охотно подтвердила мать, — на гитаре играет. Играл...

— Очевидно, и песни писал, — спросил Рошин.

— Были и песни. Но они мне не очень... у него не было голоса. Он с гитарой туда и поехал. Но там оставил её. Когда приехал в отпуск первый раз, гитары уже не было.

Мать болезненно улыбнулась и снова посмотрела на портрет сына. Она оглядывалась на него довольно часто, всегда с беспокойством, словно на живого, отстающего в дороге ребёнка. Лутковский, глядя на неё, невольно поморщился. Ему захотелось немедленно уйти, но он понимал, что в данный момент это невозможно, что нужно что-то сделать, чтобы хоть как-то притупить боль этой женщины. Нужно было что-то сказать, что-то главное. Но что именно сказать и сделать, этого Владимир не понимал.

Зато, по-видимому, в этих психологических тонкостях прекрасно разбирались те люди, которые сидели напротив него. На первый взгляд, они, иногда молча, иногда монотонно переговариваясь, и даже казалось, тупо реагируя на происходящее, сидели за столом. Но это было не так. Каждый их жест, каждый вздох и даже их коренное молчание отчего-то действовали успокаивающе и сглаживали обстановку. Это был многовековой инстинкт людей, которые понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Им не надо было ничего говорить, чтобы выразить свое сочувствие или любое другое чувство. Всё было понятно без слов. Лутковский почувствовал себя лишним. Он толкнул в бок сидящего с ним рядом Рощина. Тот посмотрел на Владимира и обратился к матери Олега:

— Если ребята выйдут покурить на балкон, это ничего страшного?

— Пусть курят. Там и пепельница Олега.

— Я с ними постою тогда, — сказал Рощин.

Лутковский с облегчением встал из-за стола. С ним поднялись Ленц и Рощин. Вышли на балкон. Рощин плотно прикрыл за собой дверь.

— Ну что, доволен? — мрачно обратился к Ленцу Лутковский.

— А причём тут я?

— Ты же подбегал к дверям и нюхал, что там вкусенького приготовили.

— Да ну тебя. Что ты вертишься? И я считаю, что правильно зашли.

— Действительно, оставь его в покое, — вмешался Рощин. — Конечно правильно, что мы здесь. И сказал ты хорошо.

Лутковский пожал плечами и замолчал. Раздражение на Ленца прошло. Но появилось острое желание убраться отсюда.

— Валишь надо, — уверенно сказал Лутковский.

— Надо, — подтвердил Ленц, — тема исчерпана.

— Такую тему не исчерпаешь, — ответил Лутковский, — от таких тем надо валишь.

— По третьей нальют — и можно идти, раньше нельзя — сказал Рощин. — Я с вами выйду.

Ленц облокотился на перила балкона и, глядя вниз, грустно сказал:

— А хороший парень был... судя по рассказам.

— Ну да, смерть — всегда самое высокое оправдание перед людьми, — ответил ему Рощин.

— Не понял? — оживился Ленц.

— Парень как парень, — ответил за Рощина Лутковский. — Смотрел футбол, ругался с мамой, ломал памятники.

— А что там с памятниками? — удивлённо спросил Рощин.

— Да так, вспомнил, — нехотя ответил Лутковский.

— Ну давай, рассказывай, — подтолкнул Лутковского Ленц.

— Да что там рассказывать. Это когда первого Ленина свалили, на Бессарабке. Помните эту восторженную неразбериху? Через пару дней прохожу я там — и вуаля. Олег, оседлав Ильича, лупит его со всего размаху по холодному каменному телу. Тогда еще говорили, что отколотыми кусками приторговывают разные темные личности. Ну и вот, подхожу я с целью покупки артефакта — и прямо застыл от восторга, картинка inferнальная. — Лутковский улыбнулся, смакуя воспоминания. — Рядом с Олегом нашим сидит абсолютно пьяная семипудовая баба в окровавленном белом фартуке, по-видимому, торговка мясом с Бессарабки и, размахивая бутылкой водки, крикливо орёт как вороны каркают: «По яйцам его! Бей по яйцам! По яйцам Володьку, бля...». Метель воеет, снег под фонарями бесится — и вот эта картинка, этот пролом.

— Класс, — щёлкнул пальцами Ленц, — а дальше что?

— Ничего. Поздоровался с Олегом, он мне кусок Ленина подарил. Дома вот валяется.

— И где ты только такие истории наблюдаешь? — завистливо спросил Лутковского Ленц. — Я вот помню, что всем весело было.

— Так и тем персонажам, о ком я рассказал, весело было. И Олег в восторге был. И бабища из торговых рядов.

— Я имею в виду, что увидел и запомнил ты какую-то чертовщину. История-то, по сути, жуткая, а не весёлая. В твоём пересказе, конечно.

— Невесёлая, — подтвердил Лутковский, — осколки памятника Ленину, они ведь, как шрапнель. Разлетаются на поражение...

— Что замолчал? — спросил Ленц.

— Да так.

— Что, памятник Ульянову-Ленину жалко?

— Тебя, дурак, жалко.

— Мудрый ответ, — улыбнулся Ленц.

— Батон, а тебе жалко памятник? — спросил у Рощина Лутковский.

— Памятник, памятник, — нехотя сказал тот, — а вот что такое, по-вашему, памятник?.. Памятник — ведь это не просто изображение того или иного персонажа истории, это степень влияния идеологии, которую представлял упомянутый. И в этой парадигме я прекрасно понимаю коммунистов, националистов и прочих, которые низвергают памятники. Это неосмысленное. Это рефлекс. Даже вандалы, которым приписывают бессмысленное уничтожение памятников Рима, не так уж неразумны. По-видимому, интуитивно они крушили именно механизм влияния, а это, согласитесь, не бессмыслица, это идеология самоутверждения.

— Слушай, Батон, ты что, рехнулся?

— А что такое?

— Говоришь-то как забористо. Ты же не пьяный.

— Простите, вы филфак заканчивали? — вмешался в разговор Ленц.

— Нет, философский в Страсбурге.

— Тоже подходит.

— К чему?

— Батон, тут мужик за столом о Сталине размышлялся, хочешь с ним поговорить? — съёрничал Лутковский. — Пораскинуть мозгами о добре и зле, и о памятниках великим вождям с ним перетереть самое время.

Рощин покачал головой и, улыбнувшись, посмотрел на Лутковского.

— Я вот тут думал еще, когда сидели за столом, — сказал он, — вот многие говорили о романтичности натуры Олега, и ты про Олега верхом на Ленине интересно рассказал. Ему-то как раз казалось это не inferнально, не в мрачном тоне погрома. В этот момент для него всё было очевидно. Он боролся со злом. А ведь очевидная истина, подобная борьба и есть зло. Зло полностью рационально и вот поэтому использует романтиков, они наиболее доверчивы к очевидным, простым выводам. Что такое хорошо и что такое плохо для них очевидно.

— Вот и разговорчики пошли, — оживился Ленц, — но о добре и зле в таком формате не поболтаешь. Здесь можно даже и Мельнику позвонить, пригласить, если ты конечно не против.

— Я не против, — спокойно согласился Лутковский.

— А кто такой этот Мельник? — спросил Рощин.

— Врач-психиатр, — рассмеялся Лутковский, но тут же осёкся, поняв, что этот смех могут слышать и в комнате. — Так, давайте по третьей и переместимся ко мне, — смущённо предложил он.

Все согласились с предложением Ленца.

20

Друзья зашли в квартиру, так же беспокойно и неловко толкаясь, как и выходили на балкон. В комнате было по-прежнему торжественно и мрачно. Все посмотрели в сторону вошедших, отчего к Лутковскому вернулось тяжёлое траурно-ритуальное настроение. Он сел на своё место и увидел, что рюмка уже была наполнена. Он взял её пальцами и, посмотрев на мать, тихо, но в тоже время убедительно сказал:

— Мы пойдем, наверное...

— Уже уходите, — мать устало посмотрела на Лутковского. — Помяните Олега.

Стоя выпили по третьей рюмке. Неожиданно мать засуетилась, провояжая гостей. Когда в коридор вместе со всеми вышел и Рощин — мать заволновалась еще больше.

— Поздно уже, — предупредил её вопросы священник. — Вы устали. Я с ними пойду, — сказал он ей.

Мать вышла на кухню, позвав одну из женщин, сидевших за столом. Послышалось шелестение пакетов и звон кухонной посуды.

— Подождите, — раздался голос матери, — сейчас я вам с собой положу...

— Да что вы, не надо, — встрепенулся Лутковский, завязывая кеды, и тут же почувствовал несильный удар в бок. Он оглянулся и увидел Ленца. Лутковский поднялся на ноги и убежденно покрутил пальцем у виска, после чего демонстративно отвернулся от товарища. В это время материя сползла с зеркала, и Владимир увидел свое отражение — жизнерадостное и разгорячённое суетой сборов. «Такие лица бывают у двоечников, отпущенных с уроков», — подумал он, глядя на себя. Он поднял ткань и опять занавесил зеркало. В это время мать вернулась из кухни и подала друзьям пакеты.

— Помяните Олега, — сказала она.

— Да что вы... — опять пробормотал Лутковский.

— Спасибо, помянем, — поблагодарил мать Ленц.

— Спасибо, — поблагодарил Рошин.

Мать пронзительно посмотрела на него и тихо пробормотала, как бы продолжая разговор:

— Когда нашла его, музыка всё ещё играла в наушниках...

Рошин молча приобнял мать за плечи и твёрдо сказал:

— Я буду молиться за него. За него и за вас.

— Мы помянем Олега, — тихо, шмыгнув носом, проговорил Владимир.

С этим друзья вышли за порог. Быстро поднявшись на следующую этаж, Лутковский не без нервной суеты открыл дверь в квартиру, и только после того, как щёлкнул замок, все свободно вздохнули.

— М-да, — усмехнулся Ленц, — это тебе не литературного критика хоронить за счёт организации, — обратился он к Лутковскому.

— И не собрата по перу, издохшего от водки и мировой скорби, — согласился с другом Владимир. — Жесть, — продолжил он, выдохнув впечатления. — А заметили, какие люди атмосферные там? Как будто охраняют мать от горя.

— Точно, — подхватил Ленц, — и молчание их с перешёптыванием... отец Фёдор, а вы что думаете?

— Я думаю, это инстинкт, и не в обидном смысле, а в самом что ни на есть человеческом.

— Стоп, по-твоему, сочувствие — это инстинкт? — удивлённо спросил Лутковский.

— Я сейчас говорю не о сочувствии, а о модели поведения в конкретной ситуации, конкретных людей.

— Да какая там модель. Сидели, стульями скрипели. Тут сама атмосфера...

— Вот, — почти выкрикнул Роцин, — тут ты самую суть узрел. Атмосфера сопереживания — это опыт народа. И это не этикет.

— М-да, у нашего народа богатый опыт страданий, — сказал Лутковский.

— Не больше, чем у других народов.

— И заметьте, — вмешался в беседу Ленц, — при этом народ требует себе Сталина.

— Сталина, насколько я понял, — ответил Роцин, — народ требует не для себя, а для всякого рода проходимцев, предателей и казнокрадов — врагов народа. Вот на них былинного героя Сталина нет, а для хороших людей Сталин не нужен. Заметь, водители ставили портреты Сталина лицом наружу, а не к себе. Сами они на него не любовались. Этот портрет должен был пугать: «Суки, Сталина на вас нет!». И к ностальгии по прошлому он не имел никакого отношения. Под портретами Сталина часто под водочку пели песни о лагерях и тюрьмах Высоцкого да Галича.

— Да, для хороших людей былинного героя Брежнева подавай, — убеждённо сказал Лутковский.

— Что же, нерушимый символ стабильности, — ответил Роцин, — впрочем, раньше стабильность называли застоём.

— И все-таки, неубиваемо обаяние тирании, — довольно сказал Ленц. — Кстати, что там в торбе? И вообще, надо соорудить, сколько у нас спиртного. — Роясь в пакетах и выставляя на журнальный столик закуски, Ленц продолжал говорить: — Лет десять назад я выпивал со своим приятелем-историком. Расстелили газетку, где очередным заголовком было озвучено сто-двести миллионов репрессированных... ага, литр есть, плюс «Бехеровка». Слушай, Володя, а магазин тот круглосуточный?

— Да, круглосуточный.

— Вы садитесь, я сейчас, — сказал Роцин и ушёл в другую комнату.

— Отец Фёдор, вы только не покидайте нас пьяных, — крикнул ему вслед Ленц, — а то мы до чертей договоримся.

— Я останусь, — отозвался Роцин.

— А знаете, что, — внезапно сказал Марк взволнованным голосом, — я сейчас приятелю нашему позвоню и приглашу его к столу. Он врачом работает в дурдоме, и соответственно, он грамотно и символично дополнит нашу компанию. Володя, продиктуй мне телефон Мельника.

Лутковский, которому понравился этот оборот с Мельником, продиктовал номер его телефона. Ленц ушёл на кухню и оттуда начал вести переговоры. Вернувшись к компании, Марк угрюмо сообщил, что Юра типичная сволочь, потому что мгновенно согласился присоединится к попойке. Мало того, он уже едет и находится недалеко от дома Лутковского, так что появление его будет скорым.

Ленц разлил по рюмкам спиртное и лучезарно посмотрел на Лутковского. Тот, в свою очередь, устало облокотился на спинку кресла и уставился в потолок.

Только сейчас Лутковский понял, что основательно нагрузился. Напряжение, которое он испытывал на поминках, спало, и алкогольный дурман завладел его телом окончательно. Он тупо перевёл взгляд на Ленца, пытаясь припомнить, о чём только что говорили. При этом он почувствовал капризное желание обязательно переспорить всех. В это время в комнату вошёл Роцин. Он был без рясы. На нём были зауженные штаны карго и футболка с улыбающимся смайликом. Его видимое преобразование из священника в хипстера отчего-то впечатлило Ленца.

— Это как понять, под рясой штаны по последней моде, с карманами, и футболка с символичным, безоблачным выражением? — удивлённо спросил он.

— Ну а что же, в трусах ходить под рясой, — улыбнувшись, ответил Роцин. — А футболку попадая в спешке подсунула. Такие футболки моим детям нравятся.

— И то верно, — задумчиво согласился Ленц, — но всё-таки неожиданно. И попадая, и дети. Отец Фёдор, вас ругать дома не будут за распитие с нами?

— Будут. Но негромко. И не всерьёз, — Роцин взял стул и подсел к столику. — С вами посижу. Поговорю. Завтра дома останусь. Отосплюсь. Я договорился до воскресенья.

— Эк сказано-то... договорился до воскресенья... хоть сам понял, что сказал? — радостно спросил друга Лутковский.

— В смысле, до воскресенья я не служу... да ну тебя, — рассмеялся Роцин.

— Господи, какую чушь мы болтаем здесь, — пробормотал Лутковский, — человек умер, а мы ни о чем. Я уже забыл о чём говорили.

— О Сталине нашем...

— Родном и любимом? — спросил Ленца Лутковский, процитировав строчку из советской песни.

— Заметьте, он так и воспринимался народом — строгий, справедливый, родной и любимый.

— Загадка. Ментальность русских, — усмехнулся Ленц.

— Оставьте эти штампы, — ответил Роцин. — Это нормальная реакция людей на период истории. Вы только подумайте — Сталин прекращает кошмар революции. К стенке отправляются люди с пугающими кличками — Рыков, Каменев, почти вся канонизированная Октябрьём верхушка. Все радикальные группировки, форсирующие мировую революцию, уходят в небытие. И это не традиционное по-

жирание революцией собственных детей. Это качественно другое событие. Конец безумию. И тот, кто положил этому конец, стал родным и любимым. Ну а дальше можно поговорить...

— О тоталитаризме, — перебил Рощина Ленц.

— О тоталитаризме, — повторил Лутковский, — а что, вполне жизнеспособная модель. По крайней мере, для большинства народа. Может быть, только в тоталитарной доктрине человек может быть счастлив, и в большинстве своем, он счастлив именно там... конечно, при условии, если он не знает, что эта доктрина тоталитарна, но эта очевидная информация очень просто маскируется от большинства. К примеру, патриотизмом.

— Счастлив? — спросил Рощин и сам себе ответил, — ну, может быть. Только счастлив тем, что временно его голова находится не под топором.

— Да перестань, — отмахнулся Лутковский, — может быть, элита, достаточно проинформирована и счастлива этим жутким счастьем, а остальная масса живёт в самой прогрессивной и справедливой стране мира.

— Ну нет, основное таинство тоталитаризма — это когда ты всё понимаешь, всё видишь, но находишь этому объяснение. Вот пока ты по эту сторону колючей проволоки, вместе с живыми, ты оправдываешь происходящее.

— Оправдывать — это значит сомневаться. Хоть немного, но сомневаться, — вмешался Ленц, — а тоталитарная система переполнена фанатиками, которые счастливы отдать жизнь за идею, и для них сомнения в своей правоте немислимы. Сомневающимся они ставят к стенке. Кстати, батюшка, было это и в религии.

— Это было в истории церкви, — поправил Рощин, — религия, в данном случае, христианство, не исповедует подобного изуверства.

— А как же страх божий? — спросил Лутковский.

— Для меня это формула мудрости, — ответил Рощин.

— За это надо выпить.

21

Лутковский с пьяной улыбкой наблюдал, как Ленц потянулся за бутылкой. Прищурился, он оценивающе смотрел, насколько равномерно разливает спиртное товарищ. Спиртное было дозировано почти идеально, из чего Лутковский для себя сделал вывод, что Марк значительно трезвее его, и с уважением посмотрел на друга. Неожиданно он вспомнил о своих рассуждениях, о том, что народ — проститутка, — которые он нагромоздил про себя, когда Ленц спускался к квартире Олега дабы унюхать

что-нибудь вкусное, но понял, что мысль безвозвратно ускользнула от него и что восстановить её нет никакой возможности. Он махнул рукой и сказал:

— Государство, церковь, религия, социология, а в итоге единый купаж, в смысле просто купаж. Добавь чего-нибудь, и лекарство превратится в яд.

— Что-то я не понял, что ты хочешь сказать, — вздохнул Роцин.

— Да то, что любая социальная доктрина, даже самая что ни на есть человеколюбивая, рано или поздно обернётся фашизмом. Есть в человеке несколько жутких тупиков.

— И каких это тупиков? — спросил Ленц.

— Да хотя бы то, что ты себя великим поэтом считаешь, со всеми вытекающими последствиями. Хотя бы втайне.

— Слушай, достал, — раздражённо ответил Ленц.

— Воот, — пьяным голосом заревел Лутковский. — твоё недовольство доказывает моё предположение.

— Да, жутких тупиков в человеке хватает, — подтвердил Роцин, — а в человечестве тем более.

— Тут главное — чувство локтя, — угрюмо сказал Ленц, — в толпе проще жить. А вообще, меня всегда смущал тот факт, что ради свободы люди собираются в толпу. Представляете — разные люди собираются в одинаковую толпу. И при этом требуют чаще всего свободы. Вот такой вот парадокс.

— Свобода человека и свобода толпы — это полярные понятия, — ответил Лутковский Ленцу, — а вообще, если говорить о толпе, то часто человек, вполне свободный, который может выйти из толпы в любую минуту, из толпы не выходит, потому что чувствует себя в ней более комфортно и защищено, чем вне её. Это какой-то гипноз, элементарные рефлексы срабатывают. В толпе нет истины, но в толпе есть стабильность. И это не только касается социальных выступлений. Возьми, к примеру, спортивных болельщиков. Для тех вообще толпа — смысл существования и зона повышенного комфорта.

Лутковский довольно потянулся. Ему показалось, что он сказал оригинальную и важную мысль. Он приосанился, обвел уверенным взглядом своих друзей и зевнул.

— Что ж вы так людей ненавидите? — усмехнулся Роцин.

— Э, нет, — категорично возразил Ленц, — лично я, когда говорю о толпе, то говорю о толпе, а не о людях. Толпа — это не все люди или вовсе не люди... гм... толпа — это доля процента. Правда, весьма активная и легко управляемая. А вообще, я сам часто часть толпы. Да вам ли, батюшка, не знать толпы.

— Действительно, а что в слове толпа обидного? — спросил Лутковский.

— Спроси это перед толпой, у доли процента, которая не люди, — ответил Рошин.

— Ладно, устыдил, — махнул рукой Лутковский.

— Да не стыдил я тебя.

— Но я отчего-то устыдился.

— Кстати, о стыде, — растерянно сказал Ленц. Он открыл стоящий на столе ноутбук и тут же сосредоточенно отвлёкся от общего разговора.

— Что ты там ищешь? — недовольно спросил Лутковский. — Если музыку, то забей. Все самые интересные разговоры были похерены музыкальными автоматами. Каждый пьяный становится ди-джемом и лепит свою программу. Поставь «Дорз».

— Сейчас, только докажу Гуглу, что я не робот.

— Доказывать роботу, что ты не робот — самая актуальная задача нашего времени.

— Не может быть, — побормотал Ленц.

— Фраза «не может быть» — крошечная фраза, — глупо усмехнулся Лутковский, глядя на товарища — потому что всё может быть, как показывает история.

— Что? — переспросил Ленц. Он внимательно смотрел на монитор ноутбука.

— Про историю говорю, — махнул рукой Лутковский, — слушай, что ты там ищешь, порнуху?

— Нашёл, — твёрдо сказал Ленц.

— Что нашёл? Что в интернете вообще можно найти?

— Вот записка Олега.

Он повернул ноутбук так, чтобы экран был виден всем. На экране была открыта страница социальной сети с фотографией Олега. Под фотографией была последняя его запись: «Пошли вы все в жопу!». Отвлечённый разговор мгновенно прервался, захлебнулся в смущённом молчании. Всем стало неловко, как будто бы сам Олег жёстко вмешался в их болтовню и прекратил её. Всё, что было наговорено за день, разлетелось на мелкие, острые осколки, которые не выметешь, и по которым предстоит ходить всю жизнь. И ещё, острое чувство стыда накрыло Лутковского. Он посмотрел на друзей и почувствовал, что и они переживают что-то подобное. Но от этого чувства можно было избавиться. Пауза не затянулась надолго.

— М-да, — сказал Ленц, — пошли мы все в жопу. Есть и такое мнение. Кто скажет, что мы не все и мы не причина самоубийства?

— Вот не надо обобщать, — возразил Лутковский, почувствовав облегчение от продолжения разговора, — при чём тут мы? Или опять заведёшь шарманку, мол, человек был не понят, вернее, не выслушан обществом, т.е. толпой.

— У толпы ничего не спрашивают, — растерянно пробормотал Рошин. — Тем более толпе не исповедуются. Что-то не то говорим, — добавил смущённо он, — сочувствия нет.

— Ещё как исповедуются, — оживился Ленц, — вы же не имеете не малейшего понятия...

— Слушай, не путай нас, — возмутился Лутковский, — о чём мы не имеем ни малейшего понятия? О толпе? О людях?

— О войне и мире, — ответил Ленц, — кстати, о литературе, — ты опиши этот трёп в повести — и получится вполне себе бессмысленный коллаж под названием «Тыл».

— Это будет не литература, а бессмыслица. Читатель потребует ощущения духа времени и оправдание самоубийце.

— А ты что, обвиняешь его?

— Его мне жалко. А значит, поступок его должен быть литературно, желательно мелодраматично оправдан.

— Так оправдай его как-нибудь напоследок. Напиши, что, мол, среда задавила, а ещё лучше, девицу приплети, как во всех дворовых песнях о вернувшихся с войны пацанах и не дождавшихся их изменщиках. И что, мол, послал он всё это месиво в задницу, а чтобы посыл был более выпуклым, иконами обложился, так как виноваты и Церковь, и простой с непростым обыватель.

— А, пошёл ты в жопу...

— Не понял, а что за «Тыл»? — спросил Рошин.

— Не в курсе?

— Нет.

Ленц деловито перевёл взгляд с Рошина на Лутковского.

— Да вот, Володя повесть пишет о буднях тыла.

— Да не пишу я, а думаю написать. И не о буднях, а так... пока только название есть, под которым пустота.

— Интересно, — довольно улыбнулся Рошин.

— Посмотрим, — отмахнулся Лутковский.

— Но историю ты придумал уже?

— Какую историю? — удивлённо спросил Лутковский, — вон за окном тебе история горлом хлещет.

— За окном я ничего не вижу. За окном происходит ровно то, что происходило и полтора года тому назад. Война идёт по телевизору, планово прерываемая рекламными паузами. Ты об этом хочешь написать в повести?

— Может, и об этом, — ответил Лутковский и закрыл ноутбук.

— А то, что у вас под ногами, на третьем этаже — это не история, по-вашему? — вмешался Ленц, открывая ноутбук снова.

— Это ад крошечный, — ответил Лутковский, — вот об этом точно писать не буду. Пусть блогеры пишут. Они падки на такие истории.

— Согласен, ради лайков эти способны написать такую историю... Ты, кстати, тоже ради лайков свой «Тыл» напишешь, — неожиданно заключил Ленц.

— Да ну тебя, — скучно возразил Лутковский. — У меня другие задачи. И перестань идиотничать, Марк, не спрашивай, какие. Я сам пока не знаю.

— Всё это эстетика, — задумчиво ответил Ленц.

— Эстетические воззрения — ну что же, пожалуй, — вмешался в разговор Рошин. — Люди, имеющие подобные, часто различают полутона и обладают чувством юмора. Но выкладывать политические рецепты в социальные сети, о которых только что говорили мы, в корне неверно, на мой взгляд. Понятно, что чувство совести ненасытно, и в этом состоянии убеждения ищут трибуну. Шаг к трибуне. Человек стоит у пропасти, его слушает бездна. Он говорит о чём-то важном, несомненном, но тут сразу включаются естественные социальные фильтры. Того же человека начинает убирать из друзей, френдов один поток, и приветствовать другой. Так было всегда, вне современной терминологии. Лайки и правильные комментарии одних и, соответственно, проклятия иных. Далее срабатывают элементарные инстинкты. Человек приходит к удобной группе и в примерном случае становится толпой, в худшем варианте — фанатиком. Стирается личность — итог. Конфликт между группами — худшая конструкция социума, — Рошин значительно прокашлялся. — Сеть. Конечно, сеть. К сожалению, я не раз наблюдал социальную деградацию человека в формате блога. Есть вещи, о которых смолчать нельзя, но нужно. И переступать через это «нужно» следует только при самых пиковых обстоятельствах. Помните, перед вами в указанном формате не персон, но публика.

— Солидное молчание — это тоже не рецепт, — брезгливо сказал Лутковский. — Если пролистать учебник истории, то увидим, что весь мир — это толпа идиотов, мечущаяся от одной социальной доктрины к другой.

— Если просмотреть учебник литературы, то увидим другие векторы движения человечества, — улыбнулся Рошин.

— Вот интересно, а что напишут в учебниках истории о нас и о времени? — спросил Ленц.

— То, что дураки, — ответил Лутковский, — и хорошо, если растянут эту очевидность на один абзац, так как и дураки-то мы какие-то бесперспективные в масштабах истории.

— На полный абзац, — усмехнулся Ленц.

— История — суровый учитель, — ответил Рошин, — и, если её урок не выучат, заставляет дураков повторять заданное снова и снова.

— Вот тебе, в двух словах, весь объём нашего времени и нашего разговора, — развёл руками Ленц, — учись у друга, писатель.

— А ты на стол водку не лей, — икнув, молвил Лутковский, глядя, как Ленц пролил алкоголь.

— Да ладно, — отмахнулся Ленц. — А если серьёзно, скажите, батюшка, как, по-вашему, с чего начинается война, — насмешливо спросил он — и капризно добавил: — только не говорите, что люди в Бога не верят.

— Так ведь именно с этого и начинается, — ответил Рошин.

— Ну вот, — разочарованно потянул Ленц, — тогда отчего же я вижу обратное. Люди, особенно в последнее время, искренне, по-вторюю, искренне верят, хоть порой и стесняются веры своей.

— Верят-то искренне. Но многие уже не в Бога верят, а в государство. Посмотрите, как много у политически одержимых людей табуированных тем. Загнавшие себя в лозунги, в насекомое сознание «свой-чужой», утверждают истинную свободу. Как всегда, свободу одного над другим. Здесь они строят своё государство. Персонифицируют его, обожествляют, славят его и молятся ему. И герои у них не «за други своя», а во имя того же государства, и славу кричат только государству и его героям, и дальше за святых их почитают. Такая вот подмена, — спокойно ответил Рошин. — Всё перепутали. Так бывает. И их божество — государство — требует кровавых жертвоприношений, как и всякий идол. И вот несут ему жертвы. И сами с восторгом становятся добровольными жертвами. И Бога принесут в жертву этому идолу, если Бог окажется непослушным и не поклонится их новому богу, их государству, им самим. Точно так, как и тогда принесли...

— Крамолу говорите, батюшка, — растерянно усмехнулся Ленц.

— Так что, значит правду?..

Лутковский поднялся с кресла и ничего не сказав, отправился в спальню. Он не делал никаких выводов, он просто хотел спать. Голова его гудела догадкой, что никогда он не напишет никакой повести под названием «Тыл». Прежде чем завалиться на кровать, он подошёл к окну и посмотрел на заходящее солнце. Багровый свет ослепил его. Он перевёл взгляд на улицу. В душном пространстве двора было всё по-прежнему. Рыжий кот лежал на лавке, иногда помахивая хвостом. Дети, которые недавно играли в войну, успокоились и мирно разговаривали друг с другом. Неожиданно из парадного вышла женщина и начала веником убирать совсем уже растоптанные цветы. Владимир отошёл от окна. Не раздеваясь, он ничком лёг на кровать. Он еще слышал приглушённые голоса своих друзей. Он примерно понимал, о чём они продолжают спорить и что эти споры можно продолжать бесконечно, но участвовать в этом он уже не хотел. Все эти разговоры — осмысленные и бессмысленные — сплелись в паутину, и в этой паутине запутался и сам Лутковский, и многие, кого он знал, с кем говорил, с кем выпивал. Как

будто все эти люди и сам он пытались отговориться от реальности, заглушить её водкой и разговорами, и из этой болтовни не было выхода. Стоило только заговорить честно, а главное, непредвзято на тему войны, то и собеседники, и он сам старались как можно быстрее уйти от подобного разговора, досадно отмахнуться, закрыться на все замки и оставаться в своем тылу, где всё привычно и комфортно, даже война, потому что она здесь телевизионная и её всегда можно переключить. И это не было цинизмом, это было инстинктом самосохранения. А еще он прекрасно представлял, что будет завтра утром, а именно — недопитая водка в центре натюрморта из объедков. Он также знал, что допьют они её с Ленцем под те же бессмысленные разговоры и после расползутся переваривать тот мрак, которого они оба наглотались, слушая друг друга. И что всё сказанное — бессмыслица, потому что даже верные их слова останутся только словами, невоплощёнными ни в какое действие. И что эта бессмыслица, по сути, и есть тыл. И эта болтовня — тыл не только этой войны. И эта болтовня — тыл не только его собственной жизни.

За стеной, в соседней комнате, монотонный разговор друзей прервался звонком в дверь, радостным голосом пришедшего наонец Юры Мельника и общим громким смехом.

— Пошли вы все в жопу, — сказал Лутковский, не обращаясь ни к кому, и накрыл голову подушкой.

2016 г.



Аман РАХМЕТОВ

/ Шымкент /

ТВОИ ЦВЕТЫ — НАШ НОВЫЙ АДРЕС

|*|

кто изобрёл воздушным жестом
просить прощения и на
балконе в баночку из жести
плевать и думать жизнь одна

не знаю сам себе вопросы
придумываю и молчу
а за окном проходит осень
не потому что я хочу

а потому что под наклоном
куда-то катятся часы
они же круглые ты понял?

а мы застряли на балконе
ещё с весны

моё живое отражение
как хорошо что нет движения
машин
людей
со всех сторон
наш мир от мира застеклён

теперь пойми родное тело
оно заплакало вспотело

|*|

вода говорит по трубам
холодным и длинным полу
открыты их ржавые губы
глаголами и глотками

вода вспоминает камни
покрытые снегом грубым
вода говорит по трубам
вода говорит по трубам

с утра полоскают горло
открытые окна в город
стеклянные зубы запах
бензина в дырявых лодках

плывут облака на запад
машины уходят в локоть

|*|

и всюду странные соседи
одни молчат другие стонут
но среди них есть кто-то средний
полуживой и полусонный

глаза всегда полуоткрыты
и губы редко создаются
потомок мужественной рыбы
ребенок нежной эволюции

и ты такой же то бишь где-то
необходимый где-то лишний
в глазах коричневого цвета
других оттенков и не слышно

бывает солнца не дождешься
сплошная ночь в строевой стойке
и ты до музыки проснешься
начнешь копать в книжной полке

как вдруг из книги из случайной
живых цветов сорвется абрис
и надпись выпадет «скучаем,
твои цветы — наш новый адрес»

|*|

свет поправился и выпал
сквозь густые облака
это случай или выбор
это дождь или река

я не знаю что ответить
честно без обиняков
но подталкивает ветер
что-то кроме облаков

|*|

выросло распустилось
этого слишком мало
чтобы потом приснилось
в губы поцеловало

что-то как с ног сбивается
временное живое
в мертвое превращается
слово только какое

липкое историческое
теплое не поймёшь
вот за окном языческое
а ты говоришь дождь

Евгений ИЛЬИН

/ Киев /



НОСТАЛЬГИЯ

История эта началась никак не более двадцати лет назад.

Мы получили прекрасную новую, светлую и просторную квартиру на южной окраине Киева, где все еще дышало нетронутой сказочностью. Наш девятиэтажный дом водрузился прямо посреди сонного королевства пожилых домишек, среди которых попадались даже круглобокие украинские мазанки с миниатюрными окошками и покрытыми мхом крышами, какие я раньше видел только на картинках. Он был словно огромный белый стальной фрегат, окруженный стайей неказистых, потемневших от времени деревянных лодок. Безлюдные дремлющие пыльные улочки с нагретыми ласковым солнцем деревянными скамейками и украшенные изгибающимися нестриженными ивами, манили своей тишиной и покоем. Местные жители выходили на улицу прямо в домашних халатах и комнатных тапочках, в углу каждого двора стоял бревенчатый туалет, а воду носили ведрами из одной-единственной ржавеющей колонки с отполированной до блеска длинной стальной ручкой. Упитанные, самоуверенно щурящиеся беспардонные полосатые коты иногда лениво пересекали дорогу, с трудом проталкиваясь сквозь стаю недовольно воркочущих и потерявших от ожирения способность летать голубей, желая навестить своих родственников. Сады за низкими заборами изнемогали от навешанных на ветки, чудесно дозревающих тяжелых краснобоких яблок и огромных солнечных груш, которые зачастую никто и не собирался обрывать, и они с грохотом осыпались прямо в траву, брошенные на произвол судьбы. Лишь изредка какая-нибудь грузная хозяйка выходила во двор, неся низенькую табуретку и, кряхтя, вскарабкавшись на нее, срывала пару яблок. Все это дразнило наше детское воображение, притягивало и манило.

У каждого из нас дома всегда стояла миска, доверху наполненная такими же фруктами, их можно было тогда очень дешево

купить в овощном магазине или на величаво названном «Дарницком колхозном рынке», состоявшем всего из нескольких покосившихся прилавков. Однако насколько интересней и привлекательней было перелезть вечером тихо через скрипящий забор, взгромоздиться на дерево и, набивая рот сочными вишнями, стрелять косточками по сидящим на соседних ветках приятелям. А потом, услышав подозрительный шорох во дворе, камнем падать вниз, рискуя сломать себе шею и вывихнуть все суставы, нестись, как ветер, прочь, сопровождаемым собачьим лаем из всех дворов, проглатывая на лету оставшиеся вишни вместе с костями. Это было золотое время, последнее лето перед школой, с ее тетрадями, портфелями, униформой и поджатыми, вечно недовольными учительскими губами.

В тот вечер дождь внезапно затарахтел по крышам, и мы забрались под балкон, вытряхивая из-за пазух и карманов натасканную в садах добычу. Водопад с неба так же резко пропал, как и возник. От земли повалил белый пар, и отовсюду хлынула приятная, бодрящая свежесть. Вдруг из этого клубящегося тумана неторопливо выплыла старуха в черном. Ее голова в темном платке была опущена вниз, лицо было перевязано поперек белой повязкой, за спиной она несла полупустой холщевый мешок. Старуха прошла мимо, ни разу не подняв головы, ни разу не глянув по сторонам, словно и так прекрасно видя и зная все вокруг. Какой-то удивительно таинственной силой веяло от этой сгорбленной фигуры. Мы молча замерли, и легкий озноб пробежал по коже.

— Да это же самая настоящая колдунья, — тихо шептал чей-то перепуганный голос.

Утро принесло с собой новый радостный день, все давешние страхи улетучились без следа, и мы решили во что бы то ни стало разыскать ведьмино жилище. Однако несколько дней упорных поисков окончились полным провалом, старуха больше не появлялась, и наше стремление найти колдунью постепенно иссякло.

В сотне метров от нового дома начинался чудесный хвойный лес, где прямо у края можно было насобирать корзину маслят, неуклюже прячущихся в рыжей опавшей хвое. Глубже в чаще перед глазами возникал правильной формы тихий лесной пруд с пологими песчаными берегами, посреди которого пара диких уток самозабвенно охотилась на жирных золотых карасей. Примерно через неделю мы всей оравой возвращались из лесу после купания, что строго-настрого было запрещено нашими родителями. У всех уже посинели губы, зубы выстукивали от холода дробь, а высыхающие волосы торчали в разные стороны, как иголки у кактуса. И вдруг мы наткнулись на ту же страшную бабку. Она сидела на холме, что-то тихо шепча, освещенная угасающими солнечными лучами, и неторопливо рвала какие-то травы, связывала в пучки и совала

в мешок. Мы притаились за деревьями, и дождавшись, когда бабка закинув мешок за спину, заковыляла домой, умирая от страха и любопытства, двинулись следом. Старуха долго шла по улице, что-то бормоча себе под нос, затем свернула в глухой тупик и вошла в калитку последнего дома.

На следующий день мы отправились туда, ободряемые пронзительным солнечным светом. Эта хибара действительно напоминала ведьмино логово. За покосившимся гнилым позеленевшим забором беспорядочно росла густая сорная трава, которая доставала почти до затянутых паутиной окон, не мытых, пожалуй, целую сотню лет. Крыша в этой ветхой хижине почти полностью провалилась, и большая дыра зияла в черепице. Все до единого деревья во дворе были усохшими, и это дополняло гнетущую картину полного развала. Нам стало жутковато, но, подбадривая друг друга и преодолевая сильнейший страх, мы подошли к пыльному окну и, расплющив носы о стекло, заглянули вовнутрь. Через слабо прозрачное стекло виднелись чьи-то огромного размера резиновые сапоги, повешенные зачем-то на стену, огромное количество разнообразнейших сушеных трав и несколько железных, начинающих ржаветь тазов, собирающих дождевую воду, просачивающуюся через многочисленные дыры в крыше. В этот момент я услышал чей-то дикий вопль, и вся наша братия, как стая воробьев, разлетелась по сторонам, карабкаясь через забор и улепетывая прочь. Я перевел взгляд на входную дверь и обмер. Старуха неподвижно стояла на пороге, как обычно, не поднимая глаз, напоминая вырубленную из обугленного дерева зловещую статую. В одну секунду я был за забором и что было сил бросился наутек. Собравшись во дворе, мы громоздили невероятные фантазии одну на другую, нам казалось, что эта колдунья повелевает своей черной рукой всем сонным одноэтажным районом, и очень скоро мы тоже попадем под это влияние. От этих мыслей становилось страшно.

Потом наступила Школа. Она властно взгромодилась в мою жизнь, нахально зашвырнув куда-то на верхнюю полку все остальное, как малоценное и ненужное. Школа притащила за собой унылую осень с серыми бесконечными дождями, жалкими опавшими листьями и больнично-матовым небом. Но все-таки изредка, вырвавшись из объятий домашних заданий и нравственных наставлений, я, бывало даже не заходя домой, забросив портфель на балкон, пускался в путешествие по тихим закоулкам. Часто прямо во дворах высились длиннющие корабельные сосны, взмывающие в безоблачное небо и слабо гармонирующие с кривоногими, приземистыми яблонями и грушами. В каждом дворе был свой скрытый таинственный мирок, с собачьей конурой, недовольными жирными курами, спотыкающимися о гнилые яблоки, и развешенным на веревках пестрым бельем.

И вот в конце очередного плавания по малоизученным переулкам и тупикам, скормив свой бутерброд дворовому псу и промочив ноги, я возвращался домой. Вдруг из переулка вынырнула знакомая сгорбленная фигура и тотчас скрылась за углом. Мое сердце затарахтело от страха, а ноги понесли меня вслед волшебной старухе. Она уверенно шла, петляя в запутанных переулках, тихо постукивая сучковатой палкой по мостовой. На одном из перекрестков с незапамятных времен торчал огромный усохший дуб с надломленным стволом, поговаривали, что ему то ли триста, то ли четыреста лет. Его почерневшие ветви, как руки жаждущего, были устремлены в небо, но никакие дожди не могли утолить его желания. Проходя мимо мертвого дерева, старуха на мгновение остановилась, поправила платок и засемила дальше. И тут произошло нечто невероятное. Огромное могучее дерево с болезненным стоном стало медленно крениться и со страшным грохотом, потрясшим, казалось, все живое, внезапно рухнуло на землю прямо передо мной. Я стоял, вытаращив от ужаса глаза и раскрыв рот, а злобещая старуха, даже не обернувшись, неторопливо и сосредоточенно продолжала свой путь. С тех пор загадочная старуха больше ни разу не появлялась.

А жизнь тем временем текла своим чередом, незаметно ускоряя свой бег. Близлежащие к нашему дому два квартала снесли, там уже всюду копошилась стройка, и очень скоро еще две многоэтажки, отряхивая с острых боков пыль, презрительно оглядывали одноэтажные окрестности. Затем одноэтажные кварталы стали как-то быстро пропадать один за другим. В лесу воздвигли шикарный спорткомплекс со стадионом, и грибы теперь стали появляться значительно реже консервных банок и бутылок из-под пива. Жизнь завертелась, как в калейдоскопе.

В этот день мне казалось, что я самый счастливый человек на свете. Я — студент. Вчера сдан на «отлично» последний вступительный экзамен в институт. Моему ликованиему не было предела. Безоблачное небо дразнило своей неправдоподобной голубишной, я развалился на скамейке во дворе и закрыл глаза, благосклонно позволяя солнечным лучам путешествовать по моему лицу. Радостные родители суетились, накрывая праздничный стол, и даже эрдельтерьер Рокки, взгромоздившись лапами на стол, скалил в улыбке зубы и крутил хвостом, поддерживая всеобщее веселье.

Вдруг я ощутил, что должен непременно в это мгновение обернуться и увидеть что-то очень важное. Я недовольно разлепил тяжелые, нагретые ресницы и увидел эту старуху. Это была, несомненно, она. Она брела в своем обычном, только уже сильно выцветшем, темном одеянии, и абсолютно ничего страшного или таинственного не было в ее жалкой сгорбленной фигуре. Было за-

метно, что ей уже очень трудно передвигать ногами. Проходя мимо скамейки с облупившейся краской, она боязливо оглянулась, а затем, тяжело наклонившись, подобрала недоеденный кем-то кусок булки и, сунув его в отвисающий карман ее обыденного балахона, заковыляла дальше. Я ошарашено следил за ней взглядом. Старуха дошла до предпоследнего в длиннющей шеренге шестнадцатизэтажного дома и, отворив входную дверь, исчезла в темноте подъезда. Ничего не произошло, небо не разверзлось, и никакие катаклизмы не потревожили обитателей Дарницкого района. Мне стало как-то не по себе. Это была самая обыкновенная нищая старуха, которых стало очень много в связи с неудержимым ростом цен.

И тут я услышал страшный грохот. Он исходил откуда-то из глубины моего существа и кроме меня больше никого не побеспокоил. Но меня он потряс до основания. Это рухнул замок чудесных фантазий, к которому всегда было так прекрасно возвращаться в своих мечтах и воспоминаниях, ощущая себя ребенком, а мир вокруг — полным тайных загадок и чудес.



Геннадий КАЦОВ

/ Нью-Йорк /

АКТУ-АУ!-АЛЬНЫЕ СТИХИ

* * *

когда вдыхаешь соль, а выдыхаешь мел,
то кажется тебе, что выдыхаешь соду
и, временам назло, внутри так нагло бел,
как будто для того и был когда-то создан

ты чист и сух, как спирт, и для себя постиг,
какое нам вино сухое подавали:
ковчег нас не спасёт, и боцман не простит,
и распахнёт дом скорби двери спален

кто в жизни подавал на стол и угловой,
окопные сто грамм тому за честь почтутся:
коли не достаёт для счастья сотни вольт
и пары ватт — лети в стокгольм, они найдутся

что остаётся? на дорогу чистый шприц,
в здоровом теле где-то в челюсти коронка:
всем, кто ушёл живым из детства, первый приз —
немного солнца в череп памяти короткой

копай могилу, как уйет наказал —
шесть футов вниз и ты уже в пивной с орфеем:
ночь над днепром, аптека, чемодан, вокзал,
базар — часть речи («ардис»), говоря по фене

прекрасен внешне мир среди сухих коряг,
где каждый пенёк в лесу не столь изометричен,
сколь изоморфен... что же ищет твой каяк
в тумане моря? эвридику в беатриче

СТАНСЫ В ИЮЛЕ

1

ночь, улица, фонарь, аптека;
есть: мыло, табурет, верёвка...
не выплачена ипотека,
бог фраер, а судьба воровка

2

так в ухо временем надуло,
что жить в пространстве неохота:
разинешь рот с утра под дулом —
идти не надо на работу

3

до возраста полураспада
зачем терпеть, чего же боле!
тогда с моста бросаться надо,
когда ковидом ты не болен

4

а вот ещё один был случай:
в подъезде задохнулся некто,
и выдумать не мог он лучше,
чтоб стать для новостей объектом

5

не хочешь жить — иди к народу,
он лекарь, лучший вирусолог,
он за своих в огонь и в воду,
и знает каждого со школы

6

народ — мир, истина и совесть,
нет расовых в нём предрассудков,
с тобой готов он съесть пуд соли,
убрать кровать, побить посуду

7

он знает больше, лучше может,
глаголом жжёт сердца и в темень,
извилины поправит мозга,
коль станешь мыслить не по теме

8

народ — водопровод и краник,
источник знания и силы,
а ты всегда в нём будешь крайним:
не строишь, не готовишь силос

9

народ не будет прогибаться
навстречу всякому почину,
он сам сумеет разобраться,
кто женщина, а кто мужчина

10

для каждого народ — мессия,
и будет в доме, в речке, в поле
твой частный случай энтропии
вершиться по народной воле

11

себе ты не судья, бесспорно,
и не хозяин в воспитанье:
народ тебе и хлеб, и порно,
и эшафот, коль час настанет

12

учись у масс, будь самым верным,
и блажь из головы всю выбрось,
а если лезвием по венам —
народа это будет выбор

* * *

юна минута — час древнее,
система то индокринеет,
то *гормонирует* всюю:
чем дальше влез, тем боль синее
и очевидней самосуд

пейзаж дрожит под жиром пыли
и ждёт жужжания от крыльев,
чтоб оттолкнуться от себя,
от всех, кого в земле зарыли

в начале завтрашнего дня
усохли следствия в причине,
прекрасное ушло с плотинном —
калмык тунгусу так же дик,
без шприца дождиком вакцину
в ужасную жару вводить

исповедальность в комариной
четвёртой прозе — с каждым римом
невнятной, но пока звучит:
года тучней, ночь калорийней,
и кислород в июле чист

взахлёб читать и захлебнуться,
проснуться — и опять проснуться:
так век по венам и уйдёт...
с анода, как учил конфуций,
соскочишь, а уже катод

кто пил, тот к лесу стал пилотом,
кто поле перешёл — полётом:
чем толще лев, тем лев — толстой,
и не осталось никого-то,
кто приказал жить лет по сто

* * *

и направо идти бесполезно, и
влево тоже идти — в никуда,
если стал ты прозрачною бездною,
невесомей ты стал, чем слюда

покидая не то, чтоб египет, а
вещный мир, ты в нигде — новосёл,
но, представь, всё до дна уже выпито,
в перспективе доедено всё

о вреде не напомнит курения
и о пользе пробежки минздрав:
без пространства теперь и вне времени,
что ни делай, всегда будешь прав

никого ни печалить, ни радовать
не придется — разорвана нить,
разве что, встретишь братьев по разуму —
вдруг предложат домой позвонить

все пути, получается, хожены,
всё до точки проговорено:
до обрыдлых деталей похожее,
на стоп-кадре так виснет кино

послежизнь в ситуации патовой —
«всё пройдёт», но уже без меня:
день — четверг, час — четвёртый (без пятого),
с год — минуты никто не менял

выйдешь в поле магнитное чистое,
невесомости примешь на грудь —
станут даты безличными числами,
будешь кузовокосмосу груздь

даль-дорога, как водится, скатертью,
но когда весь уйдёт кислород,
то звезда по щеке твоей скатится,
в законный пейзаж упадёт

* * *

как хорошо не знать чужую речь —
пусть не похвалят, но и не обидят,
и если кто придёт глаголом жечь
(убийственной, когда наступят иды),
то звуки — копьями не полетят
и фразы-ядра не достигнут цели,
падёт в сей хрени боевой отряд
согласных с тем, что слог здесь обесценен,
и гласных, голосащих наугад:
я выживу, и свой спасу словарь

к нему чужим шипящим не пробиться,
не выложат силлабы на алтарь
зажжённых звонких роковые жрицы —
им не поможет чёрный пояс тай-
квандо; тирадам не видать конца,
хоть иероглифов их нету краше...
и крокодил подкрадывается,
но он без языка, он мне не страшен:
латиница (о, мудрость хитреца!)
немотствуют с кириллицею в пасти

* * *

после ливня асфальт не просох —
время мокрое суток,
тянет песню в ай-фоне просод,
как спагетти из супа

светит прямоугольный объём —
прямо, углы на экране,
но звонков нет ни ночью, ни днём
(их, похоже, украли)

есть цветная картинка с меню,
с городским интерьером:
я когда-нибудь это сменю —
часть квартала со сквером

столько лет тот же вид из окна
прорисован без страсти:
пешехода фигурка видна
в углубленье пространства

он зимой удаляется прочь,
приближается летом —
и скрывается каждую ночь,
что, по сути, нелепо

из мобильного шлет эсэмэс,
чем годами и занят;
представляю: гремячая смесь,
как хорей и гекзаметр

что-то вроде, по стилю, мольбы:
чтоб дизайн не меняли
(для него это — быть или не быть?),
чтобы был я вменяем

чтоб в настройки не лез, не нажал
где-то клавишу сдуру:
он пейзаж для меня! — будет жаль
уходящей природы

в мире плоском всего не объять,
но он будет стараться...
не пора ли картинку менять?

не стрелять в папарацци!

* * *

не волнуйся, не нервничай по пустякам,
и в истерику впад, не трясина руками ...
он сегодня повсюду, грядущий хам, -
безразличен будь, проживи, как камень

расслабляйся, поглубже носом дыши,
лишь улягутся с ночи и гарь, и пепел:
не стреляйся в висок – не угрожай души,
не срывайся, двери срывая с петель

уходи от ответа на сложный вопрос,
чем он проще, запомни, тем он опасней:
как на первом допросе сломают нос,
так считать и начнёшь все свои напасти

береги комок нервов, не трать их зря -
тем и страшен сосед, что не в каждом вирус:
видно, в древнем египте сказал остряк:
«уходя, своё имя внеси в папирус!»

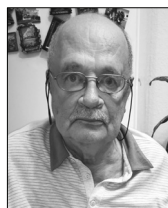
собирай утром пальцы, но не в кулак,
обнаружится фи́га – носи в кармане,
ведь в любом из ландшафтов зарыт гулаг
и любая эпоха тебя обманет

отражение в раме всегда верней,
резистанс за окном, либо там резистанс
этих улиц, толпы, облаков, полей,
тех ещё, кому в зеркале отразиться

будь как ветер в пустыне, как в бриз вода,
пробуждаться с утра не спеши в кровати:
это время надолго, не навсегда,
но на все твои беды, похоже, хватит

Борис ЛИПИН

/ Дрезден /



ИНОСТРАНКИ

Было все это очень давно. Я полгода, как демобилизовался. Служил в Архангельской области ефрейтором на ракетном полигоне. Кроме леса, ракет, солдат и офицеров, я там ничего не видел. В увольнение можно было ходить только в офицерский городок со странным названием Мирный. В нем жили военные с семьями, девицы легкого поведения, высланные на север, и рабочие.

Платили солдатам три рубля восемьдесят копеек. Я, как ефрейтор, получал на рубль больше. Когда стал специалистом второго класса, прибавили два рубля пятьдесят копеек. Две бутылки водки. Но ее было не купить.

После полочки в солдатской чайной можно было видеть милую картину. Сидят три солдата. Перед ними на столе три больших флакона тройного одеколona.

В Мирном водку купить было нельзя. Сразу заберут на гауптвахту. Вся очередь из офицеров. Надо было просить женщин на улице или детей, которые тоже были сыновья офицеров. Обрато в часть надо было идти несколько километров по шоссе. На выходе из города гарнизонная гауптвахта. Мимо нее надо тоже было осторожно идти. Начальник гауптвахты — подполковник (не помню фамилии) следил за солдатами, идущими по шоссе. Пройдешь, вздохнешь с облегчением, и остаются несколько километров холода, одинокого шоссе, огромных елок вокруг и ветра, пронизывающего насквозь. И надо было обязательно успеть к сроку, когда оканчивается увольнение.

Я, в основном, ходил в увольнение играть в шахматы. У меня был первый разряд, и меня включали в турниры, которые проводились в гарнизонном Доме офицеров. Со мной на эти турниры ходил Толя Гольдман — тоже перворазрядник из Свердловска. В ракетных частях не батальоны, а группы. Я служил в группе, которая готовила в МИКЕ к старту ракету, а он служил в группе, которая в том же МИКЕ готовила к старту спутник.

У Толи была одна особенность. Он картавил. Солдаты даже смеялись: «Гольдман, вынь х*й изо рта!» Помню, как он однажды, придя с шахматного турнира, докладывал майору — дежурному по части, что «рядовой Гольдман из увольнения прибыл». Я уже доложился и стоял рядом. Офицер поморщился: «Как вам не стыдно! Пришли пьяный и еще имеееете наглость показываться на глаза!» Он, услышав картавость, решил, что перед ним пьяный. Гольдман снова повторил рапорт. Офицер еще больше разозлился. Я захотел объяснить ему все, но он недовольно махнул рукой: «Идите!»

Еще я в увольнение ходил в книжный магазин. Покупал книги по физике и математике, которые так и не прочел. Я тогда вбил себе в голову, что буду физиком. Сейчас понимаю, что это была глупость. Будь рядом кто-нибудь умный, он бы мне это объяснил. Но умных не было.

Помню, как я стоял в МИКЕ за пневмощитком, через который надувал части ракеты воздухом и гелием. Двигатель и топливные баки проверяли на герметичность. По ракете ползали инженеры с гелиевым течеискателем. Вентили открывал я (так положено по инструкции), но за мной стоял десяток офицеров с высшим образованием и такое же количество представителей с завода. Они следили, чтобы я, не дай Бог, не сделал что-нибудь не так. Меня тут же схватили бы за руку. Обсуждали сообщение по радио, что прибалт взорвал на Красной площади около Мавзолея бомбу. Подошел начальник моего расчета Леша Лешуков. Услышав про бомбу, спросил: «Атомную?» Все схватились за голову и стали смеяться. И вот такой дуб гонял меня и еще десяток солдат два с половиной года. Родом он был из Лешуконья. Есть такое место в Архангельской области. Там полно Лешуковых.

Демобилизовавшись, я принялся наверстывать упущенное. Зимой ходил в студенческий филиал публички на Фонтанке и сидел там до десяти вечера — готовился в институт. Часто провожал девушку. Там было полно красавиц. Пока мы сидели, стреляли друг другу глазками. А в гардеробе знакомились.

Работал я после армии лаборантом в НИИ. Начальник первого отдела нашего института Гавриков был немного ненормальный. Когда я устраивался на работу, вместе со мной сидело несколько выпускников физфака. Он дал нам инструкцию по сохранению государственной тайны. Велел внимательно прочесть и расписаться. Такие инструкции нам в части давали подписывать каждые три месяца. Я легкомысленно сказал: «Я это все знаю» — и подписал не глядя. Гавриков заорал как сумасшедший. Орал долго. Я подрывал его престиж перед физфаковцами. Когда физфаковцы ушли, перестал орать и, строго глядя на меня, сказал, что у меня хорошие рекомендации (мне в части дали такую характеристику, что с ней меня бы в рай пустили), и меня возьмут на работу с испытательным сроком.

Работать я должен был в лаборатории около университета и библиотеки Академии наук. Это был филиал НИИ. Рядом две хорошие столовые, но Гавриков сказал, чтобы я туда обедать не ходил, потому что в них ходят обедать иностранцы. Велел брать завтрак из дома. В общем, идиот был порядочный.

Когда я уже работал лаборантом, Вовка Бриллиантов — тоже лаборант, сказал, что Гавриков велел завлабу следить за мной. Я ненадежная личность. Такие дела.

К иностранкам меня все-таки тянуло. Летом, когда девушки стали ходить полуобнаженные, мы с Вовкой гуляли по набережной Невы и, услышав иностранную речь, пытались познакомиться. Тогда было модно такое выражение — заклеить классную чувиху.

Узнай Гавриков про мою любовь к иностранкам, я бы тут же вылетел с работы. Но Гавриков пока не знал.

Однажды две красивые девушки вступили с нами в диалог. После нескольких наших с трудом выстроенных фраз на английском, одна рассмеялась и сказала на русском: «Нехорошо вас обманывать. Мы прекрасно говорим по-русски». Оказалось, они приехали работать на выставке «Высшее образование Великобритании». Звали их Евдокия и Лариса. Дальше беседа шла на русском. Обе были студентки университета. Работа на выставке им засчитывалась как практика. Лариса еще работала на радиостанции Би-би-си. Их девушки были адмиралы царского флота. У обеих были старинные боярские фамилии. На фамилию Евдокии я наткнулся, когда читал книгу Костомарова о смутном времени. Семнадцатый век. А портрет молодой девушки с фамилией Ларисы висел в Русском Музее. Боровиковский. Восемнадцатый век.

У меня после армии были жутко за*раны мозги. Я был твердо убежден, что наш строй самый лучший, армия самая сильная, а революция спасла народ от векового рабства. Я даже носил на пиджаке маленький круглый значок Ленина. Увидев его, Евдокия недоуменно спросила:

— А это зачем?

— Ленин — гений, — сказал я.

Таким я тогда был идиотом. Наверное, все тогда были такими идиотами. Я и американок пытался обратить в свою веру. Но у них с мозгами было все в порядке.

Когда я заговорил про войну, Евдокия поморщилась:

— Русские умеют воевать только стадом.

Лариса ее поддержала. Спорить я не стал. Понял, что их не переубедить. Когда спросил Евдокию, как она относится к революции, она сказала:

— А как к ней можно относиться, когда все твои родные были убиты?

Это была для меня новость.

Но эти разговоры отвлекали от главного. Лариса была красавица, а Евдокия была чертовски хороша собой. Она была не просто красива. В ней была изюминка. Я влюбился. Помню, как мы стояли около Ростральных колонн и смотрели на Зимний Дворец. Они все собирались туда сходить, но так и не сходили. Евдокия говорила Ларисе, что, если ее профессор узнает, что она там не была, у него будет удар.

— У моего тоже, — сказала Лариса.

Потом Вовка с Ларисой, обнявшись, пошли по мосту, а мы остались вдвоем с Евдокией.

На ней был белоснежный мохеровый свитер, который она постелила, чтобы сесть на него. Сидеть на граните было холодно.

Я долго пытался ее поцеловать. Она уворачивалась. Я ласково спрашивал:

— Why?

Она еще более ласково отвечала:

— Because.

Наконец, губы наши слились в упоительном поцелуе. Тут и Лариса с Вовкой вернулись.

Когда она встала, я ахнул. Вся нижняя половина свитера была черной. Она его даже не надевала. Однако на следующий день на ней был такой же чистый свитер, но только желтый.

Она спрашивала: «Почему ты не носишь свайтер?» Сказать, что у меня нет свайтера, было стыдно. Она еще потащила бы меня в «Березку» покупать свайтер.

Через несколько месяцев отец купил мне исландский мохеровый свитер, который я носил до тех пор, пока он не начал на мне расплзаться.

Мы с ней хорошо вместе смотрелись. Помню, мы провели несколько часов в саду около Петропавловской крепости. Нас там никто не видел. Вышли в три часа ночи. На стрелке Васильевского острова танцевала молодежь и играли музыканты на гитарах. И тут появились мы, взявшись за руки. Я же говорю, что в ней что-то было. На нас сразу обратили внимание. Какой-то музыкант крикнул:

— Играем для этой пары!

Мы медленно закружились. Когда остановились, нам захлопали.

Помню, как мы гуляли ночью около памятника Петру Первому. Спустились к Неве, и она показала на двух высоких мужчин. Сказала, что это английский посол и сотрудник посольства. Посол приехал на открытие выставки.

Я уговаривал ее остаться в СССР. Идиотизм. Где бы мы жили? В комнате в коммунальной квартире? Она показывала свои фотографии. Особняк в парке, и она улыбается из машины.

Вовка был фарцовщик. Не крутой, но его приятели были крутые. Я был влюблен, а они думали, как сделать деньги на девуш-

ках. У Евдокии были красивые золотые часы-кулон, на цепочке. Она их носила на шее. Вовкин приятель сразу схватил их и спросил Евдокию, за сколько она их хочет продать. Она рассмеялась. Это был мамин подарок. Приятель увеличил цену в два раза. Они так и не поняли друг друга.

Она говорила, что у них все клянчат одежду, и она боится, что вернется в Англию голая. Уборщица даже колготки украла.

— Я понимаю, что Англия богатая страна, но нельзя же так!

Она говорила, что я ей нравлюсь за то, что ничего не прошу. Думаю, не только за это.

Помню, Вовкины приятели устроили вечер с едой и возлияниями. Подвыпивший фарцовщик закричал:

— Я буду звать вас Дуся.

— Я не Дуся, — твердо сказала она. Очевидно, ей это не нравилось.

Когда мы выходили, хозяин квартиры стал приставать к Вовке. Стукнул его. Вовка заныл:

— Чего ты хочешь?!

— Я хочу, — сказал хозяин, — вернуть все, что я потратил.

Я ничего не понял. Стал рыться в карманах, хотя там ничего не было.

— Сколько вы хотите?

Вовка ударил меня по рукам.

— Перестань.

Постепенно я понял из беседы, что имел в виду хозяин. Вечеринка была устроена, чтобы раскрутить девушек. Фарцовщик хотел заработать. А мы уходили, и он ничего не купил. Не сделал бабки. Как-то мы из этого положения вышли. Плохо помню, потому что еле стоял на ногах.

Это было время первой высадки американцев на Луне. Но задолго до этого были известны фамилии астронавтов, и на выставке раздавали их портреты. Один долго висел у меня в квартире. Они подарили мне игрушку в красивой коробке — пластмассовую модель лунного модуля, которую надо было самому собрать и склеить ацетоном. Я ухитрился при сборке сломать ноги модулю. Они смеялись, что русский человек сломал ноги американскому модулю. Говорили, что это очень характерно (Левша тоже подковал блоху, но прыгать она перестала). Потом сломался и сам модуль.

Мне, прослужившему три года в ракетных войсках, это было удивительно. О том, что СССР запустил новый спутник, который на моих глазах привинчивали к ракете в МИКЕ, мы узнавали на следующий день после того, как смотрели в тайге пуск. «Пусэк», как говорил служивший со мной вместе ефрейтор из Казани. А чтобы фамилии космонавтов знали задолго до полета? Странно.

Три эпизода в этих встречах были решающими.

Однажды я пришел повидаться с Евдокией на выставку. Там стояло много книжек. Одна меня заинтересовала. *Relativity for the millions*. Автор Martin Gardner. Мы так живо болтали, что я вышел из книжного зала с книжкой в руках. Она засмеялась. Я сказал, что хочу почитать. Я не знал, что книжка переведена на русский язык. Она сказала, чтобы я взял ее. До этого говорила, что в первый же день на выставке украли половину книг.

— Мы думали, что будут воровать. Но чтобы половину!

После ее разрешения я вышел на улицу с книжкой. Мне бы надо было сообразить, что после украденной половины на выставке будут следить за посетителями. Наверное, за ними и так следили. Меня сразу взяли под руки и отвели в квартиру на первом этаже дома на противоположной стороне улицы. Там был пункт КГБ. Попросили открыть портфель. Достали книжку.

— Вот! А то англичане жалуются, что у них книжки воруют!

Я стоял ошеломленный. Все полетело под откос. Я представил, как Гавриков будет орать. Как меня выгонят с работы. Как я не смогу поступить в университет. У меня будет волчий билет. Мало мне папы еврея, так я еще ворую книжки. И где! На иностранных выставках!

Очевидно, меня на выставке долго пасли и видели, как я разговаривал с гидом.

Кэзбэшник участливо спрашивал:

— Может, вам книжку кто-нибудь дал? Может, ее разрешили взять?

Сказать, что разрешили, значит, подвести ее. Кто знает, может, книжка антисоветская. Я сказал, что сам взял. У меня записали все, что могли, и отпустили.

Вечером я встретился с ней на набережной. На нашем самом любимом месте. На стрелке. Оттуда мы удалялись к Петропавловке. Но в это раз я выглядел плохо. Она сразу поняла, что со мной что-то случилось. Стала спрашивать. Я ничего не сказал. А что я мог сказать?

Второй случай, определивший мою судьбу, произошел, когда мы вчетвером отправились гулять в Пушкин. Погода была прекрасная, и мы наслаждались природой. Вечером Вовка предложил поехать к нему. Папа в командировке, брат в санатории, а маму он попросит уйти.

Мама ушла сама, предупредив Вовку, чтобы он был осторожен. Его брат собирался поступать в университет на восточный факультет, и контакты с иностранцами могут ему повредить.

— Не волнуйся, мама! Все будет в порядке!

Мама ушла, а Вовка стал доставать из буфета бутылки. Сейчас я понимаю, что это была ошибка. Зачем надо было столько пить, когда нас двое, и девушки две. Надо было разойтись по комнатам. Их тоже было две. Но тогда?! Тогда все воспринималось по-

другому. Это сейчас я понимаю, что то, что у трезвого на уме, у пьяного может не получиться. А тогда нам казалось, что надо показать, какие мы ухари. И они, действительно, обалдели.

— Если бы англичанин выпил столько, сколько вы, он бы трижды был под столом.

И мы чувствовали себя героями. Потом девушки сами опьянели. Надолго закрылись в ванной.

Глядя на закрытую дверь, Вовка спросил меня:

— Слушай, что они там делают? Кажется, блюют?

Из ванной, действительно, доносилось рычание.

Я пожал плечами. Я еще не видел, как девушки блюют. Это потом насмотрелся.

Из ванной они вышли посвежевшими. Может, у них таблетки такие были?

Время было позднее, и мы улеглись спать. Вовка лег с Ларисой, а я — с Евдокией.

Она легла на спину, а я снял с нее колготки (она подняла попку, чтобы они не порвались) и впился губами между ног. Посмотрел на нее. Она смотрела в потолок, предвкушая наслаждение. Надо было целовать, пока она не закричит или застонет, а я был совершенный теленок. Полез к ней. И тут со мной случился конфуз. Как писал Набоков, мучительно я пролил семя. Но Набоков мучительно пролил семя перед всеми, а я перед Евдокией. Лучше бы я пролил его перед всеми. Ах, как не вовремя! Короче, я обрызгал ей бедра.

Она сразу все поняла. Села на кровать, брезгливо поморщилась, и стала надевать колготки. А я лез к ней. Чего я лез? Чего хотел? Ведь я уже ничего не мог. Я даже сказал:

— Ты же не девушка.

— Я не девушка, — процедила она, — но такое со мной первый раз, — и оттолкнула меня.

И снова я ничего не понял. Лез к ней. Пытался снять колготки. Говорил, что хочу поцеловать ее.

— Ты уже целовал.

Мы легли спать и больше друг к другу не прикасались.

А Вовка с Ларисой резвились. Он был женат. Жена в командировке, и он был приучен к половой жизни, а у меня, кроме случайных контактов, никого не было. Я был тогда, как сказала Брижит Бардо, нетерпелив в любви. Может, заставь я тогда Евдокию орать, гулял бы сейчас по Гайд-парку.

Все-таки, мы встречались. Нас тянуло друг к другу. Чему-то я учился.

Но случилась катастрофа. Вечером она пошла в «Березку» на Герцена. Я ждал на улице. Она вышла, радостная, держа в руках литровую бутылку водки.

— Нам будет, что выпить!

Нам, действительно, было! Я хотел вместе с ней сходить в гости к приятелю, братец которого — студент консерватории (сейчас он лауреат нескольких международных конкурсов и профессор в консерватории) — очень хотел пообщаться с иностранцами. Когда я был в гостях у приятеля, студент — будущий профессор — зашел в комнату и первым делом спросил:

— Англичанки будут?

Даже не поздоровался.

Я сказал, что будут, и одна работает на Би-би-си. Приятель обрадовался и сказал братцу, что это может быть очень интересно. Будущий лауреат и профессор тоже обрадовался, но, как я понимаю, после моего ухода они с братцем обсудили последствия такого визита и испугались. В результате накануне встречи с Евдокией приятель позвонил мне и сказал, что гости отменяются.

Нам некуда было идти. А литр водки лежал у нее в сумке. Как говорят, кто сказал «А», должен сказать «Б». Водку надо было выпить. Можно было пойти к Вовке, но у него жена вернулась из командировки. Привести ее к себе в коммунальную квартиру, чтобы она слышала мат из-за стены, я не мог.

В результате, мы пошли к хлопцу, который, как и я, собирался поступать в университет. Хлопец тоже жил в коммуналке, но все соседи были на даче. А там мы стали опорожнять содержимое бутылки. Я впервые попробовал водку из «Березки». Она лилась в горло, как вода. Даже лучше. Она не драла горло. Что-то в нее добавляли для мягкости. Потом мне сказали, что глицерин. Я быстро оказался под столом. Евдокия с хлопцем тоже были пьяны в хлам. Но, если я лежал, то хлопец оказался способен ее проводить.

Наутро, протрезвев, я позвонил ей.

— Я руку сломала, — сообщила она мне убитым голосом.

Хлопец рассказал подробности. Она упала на асфальт и оперлась на руку. Хлопец решил, что у нее вывих, а в книжках пишут, что при вывихе надо дернуть за руку. Вправить вывих. Когда он дернул, она заплакала и сказала: «Русские — варвары!».

Потом я много раз провожал ее в клинику около Петропавловской крепости. Только мы с ней гуляли, заходя со стрелки, а в клинику надо было идти с Троицкого моста. Сидел в клинике, когда ей делали перевязку.

Вовка выпал из нашей компании. Жена. А Ларисе та ночь зашла в душу. Она запомнила, где он живет, пошла к нему домой, определила номер квартиры и бросила в почтовый ящик записку. Написала, что не может. В результате Вовка оказался вечером в их номере в «Европейской». Я там тоже был один раз в вестибюле, ожидая Евдокию, и хорошо одетый мускулистый парень сказал, чтоб я быстро уходил.

Но с англичанками Вовку пропустили. Когда они сидели в номере, зашло английское начальство и спросило:

— Чем будете угощать гостя?

Они показали такую же бутылку водки.

Как рассказывал мне Вовка, Евдокия плакала и говорила, что сама во всем виновата. Бутылка водки, да еще литровая, из «Березки» была совершенно лишней. Говорила Вовке, что он тоже виноват. Перестал с ними встречаться, и все стало плохо. Просила, чтобы позвонил мне, и я тоже приехал в номер.

Потом выставка уехала в Новосибирск. Сначала она была в Киеве, потом в Ленинграде, а Новосибирск был конечным пунктом.

Мне все-таки довелось еще раз увидеть Евдокию. Поздней осенью я стоял у входа в Кировский театр. Лил дождь, и я стоял под навесом у входа. Прямо к двери подкатил интуристовский автобус, чтобы не промочить иностранцев. Открылась дверь, и первая, в черном кожаном пальто, вышла она. Стала помогать выходить остальным. Я смотрел на нее, не веря глазам своим. Я понял, что выставка в Новосибирске закрылась, и она совершает прощальный вояж перед возвращением на родину.

Стоял я в темноте. Освещен был вход, но говорят, что человек чувствует взгляд. И она почувствовала мой. Повернула голову, увидела меня и узнала. Минут пять мы смотрели друг на друга. Она помогла выйти всем иностранцам из автобуса, но смотрела на меня. Что она подумала? Не бывает таких совпадений. Наверное, подумала, что я приставлен КГБ следить за ней. Ужас!

КГБ работал плохо. Бумага на работу пришла через несколько месяцев. Евдокия уже давно была в туманном Альбионе. Я даже решил, что про меня забыли. Играл в шахматы в обеденный перерыв, когда в лабораторию позвонил снабженец Пашка Мазанович, который ездил в дирекцию, и сказал, что мне надо увольняться из НИИ. Когда я снова сел за шахматную доску, соперник понял по моему лицу, что со мной что-то случилось. Смешал шахматы и сказал, что партия прекращается. Я кивнул головой.

Я все-таки не уволился, а стал ждать развития событий. Когда меня вызвали в первый отдел, я все рассказал. Конечно, про книжку. Гавриков не орал. Он радостно прыгал вокруг стола и приговаривал: «Молодец! Сам во всем сознался!» За столом, напротив меня, сидел серьезный молодой человек и расспрашивал, что же крамольного мне говорили англичанки. Оказалось, Гавриков был ширмой. Его держали, чтобы орать на сотрудников. Главным был серьезный молодой человек.

Потом мне долго пришлось выполнять общественные поручения, чтобы восстановить доверие коллектива. Ездить в народную дружину через весь город. Ходить на демонстрации. Участвовать в избирательной компании. В общем, обычный советский идиотизм.

Ларису я еще лет пятнадцать слушал по Би-би-си. А на память у меня остался только журнал с выставкой, подписанный Евдокией. И я даже не могу прижать его к сердцу.

7 сентября 2010 г.



Дмитрий ЛАРИОНОВ

/ Нижний Новгород /

ПЧЕЛА ТОЛКАЕТ КЛЕВЕР

ИЮЛЬ

«Июль» написано под фото.
Смотрю: за спинами вода.
По небу шли «Аэрофлотом»,
добрались именно туда.
Какой закат, какое море!

И город значится в строке.
Компас условных акваторий
всегда на левой был руке.
Вновь точкой сверху виден «Боинг»
/расправил крылья-плавники/ —

и он уходит в голубое;
случайно в облаке возник.
Который раз сойдутся растры,
увидю снова — улыбнусь:
«Ну да, июль, — скажу. — И август,

в который больше не вернусь».
Такой закат, такое море,
где город значится в строке.
Держу отцовский «Полароид»
и по листве иду сквозь снег.

* * *

Не друг, не Савл, не отчим, а просто — кореш мой —
за чаркой в «Мама Гочи» остался на Тверской.

Сидит, считает слоги, глаголет о судьбе
ушедших и немногих. Рисует голубей

по выцветшей салфетке. Но в черновик легко
глядит поэт Наседкин, А. Б. Мариенгоф

вслед музыке «Мгзавреби» кричит: *«Скорей-скорей!
Ну, мос-ка-ли, е-вре-и, накинem по строке!»*

Волна проходит в кадре; он говорит: *«Аз емь»*.
И высветится адрес: Тверская, 37.

Притормозит извозчик, где Вета сквозь стекло
надышит... колокольчик. Затем — смахнет его.

ПАМЯТИ ЧУРДАЛЕВА

Играет ножичком на Лыковой;
сидит с иголочки клифтец.
Закат толчеными гвоздиками
смещает облачный свинец.

Он точно был в «КОГИЗе» Рябова,
сюиту жизней я читал:
хранил в руках живое яблоко,
переходя ночной квартал.

Но на страницах ранней «Юности»
не довелось быть рядом с ним.
Не по знакомству, не по глупости —
смотри — на Лыковой стоим:

Денис, Владимир и товарищи
/и не спросить: «Чего-чего?»/;
а рядом — под звездой мигающей —
задумчив Игорь Чурдалев.

Спешит один на Караваиху,
другой — умчал в Автозавод.
Взят «Кенигсберг» и левый Heineken.
Вся жизнь пошла наоборот.

* * *

Сентябрь не цельный, но сквозной;
курил один */почти что плакал/*.

<...> и — под коньячную слезой —
смещалась строчка Керуака.
Сам ничего не мог сказать.
N лет минуло многим позже:
он вынес солнце на глаза
в районе новой Нижневолжской.

Над ним качался светлый зной
/через айфон дал голос Козн/,
он понял вдруг весь мир сквозной
и двинул вверх за алкоголем.
Трубил себе — в пивной рожок —
поскольку был к нему охочим.
<...> сползал фиалковый кружок
по карте прежних геоточек,

бежали цифры. Каждый год
терял немного на белом:
искал слова, вбивал их в Word.
Уже в ночи очеченелой
/сидел, как прежде, допоздна/,
не в глубине — за сетью веток —
смещалась синяя звезда
и била в окна ближним светом.

ДРУГИЕ ОБЛАКА

Кружила бабочка */исчезла/,*
река в апрель перетекла;
а я курил помятый «Честер»,
смотрел другие облака.
«Ни древний Родос, ни Гавана, —
твердил себе. — *Ни Лимасол.*

Я вопреки — любил упрямо».
И пел БГ с альбома «Соль».
<...> но облака смещали тучи,
потом черемуха цвела.
Рюкзак и плеер многим лучше
сбивали перечень утрат.

Не говори, обычный метод.
Другие песни прогони.
Проснусь и я лиловым летом,
где во свету лежим одни.
Обоим, верно, под двадцатник
/блестит заколка у окна,

молчит будильник у кровати/.
Идут другие облака
и чайки — разрезают утро.
<...> полуоткрытое окно.
И целый мир ежеминутно
опять сдвигается в одно.

* * *

<...> важен оттиск и оттенок.
Соты солнца — и всего.
Наползай — собой на небо —
будь до света насеком.

Пусть пчела полынь толкает
/электричка вдалеке/.
Капли первого «Токая» —
точно пчелы на руке.

Сладок спелый привкус лета,
но распробован едва;
речь — дыханием согрета.
Только бабочка мертва:

не храни хитин в тетради,
а построчно назови
тех, которых ты растратил,
поместив под черновик.

Не взойти звезде от плевел
/электричка за спиной/.
Пусть пчела толкает клевер,
так придумано не мной.

ПОЛКОВНИК

Вдали от скорых электричек,
от моря синего вдали,
он гнал по зимней Кузнечихе
и песни Хрынова хвалил.
«У нас была такая юность, —
обосновал. — Пойми, студент,
ну, чёрта мне? Я не рисуюсь.
Полковник? Умер в сентябре».

/стучал мотор на старой «Волге»/
Я понимал, но сам молчал:

пока во свет до смерти вогнан —
не по тебе горит свеча.
«А у Ильинской в "Паутине", —
ответил он. — *Последний раз*
живым его с Поведским видел».
Затем включил Tequilajazzz,

и мы уехали в Щербинки.
<...> перемотал — десяток лет —
звучит мотив цыганской скрипки.
Мотив звучал. Разлуки хлеб
в решетке растровой хранится,
гудит потоком децибел:
ни селфи-снимка на Ильинской,
ни кружки пива на Скобе.

* * *

Себе на жизнь друг майнил в Осло.
Его мечтой был Амстердам.
А я в четверг смотрел на солнце;
кипела в чайнике вода.

Стоял апрель. Провисшим небом
/и запах комнаты пустой,
где многим позже будет мебель/
летели птицы над страной.

Квартира этажа восьмого.
<...> сегодня — голоса других —
пережимают голос новый.
Последний камешек фольги

оплавлен был в кофейной банке.
Ты уезжала на такси,
забыв у зеркала свой «Данхилл»
и зажигалку вместе с ним.

Недолг дым; предвечна сырость.
Но я шептал через губу:
«*Пусть мне однажды жизнь приснилась,*
приснись еще когда-нибудь».

Елена ЗЕЙФЕРТ

/ Москва /



МОЯ ЛЮБОВЬ — ТВОЁ УЕДИНЕНИЕ, ИЗ КОТОРОГО ЛИШЬ ВЫНУТО ТВОЁ ОДИНОЧЕСТВО

Илье

* * *

Женщины и мужчины, прошедшие мимо тебя и меня,
лодка цвета воды (невидима и легка),
общая внутренняя река —
все они создали наше «друг друга обнять».

Если без пафоса, то ты в этот день перевёл
чашки, накрытый стол, заснеженное окно
на совершенно новый язык, на свой глагол:
я знаю тебя давно?

Этот щелчок — словно внутреннего моста
или корней раздвижение, маленький шаг
к тебе и себе — ты слышишь в наших ушах?
Руки твои — мои родные места.

21 января 2021

* * *

Знает ли любящий боль? Да только один её вид:
плачет, но сам он, прозревший, не слышит собственный плач,
если другой — возлюбленный, мальчик, странствующий циркач —
словно израненный палец или кулак болит.

Где ты, бездомный, безытный, живущий вне всяких дрессур?
Руки твои ледяны, ноги твои ледяны. Ты куришь в окно.
Я принесла тебе несколько шкур. Кого я спасу,
если ты стал движеньем одним — движеньем ко мне одной?

Мягкое платье красного цвета, вельветовые рукава...
Ты целуешь мне руки, дрожишь, в глазах — благодать,
а на полу — не кровь, а корни и бурая скошенная трава,
снег за окном сияет, и вечно будет сиять.

Рыбки, обнявшись, греясь в накуренной темноте
(в лютом холоде — зарево твоего языка),
плыли друг к другу: чёрная — на животе,
белая — на спине, на боку (веретено!), и не было дурака

нас блаженнее, нас счастливее, да просто не было нас
в этой комнате, в этой заканчивающейся зиме.
Я распахнула глаза, и твой зажмуренный глаз
(ты целовал меня) был мне как солнце, как право солнце иметь.

20 февраля 2021

ЛЮБЛЮ

Я смертельно хочу
твоей подлинной свободы,
в моём неустанном «береги себя» не отнимаю твоего права
на риск,
надеясь, что оберег мой всегда с тобой.
Мы засыпаем друг друга «люблю тебя», мы засыпаем с «люблю»
в умолкающих ртах.
Моё «люблю» для тебя равно пространству, в котором нет никаких стен,
по сути, оно ничем не отличается от твоего уединения,
из которого лишь вынута твоё одиночество.
Я наслаждаюсь твоей свободой, я искренне желаю её.
Рядом с тобой многие, увы, смешны, они не прикасаются
даже к столешнице бытия,
а ты легко отодвигаешь локтем груды книг
словно истолкованными «истинами» и дешёвой риторикой
и кормишь меня едой бытия.
«Леночка, поешь».
Я уверена, что эта заботливо пожаренная тобой вечером картошка —
с самых высот и глубин, где ты нередко пребываешь.

С тобой я с радостью обниму прокажённого.
Как удивительно нищ ландшафт нашего с тобой обладания.
Как мало мы взяли с собой, и в нас охотно влилась прозрачная громада любви.

20 апреля 2021

ВНУТРИ

«Я живу сквозь тебя» — любимый, спасибо за эти слова,
мы не только, запойные, думаем друг о друге весь день,
но тебя сквозь меня продает к творчеству злая Москва,
порождавшая долгие годы этот бросок. Людей

не волнует (или волнует?) наш с тобой закуток,
неумелая краснота, нежнейший надрез на руке суеты,
тихий, словно глоток, Восток
Москвы, независимость наших я, одинаковость наших ты.

Ты летишь свободно — ко мне, сквозь меня, ко мне.
Я прекрасно знаю, какая тебя окружала даль,
сколько выпито дна на самом тяжёлом дне,
как шалели секундная и часовая, святилась вода.

В снегопаде (московский апрель подходит к концу)
ты, прижав к себе, закутал в своё пальто, стеной
оберёг, и на остановке мы грелись — нам нежность обоим к лицу.
Я твоя остановка. Живи сквозь меня, родной.

27 апреля 2021



ЛЕСЯ ТЫШКОВСКАЯ

/ Париж /

ТРЕЩИНЫ НА СТЕКЛЕ

Эти трещины на лобовом стекле, всё время мелькающие перед глазами, превратились в привычные. Хотя иногда раздражали, как в первый день. Лучше бы раздражали, подумала она. Если раздражают, значит ещё не всё потеряно, ещё что-то цепляет взгляд, хотя бы и дисгармония, не дающая восприятию погрузиться в инфантильное созерцание привычной дороги и обрести иллюзию внутренней опоры ещё до того, как она станет реальностью.

Трещины не просто отвлекали от дороги в качестве раздражающей помехи — они несли в себе скрытый смысл, который проступал с каждым днем всё отчетливей, постепенно превращаясь в наглядную иллюстрацию жизни или того, что представлялось жизнью в мире видимом. Последний помещался в лобовом стекле машины, а иногда и в заднем, и в боковых, если зрение соглашалось на периферийное, а водитель вовремя успевал воспользоваться этим качеством.

Этой машине скоро исполнится четыре года, подумала она, я привыкла ко всем её изъянам и аварийным следам. И к этой паутинке перед глазами тоже привыкну. Трещины действительно напоминали паучью нить, сплетенную в самом неожиданном месте — у всех на виду, но смотрящуюся так естественно, как если бы она была частью интерьера, или экстерьера, что одно и то же для глаза водителя, все время цепляющегося за эту паутинку.

Её мысли прервал залп откуда-то сверху. Салют! Она срочно припарковалась и выпрыгнула из машины. Она с детства обожала салюты, и с возрастом эта страсть не прошла. Она прыгала и кричала «ура», а проезжающие с недоумением смотрели на странную женщину, оставившую машину открытой посреди дороги и забывшую обо всем на свете.

Садясь за руль и снова упираясь взглядом в лобовое стекло, она обнаружила, что за эти десять минут трещина из паутинки успела превратиться в одну из вспышек, которые она только что видела на небе, и вспомнила, как её друг-химик объяснял, что такое

точка бифуркации, порождающая множество других... Точка бифуркации несла в себе вспышку новых рождений и возможностей. А значит, эта паутинка на стекле, этот маленький салют трещин, расходящихся вверх...

Она стала вспоминать все свои аварии. И каждая была результатом неправильной мысли или поступка. Получалось так, что она со своей машиной находилась в непрерывном диалоге. Каждый раз машина как будто отвечала ей на вопросы внутреннего голоса.

Первая авария произошла, когда она посадила в салон бывшего любовника, чего никак нельзя было делать. Пора бы давно проститься и простить. Ей хотелось похвастаться, а ему — отомстить. И она наехала на машину, которая, в свою очередь, наехала на машину ГАИ. В общем, авария получилась на славу. На нее ушла половина гонорара за фильм, в котором ей посчастливилось в то время сниматься. Дело было ещё и в том, что своему первому в жизни гонорару она не обрадовалась, поскольку не знала, с кем поделиться успехом. А успех, как говорят у нас, нужно обмывать. Она заказала себе дорогой коктейль в баре и выпила его в полном одиночестве. На следующий день деньги ушли от неё.

Вторая авария произошла, когда она торопилась к любимому, и ей не хватило терпения подождать, пока черная Волга свернет в арку в одном из самых оживленных кварталов города. Она слишком поздно вспомнила любимую фразу инспектора, безуспешно пытавшегося научить её вождению: «С вас что, корона свалится, если вы на тормоз нажмете?» На тормоз она действительно не любила нажимать. Ей казалось, что таким образом она приказывает любимой машине заткнуться». Что касается вечера, в который произошла вторая авария, то она так торопилась на свидание, что согласилась рассчитаться прямо на месте и отдала все, что у неё лежало в карманах. Встреча с любимым вознаградила её за щедрость. Тогда-то она и поняла, что за любовь могут платить не только мужчины.

Третья авария произошла, когда она задала себе вопрос: «Неужели я соглашусь на этот поступок? Неужели я такая стерва?»

— Стерва, если согласишься, — отрезала машина, врезавшись в новенькую Хонду. Пострадавший почему-то долго оправдывался, прежде чем потребовать деньги. Дескать, он не настолько богат, чтобы царапать только что купленную машину и т.д. Проблема была в том, что к этому моменту она тоже оказалась не настолько богата, чтобы чинить ещё и свою машину, и продолжала пользоваться ею до тех пор, пока одна из её поклонниц не настояла на починке.

— Как же вы ездите без одной фары? — посочувствовала она.

— Да как-то езжу, — ответила она смущенно.

— Вот что: завтра — на станцию техобслуживания, я всё оплачу.

Четвертая авария была единственная, которая произошла как будто не по её вине. Её машину помял троллейбус, когда она хотела протиснуться между ним и бровкой. На этот раз деньги должны

были выплатить ей. Но водитель стал жаловаться на бедность — и она махнула на него рукой. Скорее всего потому, что знала, за что попала в аварию: подруга попросила повозить её в этот день, поскольку у неё не было денег на такси, а воспользоваться общественным транспортом ей, бизнес-леди, не приходило в голову. Ну какой из меня шофер? — возмущалась непутевая водительница по дороге к подруге. Ей пришлось помять машину, чтобы найти вескую причину для отказа.

Пятая авария... С ней она никак не могла смириться. За какую-то жалкую мысль! За то, что она не хотела потратить в кафе те немногие деньги, которые получила за спектакль, оправдываясь тем, что в этот сезон спектаклей у неё — один в месяц, а поужинать можно и дома. И вот за эту скупость по отношению к себе, когда по дороге она столкнулась с такси, в последнюю минуту всё-таки решив завернуть в кафе не с той полосы, страховая компания пострадавшей стороны требовала с нее шестьсот долларов. Через год она собственноручно принесла в страховую контору триста, за что адвокат долго жал ей руку, не веря своему счастью — начиная период экономического кризиса. Тогда-то она и задумалась о страховке машины. Но не оформила её, пока в её жизни не случилась шестая авария.

Эта последняя — замкнула на себе кармическую цепочку происшествий, поскольку, как и первая, произошла благодаря человеку, которого не стоило сажать в машину. На этот раз это была женщина, которая тайно, а порой и явно недолюбливала её. Нужно быть великодушной, — убеждала их общая подруга, усаживаясь вместе с той в машину. Перед ней ехал большой черный джип с женщиной за рулем. Женщина потребовала номера телефонов, вызвала ГАИ и простилась непреклонно и окончательно.

Она вышла из машины, набрала номер своего знакомого и произнесла трагическим голосом:

— Я разбилась.

Знакомый, как всегда, оказался настоящим другом: приехал с прицепом, который все время выходил из строя, так что её машину он довез на станцию техобслуживания в сумерках. Их ждали его знакомые механики, которым он поспешил дать как можно больше денег. А после этого впервые за годы знакомства пригласил её в свой строящийся дом, где, как он выразился, ему хотелось бы встретить старость с любимым человеком. Такая перспектива не входила в её планы, и когда они простились, ей стало так легко, как будто она освободилась от всего сразу: мужчины, машины и необходимости куда-то ехать...

На этом можно было бы завершить перечисление аварий, но её подкарауливал давний сон, о котором стоит рассказать. Он всегда всплывал после очередной аварии. Он появился ещё до того, как она научилась водить. Собственно, с него всё и началось: уроки

вождения, освоение другой реальности, к которой раньше она не питала особой симпатии. В этом кошмаре она убегала от стада мужчин (она не могла назвать скопление угрожающих её жизни особей другим словом). Она садилась в незнакомую машину, заводила мотор и нажимала на газ. И всегда просыпалась от одной и той же мысли: я же не умею водить! Разбиться (в случае воплощения сна в действительность) ей не хотелось — и она пошла на курсы, не имея ни возможности, ни надежды купить машину. К счастью, подоспел официальный муж, который, в промежутках между заграничными командировками, наносил ей короткие визиты и появлялся в её жизни всегда в самые нужные моменты.

— О, ты решила научиться водить машину? Как успехи?

— Ну, как тебе сказать...

— Ничего, научись. Лучше учиться на своей машине. Но у меня свободных только три тысячи. Если найдешь что-нибудь на эту сумму...

И она сказала «да» перламутрово-сиреневой Таврии, подмигнувшей ей выключенной фарой. Муж перекрестился — это была самая дешевая машина в дорогом магазине и самая быстрая покупка в его жизни. Тридцать минут — и машину обещали доставить в гараж. Потом он, конечно, пожалел о своем подарке:

— Уже все машины в Киеве знают, что могут поживиться за твой счет?

— Как это?

— Ты же всегда им в зад въезжаешь! Так что скоро перед тобой очередь задов будет, — съязвил он. — Попробуй потом докажи, что они уже не были поцарапаны.

Образ бывшего мужа исчез и сменился привычным сном, обнажившим её страх. «Неужели я до сих пор не научилась водить без аварий?» — думала она, засыпая. На этот раз в своем кошмаре она проехала гораздо дольше, чем обычно. Сексуально озабоченные преследователи оказались далеко позади, а она продолжала рулить посреди горной ночи, напоминающей ночь десятилетней давности, когда её вместе с мужем на бешеной скорости вез пьяный грузин по горным тропинкам, висящим над пропастью. Тогда, после возвращения в Украину, её надолго оставил страх. А возможно, просто переключал в сны о возможной аварии, которые её преследовали до тех пор, пока она не пошла на курсы вождения.

Через несколько дней она получила отремонтированную машину. И даже трещины на стекле, подвигнувшие её на этот рассказ, исчезли. А жаль, благодаря им выписались неплохие наблюдения. Маленький какой-то рассказец, подумала она и решила продолжать.

На этот раз она одновременно нарушила три правила: повернув не с того ряда, не обратив внимания на волшебную палочку гаишника и сев за руль без прав.

— Что? Теперь я месяц должна буду передвигаться на метро? — возмущилась она, когда её друг сказал, что права у неё отобраны и с вождением надо повременить.

Гаишник гнался за ней два квартала. Догнав, он преградил дорогу и, как ни странно, довольно вежливо пригласил пересесть в его машину для оформления необходимых документов.

— Сейчас, сейчас, — затараторила она, — вот только в театр позвоню и отменю спектакль.

— Какой спектакль?

— Мой! — истерически выпалила она и, набрав номер, не своим голосом закричала:

— Виктор, мою машину на штрафную площадку забирают, а я арестована! Сделай что-нибудь!

— Ты что! Билеты уже проданы! — подражая её интонациям, закричал перепуганный администратор. — Ты ведь одна на сцене, я тебя заменить не могу!

— Слышали? Билеты проданы! — набросилась она на гаишника, который, по-видимому, не был лишен чувства прекрасного, потому что поспешно проговорил:

— Да не волнуйтесь вы так, девушка! Будет у вас спектакль! — и поспешно пряча те немногие деньги, которые нашлись в кармане бедной всхлипывающей актрисы, отпустил её с миром.

— В Европе тебя за такую езду сразу бы в тюрьму упекли, — выдохнул друг-оператор, который молча сидел рядом, понимая, что никаким авторитетным вмешательством тут уже не поможешь.

— Но я же не могла, я на спектакль опаздывала! — искренне возмущалась она, возвращаясь в машину с опустошенными карманами. Надо же, какой хороший человек! — думала она.

Рассказ был завершен, машина застрахована от всех возможных аварий, а автор никак не хотел расставаться со своими воспоминаниями. Так возникло послесловие.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В Европу она попала случайно, а осела надолго. Когда она, наконец, поняла, что здесь ей придется жить, возник вопрос о водительских правах. Попытавшись обменять свои украинские, она столкнулась с необходимостью сдавать экзамены. На правила дорожного движения ушло полгода. Оказывается, она их совсем не знала. Поэтому пришлось учить, да ещё и на французском. Как добросовестная ученица, она каждый день посещала курсы, где крутили слайды со всеми возможными ловушками вопросов. Экзамены она сдала с одной ошибкой, что считалось очень хорошим результатом. Окрыленная, она попросила разрешение сдать практический экзамен.

— Вам полагается пять обязательных уроков, а потом посмотрим, — ответили ей в школе.

После пятого урока инструктор, огромный важный негр заявил, что она не умеет водить машину и ей нужно взять ещё минимум двадцать. Уроки стоили дорого, поэтому она брала всего два в месяц. После каждого урока, сопровождавшегося упреками и ссорами, она чувствовала недомогание, голова кружилась, а руки тряслись, как у старенькой боязливой мадам. Да и как не бояться? Между уроками проходило почти две недели, так что она успевала отвыкнуть от комфортабельной французской машины, не похожей на её украинскую Таврию, в которой руль не поворачивался одним взмахом руки, а на тормоз приходилось жать, напрягая весь мускульный аппарат тела. К тому же страх всячески культивировался на уроках вождения нижеследующими фразами:

— Вы что, мадам, хотите, чтобы вас в Сене нашли?

— Вы хотите вашего ребенка сиротой оставить?

— Эй, потише, вы опасны! Мне страшно с вами!

После двадцатого урока инспектор заметно успокоился.

— Теперь я вас не боюсь. Кажется, что-то начинает проникать в вашу голову.

— Только начинает? — удивилась она. — Я десять лет водила машину у себя на родине! Когда же вы меня на экзамен отправите?

— А этого я вам сказать никак не могу... Когда вы будете готовы. До свидания, мадам.

Послесловие тоже никак не заканчивалось, и безутешный автор решил насильственно прервать рассказ. К тому же, подходило время двадцать шестого урока...



Евгений ВИТЧЕНКО

/ Тюмень /

Из цикла «Аварийный ангел»

* * *

Когда безмолвствует родная
(А лучше так: прямая!) речь,
Горит свеча, не прогорая.
И, значит, незачем беречь

Свечу. Свечным как будто светом
Мы озаряем потолок.
И ищем в воздухе бесцветном,
Где по углам, должно быть, Бог,

Хотя бы тень от наших крыльев.
Хотя бы тень. Но крыльев нет.
А только взмах предплечий сильных.
Сплетенье рук. И, точно нефть,

Бьёт кровь в артериях и венах.
Я чувствую, что я живой.
Живой! Два ангела, наверно,
У нас сейчас над головой.

А Бог, как водится, в деталях.
Какая мелкая листва
В окне осеннем пролетает.
Начнём всё с чистого листа,

Как перед сотвореньем мира.
Не будем рваться в небо, ведь
Горячая в ладонях глина.
И первозданнейшая твердь.

* * *

Это почерк метро,
Фиолетовый скачущий почерк.
Это наше нутро,
Наше место среди одиночек.

Это жиденский свет
Пред твоими глазами смеркался.
Ты был попросту слеп
И на людном перроне остался

Совершенно один.
Ничего, постоишь чуть в сторонке.
Здесь не место двоим.
Их в вагон засосёт, как в воронке.

И обратно уже
Их не выпускают двери живыми.
Тень — твоя протезе —
На полу в экономном режиме.

Постоишь, может быть,
Три минуты, а кажется: вечность.
Даже тенью забыть,
Вот выходишь ты вновь на поверхность.

* * *

Он нежно-жёлтый, шрам от солнца
Во сне. И сон непоправим,
Под утро снящийся. Проснёмся:
Как из распоротых перин

На парапетах и садовых
Скамейках снег. Как занесло
С лопатой человека (дворник,
Неузнаваемый в лицо!).

И всё-то медленный по кругу
Неугомонный мяч земной.
И почерк, тянущийся к югу,
Как птичья стая надо мной.

И строчкам крылышки ломая,
К какому морю их прильёт
Попутный ветер? Непрямая
Их речь изрезана, как фьорд.

Как рай, скалист и неприступен
Язык. Попробуй не сорвись.
Вся жизнь — падение, по сути,
На скалы головою вниз.

* * *

Ещё ты злишься, друг прелестный.
Ещё ты слёзы льёшь над бездной
Беззвёздной. Только и всего,
Что нам осталось понемногу
Внимать классическому слогу.
Молиться Богу,
но его

Присутствия мы не уловим.
Лишь приблизительный синоним
(А это совесть) подберём.
Как хорошо на белом свете
Жить на пределе, на фальцете!
И видеть звёздочки
в проём

Окна. А нет их, то придумать.
И створку приоткрыть, подует
Когда нездешний ветерок.
Как странно, что его не видим,
Но чувствуем. И лучше выйдем
Ему навстречу:
это Бог.

О, Боже мой, какая сила
По свету, знать, тебя носила,
Что не было тебя кругом!
Одно безветрие. Беззвёздность.
И ночь. Вернее, очерёдность
Ночей. И смерть вся
в голубом.

* * *

Вложи мне узенькую флейту
В уже остывшую ладонь.
Быть может, музыкою этой
Мне суждено ещё продлиться,
Лишь клапаны отверстий тронь.

Какая музыка (музыка!)
То будет, я и не скажу.
Мелодия, как слово, зыбка,
И губы сохраняют форму
Молчания, предположу.

И я приоткрываю губы:
Дыхание куда слабей.
Немного нежности ему бы,
И звуки б флейты зазвучали
Один в один, как соловей.

Я так и слышу ниоткуда
Его высокий тенорок.
И то не иначе, как чудо,
Как будто в душные владенья
Подул нездешний ветерок.

Подул, и стул он опрокинул,
И флейту выхватил из рук,
И заиграл, и душу вынул
Мою, и лёгкие прочистил,
И потолочный вырвал крюк.

* * *

Что снег, как жертвенная соль,
Что ангел, в безупречно белом.
Я перечёркиваю свой
Портрет в снегу своим же телом.
Я заштриховываю сны,
Чтобы никто не догадался,
Какой предсмертной белизны
Страница с нового абзаца.
Какой на самом деле свет,
Когда он в ретуши снежинок.
И взятый ангелом в прицел
Зрачков мой выбритый затылок,
Мой сигаретный огонёк...
И только больше тёмных пятен
В больничных снимках. Сбился с ног
Мой ангел (плащ его запятнан
Дорожной грязью городской).
И небо в низенькой извёстке.
И столько света под рукой,
Что души за ночь в белом воске.

Да и на лицах наших грим,
Как будто бы в гримёрной смерти
Мы побывали и стоим
На выходе в осадки эти.

* * *

Невыносимо как и просто
Устроена земная жизнь!
Ещё не выбрал ты погоста,
А за тебя уже взялись

Два ангела в сиянье чёрном.
Не самый мне их страшен вид,
А то, что стал ты прокажённым,
И точно так же ты прибит

К земле, как эти двое падших.
Они напоминают, как
Два вымокших грача на пашне
Один примеривают фрак

Тьмы. Как расхаживают важно
Взад и вперёд. Взад и вперёд.
И на душе темно и влажно,
Как и снаружи: льёт и льёт

Демисезонный дождь. Во что мне
Переодеться посветлей?
Не важно, свет ли то оконный
Иль пара белых лебедей,

Как белокаменные обе
Часовни в темноте сплошной
Напоминают мне о Боге,
Как свет в туннеле затяжной.

Алексей ЗАРАХОВИЧ

/ Киев /



МИШУРА

1

Река внутри воды
Как яблоня в лесу

Вода — на дне реки —

Гуляла по мосту
На яблоках споткнулась
Что сыпались с корзин
Упала, захлебнулась
Пускает пузыри

Над ней чертог стеклянный,
В котором спит река
Ей снится обручальный
Дымок паровика

Хруст яблок, скрип причала
На ближней даче — свет

...Кого-то там встречали
Или махали вслед?

2

Бьющихся рыб осколки — всё мишура
Скол камышей и жалобный звон воды
Здесь у самой кромки Киева и Днепра
Всё мишура, говорю, ни о чём Сады

Разве что, говорю, Сады навесу
Их наряжают в яблоки к Рождеству
В белый налив на белом хрустящем ветру
...Вот я упал, вот стою, вот иду по мосту

С Верхних Садов до Нижних — ещё, ещё
Всей мишуры — одна дождевая нить
...Дождь зарастает в реках сухим камышом
Тронешь камыш — и синяя пыль кружит

Кай КАСЬК

/ Таллинн /

Перевод с эстонского Веры Прохоровой



СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КАРЕЛЛЯ¹

Сон был беспокойным. А теперь из-за края темной шторы за- мерцала в просвете желтоватая полоска. Времени могло быть больше девяти, даже 9.38. Филипп пытался как-то начать день. Ночная сорочка в поту, волосы и борода всклокочены... Он как раз в неприлично интимном виде гремел кувшином над тазом для умывания, когда в дверную щель проскользнула тощая тень, длинное, костлявое и лысое привидение — Николас, он протягивал Филиппу серебряный поднос.

— Что еще в такую рань?

— Письмо из Таллинна, господин.

— Ого, из Таллинна? Посмотрю потом.

Махнул слуге — с глаз долой! Тот исчез. Филипп почувствовал раздражение. Через сто тридцать лет в его спальню ворвался чужеродный предмет, какое-то требование, чья-то просьба или бог знает что. С того вечера в Ивердоне, когда в его кармане оказалось грозное письмо от неизвестного, он вздрагивал при виде любого конверта. И вот опять, ранним утром, как ножом полоснуло.

Да в конце-то концов, освобожусь я когда-нибудь или так и останусь рабом, крепостным, родину освободил и спас, а сам, сам-то что? Где теперь моя жизнь, мой белый халат, мое совершенство? И вот это письмо. Что оно значит? Не знаю. Он сорвал с двери халат, крепко обхватил его, всхлипнул и разорвал на куски. Не нужен, бесполезен. Э-эхх! Он взглянул в зеркало, прошелся пальцами по волосам и бороде, сдернул бороду, не нужна, не... Сел на скрипучую кровать и застыл. Обратиться к Богу? О, нет! Надо собраться с мыслями. Он подобрал с пола бороду и приклеил ее на место, пригладил щет-

¹ Филипп Яковлевич Карелль (1806–1886) — уроженец Эстляндии, лейб-медик при императорах Николае I и Александре II. Почетный гражданин Ревеля. — *Прим. перев.*

кой волосы, отыскал одежду. Розоватый конверт так и лежал на подносе на расстоянии вытянутой руки, запечатанный воском, кажется, даже спрыснутый духами. Женщина? Хорошо, я должен. На сложенном вдвое листке тонким пером каллиграфическим почерком была выведена записка:

Мой дорогой доктор Карелль!

В обстоятельствах крайней озабоченности осмеливаюсь вновь обратиться к Вам. Жду Вас в Таллинне 15-го дня этого месяца на самом верхнем этаже Swissotel.

Приезжайте!

Ваша смиреннейшая Катя Мэу.

Его Екатерина, Катенька! Что с ней случилось, болезнь какая или, не дай Бог, опять... И Мэу, что бы это значило? Мяу, кошка, что ли? Филипп расчувствовался. Сложив руки на коленях, он ощутил любимый пушистый клубок, бежевый комочек, нежно мурлыкающий в ответ на поглаживания. На шейке тонкий красный ремешок с бубенчиком. Чтобы ты у меня не потерялась, но ведь, охо-хоо, пропала же! К ста тридцати пяти годам! Но сейчас уже нет времени — сколько на часах? Какое сегодня число? Пятнадцатое! Успею!

— Николас, подавай завтрак! — крикнул он через дверь. — Хотя, нет, неси-ка мою трость и саквояж.

(Он был чрезвычайно аскетичен. Буквально ничего не ел. У него была мисочка. И ложка... Он наливал в эту мисочку горячей воды и в нее вливал ложку подсолнечного масла. И крошил в воду черный хлеб. Это была вся его еда. Никаких каш, супов — ничего, кроме этой тюри. Он был совершенный аскет. И его все побаивались. Даже считали, что он повредился в уме¹.)

Утренний туман над Петербургом еще не рассеялся. Карелль неся к вокзалу, пола сюртука зацепилась за фонарный столб и надорвалась, но он этого не заметил. Добежал в последний момент! Стальной конь, окутанный густым едким дымом, как раз трогался с места. Не колеблясь ни секунды, Филипп прыгнул в колею, быстро пробежал пару шагов и уцепился за последний вагон. С саквояжем в одной руке, другой — держась за поручень, — так и полетел в Таллинн, причем, чем больше ускорялся поезд, тем горизонтальнее становилось его положение, он был словно шарф, развевающийся на ветру. Горелово, Яльгелево, Ольгина, Солдина, пересекли Синимяэ, все быстрее и быстрее, и вот уже Ванакюла, вот Уускюла и так до Юлемисте. Там доктор отцепился от поезда и пошел к озеру. Вода

¹ Владимир Глоцер. «Марина Дурново: мой муж Даниил Хармс» — Прим. авт. и перев.

освежила лицо и рассудок, он достал карманное зеркальце и проверил состояние бороды, потом поправил погоны и орденские ленты. Порядок. Глядя с горки Сосси вниз, он увидел «Свиссотель» во всем его великолепии, и город — будто целиком из стекла! На ближайшей автозаправке Карелль все же взял что-то на зуб, — разумеется, это «что-то» было круассанами Seven Days Double Coconut с какао и ореховым пралине, и такой перекус обещал превратить его день в захватывающее приключение на каком-нибудь райском острове посреди океанских волн, но было уже без четверти три, так что ему пришлось поторопиться, чтобы спустя несколько минут оказаться за окном ресторана на тридцатом этаже отеля. Длинное предложение получилось!

Катя зарезервировала столик уже много лет назад, но все не было подходящего момента. Столик просто ждал, твердо стоя на своих четырех ногах будто верстовой столб. Теперь, похоже, все сложилось. С кельнером договорилась, блюда выбрала, музыка заказана. Против всяких правил этикета она пришла на пятнадцать минут раньше назначенного. Неподвижно сидела и ждала. Как когда-то ждала наследника престола, как... Вдруг шевельнулась портьера, и он появился — в парадном мундире, отглаженном и при всех регалиях, словно сошедший с картины Кёлера.

— Екатерина Михайловна!

— Филипп Яковлевич! Пришли все же, да что же вы стоите, Господи, садитесь же, садитесь сюда!

На миг Катя забыла о сословных различиях, истории и чинах-званиях, по-матерински засуетилась вокруг Карелля, только что не силком усадила на стул и развернула салфетку у него на коленях.

— Когда мы с вами в последний раз...

— Не важно! Главное, что сейчас! Посидим, побеседуем, перекусим.

Она протянула Кареллю меню.

— Ой, нет, знаете, что, начнем с... рекомендую... (Катя подозвала кельнера.) Вы должны попробовать авокадо с лососем, это у них в Таллинне сейчас самое популярное блюдо.

— Авокадо? Что это?

На мгновение показалось, что даже погоны потускнели, так он сконфузился.

— Ну, это такой зеленый заморский фрукт. Говорят, дурно пахнет, но все-таки едят... Да вы сами попробуйте, поверьте, не смертельно.

При этих словах лицо у Екатерины Михайловны стало хитрым, как у лисички, она иронически морщила носик и показывала зубки.

— А я возьму, кельнер, то, о чем мы договорились, хорошо? — добавила она.

— Так точно, — белая тужурка исчезла.

Какое-то время жадно разглядывали друг друга, молчали. «Все такая же свежая и прекрасная, надо же, — размышлял Карелль. — Больше века минуло! Заплетенная коса на затылке и шелковое платье. Его маленькая Белоснежка! Волшебное видение в мире Господнем!» Катя перевела взгляд в окно и украдкой усмехнулась, словно прочитав его мысли. «Постарел и сгорбил, господи! Волос нет! Но такой же милый, такой же уверенный. Батюшка! Посмеет ли сделать то, о чем я буду просить?».

Появился кельнер с лососем, грациозно поставил блюдо перед доктором, а Кате принес большую деревянную разделочную доску и, похоже, только что наточенный нож для мяса. Катя взяла нож, повертела его в руке, дала лезвию поиграть на свету.

— Самый острый? — спросила она кельнера.

— Да, Ваше высочество, именно так.

— Очень хорошо. Можете идти.

Карелль напрягся. При темпераменте Екатерины Михайловны уверенным нельзя быть ни в чем.

— Не бойтесь, доктор, это не то, что кажется. Ешьте! Я просто люблю вас, ведь так давно не виделись. Ешьте, ешьте, потом скажете, как вам на вкус.

— Гмм.

Опять этот материнский тон, ни капли сословного высокомерия, просто мать. Могла бы ею быть как для меня, так и для престолонаследника, и для всего народа. История! Но в руке держит нож, если понадобится, не раздумывая, отсечет голову с плеч! Он взялся за еду.

— Доктор, — вкрадчиво начала великая княжна и сделала паузу, — *я решила отказаться. От власти. От ответственности. От всего. И от жизни. И я прошу вас, сделайте это для меня возможным. Приготовьте нужный яд, скорый и безболезненный, и сделайте это как можно быстрее. Видите ли, я¹...*

— Екатерина Михайловна!

Карелль вскочил, блюдо с лососем полетело ко всем чертям, задребезжали стаканы. Ресторан насторожился.

— Вы не можете, — дрожа всем телом, он схватил Катю за плечи.

— Филипп Яковлевич, золотце, я могу. Только я и могу! Понимаете! — Катя обхватила своими руками руки Карелля. — Успокойтесь же, это был всего лишь... пробный камень. Ведь слова эти вы уже в своей жизни слышали. В тысяча восемьдесят пятом. Мне было тогда восемь лет! Ах, Филипп, я просто хотела знать, помните ли вы и как помните. Испугались тогда, испугались и сейчас, разве не так?

— Да-а, но ...

— Тем не менее, поручение исполнили! Это похвально.

¹ Ян Кросс. «Трудная ночь доктора Карелля». — *Прим. автора.*

— Бога ради!

Карелль опустился на стул.

— Бога нет, Филипп, по крайней мере, в этом городе его нет. Церкви строят небоскребы, а пробсты дерутся друг с другом, об этом я слышана. И это не достойно Бога! Только у меня к вам другое поручение, достойное вас.

— И какое?

— Вы наследника трона помните, Александра Николаевича?

— Разумеется, как иначе. Часто молюсь за упокой его души. В праздники и вообще.

— Значит, вы не в обиде? За все, что он сделал с вами! Двадцать четыре года служили ему, зная, что он знает! О яде для императора! В любой момент под настроение мог вас казнить. Кстати, Карелль, я не верю, что тот яд приготовили вы. Для этого вы слишком добры! Скорее всего, истолкли какие-то лекарственные растения, немного полыни, чтобы горчило, и добавили пару глотков клюквенного сока! Император, так или иначе, умер бы от воспаления легких. Я права, так и было?

— Пожалуй, что так.

— Вот, видите! За несовершенное преступление вы могли оказаться на виселице. А он с наслаждением позволил донести до вас, что и доктор Мандт яд приготовил, — должна сказать, что в этом я как раз не сомневаюсь, — тем самым приравняв вас к подлейшим негодьям и преступникам. Я ведь слышала то признание капитана Шенка по поводу находки записей Мандта, я была там за стенкой или за шкафом, вернее, или всего точнее, — в дверце шкафа... тоже совсем как презренная преступница. Тринадцать лет я провела в н у т р и дверцы шкафа из-за этого проклятого труса! Я любила его, а он отчаянно боялся, в равной степени, как императрицу, так и своих крестьян. Тоже мне, наследник престола!

— Дорогое дитя!

Карелль был бледен, лоб покрыла испарина.

— И потом, когда он, наконец, набрался смелости, когда мы уже могли... быть вместе и зажечь настоящей жизнью, тогда он чересчур осмелел! Полез прямо под град бомб! Мерзавец!

Катя подняла заплаканные глаза и устремила взгляд на Карелля.

— Филипп, это ваше назначение, убейте его!

— Кого, Александра Николаевича, как?

— А вот так!

Катя придвинула к себе принесенную кельнером разделочную доску, медленно положила на нее левую ладонь со слегка раздвинутыми пальцами, какое-то мгновение с нежностью смотрела на них, затем схватила нож и р-раз! Вонзила его в ладонь, пригвоздив ее к доске. Кровь не брызнула, только еле уловимая струйка синеватого дыма поднялась к потолку. Запахло ладаном.

— И не Александра Николаевича должны вы убить, с ним давно покончено, а мою злость к нему. Сто пятьдесят лет злобы в этом безумном ожидании, вплоть до сегодняшнего дня, живой, мертвой, в больших городах, в сточных канавах, везде. Больше я не выдержу!

Катя поднялась, рука по-прежнему была пригвождена к доске. Вдруг она стала для Филиппа еще прекраснее, еще желаннее, моложе, старше, загадочнее, страшнее, милее, выше, ниже, умнее, глупее, в платье еще более красном, с волосами еще темнее, с ланитами еще бледнее. Все закружилось.

— Филипп Яковлевич, что с вами, вы падаете!

Катя вытащила из руки нож и плеснула доктору в лицо стакан воды. Тот встряхнулся, как попавшая под дождь собачонка.

— Как я?..

— Как вы убьете мою ненависть? Наверняка что-нибудь придумаете. Если надо, опять приготовите яд. Я могу подождать еще, но недолго, — с усилием добавила Катя. — А пока, доктор, я развлеку вас. Долой печали! Кельнер, где моя музыка? Потанцуем, Карелль, забудем о трюсах и несправедливости, у меня для этого и средство припасено. Слушайте. Это о вас!

Кате достаточно было щелкнуть пальцами, и из затемненного угла полилась тихая и медленная мелодия:

Было время, были силы, да уже не то.
Годы волосы скосили, вытерли моё пальто.
Жил один еврей, так он сказал,
Что всё проходит.
Тихо, как в раю,
Звёзды над местечком высоки и ярки,
Я себе пою, я себе крою,
Я себе пою¹.

2014

¹ «Еврейский портной». Слова и музыка А. Розенбаум. — Прим. перев.

Эваристо КАРРЬЕГО

/ 1883–1912 /

Перевод с испанского Павла Алешина



Эваристо Каррье́го — аргентинский поэт (1883–1912), который стоит у истоков поэзии танго. Сам он не писал тексты для танго, но он был первым, кто опозитивировал жизнь бедных кварталов Буэнос-Айреса, где зарождался этот танец. Стихами Каррье́го вдохновлялись и авторы текстов танго (они как разрабатывали его темы, образы, так и использовали прямые цитаты из его произведений), и композиторы: поэту посвящено знаменитое танго Эдуардо Ровира «A Evaristo Carriego». Книгу о поэте, вернее, о жизни буэнос-айресских окраин, описанной им, написал Хорхе Луис Борхес.

ДОРОГА К ДОМУ

Ты нам знакома, как и вещь, что нашей
была, что только нам принадлежала,
знакома улицами и деревьями
у края тротуаров,
неугомонной радостью мальчишек
и лицами друзей,
историями личными, в районе
из уст в уста передающимся,
и монотонностью тоскливой песен
шарманщика: его
соседка наша любит слушать — та,
с печальными глазами.

Тебя мы любим
по-прежнему, все с той же тихой нежностью,
дорога к дому нашему! Смотри,
с какою нежностью тебя мы любим!
Все то,
что память будит в нас.

И кажется, что камни
твои оберегают, словно тайну,
привычный гул шагов,

все глуше становящийся, — всех тех,
кого уже в тот час мы не услышим,
когда вернемся вновь.

Дорога
домой, подобна ты
лицу любимому,
что расцеловано так много раз:
О, как тебя мы знаем!

На той же улице мы каждый вечер
любujemy спокойно
все той же грустной иль веселой сценой,
и теми же людьми. Той девушкой
задумчивой и скромной, что так долго
смирненно друга ждет и не дождетя!
Порою лица новые заметны,
серьезные иль с доброю улыбкой,
на нас что смотрят, мимо проходя.
И исчезающие в тишине
со временем другие лица
тех, из района и из жизни кто
уйдет, не попрощавшись.

Прохожие,
что не дадут нам никогда покоя!
Подумать только, что и мы когда-то
уйдем вот так, но собственным путем,
куда — кто знает? так же, как они
ушли безмолвно.

ТВОЙ СЕКРЕТ

Ты забываешь все! Так, прошлой ночью —
души частичку здесь, на пианино,
которого ты больше не коснешься,
воспоминаний сокровенных книгу.

И сладостных. Открыв небрежно
ее, узнал твою печаль я, нежный
секрет, что никому ты не расскажешь:
как ты зовешь меня — кто знать захочет?

Приди, рассеянная, книгу эту,
мечтой и светом полную, возьми же.
Любовь оставить тут, на пианино!
Ты забываешь все — девичья память!

Игорь ПАВЛЮК

/ Киев /

Перевод с украинского Владимира Пимонова



МЕЗОЗОЙ¹

Роман

Часть первая. Гондвана

1. МИСТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С КУЦЕМ

— Тётка просила, и я прошу... Дядьку, не подошли бы вы завтра... копать могилу для моей мамы?.. — просил семнадцатилетний парнишка Андрей Наюк, будто приглашая на свадьбу, мужиков из своего села Гондвана.

Никто, однако, не соглашался.

Миша Ленин сказал, что у него жена на сносях, а потому нельзя могилу копать... Геник Грухалюв — что заболел, Степа Гилышин — что как раз в это время должен быть на мельнице, он там записан «на очередь»... Словом, выходило так, что в селе все калеки, неженатые, «беременные», и вообще — очень занятые добыванием или молотьбой насущного... А потому женщину, учительницу начальных классов, которую все любили и уважали при жизни, казалось, сама сырая земля принимать не хотела. Хоть бери и сжигай её, как предки-язычники делали.

Жестокое ярмо единобожия породила в душах жителей Гондваны столько суеверий и мифов, что их с лихвой хватало бы на всех богов, божков и божеств из мифологии далеких предков.

Андреева тетья — женщина с мужскими глазами, — которая уже давно жила в городе и почти не чувствовала неписаных законов села, не сдавалась:

— Не верю, Андрей! Не верю! Скажи, что магарыч будет, как надо. Иди. Ищи, — сама же она занималась суетно-печальными похоронными церемониями.

¹ Отрывок из романа.

Первая сентябрьская влажность пронимала все сущее вокруг, а тронутую болью, шокированную душу просто свёртывала в вязкую серебристую дырку — словно ядро атома урана.

Всё ложилось спать.

Наюкова мама спала на широкой лавке в родительском доме вечным сном.

Рожденный в селе Наюк, воспринимавший почти всех здесь как свою родню, не знал, куда идти. «Самому выкопать, что ли?» — уже подумалось ему. Он еще раз посмотрел на размытый черным вином ночи горизонт: взгляд зацепился за похожую на динозавра фигуру экскаватора между его селом Гондваной и соседским — Лавренцией.

Но самым странным было то, что «динозавр» по-мультяшному склонился книзу, будто ел... траву или пил кровь, ведь сквозь красно-мистическое органическое стекло умирающе-воскресающего Солнца не разберешь — травоядное или плотоядное это чудовище.

Андреево тело потянулось за его душой туда, в направлении Лавренции, и незаметное для самого себя встало перед огромным экскаватором, на котором самодельной кириллицей было написано: «КАМАЦО».

Рядом стоял молодой, лет тридцати, мужчина с настоящей огромной сигарой в зубах. Его белые перчатки, белая рубашка, красный свитер и белые носки из-под остроносых туфель выдавали то ли местечкового аристократа, то ли центрального пижона. Недоставало лишь крылатой шляпы и белого шелкового шарфа.

— Добрый вечер, — поздоровался Андрей.

— Привет, — ответил пижон, оценив явственный из толстого вечернего тумана объект. — Экскаваторщик, — произнес так, будто это должно было означать что-то типа... «авангард», «модернист»...

— Копаете?..

— Исследуем. Копаем.

— Ну-ну. А что?..

— Твердь. Твердь. Труба — наше дело.

— Мелиорация? Опять?..

— Вы что, не знаете?

— Что?..

Экскаваторщик ловко вскочил в пасть «динозавра» и достал отсюда газету «Незалежність», где на первой странице под заголовком «Хорошее дело» была напечатана информация: «Вчера глава райгосадминистрации Николай Дремлюга подписал соглашение с фирмой Tigriss (“Тигрис”) о газификации сел Гондвана и Лавренция до сентября 2003 года. По этому случаю состоялись торжества во Дворце спорта. Всего в районе уже проложено 700 километров газопроводов, а природным газом пользуются 77 населенных пунктов».

— А на тебе! — прочитал заметку Наюк.

— О.

— А вы здесь что, мозолитесь?..

— Не то слово. Вкалываю.

Внешний вид экскаваторщика, его манеры никоим образом не свидетельствовали о том, что он прирожденный, продвинутый и додельный трудяга «от сохи», ведь Наюк вырос с такими и чувствовал их своим остистым позвоночником. И все-таки в этом «чужом» было что-то блестяще-бесхитростное, безумно-блаженное, даже киношное, влекущее. Поэтому Андрею не хотелось уходить от странного экскаваторщика, а наоборот — потянуло открыть ему свою утомленную бессонную душу. Не для помощи, даже не для соболезнования, а так как-то — для проветривания:

— А я вот маму предаю земле... — проговорил он. — Умерла. Обошел все село. Все заняты... Брожу вот.

— Беда, — посерьезнел аристократ. — Смерть родных, самых родных — это беда. И я тебя не утешу. Была бы проблема: со здоровьем нелады — то легче, то проблема... Ее решают. Все другое — это жизнь. Её живут и забавляются ею, играютя. А смерть — беда. Сочувствую, — экскаваторщик подал руку парню, неожиданно крепко пожал его ладонь, неуклюже протянутую... — Некому могилу, говоришь, выкопать... Кх. А машина эта, — похлопал экскаватор, как коня-динозавра, — ...зачем?

— Да...

— Эта японская техника точная, как скальпель. Тебе даже не придется лопатой подправлять. Разве что для порядка... поскольку для мамы... Где будем делать... яму?

Предложение было настолько неожиданным, деловым, что холодный комок в горле Андрея, как обида на все село, на весь черный мир, растаял-растворился под большим телячьим сердцем-солнцем.

— Да там, на могилах... возле прадеда с прабабушкой, где вся наша семья. Недалеко отсюда.

— Ну так поехали. Садись.

Андрей залез в «динозавровый» живот.

— Мы из переселенцев по маминной линии. Деды не хотели, чтоб их тут закапывали. Всё надеялись вернуться домой, за Буг... к Богу. Не судьба... Возвращались Домой, где Дом пишется с большой буквы.

Наюк задумался. Для своих семнадцати лет он уже пережил несколько бед — похоронил родных ему по крови людей. Но это было самое ужасное — похороны мамы. Бледный и оцепеневший, он сидел около горделивого внешне экскаваторщика и смотрел в даль, глубокую даль.

— А как... тебя зовут? — неожиданно для самого себя спросил он парня.

— О... меня называют Феофаном. Феофан Куць.

— А меня — Андрей Наюк.

— На что?..

— На-юк. Фамилия такая: На-юк. У нас здесь многих людей на — ук-юк: Романиук, Глинюк, Петрук, Шевчук, Гнатюк, Павлюк... А я, мы просто — Наюк.

— Надо же.

«Динозавр» подходил уже к кладбищу, и Андрей засуетился:

— Мои похоронены с краю, возле новых могил, поэтому выкопать будет просто, ведь так не поехали бы через могилы. Тут налево, налево чуток... вон возле белого полотенца на дедовом кресте.

— Вижу.

Куць рулил не совсем уверенно, но осторожно, поэтому сомнений не было, что свое дело он сделает. Мощный прожектор «Камацо», немного поборовшись за власть на кладбище с полнеющим месяцем, нащупал седеющую от вечерней росы траву и словно углубился в нее, словно уже копал светом. В объемной кабине экскаватора запел комар и сразу же бескровно затих.

— Вот он, твой крест, — Куць нацелил прожектор как раз на вышитое ветром и дождем рушник на могиле. — Копать?

— Ага. Вот здесь, — Андрей выскочил из Динозавра и стал развязывать белое полотенце с красно-черными каплями нитей на нем.

— Зачем?! — крикнул Феофан.

— Буду им метить территорию могилы. — И сразу же припал к земле. — Здесь должно быть... голо... начало... к востоку солнца. — Начал придавливать рушник комочками земли.

— Отойди!

«Ложка» экскаватора величиной с ковш звездной Большой Медведицы упала на землю и откусила большой черный, мясистый ее ломоть, сразу же положив его сбоку с какой-то неславянской деликатностью, даже не испачкав полотенца.

— А видишь... — сам себе сказал Наюк. — Глубокая...

— Как тайна. Так, по инструкции, газовую трубу кладут... — заметил Куць. — А в длину?..

— Немного... Мама маленькая...

— Два метра будет. Включаю бортовой компьютер. Машина копает по заданным параметрам с точностью до сантиметра.

Ковш опять скальпельно полоснул тело матери-земли — аж застонали летучие мыши над кладбищенской сторожкой... еще раз, еще раз...

— О! — вскрикнул Куць. — Стоп. Компьютер показывает, там что-то есть... в земле. Жаль, в нашем секондхендовском «Камацо» кинокамера на ковше уже не работает.

Феофан спрыгнул на землю и подошел к свежеврытой могиле.

Андрей всё еще стоял на месте.

— А, ну-ка, взгляни, — сказал Куць.

Наюк наклонился к земле и положил на нее руки так, как кладут ладони на тесто сельские хозяйки.

— Что-то есть. Твердое...

— Дай-ка и я посмотрю, — подошел Аристократ. — Сейчас дам тебе лопату.

Вернувшись, к экскаватору, принес.

— На, пробуй поддеть.

Наюк взял и привычными движениями, нежно и сильно задвигал каким-то длинным предметом, поднял его.

— А, это же крест! — дотронулся предмета указательным пальцем и сразу же поплевал на него Куць. — А ну-ка, вытаскивай его на волю.

Наюк схватил находку обеими руками «за ноги» и потащил на золотеющую траву, приговаривая:

— Тяжелая, зараза... как оловянная... и распятие странное какое-то на нем. Будто птичка распятая, летящая.

Феофан подошел к кресту, взял у Андрея лопату и легонько поскреб ею по руке распятого. Царапина блеснула золотисто-красной речушкой.

— Золото?.. — недоверчиво взглянул на Куця снизу вверх Наюк.

— Золото, — с уверенностью знатока-золотостарателя ответил Куць. И, глядя на фигуру, продолжил: — Но это не Христос, это не Христос... А ну покрути, переверни... — Наюк покрутил. — Это, помоему, Перун... Да-да... Это — распятой Перун. Художественное произведение. Где-то должно быть авторское клеймо, дата. Поищи.

Андрей в лунно-прожекторном свете дочистил распятие от песчаной земли и внимательно ощупывал его руками.

— Снизу смотри, возле ног, — подсказывал экскаваторщик.

— О, нащупал! — вскрикнул-вздыхнул Андрей. Во. Что тут написано? «Ви-ди-бай, Бо-же». И две большие буквы «XP»...

— А дата, дата есть?..

— Нет.

— Претензия на вневременность, бессмертие...

— И что теперь делать? — наивно спросил Наюк.

— Как сам думаешь?..

— Есть несколько вариантов.

— Правильно. Но, на самом деле, два. Хотя один...

— Отдать в церковь.

— Хах, — странным (для себя самого) смехом ответил Куць. — Какая же христова церковь это богохульство возьмет? Перун на кресте!

— Откуда ты знаешь, что это Перун?

— Так вот же на венке терновом написано!..

— Хи, а я и не вижу... Думаю, что-то он очень на моего дядьку Антона похож.

— Если нам нужны деньги (а по тебе видно, что нужны), то мы — партнеры, можем продать распятие: а — как золото, бэ — как произведение искусства из золота. Второй вариант в десятки, мо-

жет, сотни раз более наваристый... Готов найти покупателя. Деньги — пополам. По рукам? — и Феофан Куць протянул белую утонченную руку сельскому парню.

— Хорошо. Но мне уже пора домой. Мама... Слушай, может, и ты пошел бы?..

— А распятие?

— Спрячем где-то здесь, в экскаваторе твоём...

— Это не мой экскаватор... Это, здесь — моя земля. Кроме кладбищенской.

— А экскаватор чей же?

— Люлика и Булика. Они торгуют заграничным секонд-хендом. О, заграница! Мечта о загробной жизни... Хочешь, я тебя потом с ними познакомлю?..

— Но это же земля колхозная... — удивился Наюк.

— Была когда-то, до развала Империи, а теперь купил ее я, а там, дальше... землю купил американец один, а еще дальше — немец... Через подставных лиц, естественно, поскольку иностранцам покупать землю наш закон пока еще не позволяет...

— Так почему она пустырем лежит?.. Непаханая...

— Так ее же экскаватор выпашет. Здесь газ будет проходить!

— Ну... — Зачем мне сеять и жать? За транзит газа денег будет больше, чем за все редьки, гречихи, пшеницы, что здесь вырастут. И затрат никаких... А может, еще свой газ здесь геологи найдут?.. Должны приехать.

— А... А что же ты здесь делаешь?

— Уже ничего, — Куць достал мобильный телефон, набрал номер и отменил машину, которая ехала его забрать. — Должны быть геологи... Но славянское слово... лирическое. Люлик и Булик завтра вечером еще технику кое-какую подгонят. Газовщики придут.

— Это ведь и наше село можно газифицировать! — воскликнул Наюк.

— И ваше, и Лавренцию, и другие села, через которые, рядом с которыми будет проходить газопровод.

— Но... мне кажется, что экскаватор стоит ближе к Лавренции, чем к Гондване...

— Не знаю... Какое село больше заплатит, к тому и будем прокладывать, а трубы от основной магистрали каждый пусть сам тянет к своей хате, как клоп к крови...

— О, то вы уже по блату проведите газопровод ближе к Гондване!

— Поговорим об этом позже. Давай докопаем яму, спрячем распятие и...

— Пойдем к нам... на похороны.

— Слушай еще, а кто твой отец?..

— Я его не помню. Он погиб в Афганистане...

Неожиданные знакомые докопали с помощью бортового компьютера яму, распятие спрятали под сиденье экскаватора, ключ от которого Куць повесил себе на шею; и они молча пошли в Гондвану.

2. СИМВОЛИЧЕСКАЯ НАХОДКА И ГОНДВАНЦЫ

В кирпичном, не самом худшем в Гондване доме, лежала молодая покойница, вокруг которой сидели ближайшие братья по крови и братья по судьбе — соседи, коллеги, друзья. Провожали душу в другой мир, не все и не до конца веря в его существование.

— Где тебя носит? — спросила, увидев Андрея, деловая и траурная его тетя.

— Яма уже готова, там, где мы и договаривались, — ответил парень.

Она недоверчиво посмотрела на нового знакомого своего племянника, но не сказала ничего.

— Это Феофан. Он... Газ проводит, — отрекомендовал Куць как можно проще Наюк.

— Сходи еще к Дремлюге, пусть привезут гроб и крест. Я всё заказала, — произнесла тетка и растаяла в желто-земляном вечере.

Те, что собрались сидеть всю ночь, лоскотали воспоминаниями души, темные от горя и ночи.

— Как я понял, ты остался сирот... фактически один, — Феофан посмотрел на Андрея, хотя обычно при разговоре он никогда не смотрел в лицо собеседника. — Что будешь делать? Школу заканчивать, как я понимаю, тебе нет смысла.

— Я же отличник...

— Это в советский период у тебя были шансы выучиться — и стать, как говорят, человеком. При теперешней анархии жизненная игра, лестница к небу-счастью имеет только две ступеньки: нижнюю и верхнюю. Или ты пан — или пропал.

— Пан-пропан... пан-пропан... — забормотал Наюк, имея в виду газ пропан.

— Да-да. Сейчас на газе держится всё панство мира. На нефти и газе. Когда-то земля была товаром.

— Ну и что ты предлагаешь?

— Предлагаю упасть на газ, нарубить «капусты» и — гулять, ведь тот, «кто понял жизнь, тот не работает».

— Гулять?

— А что ты здесь? Хозяйничать будешь? Сомневаюсь. Ты же кочевник, а не пахарь по крови. В людях я «понятие имею».

Все молчали. Всё молчало.

Во дворе Наюка как-то непривычно нездешне отозвался третий петух. За ним подхватились другие — в разных местах поселения. По всей видимости, наюков петух был для них главным.

Смотреть на покойницу было страшно. Если бы не случайный знакомый, Андрей был бы сейчас не таким... Этот Куць отвлек его от мамы, от горя-боли, от чего-то главного, глубинного, артезианского... Он давал какую-то фосфорную надежду, появившись будто бы из газовой более глубокой скважины, тянул за собой, от корня, от земли. И доводы его были логическими и романтическими одновременно. «Действительно, что же я буду делать теперь здесь, где все пропитано смертью и пустотой? — думалось Наюку. — Там...».

— То я слышал, что вы уже газ к нам копаете, — подсел к Феофану какой-то классический сельский дедок.

— Роем, дед, роем...

— Советы не провели газ, а самостейна Украина, смотри, дает... — продолжал дедуля, который, очевидно, был и ветераном труда, и войны, и вообще — бытия и, пройдя все стадии печали, стал наконец счастливым, простым и духовно сильным, как ветер, но безразличным...

— Дает-дает, самостейна всем дает... — подвел итог Куць.

Дед, казалось, одним глазом засмеялся, а вторым заплакал. Пошаркал к дверям.

— Это наш пасечник. Его называют Прораб, — резюмировал его вход-выход Андрей. — Он как не пьет — то нормальный, правильный мужик... И пчелы его любят...

— А как пьет?..

— То пьяный. Надолго. Спит на пасеке. Любит дурачком прикидываться.

— Это давняя полесская привычка.

Наюк еще раз взглянул на маму и понял, что яблоко, которое подкатило к горлу откуда-то снизу, от предковских корней, сейчас разорвется, сочное, сладко-соленое. Что он уже не сможет контролировать эти приливы-отливы крови к сердцу, плазма которой недаром имеет тот же состав, что и вода моря... Поэтому Андрей неожиданно выбежал в утро и дал в саду волю... этому яблоку. Яблоко любило волю...

Вышитая крестиком космическая даль, как магнит, притягивала его и пугала, как кладбище, мистическая, полумертвая-полуживая, тайную страсть к которой он всосал с молоком Млечного Пути. Первые снежинки всегда напоминали ему цвет райских яблонь, под которыми думают о нем души его предков. А он, отравленный печалью, имеет от них единственную эту нежно-холодную весточку, которая растает от ласки и живет долго в безразличии.

Наконец, Андреева мука дошла до наивысшей ноты-слезинки — и скатилась в бездну, словно душа сделалась телом.

Ртутно-рябиновое утро росло в яблочно-синий день, день похорон Андреевой мамы.

Парень снова окунулся в похоронную ритуальную суету. Выполнил какие-то поручения тетки, ловил сочувственные взгляды односельчан и топил эти взгляды в землю. Рядом был его новый неожиданный знакомый — Феофан Куць, который ненавязчиво, но твердо звал его в другой мир, какой-то межевой пограничный мир между тем, — естественным, колыбельным, — который Наюк имел, и тем, куда вот сейчас идет его мама. Ведь у Андрея еще и в мыслях не было покидать свою Гондвану, в которой уже нет его мамы, которая вдруг опустела. Но родных, самых родных и любимых, теряли все, все... И все оставались тут, корнями нащупывая свои плоды. А этот Феофан ухватил за мизинчик — и словно предложил иной мир: более динамичный, более богатый, более широкий, более сладкий, хотя и не медовый. Польнно-медовым был мир наукового детства, ранней юности. Теперь, будто стекло, невидимая, но конкретная, упала перед ним грань, за которой (он чувствовал интуитивно) должен стать более жестоким, более звонким, леденящим и вместе с тем — более человечным.

Благодаря Куцю стекло, которое принесло с собой смерть Андреевой мамы, становилось цветным: то солнечным, то фиолетовым, то маковым... Изменялось. Пенилось.

Парень завешивал его занавесками, вышитыми прабабушкой крестиком, но Куць трезвым, аж хмельным, дыханием, опять раздвигал их и предлагал тайну, которая, как электрический фонарь, казалась более объемной, более энергетической, чем полный месяц, даже чем Солнце.

Вплоть до самого кладбища, до ямы, выкопанной им же, Куць молчал. Лишь когда уже бросали комочки земли на опущенный гроб, спугнул более щедрую, чем слова, тишину: «Она заслужила покой». Причем ударение было сделано на слове «покой», на что местный интеллеktуал-нелюдим Старун, который, очевидно, не мог не читать Булгакова, резко подойдя к нему, не согласился: «А что, света она не заслужила?».

Феофан развел руками, но не сник, а уверено, хотя вроде бы извиняясь, говорил: «Что же я сделаю?».

Умный Старун отошел, не споря, хотя с вопросительным затаенным знаком в душе. Тема была слишком принципиальной, чтобы ее решать. Тем более на скорую руку. А Владимиру Сергеевичу Старуну с тех пор, как он начал очень многое понимать, то есть ничего не понимать, вообще стало тяжело жить, очень тяжело. Стал келейником-отшельником — без женщины (она ушла от него), без хозяйства, только с видеоманитофоном, огромным набором ностальгических кассет с наилучшими фильмами его юности, молодости, зрелости: «Прошлогодня кадрийль», «Весна на Заречной улице», «Служили два товарища»... собакой и котами. Он уже десять лет не вы-

ходил на люди, нелюдимый, затворник, келейник. Теперь вот вышел, нервный и задумчивый. Ему не понравился Куць. Но ему не нравилась теперешняя жизнь вообще. «Средневековье», — говорил он своей красивой разумной дочке — Андреевой однокласснице, — которая, проживая с матерью и отчимом, приходила к нему, приносила поесть «домашней» еды.

* * *

Возвращаясь из кладбища, люди заговорили о газе, о котором напомнил им экскаватор-динозавр.

— Говорят, мы на газе живем, — владелица магазина Дуська Гилыха подтянула к себе местного бизнесмена Григория Шубыка (обслуживал «по полной программе» одиночек, отдыхающих на сельском озере).

— Нет, что ты! Это газ через нас проводят с Маковеи. Ты разве еще не сдала деньги на трубы?..

— Да сдала, сдала... Все уже сдали. Наюки только остались. Не до того им было с теми смертями, похоронами.

— Может, как-то селом поможем парню? Сирота...

— Я не против.

— Что-то придумаем...

На похоронах мамы Андрей первый раз напился. Выпить ему советовали все, но налил Куць.

Асфальтовая дорожка от хаты пахла свежей смолой. Впервые в жизни так странно ничего не хотелось. Даже дышать не хотелось. Руины колхозного туалета напоминали руины Херсонеса, которые он видел когда-то на школьной экскурсии. Слышались голоса античного моря, черных чаек. Наюк встретился глазами с Наталией Старун — своей одноклассницей, дочкой Старуна-затворника, застеснялся, почти отрезвел, ведь давно и трепетно платонически-сократично любил ее, а она, загадочная, красивая, не «такая, как другие», кивала, обещающее звала. Вот и сейчас улыбнулась — и растаяла.

Андрей болезненно, острее всего в жизни почувствовал, что любит ее, как... разве что природу своей Отчизны, маму...

«Такую ухватишь, но не удержишь», — случайно услышал, как физрук говорил молодому физику, когда Наталья в одном купальнике танцевала под луну там, на море, возле Херсонеса... Андрею захотелось удержать. Больше того — он чувствовал, что удержит, что она — его судьба. Тогда, у моря под звездами, он, переполненный несказанным, стал писать стихи — не разбивая их на строки, а записывая так, как прозу, как письма к самым родным людям...

Владимир САЛИМОН

/ Москва /



* * *

Прогулки на рассвете поутру,
когда идешь, то под гору, то в гору
меж елей, что клонятся на ветру —
по темному пустому коридору.

Должно быть, память детства столь сильна,
что я стараюсь не наделать шума,
чтоб на меня, очнувшись ото сна,
не глянул из угла сосед угрюмо.

Чтоб люди не спросили у меня:
чего ты громыхаешь башмаками,
неужто, дурень, не хватило дня,
что ты по дому шляешься ночами.

Ступаю тихо, мягко — все равно
предательски скрипит сухая хвоя.
Сияет солнце, только здесь темно
среди елей и седого травостоя.

Река вдали блеснула, как кольцо
на безымянном пальце,
в полумраке
дверь стукнула, и скрипнуло крыльцо.
Все это, верно, символы и знаки.

* * *

Ночью темной подступает
сад под самое окно,
нас лишь только разделяет
занавески полотно.

Продуваемая ветром
легкая цветная ткань —
лишь она меж тьмой и светом
разделяющая грань.

Что для нас неодолима,
а для бабочки ночной,
странницы неутомимой,
все границы — звук пустой.

* * *

За край веранды освещенной
шагнешь и канешь без следа
в потоке Леты мутной, темной,
где ртуть течет, а не вода.

Не потому, что очень страшно
бесследно кануть, умереть,
а потому, что жизнь прекрасна
под лампой буду я сидеть.

Пить чай, пить водку, коль охота
придет, читать, писать стихи.
и наблюдать, как позолота,
ложась на сосенок верхи,
переливается, сверкает.

Бог есть, когда ты не слепой.
И мысль об этом примиряет
со смертью, с жизнью.
И с судьбой.

* * *

Древняя старуха после бани
на скамейку села, выйдя в сад
в высоченном голубом тюрбане
и в сорочке розовой до пят.

Быть не нужно Туром Хейердалом,
чтоб понять — в минувшие века
мы, одолевая вал за валом,
морем шли, летали в облака.

Несмотря на то, что у старухи
рот беззубый, вздувшийся живот,
грудь ее больше не упруги,
что она гнезда давно не вьет,

говорить начнет, и раз за разом
понимаешь, что, как острый меч,
меж хребтом Уральским и Кавказом
много дней ее ковалась речь,

что она звучала на просторах
жарким солнцем выжженных степей,
а не в длинных, узких коридорах,
в свете бледных тусклых фонарей.

* * *

Потянув за струйку, можно
нам, играючи, шутя,
но при этом осторожно
намотать клубок дождя.

И тогда из нитей нежных,
как из шерсти диких коз,
что паслись в лугах безбрежных,
ты мне свяжешь на мороз

свитер тонкий и пушистый,
чтобы я надел его,
отправляясь в путь тернистый
далеко-далеко.

Чтоб одежда невесома
и мягка была на мне,
не кололась, как солома
жарким летом на стерне.

* * *

Дождь был недолог, но его
роль представляется заглавной —
глубоко дышится, легко,
как после службы православной.

Выходишь в сад — в саду дрозды
по веткам скачут,
в темных кронах
мерцают капельки воды
камнями в царственных коронах.

Жизнь, скрытая от наших глаз,
выходит из земли наружу,
порой она волнует нас,
смущает и тревожит душу.

Её столь необычен вид.
Бог весть — кого-то он пугает,
а нас влечет к себе, манит,
интересует, увлекает.

Так земляные червяки
по узкой каменной дорожке,
как пряжи тоненькой клубки,
катаются на радость кошке.

* * *

Кругом затяжки, узелки
и непрополотые грядки,
где колосятся сорняки.
Совсем не все у нас в порядке.

Чреда унылых жарких дней.
Листва до времени желтеет.
А беленькое все черней.
А черненькое не белеет.

И лицевая сторона
неотличима от изнанки.
И вид из нашего окна
не радует, как счет в Сбербанке.

* * *

Стакан крутого кипятка,
забывши про пакетик чая,
я до последнего глотка
допил, того не замечая.

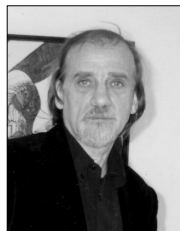
Уже потом, когда стакан
я ополаскивал под краном,
когда, с резьбы сорвавшись, кран
на кухне вдруг забил фонтаном,

подумал я, что счастья нет,
что Пушкин прав был даже в этом,
но он убит был в цвете лет
режимом царским, высшим светом,

а я все тщился проскочить
и с властью не шутить напрасно,
и заодно с народом быть,
ан нет — все тщетно, все напрасно.

Ефим ГАММЕР

/ Иерусалим /



«ВОЙТИ В МЕРИДИАН»

повесть

Глава первая
Иерусалимский спуск

1

Куда ведёт асфальт, в особенности, если за водителя на японской легковушке фирмы «Сузуки» Люба, соскучившаяся в своем долгом безвременье по рулю? На выезд из Гило? В район Пата? Ниже-дальше? В центр города? Нет, сегодня туда лучше не соваться. Только что объявили по радио: «В Иерусалиме проводится Парад Гордости, 5 тысяч гомосексуалистов и лесбиянок пройдут маршем к муниципалитету, запрудят улицы и парки «Ган а памон» и «Оцмаут», многие дороги будут перекрыты для движения автомобильного транспорта. Охранять шествие от негодующих израильтян будут сотни полицейских и бойцов погранохраны». При столь многообещающем прогнозе, понятно и ёжику, беспечной прогулки не получится, лучше махнуть на скоростное шоссе, выводящее на междугородную трассу. И тогда — свободный полёт: хоть в Тель-Авив, Ашкелон, Хайфу!

«А дорога серую лентою вьётся», — выводила Люба, как в стародавние времена в Ленинграде, когда брала уроки вождения перед отъездом в Израиль, помня: на родине предков необходимо соответствовать двум неперемным условиям. Первое — иметь в родословной маму-еврейку, чтобы на все сто процентов по Галахе — религиозному законодательству — быть признанной своей и без проблем получить гражданство. Второе — обладать водительскими правами, дабы использовать льготы нового репатрианта и за полцены приобрести тачку. В субботу в краю обетованном общественный транспорт не ходит. И если не обзавёлся колёсами, сиди безвылазно дома, колдуй у газовой плиты или глазей в телевизор вместо того, чтобы отдышать на пляжах Средиземного, Красного, Мёртвого либо пресноводного Галилейского моря, равно известного и под именем Кинерет.

А отдыхать намного приятнее, чем торчать на кухне. Посему настоятельный совет исполнителя песни Олега Анофриева — «Крепче за баранку держись, шофёр!» — был не лишен смысла. Жаль, что в этой песне не содержалось других разумных советов, например, не распускать язык, вернее, не бросаться в ивритоязычной стране расхожими русскими словами. В случае, когда забываешь, что Израиль — не Россия, то и безобидное слово «бензин» превращается в ужасное оскорбление.

Так и получилось.

Зарулив на заправку, Люба, вся ещё преисполненная азарта, кликнула возящегося со шлангом у впереди стоящего массивного внедорожника фирмы «Хундай» коренастого парня, по всей видимости, араба:

— Бензин!

Кто бы видел его глаза, сверкнувшие ненавистью? Кто бы уследил за его руками, готовыми схватить обидчицу за горло? Но никто по горячему следу в свидетели не рванётся, включая и Дани, не преисполненного желанием предстать пред ясные очи блюстителей закона. Ему не в свидетели надобно на первом этапе зарождающейся свары-куролесницы, а в уговорщики-примирители, из разряда поборников мирного процесса, вроде бывшего до 24 июля 2014 года президента Израиля Шимона Переса.

Ивритом араб владел не хуже израильтянина, хотя отделаться от специфического акцента не мог. Сжимая кулаки, он подошел к «Сузуки» и, шипя от злости да брызгая слюной, сказал высунувшейся из бокового окна водительнице:

— Не оскорбляй мою маму! Они ло бен зона! (Я не сын проститутки!)

— Я ничего такого не имела в виду. Я просто просила налить бензина, — опешила Люба.

— Что? Ещё раз?

Дани вмешался и с активной жестикуляцией, словно и он человек восточного разлива, стал торопливо выводить палестинца из конфликта, намериваясь достичь понимания.

— Бахура (девушка) ола хадаша (новая репатриантка). Иврит ло идеат (иврита не знает), мевакешет делек ба русит (просит топливо по-русски). Делек ба русит (топливо по-русски) — бензин. Аваль ло бен зона (но не сын проститутки).

По глазам араба, выгоревшим от бешенства до пепельного свечения, было очевидно: полностью довериться толмачу он не сподобился. И оттого не готов поверить, что оскорбительное слово «бензин» — это не «бен зона». Однако вынужден придерживаться требования хозяина-израильтянина: «клиент всегда прав», иначе вылетит с работы. Вот и наполнил бак, ворча сквозь зубы, принял двухсотенную ассигнацию и вопросительно посмотрел на Дани, ожидая извинений. Они и последовали, выраженные короткой фразой:

— Сдачи не надо!

Люба кивнула, догадываясь о положительном исходе переговоров, и удрученно молвила:

— Выходит, нас аборигены этой земли по-прежнему принимают за нежелательный сорняк, принесённый из разных стран.

— Мы, российские, и среди сорняка выгладим простофилей.

— А в переводе на русский?

— Элементарным лопухом.

— Это ты о «сдачи не надо», чтобы замять выяснение отношений? Коренной израильтянин — сабра! — мигом прочистил бы ему мозги за попытку вымогательства.

— Но не сказал бы «бензин», девочка! Ладно, едем...

Люба включила первую скорость, дала газ, не успев до отказа вывернуть руль, и чуть не задела внедорожник корейской фирмы «Хундай».

При выезде на магистраль пропустила автоколонну, взяла вправо — к Иерусалимскому спуску, и давай, разгоняясь, переключать передачи.

Внезапно в зеркале заднего вида отразился громоздкий «Хундай», тот самый, с которым едва не столкнулись на заправке.

Маневрируя, он стремительно обошел идущие перед ним машины и угрожающе приблизился, вот-вот ударит буфером.

— Сворачивай на светофоре влево, — Дани четко среагировал на неприятность. — Оторвёмся!

Люба успела проскочить на зелёный свет. Но и «Хундай» не остановился, хотя вспыхнул жёлтый. Скорей всего, за рулём сидел приятель заправщика, тоже араб либо израильтянин восточных корней, желающий проучить новую репатриантку, беспечно бросающую людям в лицо самое страшное израильское ругательство. И это без понимания, что оно, как искра, способно разжечь пожар убийственной междоусобицы. К тому же (!!!) без году неделя в Израиле, на иврите не бельмеса, а уже — собственная иномарка.

Дани вновь оценил обстановку, теперь уже точно догадываясь: преследователь не отцепится.

— Гони! И резко направо!

Внедорожник не успел притормозить и проскочил на зеленый свет — дальше по прямой с указателем «без права разворота». А «Сузуки» покатила, гася скорость, в сторону иерусалимского кладбища.

— Здравсте! Ладушки — оладушки! Приехали! Прямоком к покойникам! — вздохнула Любаша, заезжая на стоянку.

— Главное, живыми! А то ведь могли и ногами вперед.

— Что мы здесь не видели?

— Мою работу, — с заметной в голосе печалью произнёс Дани. — За годы твоего отсутствия. Кстати, почему ты ничего не рассказываешь об этом экспеименте.

— Нельзя! Нам запрещено.

— «Нам»?

- Я же не одна участвовала.
- Где остальные?
- Мне никто не докладывал. Объявятся, когда понадобится.
- Это как понимать?
- Никак! Я сама этого не понимаю. Просто это сидит во мне. Объявятся, и всё тут! Эксперимент ведь полностью не закончен.
- А это как понимать?
- И это никак!
- Тоже просто сидит в тебе?
- Тоже.
- И столь же реально, как мечта о ребёнке?
- Реально. Всё реально, Дани! Я и сама умом не дохожу, насколько реально. Но чувствую: дело не только во мне, но и в тебе, и в нашем будущем ребёнке. Что-то им нужно от наших детей.
- Не рождённых?
- Нет, именно рождённых. Но зачатых после удачного эксперимента.
- Какие соображения?
- Нам растолковывали на семинаре... Кстати, это согласуется с научными прогнозами и предсказаниям Эдгара Кейси, Нострадамуса, других провидцев, — задумчиво вывела Любаша, собираясь с мыслями. Затем, будто испугалась запомнить нечто важное, зачастила, глотая в поспешности слова. — Основная идея в том, что 21 век породит пятую расу коренных землян. А от кого им родиться, спрашивается, если не от нас, тех родителей, кто впервые преодолел притяжение настоящего времени? В генетический код новоявленных грудничков передастся от нас новая характеристика, и они смогут двигаться по времени самостоятельно, на волевом импульсе. Вот для того, на мой взгляд, и затеяли эксперимент. И ввели в него бездетных, тех, кого отобрали из семейных пар. Им, надо думать, и создать новое человечество.
- Ладно тебе, Любаша! — отмахнулся Дани от женских, как представлялось, фантазий. — Из тебя пророчица Дебора, как из меня... — не нашёл, что подверстать к слову и сказал: — Пойдём уж лучше посмотрим, что случилось со мной в прошлом. Авось и проклянется журналистская тема о кладбищенском художнике, разменивающим на увековечивании покойников свой талант. Но с благородной целью: чтобы выплачивать машкantu (ипотеку) за нашу дыру (квартиру). Тогда — помнишь? — после получения денег за твое участие в эксперименте, думалось: вытащили счастливый лотерейный билет, теперь у нас квартира, обставим и проживём. А оказалось...
- Он не договорил...
- Не рассказывать же Любе о сложившейся ситуации, когда в результате странного временного скачка он одновременно женат на двух разновозрастных женщинах — пожилой, покинувшей его из-за душевных переживаний, и возлюбленной ранней юности. При столь

необычном раскладе волей-неволей возникает соблазн. Какой? Тут и расшифровки не требуется: остаться с этой, вернувшейся из небытия Любашей. Ради такого поворота того и гляди уподобишься Иоганну Фаусту.

Оседлавший мозг ангел, тоже прочитавший на досуге «Фауста», выдал походный комментарий:

— Человек не имеет права на продажу своей души. Она, если вдуматься, ему вовсе не принадлежит. Душа — это частица Бога. Следовательно, когда Нечистый вводит людей в искушение, выманивая душу в обмен на немислимые блага, он тем самым хочет по частицам собрать целое, духовный, скажем, пазл, чтобы наконец-то превратиться в Бога.

— Как же с ним бороться?

— А бороться не надо. Просто поставь разум на защиту души, и всё образуется. Ум ведь тоже дан человеку Богом.

Свихнуться можно от этих советов, — подумал Дани, — коли разумно разбираться в сложившейся ситуации.

А можно и не свихнуться — тут же осенило его — если в ней не разбираться и пустить всё на самотёк. На то и жизнь, чтобы всё утряслось самостоятельно.

Утрясётся ли? Но это покажет время. А оно пока что присутствует здесь. И пусть на кладбище, а не в Питере среди каменных изваяний Летнего сада. Пусть у надгробий, покрытых выгравированными рисунками, тоже, казалось бы, сделанным навечно, а не среди постоянных обитателей Эрмитажа — картин и скульптур. Пусть! Но время — настоящее время — всегда внутри человека, а не в его подоби из камня. В эту минуту оно в них, в Дани и Любе, и ведёт их по освобожденному от живых людей мистическому пространству жизни и смерти — от памятника к памятнику.

Вот Валя Шор, скульптор, художник, создатель направления «свободная пластика». В далеком прошлом, в году восьмидесятом, сосед в центре абсорбции Гило. Первую выставку открыл тогда же в одной из самых престижных галерей Иерусалима «Дебель». Жить да жить бы ему, но... 1944 — 2009.

— Помнишь, Любаша?

— У него собака была. Пятнистая такая.

— Гончая.

— Да-да.

— А здесь похоронен Мишаня, мой сослуживец и бывший наш сосед. Смотри, мольберт, кисть, рука художника... с перстнем, на котором миниатюра с портретом Тани. Это я выгравировал.

— Она никуда не переехала?

— Хочешь увидеться?

— Сейчас как раз тридцать лет, как Мишаня погиб.

— Чёрт! У покойников тоже свой юбилей. А у нас... Мыслим теперь в таких временных категориях, что страшно становится. И к

слову, как раз подошли к могиле Давида Дара. Питерский литературный мэтр. Муж писательницы Веры Пановой. Уехал в Израиль после её смерти. А вот и даты: 1910—1980.

— Помнишь его, Любаша?

— Я бегала в Ленинграде к нему на литконсультации. Дар тогда в шутку, но как бы и всерьез — не поймёшь, говорил о нахлынувшей на Ленинград эпидемии гениальности. Приблизительно так: «Ленинградская эпидемия гениальности, на мой взгляд, имела грандиозное значение для русской поэзии».

— А в письме Константину Кузьминскому, создателю «Голубой Лагуны» незадолго до смерти в феврале 1980-го он писал из Иерусалима, что «микробы гениальности занёс в Ленинград, кажется, Володя Уфлянд, и с тех пор гении плодились и множились с невероятной быстротой и в невероятном количестве, пока не вытеснили из Ленинграда всех других поэтов».

— Но не поэтесс. Меня он называл «чудной девочкой».

— Здесь, когда жил в Рамоте, нашим поэтам — своим ленинградским землякам, он говорил: «лучшие девочки — это мальчики».

— Давняя шутка. Настолько прикипела к нему, что Кузьминский намекал на всякое.

— Недавно я читал в Интернете статью об этом.

— Кузьминского?

— Нет, Владимира Кирсанова. Но он цитирует Константина Кузьминского. «Мой учитель Давид Яковлевич Дар, — сказано Кузьминским, — в 40 лет понял, что мальчики — это лучшие девочки. Но он любил в мальчиках не заднюю часть, а талант и молодость. И он опекал лучших поэтов Питера: Горбовского, Соснору, Кушнера, Бышева, меня, наконец...».

— Дани! Некоторые из тех, кого он опекал, давно уже в Израиле.

— Помнишь, на поминках Дара? Когда собрались в квартире Эли Люксембурга?

— Да-да! Миша Генделев, кстати, тоже из Ленинграда, говорил: мы обязаны что-то сделать для увековечивания памяти Дара.

— Но... как обычно, ничего не сделали. Никто не откликнулся. Кроме радио «Голос Израиля». Ефим Гаммер выпустил в эфир тогда передачу «Памяти Дара».

— Помню, конечно! Да и все тогдашние израильские питерцы помнят. В ней ещё участвовал Авраам Белов — Элинсон, тоже наш земляк, ленинградец. Автор очерков «Рукописи Мёртвого моря». То же где-то здесь лежит.

— Помянем?

— А у тебя есть?

— Не у тебя же хранить.

Дани вытащил из бокового кармана вельветового пиджака плоскую флягу тёмного зеленого стекла.

Невесомое чувство азарта, заданное неожиданной выпивкой, повлекло Любу к рулю: махнуть бы вдоль по Питерской. Но Питерской не предвиделось, так что пришлось удовлетвориться Иерусалимским спуском. А он из-за крутизны поворотов каждые десять секунд подаёт команду «тпру!», не позволяет гнать сломя голову. Но и при ограничении скорости, держа ногу на тормозной педали, летишь наперегонки с ветерком, держа слева от себя, в поднебесной выси, иерусалимское кладбище.

И внезапно осознаешь, как удивительно устроена жизнь в Израиле. Оставляя за спиной Иерусалим, направляясь в любую равнинную точку страны, к морю ли Средиземному, к апельсиновым садам Сдерота, в пустыню Негев, непременно проезжаешь под нагорным иерусалимским кладбищем. Его бесчисленные надгробья, вознесенные к небу, будто впитывают в тебя мысли о жизни и смерти, и слышится из глубины веков — «Всё суета сует, тщета и ловля ветра» — древний афоризм из книги Экклезиаста, неоднократно повторяющийся в разных вариациях.

И непроизвольно для себя самого, в особенностях, если давно здесь не бывал, вдруг начинаешь размышлять о вечном. Какое-то магическое наваждение, не иначе. Но мало кто его избегает. О чём бы ни шла речь изначально, переводишь её к тому, чему быть, чего не миновать, когда сам переместишься туда — наверх, к небу.

— Всё иллюзия, — внезапно сказала Люба.

— Чего-чего?

— Да это кладбище... Жили-были, и вдруг — на тебе! — вместо людей камень. Даты рождения, смерти. Твои, Дани, автографы. Иллюзия бытия.

— А что ты хочешь, Любаша?

— Я? Мне хотеть нечего. И без всякого хотения я знаю: смерти нет, просто наступает переход из одной реальности в другую.

— Кто сказал?

— Эйнштейн.

— Ну да?

— Не такими словами, но сказал. Как там было? Вот, нам на семинаре рассказывали. После смерти своего старого друга Альберт Эйнштейн сказал: «Бессо покинул этот странный мир немного раньше меня. Это ничего не значит. Таким людям, как мы, известно, что различие между прошлым, настоящим и будущим — только упрямая навязчивая иллюзия». А сейчас, на основе новой научной теории доказано: Эйнштейн был прав, смерть — это иллюзия.

— Ну, и джунгли в твоей голове, Любаша! Обитают ли там обезьяны? И чем питаются?

— Бананов, определённо, для них не отыщется.

— А что за теорию держишь для них в уме, чтобы почитали Дарвина и стали скорей человеком?

— Биоцентризм! Да-да, это новая теория, как разъясняли нам на семинаре. И касается всего в мире. Допустим, нам представляется, что смерть — это финита ля комедия, конец всему. Но почему? Потому что свое «я» мы ассоциируем с личным, только нам принадлежащим телом. Будто бы без тела «я» не существует. Глупости! Существует и ещё как!

— И о чём это говорит? О рае, аде, седьмом небе или геенне огненной?

— О квантовой физике, дорогой мой человек!

— Эко тебя поволокло, журналистку. Ты ведь не с физмата. Откуда всего этого набралась?

— Оттуда же! Почему ты не удивился, что я без проблем освоилась с Интернетом, которого в восьмидесятых не было? Почему тебе не показалось странным, что столь же легко разобралась с мобильником? И почему не делала широкие глаза, когда увидела в Иерусалиме трамвай, хотя при мне никто о нём не помышлял здесь?

— Брось, Любаша! Просто тебе всё давалось легко.

— Нет, Дани! Ты боялся насторожиться. Боялся подумать, что меня подменили. А всё гораздо проще. Думаешь, нас просто так выпустили наружу? Абсорбируйтесь самостоятельно, как в первый раз? Э, нет, голубчик! Провели семинар. Ввели в курс дел и пустили в свободное плавание, лишь убедившись, что в новой действительности мы дров не наломаем.

— А способны?

— Что за ладушки-оладушки?

— Я в отношении дров.

— Спроси, что полегче. Но не у меня. У наших инструкторов.

— Прости, не знаком.

— Про людей в чёрном слышал?

— Читал.

— Я с ними общалась.

— Мужчины? — Дани, скрывая улыбку, с притворной подозрительностью уставился на свою молодую жену.

— В моём случае женщины.

— И какие выводы?

— Однозначно. Они за нами наблюдают. Надо им — появятся. И будешь плясать под их дудку.

— Я плохой плясун.

— Им это до феньки! Главное, чтобы плясал. А плясать будешь — не отвертись. Плохо ли, хорошо, но будешь. Таков удел!

— Космические девицы гуляют по планете.

И Даника, безумные, стремятся соблазнить.

А он им фигу с маслом, поскольку его дети

в космическое царство намываются убыть.

— Экспромт?

— Не оскудело ещё во мне.

— А как насчёт карты подземного Иерусалима? Так никому и не понадобилась?

Дани огорченно махнул рукой.

— Это на словах они ищут Ковчег Завета. А как доходит до реальных предложений, всё одно: нам — это нам, евреям! — нельзя соваться к мечети Омара, в недра Храмовой горы. Молиться евреям не разрешают — наши власти не разрешают! — на Храмовой горе, не то, что проводить раскопки. Весь исламский мир на дыбы поднимется, если сунемся искать Ковчег Завета или объявим о строительстве Третьего Храма на этом месте. Новой интифадой пригрозят и кинут смертников взрываться на наших улицах.

— Похоже, ничего не меняется в подлунном мире. Как было в восьмидесятих...

— Так и осталось. Было — не сплыло. И карта моя по-прежнему без пользы. И координаты Ковчега Завета никем не затребованы. Боятся даже упомянуть о её существовании. Им...

— Кому?

— Нашим мудрецам! Удобнее считать, что Ковчег вывезен в Эфиопию. И находится в городе Аксум в часовне церкви святой Марии Сионской. Где до него никто из посторонних не доберётся. Если же наемкнуть хотя бы в печати на мои координаты, то арабы первыми и закопаются до Ковчега. А что будет тогда — одному Богу известно.

— Не впутывай Бога. И без него ясно: третья мировая. Кто владеет Ковчегом, тот непобедим.

— Ладно, не будем об этом. А то дрожь в коленках.

— То-то и оно, я опасаясь, что ты уже засветился со своими координатами. Как бы кому не понадобилось властвовать над миром.

— Не трогали прежде, надеюсь...

— Сплюнь три раза. Нынче живут по понятиям. А чужая душа — потёмки! Забыл, что ли?

— Откуда у тебя это «нынче». Вроде только вылупилась из яйца.

— А-а... Яйца курицу не учат?

— Вроде того.

— Эх ты, спец доморощенный! Я же тебе говорила, нас выпустили наружу после обстоятельного семинара. Может быть, о нынешних временах мне известно лучше тебя.

— Чем докажешь?

— А завернём в придорожный ресторанчик, там и подумаем над доказательствами.

— Тогда бери вправо, и вот по этой гудронке вверх и вперед, теперь по указателю налево. Видишь мельницу?

— Вижу! А не наше ли это давнее прибежище?

— Наше.

— Не снесли?

— Твоего возвращения дожидались.

— Ну и Дани! Ну и молодец! Спасибо, за подарок!

Глава вторая Невозможное право выбора

3

Чем прелестны маленькие провинциальные кабачки в Израиле? Здесь тебя узнают сразу, хоть смени внешность, отрасти или сбрей бороду. Чувствуешь себя, как дома, и заказываешь по-приятельски:

— Шимон! Налей мне водки с дождевыми каплями.

— Сколько капель?

— Полста.

— Заходи поближе к Хануке, пока дождь не ожидается.

— Наши прогнозы, чтоб их!

— У погоды свои правила.

— Тогда, Шимон, будем играть по нашим. Я тут как-то подсел на вишнёвый ликёр. Сохранилась бутылочка?

— Для тебя сберегли.

— Приятно слышать. Тогда наливай.

— Но без дождевых капелек.

— Перебьёмся!

— А на закуску?

Дани пальцем провёл по меню, упакованному в коленкоровый переплёт.

— Этого порцию, этого две, а это нам не по нутру. В прошлый раз из-за этого намучился изжогой.

Хороший человек Шимон, даже не спросит, чтобы не берeditь раны: а когда был «прошлый раз»? По нему, чуть ли не вчера, хотя... Добрый кусочек годков промелькнул с той поры. И сам на себя не совсем похож, правда, и официант тоже не вполне узнаваем, если он, конечно, из прежних бегунков. А вот хозяин заведения — посе-ребрённые виски, залысины, нос картошкой с фиолетовыми прожилками — глядится с прежним форсом, почти как на фотокарточке, прикрепленной на задней стене, за стойкой, в подсвеченном проёме между бутылок, выставленных для соблазна на полках.

Раньше ты наведывался сюда довольно часто. В особенности, после разладов с женой, чтобы скрасить тоску по Любе — первой любви, той, что соткалась из небытия на Гогланде, и под гудки пароходов вошла в твою жизнь, как поэтическая бригантина в родную гавань. Помнитса, как, обнимаясь, пели в компаниях. Под перебор гитары.

Пьём за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьётся по ветру «Весёлый Роджер»,
Люди Флинта песенку поют.

И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза —
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина подымает паруса.

Пели, думая о погибшем на войне с фашистами Павле Когане, написавшем в страшные дни репрессий 1937 года слова этой песни, ставшей именно песней тогда же, благодаря Григорию Лепскому, его другу и в ту пору начинающему композитору. Пели, думая о себе и о не сходящем с языка евреев семидесятых годов ОВИРе, чуть ли не по-флибустьерски взятом на бордаж при подаче заявления на выезд в Израиль. С этого тревожного момента «быть или не быть» из театральной гамлетовской фразы превращалось в реалию существования. Оно в любой миг способно обернуться отказом в выдаче визы, следовательно, лишением заработка, возможности устроиться на работу, а то и гражданской смертью. Но самые пренеприятное в наборе нахлынувших неудобств — это выклянчивание подписи у родителей под унижительной справкой об отсутствии материальных претензий. Без подобной справки, заверенной нотариусом, автоматически закрывалось право на репатриацию.

Подполковник в отставке Юрий Иосифович Калинин, отец Любы, наотрез отказался вообще ступить на столь скользкую для печатающего шаг офицера дорожку.

— Если я пойду в ОВИР во славу вашего желания перекраситься из комсомольцев в сионисты, от меня потребуют положить партийный билет на стол! — твердо сказал он с коммунистической прямоотой. — Пусть в ОВИР идёт мать, она не партийная. И несёт заявление. С неё и взятки гладки.

— А отказ от материальных претензий?

— Подписываюсь обеими руками. Можно подумать, я живу за ваш счёт!

— Тогда всё в порядке?

— В порядке будет, когда я просмотрю заявление и увижу, что оно выдержано в духе настоящего времени, чтобы сионисты были сионистами, а историческая родина — исторической, и ни в зуб ногой иначе.

— Значит, литературное по содержанию и партийное по существу? — съязвила Люба.

— Именно так. Ты у нас журналистка, тебе и перо в руки. Дерзай, и чтобы комар носа не подточил!

Люба и дерзнула, в охотку сработала столь мощный документ, что хоть под суд, если бы нотариус вчитался в содержание. Но должностному лицу строгого официального учреждения нужны были только две подписи — отца и матери — и короткая запись: «материальных претензий не имею».

Претензий нет, ну и гуляй, перелётная птица, твою квартиру, если есть в наличии, передадим нужному, более полезному советской власти человеку. А свой текст, теперь уже упрятанный в архив, публикуй хоть в самиздате. Нет, так держи в памяти, чтобы выдавать под видом анекдота на сабантуйчиках бывших отказников. В Иерусалимском лесу. Со стаканом в руке. У мангала с шашлычком и салатиков из помидорчиков и огурчиков.

— И написала я, значит, за маму, написала я, значит, за папу, — говорила, дурачась, Люба. — Выдержанно написала, в партийном духе, но при несомненных литературных достоинствах — описаться можно от смеха.

— Не томи!

— Слушаем?

— В охотку!

— Тогда цитата: «В эти напряжённые, преисполненные трудового энтузиазма дни завершающего года десятой пятилетки, когда в школах делают жизнь по железному Феликсу Дзержинскому, а каждый шаг сверяют по бессмертным произведениям товарища Брежнева из трилогии «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», некоторые отщепенцы, тоже имеющие наглость именовать себя литераторами, а то и борцами за справедливость, намерены покинуть мать свою землю-кормилицу и перебраться на чужбину, именуемую зарубежными радиоголосами «исторической родиной», в государство Израиль. Там им по непроверенным данным из Библии обещаны молочные реки и кисельные берега. Согласно атеистической пропаганде, все это есть библейские сказки и всяческая чушь. Но чтобы в этом убедиться лично, надо, действительно, пожить там, где нас нет. Пусть жизнь им покажет кузькину мать, и они наяву убедятся, где правда, где ложь, чтобы, обжёгшись на молоке, научились дуть на воду. За сим заявляем: материальных претензий не имеем, что и удостоверяем своими подписями».

Было? Было! А сейчас всплывает в памяти, проявляет себя на экране, именуемым внутренним зрением. И хочется хватануть рюмку местного ликёра, так напоминающего не градусами, разумеется, а по вкусу, вишневку босоногой поры, когда у деда на даче в Юрмале упивался сладким напитком, брызжущим пахучими пузырьками в нос.

И выпиваешь. На пару с Любашей. Щелкаешь кнопкой мобильного, дабы запечатлеть улыбку на девичьем лице, грустинку, невесть откуда возникшую в ее глазах, кончик языка, облизывающий подслащённые выпивкой губы.

А бармен... бармен... как его?... ах да!.. Шимон смешно шурится, с трудом выговаривая по-русски:

— Закуски подавать?

— Обязательно. Вкуснятина!

— По-русски называется «первый сорт»? Я правильно говорю?

— Ты всегда правильно, Шимон. Добавь ещё сто грамм и...

— Будет на пос-со-шок, да?

— Да-да! Наливай по новой, — беспечно улыбается Любаша, как в незапамятном восьмидесятом, нечаянно открыв для себя это тихое, потаённое местечко.

— За нами не про-па-дёт, да?

— Да-да! И за нами. Дани платит за всё!

— Время — деньги, да?

— Да-да. Помнишь с тех пор?

— Как же забыть? Вы были первыми олим-хадашим (новыми репатриантами) из России в моём заведении. Мы только открылись. И бихляль зе (ради этого), чтобы чаще получать таких посетителей, я учил по складам ваш «маме лошен» (язык мамы). Вот смотри...

Он повернулся к полкам с бутылками, откопил в проёме пожелтевшую фотографию.

— Макелим? (Узнаёте?)

— Да это же я! — воскликнула Любаша.

— И ничуть не изменилась, приятно видеть.

Не желая заводить неуместных разговоров, Дани поспешно вклинился с разъяснениями, которых никто от него не требовал:

— Наши косметологи — впереди планеты всей.

— Так выпьем за косметологов. За счёт заведения, — сказал бармен Шимон, разливая ликёр. — Я тогда, в день знакомства, вас щёлкнул. Так сказать, на удачу. И не прогадал. Русим (русские) меня облюбовали. Прибыль идёт, бизнес не в минус. Ле-ха-им!

— На здоровье! — привычно ответил Дани. Посмотрел на ручные часы, отвернув рукав вельветового пиджака. — Однако...

— Время — деньги? — вновь припомнил Шимон.

— Поживём-увидим, — отшутился Дани. — Но сначала... Ширут-тим (туалет) у вас сегодня не бастует?

— Ахарей тикун. (Отремонтировали).

— Тогда... Пару минут, и по коням.

— Крепче за баранку держись, шофёр, — вывела нараспев Любаша, попутно сфоткав Дани у двери с нарисованным силуэтом мальчика.

4

До выхода первых позвоночных из воды на материковой Земле был сущий рай. Ни тебе хищных зверей, способных без зазрения совести скушать зазевавшихся в лесу травоядных. Ни тебе мух и комариков, разносчиков вредных бацилл и микробов в районе болотных кочек. Ни тебе того нехорошего, ни этого плохого. Деревья плодоносят, на бахчах созревают арбузы и дыни. Некого бояться и всегда можно утолить голод. Отчего же не создать в таких условиях человека?

Задашься таким вопросом и задумаешься.

А подумать есть над чем. Хотя бы над тем, что чуть ли не половина Земли принадлежала в доисторические времена суше. И что? Пустовала? Не было на ней никакой жизни? А может, была... Но не наша. А инопланетная. Пока не исчезла под натиском морских хищников, которые повылазили на берег, оскалив зубастые пасти. Им тоже захотелось жизни безопасной, привольной и сытой, вот и превратились в динозавров. Затем в людей, которые тоже друг друга кушают, пока не подавятся.

Машинальные мысли...

Рождаются неведомо по какой причине и улечиваются, не оставив следа. Потом и не вспомнишь, что пришло в голову, пока мыл руки, поглядывая без всякого интереса на себя в зеркало.

— Каждый вырабатывает свои правила, чтобы не потеряться в этом мире, — метрономом стучало в мозг. — Хуже всего микробу. У него такой маленький, если есть, мозг, что своих правил не вырабатает. А по чужим правилам жить не научишься. Значит, остаётся жить не по правилам.

И что? Живёт! Даже размножается.

Как? Об этом лучше помалкивать. Иначе заразит.

Чем? Да чем угодно. На это у него ума хватает.

Дани потряс головой, отделяясь от навязчивых мыслей. Закрыл кран, потянулся за бумажным полотенцем, высматривающим из-под металлического козырька настенного агрегата. И опешил, различив сбоку высокорослого человека в галстук, чёрном костюме, тёмных очках. Допустим, что за невидаль для Израиля тёмные очки? Но чёрный костюм? Белая рубашка, застёгнутая на все пуговицы? Галстук? Туфли? Не босоножки на голы ноги, а туфли?

Что за чёрт? Когда появился? И как? Ни скрипа двери, ни шлепанья подошв по каменному полу. Бесшумная тень, но одухотворенная. И голос... какой-то гипнотический. Слушаешь, не прерывая, будто подневолью попал на лекцию, и не остановить педагога, не прервать и не рвануть вон из аудитории: безволие, апатия, слабость.

Слушаешь и не вникаешь. А когда вникаешь в монотонную речь, тело охватывает озноб, потому что рефреном звучит:

— Хочешь жить?

— Хочу!

— С кем хочешь? С Любашей юности твоей? Или с Любой подступающей старости?

Протестуешь, поднимая мокрые руки.

— Что за нелепица?

— У тебя есть от Бога право выбора.

— Не понимаю.

— Бога мало кто понимает. Десять заповедей даны Богом на горе Синай через Моисея, четыре первых только евреям, а оставшиеся шесть всему человечеству. А выполняете ли?

— Я неверующий.

— Потому и предлагаю использовать право выбора. Верующий и без этого выберет, что положено по закону. А для тебя закон не писан. Выбирай.

— Мне не мешает, что одна здесь, а другая в Питере, — Дани попытался выкрутиться из неловкого положения.

— Вместе им не ужиться. Люба юности твоей исчезнет, растворится в воздухе неосуществлённых надежд.

— Я не юноша, чтобы питаться надеждами.

— А реальность сурова. Не проще ли устранить Любу из Санкт-Петербурга, чем расстаться с надеждами?

— Убийство?

— Устранение. Она просто исчезнет, как память о неудачно проведённом научном эксперименте.

— И я должен дать на это согласие?

— У тебя право выбора. Без твоего согласия на устранение мы никаких действий предпринимать не будем.

— «Мы»? Кто это «мы»?

— Мы? Это — не пугайся! — и ты, вернее, твое самосознание, восприятие жизни, её комфорта и благополучия. Если ты посчитаешь наш научный эксперимент неудачным, то коротать тебе следующие годы со своей постаревшей женой, а Любаша исчезнет, как будто её и не было. Если считаешь эксперимент удачным, то всё произойдет ровным счётом наоборот. И в дальнейшем живёшь с Любашей, а Люба растворится в Питере, точно она там и не появлялась.

— Не принуждайте меня! Я не подопытный кролик!

— Человека, имеющего право выбора, никто принудить не может. Подумай, с кем ты намерен остаться.

— Хорошо, дайте подумать! — Дани вновь уклонился от решения.

Отвернувшись от неумолимого собеседника, тщательно вытирал над раковиной руки — выгадывал спасительные секунды, лихорадочно соображая, что предпринять.

Когда же поднял глаза от мятой салфетки, никого не увидел. Чёрный человек также неуловимо покинул его, как и появился, оставил наедине с невыносимым чувством боли, прогрызающим сквозь сердце.

Какое решение? Что за решение? К чёрту! Кому нужно такое право выбора, когда, что ни выберешь, все одно — смерть.

— Любаша! — вырвалось из Дани, и, мало соображая, он бросился в бар. — Ты меня не покинешь?

Но... кричал в пустоту. За стойкой девушки не было.

— Где она? Где? — испуганно спросил у Шимона.

— Йоца (вышла) пять минут назад.

— С кем? С женщиной в чёрном?

— Нет, с женщиной. Подружкой, надо думать.

— В чёрном?

— Чёрном! А что? Там она, ба хания (на стоянке), стоит-разговаривают с подружкой. Акшаф хозерет (сейчас вёрнётся). Иначе не оставила бы мобильник.

Подумалось другое: не вёрнётся. Именно потому и оставила мобильник. А на его экране — селфи: её прощальные фото.

Дани рванул к выходу из питейного заведения. Распахнул дверь и с растерянным видом, машинально подтягивая поясной ремешок, проследил глазами за тем, как бежевый внедорожник, похожий на

тот, что гнался за ними у кладбища, выехал на гудронку и помчался по направлению к скоростному шоссе, ведущему в Тель-Авив... Ашкелон... Беэр-Шеву... Димону...

Не угонишься!

Глава третья

А снег сойдёт, и народятся розы

5

— В страданиях нет ничего выше отчаяния, — говорил знакомый ангел за буфетной стойкой, приняв вид собутыльника. — Не превзойти! Не преодолеть! Только надеяться: небо прояснится, солнце засветит, боль отойдёт.

Но куда там!

Бармен Грошик, блеснув непрременным моноклем, вдетым для оригинальности, наполняет снова мелкую, ёмкостью грамм на тридцать, рюмку. Глотаешь, как лекарство, но боль не отпускает, а ещё гуще замешивается и выливается на бумагу чёрной тушью рапидографа в ритмических строках самоистязания.

Возлюбленная на снегу стоит.
И моет сердце зябкими руками.
А мимо шкандыбают индивид,
запойно мыслит о прекрасной даме.
К ногам возлюбленной небрежно он упал
и к горлышку приник прогорклыми устами.
Он с грустью сознавал, что кончен карнавал,
и маски, разбредясь, уснули под кустами.
И он уснул, в чём был, не сняв дохи,
у ног возлюбленной, под звёздным покрывалом.
И ночь сквозя, к нему текли стихи:
горячая моча их к жизни пробуждала.

Хотелось хоть что-то хорошее сказать о нём, но не приходило на ум. Хотелось ещё припомнить о подснежниках, слабом дуновении весны. Но не припоминалось. В мозгах кровавый застой мысли, в памяти — круговерть пляшущих человечков и грязная непролазь туманных видений. Не разобрать, что реально, а что феерическое нагромождение.

Знакомый ангел, сочувствуя, прикоснулся остриём шариковой ручки, должно быть, смастеренной из волшебной палочки, к испанному листу бумаги, и — о, чудо божественной правки! — корявые строчки взяты в скобки и помечены вопросительным знаком. А вместо них набежало нечто, придающее резон дальнейшему существованию.

К ногам возлюбленной достойно он прилѣг.
И в стих вошёл из преклонѣнной позы.
«Любовь моя! Ты Ангел мой! Ты Бог!
А снег сойдѣт, и народятся розы».

Дальше — проза:

— Жизни нет, а смерть приближается. Притом, незаметно, будто и её нет в наличии. А нет, так нет! И радуемся куску хлеба, стопке водки, свежему воздуху и приятной встрече с любимой. Жизнь — вот она, хоть её и нет. А смерть... кто её видел?

— Будем жить? — Дани поднял глаза к заботливо поглаживающему его по руке ангелу, принявшему вид собутыльника, и внезапно признал Нору, ту девушку в приталенном чёрном костюме, неопределѣнного для обитателей Парнаса возраста, которой некогда, до ухода на поэтический самострел, сочинял акростихи.

— Жить будем!

— Мне не с кем, — безотчѣтно для себя пожаловался на судьбу Дани.

— Ты о сексе или о смысле жизни?

— Сейчас ни того, ни другого.

— Не беда. Немного статистики — и полегчает на сердце, — успокоительным голосом психотерапевта выводил ангел в облики Норы. — Знаешь ли ты, что средний американец тратит за всю свою жизнь на секс всего два месяца? Так подсчитали учёные. Ещё они подсчитали, сколько времени он проводит в туалете по маленьким и большим надобностям организма, сколько съедает гамбургеров и выпивает алкогольных напитков.

— Для чего?

— Наверное, чтобы отчитаться на том свете о проделанной работе на этом.

— И получить пропуск в рай?

— Слава Богу, русский человек — не средний американец! — сказал бармен Грошик, покручивая, как на телеэкране Тарас Бульба, отросший до подбородка ус. — Он не ведѣт такую статистику. И на том свете не собирается никому ничего доказывать ради пропуска в рай.

— Поэтому на секс тратит время без раздумий, как и на еду или туалет, куда без газеты не ходит, — добавила Нора, подтянув узелок чёрного галстука.

— А уж о выпивке и не говорю, — произвольно подключился Дани. — Кто способен это сосчитать?

— Я, — торжествующе заявил бармен Грошик. — Сегодня ты выпил пять рюмок, вчера три. А за четыре прошедших месяца 567.

— Грошик! Толкаешь меня к нумерологии?

— К чему-чему?

— Нумерлогия — это такая эзотерическая система о связях чисел с человеком, его судьбой и поступками.

— Типа гороскопа?

— Типа того. Итак, чем мы располагаем в базарный день? Говоришь, 567? — Дани охотно впрягся в умение распознавать тайный код чисел. — $5 + 6 + 7 = 18$. Такой же итог, если сложим $6 + 6 + 6$. А ведь три шестерки — это...

— Не спрямляй дорогу к имени дьявола! Что за дурные привычки? — возмутилась Нора, опять приняв облик знакомого ангела. — Человек — образ и подобие Того, Кто Над Нами. Лучше вспомни, если довелось слышать, как это неожиданно выявилось в расчетах Леонардо да Винчи. Божественная пропорция, по нему, математически выглядит так — 0,618. Сложим по твоему примеру $6 + 1 + 8$. И каков результат?

— Божественный?

— В точку! По гематрии — еврейской числовой символике — 15 означает имя Всевышнего на иврите, в буквенном, понятно, изложении.

— Кому понятно?

— Даже ежу, если он мало-мальски кумекает в иврите. Не забывай, ты в реальном Израиле, а не на страницах книги Иоанна Богослова, смыслы откровений которого расшифровать до сих пор никому не удалось. В кабалистике число 18 обладает магическими свойствами, оно представляет собой числовое значение ивритского слова «хай» — жизнь. И обозначает именно жизнь. Жизнь и ничего другого! А твои домыслы о трёх шестёрках сунь коту под хвост!

— Не совсем домыслы, — настаивал Дани. — Если всмотреться в нашу жизнь, то подчас кажется: жизнь — это ад, и живём под диктовку того... не буду лишний раз упоминать... кто закодирован под тремя шестерками.

— Живи по-еврейски!

— По-израильски, но с русским уклоном в стакан, — поправил бармен Грошик и наполнил рюмку. — Шестая, и последняя на сегодня. А то на днях тебя после шестой...

— Кто старое помянет, тому глаз вон!

— А кто забудет, тому оба, — подсказал знакомый ангел, вероятно, с желанием напомнить о чём-то.

— А чтобы вспомнить забытое, — парировал Дани, — нужно иметь возможность посещать прошлое.

— Посещай. Кто мешает?

— Как так?

— А так! Раз-два-три, и ты уходишь в прошлое...

— А меня там не убьют?

— Ты не Пушкин!

— И всё же...

— Не понимаешь? Ты там ещё не родился. Значит, если даже пуля-дура угодит тебе прямоком в умную голову, дураком не станешь, тем более, не умрешь.

— А противник? Он? Если я в отместку стрельну?

— Ты уже в прошлом.

Прошрое? Не потому ли всё в дурманной дымке? Странная комната, чем-то похожая на больничную палату. Кровать. Над ней настенный календарь с взятой в чёрный кружок датой 3 января 1945. И — гипнотической силы голос спящего, обращенный в пространство, или... Или к нему, Дани Ору?

Что он говорит? Что? Говорит... Он — реинкарнация верховного жреца Атлантиды Ра-Та. История Атлантиды начинается 10 миллионов лет назад с прибытием неземного человечества на нашу планету, а утонула она в результате землетрясений и вулканических взрывов за 10 000 лет до нашей эры. Но некоторые атланты выжили и добрались до Египта, и под правой лапой вечного Сфинкса в огромном подземелье захоронили свою древнюю библиотеку, которую отыщут они сами при возвращении к жизни в ходе новых воплощений. Лично он возродится вновь в 2100 году в Небраске для проверки правильности своих пророчеств. Но предварительно, с той же целью родится в Санкт-Петербурге, чтобы убедиться в предусмотренном распаде Советского Союза в начале девяностых годов и предсказанном Нострадамусом появлении на свет в 2015 году Мессии, кому выпадет честь спасти цивилизацию от самоуничтожения и погружения в хаос и мрак.

Когда родится? 1 марта 1955 года, ровно через четыреста лет после издания в Лионе первой книги «Пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса», называемых впоследствии «Центуриями». 400 — число, на первый взгляд, произвольное. Но так ли? Что, если оно продиктовано Высшим Разумом? Вспомним, именно 400 лет евреи находились в египетском плену. А если поднимем глаза от земли к небу, то тут же задумаемся: а не скрывает ли число 400 какие-то необъяснимые тайны мироздания? Обратимся к астрономии. Луна в 400 раз меньше солнца и в 400 раз ближе него к нашей планете. Поразительное совпадение! Но благодаря такому стечению обстоятельств ночное светило полностью закрывает дневное во время затмения. Подобного явления не наблюдается больше нигде во Вселенной. Следовательно, говоря о якобы случайном совпадении, волей-неволей задумаешься: а не заключен ли в нём некий божественный знак, ждущий осмысления?

Горячий ознб прокатился по невесомому телу Дани: 400 лет после 1 марта 1555 года, это же... День его рождения! Неужели? Нет-нет, быть такого не может, чтобы в прошлом он был величайшим провидцем 20 века Эдгаром Кейси. Но ведь и сам Кейси не представлял себя «Спящим пророком» прежде, чем приобрёл уникальный дар.

Когда журналисты донимали его вопросами: почему это случилось с ним, он снисходительно прибегал к ответу, позаимствованному у Будды: «Никогда не спрашивайте — почему».

Но столь аморфный ответ мало кого устраивал. В особенности советскую разведку, чрезвычайно раздражённую заявлением ясновидца о том, что «Союз нерушимых советских республик» рассу-

плется как карточный домик в начале 1990-х годов. Из тщательно подобранных разведанных и информации, почерпнутой в книге Артура Хала «И вот приходит шум мыслей», вырисовалась довольно странная для материалистов с партийным билетом картина: Эдгар Кейси, согласно личным дневниковым записям, получил исключительный талант сразу же после того, как на Кентукки, где он тогда жил, «обрушились громкие, доводящие граждан до ужасных нестерпимых головных болей и даже самоубийств, звуки абсолютно загадочной природы». Мучаясь от невыносимой мозговой атаки, он внезапно оказался на борту космического корабля в форме диска, где, тотчас излечившись от недомогания, был представлен не одному, не двум, а шести своим двойникам. Попутно, из бесед со своими живыми копиями, выяснилось: это не просто летательный аппарат, но и машина времени. И с высоты второй половины двадцать первого века взору провидца открылось будущее: жуткие природные и военные катаклизмы, наводнения, вулканические извержения, дымящиеся руины городов Японии, Америки, Англии, Северной Европы. Однако Западная Сибирь, как бросалось в глаза, ничуть не пострадала. Она переливалась огнями цветущих городов, притягивала, не отпуская, взгляд наблюдателя, телепатически передавая прямоком в мозг: отныне именно ей выпала честь возглавить дальнейшее развитие человечества, перерождающегося в пятую земную расу.

В архиве клиники, расположенной в Вирджинии-Бич, где «Спящий пророк» раз за разом входил в транс, чтобы предсказывать и исцелять больных, находится 14 листов с его прогнозами. Последний датирован 1 января 1945 года, в нем указана дата его смерти. Вскоре в больнице была установлена стеклянная панель, на которой выгравировано «Сценарии будущего по Кейси, составленные в 1928 году».

Некоторые предсказания Кейси:

Первая и Вторая Мировая война.

Автокатастрофа 1929 года на Уолл-стрит.

Изобретение лазеров.

Находка Кумранских рукописей.

Падение коммунистического режима в СССР в начале 90-х годов.

Затопление Северной Европы.

Катастрофическое появление Атлантиды из моря.

На территории Египта найдут Зал Записей с секретным знанием.

Разрушение мегаполисов США.

Геофизические изменения большей или меньшей степени со значительным преобразованием североатлантического побережья Северной Америки.

Земная ось будет смещена к 2001 году, что повлечет за собой перемену климата.

Появление на Земле в 2004 году Пятой Коренной Расы.

Выйдя из сомнамбулического состояния, Дани осознал, что и под его рапидографом растекаются на бумаге какие-то неосмысленные умом строчки. Как будто из путешествия в палату умирающего от лёгочной болезни Эдгара Кейси он вернулся заражённый вирусом ясновидения, либо психографии — способностью создавать тексты и рисунки под гипнотическим влиянием гениев прошлого, не успевших дописать книгу или картину.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Знак рожденья — Лев и Солнце,
и потрава невских вод.
Он родится инородцем,
он родится в пятый год.

ПСИХОГРАФИЯ

Упорное наше непонимание тезиса «Поэзия — та же живопись» вдруг было устранено, различия между пластическим и словесным искусством стало нам ясным. Оказалось, что вершины этих искусств разделены, основания же их друг с другом соприкасаются. Художник, занимающийся пластическим искусством, должен держаться в границах прекрасного, тогда как художник слова не может обойтись без всего разнообразия явлений, и ему вполне дозволено переступать эти границы. Первый работает в расчёте на внешние чувства, удовлетворить которые может лишь прекрасное, второй в расчёте на воображение, а оно не брезгует и уродством. Словно молнией озарили нас последствия этой великолепной мысли: всю прежнюю наставительную и оценивающую критику мы сбросили с себя, как изношенное платье, и сочли, что избавлены ото всех зол...

Иоганн Вольфганг Гёте

6

Треугольник — одна из важнейших архетипных форм.

Существует предположение, что треугольная вершина пирамиды является порталом в иной мир.

Пифагор утверждал, что во вселенной всё имеет трехчастную основу.

Современность подсказывает: даже генетический код — это тоже серия комбинаций из трех молекул.

Во всех основных религиях и многих верованиях древности присутствует триада. Проще говоря, символическая цифра 3.

В христианстве она приняла доступную для усвоения формулу: отец — сын — святой дух.

В чём сокровенное значение триады?

Знакомый ангел по этому поводу говорит: «Когда вы уясните значение триады, тогда, наконец, и поймёте: кто вы и откуда. И, более того, осознаете, в чём смысл вашего существования на Земле. Ведь общепонятно, Земля без вас очень легко может обойтись, как это было прежде 120 миллионов лет подряд во времена динозавров. А вы без неё ни в коем случае».

Ангел сказал, Дани задумался. И в памяти возникло:

Три великие пирамиды были возведены на плато Гиза в Египте 4000 лет назад.

Три дня пророк Иона провел в чреве кита.

Три волхва пустились в путешествие, чтобы известить о рождении младенца. И принесли ему три дара: благоуханную смолу — ладан, масло, символизирующее загробную жизнь, — миро и металл, не подверженный распаду и ржавчине, — золото.

Иисус Христос три дня был мёртвым, а потом воскрес.

Ещё Дани подумал: что за три мучительных дня предстоит пережить нам в мёртвом состоянии, чтобы потом воскреснуть? А воскреснуть предстоит непременно, ибо триада — это комбинация неистребимого кода, заложенного в нас навечно, наше божественное проявление.

«Воскреснуть! Воскреснуть!»

Но пока Дани ощущал себя мёртвым, погребённым в собственном теле, и только самопроизвольно сочиняющиеся стихи позволяли думать, что он жив.

«Странности разные, смыслы утрачены, гробится время в тоске по любви», — ритмически, с интервалом в секунду, вбивалось в мозг. И не остановить, не выставить преграду. Воля, и та теперь, после похищения Любаши, давала слабину. Всё валялось из рук, да и не было особой охоты заниматься чем-либо, кроме как валяться на диване и эскизно-чёрным рапидографом заполнять альбом то ли корявыми строчками, то ли размашистыми рисунками, в зависимости от настроения.

Так и проводил время: полулёжа, прислоняясь к мягкой диванной спинке, напротив телящика с выключенным звуком. Бездумно чертил пером и, поднимая глаза от бумаги, поглядывал на движущиеся картинки. Машинально прочитывал титры, скользящие по нижнему полю экрана. И с внезапным удивлением, а удивление — это признак возвращения к жизни, ловил себя на мысли, что только-только, думая о несбывшемся, мечтательно произносил в уме: «Махнуть бы в Париж от забот земных». И — на тебе! — эти же слова, но, разумеется, на английском, герой голливудского боевика вкладывает между поцелуев, если верить титрам, в ушко своей пассии.

«Странности разные, смыслы утрачены»... А ведь и в прошлом нередко происходило подобное. Правда, раньше не обращал на это внимания — совпадение! Однако если довлеют странности разные, а

смыслы утрачены, то лишь совпадениям и прокладывать пунктиром дорогу к проблематичному завтрашнему дню, когда «мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах».

Услышим ли ангелов? Он и сегодня слышит. А небо в алмазах... это изданные книги, выставленные в престижных галереях картины. Впрочем, что нам небо, когда на экране новое совпадение. Опять титры принимают значение мелькнувшей секунду назад мысли: «раньше не обращал на это внимания».

Интересно, на что?

А, может, не ждать разгадки, а подсказать? Ты, допустим, не обращал внимания на пристрастную Нелли Голдтову, журналистку с явной желтизной на писучем пере. А он? Ну да — здрасте-приехали! — и этот американский хлыщ туда же. И он не обращал внимания на Нелли, которая, как выясняется, домогалась его ласки. Ох, и словечки: «домогалась», «ласки». И это мафиози? Или дамский парикмахер? Сподобился вешаешь лапшу на уши, так будь любезен...

Внезапный звонок в дверь прервал досужие размышления.

«Кого несёт нелёгкая?»

Дани поднялся с дивана. Автоматически подумал: «Нелли». И не ошибся.

— На ловца и зверь бежит! — сказал, впуская журналистку, внёсшую в холостяцкую квартиру одуряющий запах знаменитых ленинградских духов «Воздух осени».

— Кто у нас тут зверь? — игриво подхватила Нелли, входя в салон.

— Зверь задохнулся от твоих ароматов. А кто у нас побывал в Питере? — отпарировал Дани, приглашая гостью к столу.

— Питер-Питер! Ты наша радость! — артистически воскликнула Нелли, не отказываясь «за компанию» глотнуть коньячка.

— Что там нового?

— Всё новое — это хорошо забытое старое.

— В Израиле не забытое. Меня ведь перестройка не коснулась, я уехал при Брежневле. Под перезвон его медалей и орденов.

— Старое, согласна, не забытое. Но перекрашенное под новые веянья.

— Триколор взамен одноцвета?

— Красное опять в моде...

— Не о пятнах ли ржавчины на поверхности Невы ведёшь речь? На днях, это, к слову, телеканал «Санкт Петербург» передавал... — Дани порылся в стопке бумаг на журнальном столике. — Здесь у меня выписка. Послушай: «В пробах невской воды ученые обнаружили мышьяк, цинк, свинец — в количестве, превышающем предельно допустимые нормы в разы. В пойманной щуке обнаружена ртуть выше нормы. Рыба, отравленная ртутью, вызывает тяжелейшие заболевания. Вплоть до смертельного исхода».

— Что за страсти-мордасти? А я ничего подобного не заметила.

— Просто из головы не выходит: «Знак рожденья — Лев и Солнце, и потрава невских вод. Он родится инородцем. Он родится в пятый год».

— Сам сочинил?

— Не тебя же просить!

— Намекаешь на нынешний год, с пятеркой на конце?

— Ни на что я не намекаю. Жду!

— Ну и жди! А мне... с моим диагнозом... не до Мессии. Я простая журналистка, без пророчеств в голове. Мы заговорили о красном, вспомняв попутно советскую власть, вот я и намеревалась сказать в тему: мол, новые русские носят красные пиджаки, цвета пролитой крови, как прежде флаги на демонстрациях. Но при этом метят в олигархи. А у олигархов буржуазные причуды — собирать разные коллекции, скупать раритеты. Я и придумала...

— Не напрягай мозги, Нелли. Тебе это вредно.

— Сунь свои остроты коту под хвост! Не сама придумала... С подачи твоей жёнушки.

— Как она?

— Выглядит ничего. Но всё же... Ты живёшь врозь со своей старушкой из-за разницы в темпераменте? — с деланным равнодушием, пытаясь скрыть растущее любопытство, поинтересовалась Нелли, как это случается с одинокими женщинами при встрече с потенциальными холостяками.

Дани уклонился от разъяснений семейных коллизий. Не с охочей до сенсаций журналисткой, право же, заниматься исповедью? К тому же знакомой без года неделя. Какая тут откровенность?

— Зачем тебе понадобилась Люба?

— Больше не у кого там брать интервью о деятельности Сохнута на берегах мятежной Невы.

— Не мятежной, а тихой и спокойной, пока не наступит пора наводнения и отравленная вода прольется на город.

— Подать поэту на конфету! Поправку принимаю. И на радостях от несвойственной мне уступчивости сообщаю: по твою безденежную душу выискала деловое предложение, пальчики оближешь.

— На радостях она взялась за ум! — усмехнулся Дани, ожидая подвоха, и налил по второй. — Я полон внимания.

— Пришло время солить капусту. И обогатиться без лишних забот, если передать в умелые руки карту викингов, с координатами утонувшей Атлантиды, что у тебя в записке, как посекретничала Люба. Кстати, она тоже нуждается в деньгах и имеет права на определённую часть. А что касается покупателя, то проявился на горизонте надёжный человек...

— Небось, гебист?

— Выкинь эту терминологию из головы! Деньги не пахнут.

— А люди? От тебя несёт ароматами давнего Питера, но мне уже не двадцать лет. И меня не купишь пустыми посулами: «молодым у нас дорога».

— Это не пустое. Человек — надёжный, без пяти минут новый репатриант, был на приёме у Любы. Оформлялся на ПМЖ в Израиль. Но это для него промежуточная остановка. Он искатель кладов, но не авантюрист, а серьёзный исследователь. И в спонсорах не нуждается, сам располагает кругленькой суммой. За карту обещал отвалить тот ещё кусок.

— Видели мы и не такие горизонты!

— Тебе подавай небо в алмазах? Или достаточно цитаты? — Смешно растягивая губы, словно изображая чтицу художественного слова, Нелли продекламировала: «жить пошло, скучно, безынтересно нельзя», «в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и мысли...» А? Что скажешь?

— По-чеховски жить не запретишь. Живу не скучно, — сказал Дани. — Но мои алмазы там, — демонстративно направил указательный палец в сторону спальни, где у стенки в углу, под книжной полкой, пылились картины, а в пластиковой бельевой коробке рукописи. — Безызвестность их вотчина.

— Эх, ты! Горе-угадайка! Приготовься к сюрпризу, товарищ Безызвестность! — Нелли выпила вторую рюмку и вынула из просторной кожаной сумки, лежащей на коленях, толстый фолиант. — Это тебе. Тут каратов на сто наберётся. Букинистическая редкость. От кого? От твоей жёнушки, понятно. Я мужикам подарки не раздаю. Жду от них.

— Жди-жди, — проворчал Дани, жадно загребая увесистый том, о котором слышал от знакомых художников, но держать в руках не приходилось.

— Другой благодарности и не ожидала, — обидчиво произнесла Нелли, наблюдая с какой поспешностью Дани перекладывает плотные листы с рисунками, дойдя до номинации «Станковая графика».

— 120-я страница, 121-я, 122-я, 123-я. Вот... Моя работа.

— Среди самых именитых питерцев.

— Остался бы в Ленинграде...

— Понятно, в своем отечестве нет пророка.

— В советском.

Дани бережно погладил обложку книги цвета ночного балтийского неба, чувствуя ладонью тиснение крупных серебряных букв: «ВТОРАЯ БИЕННАЛЕ ГРАФИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ».

На развороте, под заглавием, значилось: «Выставочный Центр Санкт-Петербургского Союза художников 23 июня–4 июля».

Ниже: «Центральный Выставочный Зал МАНЕЖ 25 июня–19 июля».

Дальше шли сопроводительные тексты.

«БИН–2004 — такое название получила Вторая независимая Международная Биеннале графики в Санкт-Петербурге.

Название обусловлено временем проведения выставки и участием в ней художников из России, стран ближнего зарубежья, а также самобытных мастеров графики около 30 стран».

Олег Яхнин, Евгения Федина.

«Санкт-Петербург графически органичен. Сфумато его мглистой дымки, туманов — тоновая основа богатства его графики. Прозрачность воздуха в солнечную погоду вскрывает многообразие его линейных очертаний, как город, возникший усилиями многих наций, Санкт-Петербург универсален по своей культуре. Культурный универсализм этого уникального города, сплавленный с универсализмом графического искусства, станет той основой, на которой окажется возможным построить надёжный мост в будущее».

Александр Сизиф

*Директор Института Футуристических Исследований
Председатель жюри конкурса искусствоведов.*

«Благородная и прекрасная идея проведения международного Биеннале графики в Санкт-Петербурге принадлежит Олегу Яхнину. И я, как, надеюсь, и многие петербургские деятели культуры, бесконечно благодарна ему за осуществление этого замысла.

В нашем странном настоящем распад времени и пространства очевиден. Биеннале графики 2004 принципиально важна не количеством участников и даже не географическим разнообразием. Вы попадаете в фантастический мир, насыщенный энергией цвета, многообразием пространственных смещений, новой динамикой...

Данная выставка обречена на зрительское внимание. И как явление искусства и как акт формирования нового представления о Петербурге — городе, открытом современной международной культуре».

Доктор искусствоведения, профессор Татьяна Юрьева.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Сегодня — срок — грядущего начало.
Мир белой ночи правит в этот час.
И без предела То, Что Возжелало,
под зов Мессии, зарождаюсь в нас.

ПСИХОГРАФИЯ

XII

Россия присмирела снова,
И пуще царь пошёл кутить.
Но искра пламени инова
Уже издавна, может быть,
На звёздном небе засверкала,
Как порождение сигнала,
Что снова в сабельный поход

Туда-туда, где ждёт народ
Освобожденья от сатрапа
И от его коварных слуг,
Где правит совестью испуг,
Заткнув свободу слова кляпом.
Не век так жить, придёт пора
И сгинут к бесу шулера.

Александр Сергеевич Пушкин,
восстановленное, надо полагать, стихотворение из X главы «Ев-
гения Онегина», которую Пушкин, как известно, уничтожил, оставив
только зашифрованные четверостишия.

7

«Надёжный человек» от Нелли Голдтовой долго не плутал в по-
исках Дани Ора. Перехватил его по наводке журналистки на кладби-
ще, у надгробия почившего Копейкина, когда наждачной бумагой,
для пущего блеска, художник подчищал циферки рождения-смерти
1939–2015.

— О, надо же, как угораздило: родился 1 сентября, в день нача-
ла Второй мировой, — басовито раздалось за спиной Дани, и он,
поднявшись с колен, оглянулся. Перед ним стоял одутловатый, лы-
сеющего контингента мужчина, приблизительно одного с ним роста, с
портфелем крокодиловой кожи на блестящих замках. — Самсонов!
Его величество Лев, когда при деньгах! — представился довольно ви-
тиевато.

— И сейчас? — любопытствовал Дани, не представляя, кого
нелёгкая принесла.

— Сейчас, как всегда! — незнакомец щёлкнул замками, распах-
нул портфель и продемонстрировал кладку стошечелевых кредиток.

— Зачем это мне? — удивился Дани.

— Не зачем, молодой человек. А «за что»? Разве ваш матери-
альный достаток равен духовному?

— Простите, не понял.

— Не поняли, за что?

— Не понял панибратского «молодой человек». Мне кажется, мы
погодки, а то я и постарше буду.

— Тогда примите комплемент. Хорошо сохранились. И пусть ваш
материальный достаток догонит духовный.

Дани машинально подтянул брючной поясок и, заинтригованный
видом даровых денег, решил не вступать в выяснение отношений на-
счёт возраста. Кто старше, кто моложе, не суть дела. Главное, наклё-
вываается возможность неплохо подзаработать. И не где-нибудь, а
судя по всему, не отходя от рабочего места.

— Как величать вашего покойника? Чем занимался? Какие при-
страстия? На каком участке лежит?

Лев Самсонов расплылся в улыбке, будто его позабавил кладбищенский художник своими несуразными, хотя и вполне профессиональными вопросами. Пошлёпал ладонью по портфелю: «Всё твоё!», и подыгрывая, в тон, но с приметной иронией, сообщил:

— Мой покойник лежит на дне океана. Занимался завоеванием окружающих земель. Пристрастия? От Платона... нет, скорей, от Эдгара Кейси известно: пристрастился к огромному магическому кристаллу, который.... Из-за чрезмерной нагрузки взорвался, вызвал энергетический коллапс и под вспышки небес и стоны земной коры ушёл под воду.

— Атлантида?

— Она самая, подруга грёз моих суровых! Вам деньги — мне координаты затопления.

— Вы кладоискатель, приятель Нелли Голдтовой?

— Поисковик сокровищ. И как видите, — потряс портфелем, вручая его Дани, — удачливый.

— Настолько, что материальный достаток превысил духовный? — Дани, задумчиво поглядел на гостя, защёлкнул замки на портфеле и передал его хозяину. — Пруха — не старуха, но вы не по адресу. Здесь вам удача изменила.

— Чего так? Деньги не пахнут.

— Это я и от Нелли слышал.

— Тогда по доброте душевной.

— Нет в наличии, сегодня — не базарный день.

Незнакомец покатал желваки, сдерживая себя, чтобы не взорваться.

— Антисемиту Копейкину памятник украшаешь, а брату еврея помочь не хочешь?

— Просто предпочтительнее, чтобы евреи занимались Копейкиными на кладбище, укладывая их в могилу, чем Копейкины занимались бы евреями в прессе и давили из нас масло. А что касается вас, мил-человек, у меня никаких предпочтений. Разве что на посошок скажу: не суйтесь к Атлантиде, пока не всплыла. Эдгар Кейси утверждал: всплывет обязательно. Всплывет — и одарит нас своими сокровищами. Без всяких посредников-кладоискателей.

— Не городи чепуху!

— Мы перешли на «ты»?

— А что? Коробит?

— Когда и ты ляжешь в израильскую землю, тогда, так и быть, выграввирую на твоём надгробии координаты Атлантиды. Другим без понятия, что это, а тебе для личного пользования в самый кайф — видит око да зуб неймёт.

— Так за чем же дело, молодой человек? Рисуи сейчас! Твоя цена?

— Опять «молодой человек»? — поморщился Дани.

— Меня интересует цена!

— На кладбище про цену не спрашивают. Тут цена известная. За жизнь платят смертью.

— Философия! Тоже мне, Диоген Синопский! Глядите на него, — Лев Самсонов потряс руками, демонстрируя, подобно экранному итальянцу, возмущение. — Человек, который звучит гордо, в деньгах не нуждается! Готов жить впроголодь, без средств к достойному существованию?

— Да хоть в бочке!

— Кто согласен жить в бочке, тот в результате оказывается в заднице! — психанул искатель подводных богатств.

И? Незамедлительно последовала ответная реакция.

Дани и сам не осознал, как у него чудесным образом прорезался удар, будто он опять в возрасте 33-х лет, когда представлял Израиль на Сеульской олимпиаде 1988 года. В одно мгновение кроссом справа по челюсти он положил наглеца в глубокий нокаут. И, потирая костяшки пальцев, подумал: «Откуда бойцовая прыть на старости лет?» Целая жизнь прошла с тех пор, как он чемпионил на ринге. Целая жизнь... И вот сейчас... Впрочем, тут же вспомнилось старое ленинградское присловье: «когда даешь волю рукам, не забывая делать тотчас ноги».

И он «сделал ноги», чтобы не выяснять отношения с полицией на своём рабочем месте. На кладбище.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Время пришедших из дальнего мира.

Тот, кто не проклят, будет любим.

Новый пророк превратится в кумира.

Спустится с неба Иерусалим.

ПСИХОГРАФИЯ

Когда возродится всемирная база данных, утраченная в день гибели Атлантиды, тогда возникнет предположение, что с незапамятных лет помимо некогда исчезнувшего земного Интернета чуть ли не вечность существует также Интернет Вселенский, объединяющий людей космических цивилизаций. Просто к нему у землян из-за недостаточного уровня духовного развития нет до сих пор подхода. Но со временем, с появлением пятой расы, к нему будет способен подключиться почти каждый, кто чист сердцем и разумом. И без всяких сложных приборов, благодаря природному компьютеру — своему мозгу.

Этим природным компьютером успешно пользовались величайшие умы всех времён и народов, такие как верховный жрец Атлантиды Ра-Та, библейский Авраам, гений Возрождения Леонардо да Винчи, основатель классической механики, президент Лондонского королевского общества Исаак Ньютон, создатель теории относительности Альберт Эйнштейн.

Величайший изобретатель Никола Тесла не раз утверждал, что сложнейшие научные данные о электродвигателях, генераторах и трансформаторах переменного тока черпал из неведомого источника, находящегося в информационном поле высоко над Землёй.

Спрашивается, с какой целью, кроме духовных основ, выдаётся человечеству и техническая информация? Объяснение одно: для того, чтобы земные люди прошли тот же эволюционный путь и последовательно изобретали те же приборы, что и космические предшественники. В этом случае они подготовят себя к реальной встрече с пришельцами из космоса. И смогут общаться с ними на языке родственных понятий и представлений об устройстве и развитии Вселенной, когда пронзающие пространство и время звездолёты будут восприниматься людьми именно в качестве космических кораблей, а не в виде мифических небесных повозок, подобных квадриге Аполлона.

Илиягу Анови (Илья-пророк).

Тот, кто был взят живым на небо в огненной колеснице.

Глава четвёртая **Имена и шедевры**

8

Первое апреля — никому не верю. Даже телевизору, хотя он всю электронную мощь выставляет, демонстрируя клоунов, эстрадников, а те — скетчи, пародии и разнокалиберные шутки не слишком зубастого рта... Смотришь на этот фейерверк и думаешь: и тебе сегодня вечером, несмотря ни на что, включая дрянное настроение, выступать в роли юмориста-затейника на радио «Голос Израила» — «РЭКА». Вспомнили о твоих забойных эпиграммах и афоризмах, гуляющих на просторах Интернета, страницах еженедельника «Секрет» и необходимых в застолье, как острая приправа к сорокоградусной.

Но с чего начать выступление?

Наверное, с предыстории праздника.

Итак...

На первых порах 1 апреля праздновалось в нашем подлунном мире как день весеннего равноденствия. Этот день был наполнен баловством, шалостями, прибаутками. А побудительной причиной для рождения розыгрышей послужили капризы природы, не скупящейся на довольно неожиданные перепады погоды: вместо теплого дождика подчас одаривала обвальным снегопадом.

В начале восемнадцатого века День смеха, или День дурака, как его нередко называли в России, добрался до Москвы. В 1703 году в белокаменной глашатаи призывали на улицах всех желающих сходить «за бесплатно» на «неслыханное представление». Почитателей Мельпомены набилось в театр, как сельдей в

бочку. Но когда распахнулся занавес, зрителям вместо языкистых артистов предстало бессловесное полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!»

Так в народе родилась предпосылка для сочинения знаменитого присловья «Бесплатных бутербродов не бывает». А у писателей новая тема для своих произведений.

Например, осенью 1825 года А.С. Пушкин писал в письме А.А. Дельвигу:

«Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»

Ох, «первый, брат, апрель!» Каких только розыгрышей не случилось, приводя иногда к трагическим последствиям.

Ролан Быков, желая правдиво сыграть роль Скомороха в картине Тарковского «Рублёв», пошёл в спецхран за оригинальными текстами искрометных шутников 15-16 веков. И обнаружил, что эти тексты представляют собой сплошной мат. Предложил съёмочной группе пару оригинальных «изюминок» прежних королей юмора на зуб, и вызвал вместо приступов смеха полную растерянность и непонимание: «Хочешь, чтобы нам закрыли фильм?»

Исходя из этого, вернее, зная хотя бы понаслышке о решительной невозможности отобразить принципы юмористики наших предков, скрупулёзный исследователь «истории развития смеха в России» может констатировать: Быков неправдиво сыграл роль Скомороха.

Констатировать может, но только в том случае, если бы фильм снимался в 15-16 веке и, скажем так, при его жизни, родись он на сотни лет раньше.

Но он родился в своё время...

Дани, и ты родился не в чужое. Ни на год раньше своего, ни на год позже. И тебе так же, как Быкову, хочется ругаться матом. Даже сегодня, в день смеха. Нет, не за тем, чтобы соответствовать роли, а чтобы отвести душу. К тому же ты не на экране. А где? Понятно и без наводки, в радиийном буфете, куда спустились после записи радиожурнала «Израильский кругозор». Ведущий Бен Захав, он же в переводе псевдонима с иврита на русский Сын Золота, угостив кофейком и рогаликами, помчался в студию. Ему по долгу служебному необходимо прослушать передачу прежде, чем выпускать её в эфир. Ибо боец журналистского фронта обязан убедиться: записанный звукооператором материал на все сто процентов соответствует высокому духу Дня смеха. А вам, гости дорогие, после трудов праведных в процессе непринуждённой болтовни у «открытого микрофона» полная свобода: делитесь впечатлениями о своих выступлениях, ругай-

те, если приспичило, придирчивого Беню-ведущего, регламентирующего секундомером юморной забег каждого острослова. А их — вот из-за этого и подмывало Даню на мат, как скоморохов на Руси — вряд ли имело смысл величать острословами, так себе, начётчики, эпигоны, эксплуататоры чужих талантов. Надо прийти до такого абсурда, чтобы в одну компанию с ним включить, смеха ради, понятно, Смартута Пиарского, учредителя премии «Гений бездарности» за худшее стихотворение года, и Лину Лайкову, сподвижницу его проектов. Впрочем, что не бывает в День дурака? Умных, наверное, не водится в этот день. Так что...

На дурака и повёлся разговор в девятой студии — уютной звуконепропускаемой кабинке, забранной стеклом от пола до потолка.

— Кто написал самое бездарное стихотворение? — взял быка за рога Бен Заахав, поясняя пальцем, чтобы отвечали не разом — иначе накладка звука, а по отдельности и не мешали репликами друг другу.

— Лауреаты, конечно, определены, — неопределенно отозвался Пиарский, намериваясь взять разгон и рвануть по юморным кочкам.

— А призы?

— Призы вручены. Каждому — фи́га в кармане.

— Наш слушатель умирает от любопытства. Имена и шедевры?

— О, да это замечательный заголовок для книжки! Имена и шедевры! — добавила свои пять копеек в живой эфир Лина Лайкова.

— Итак?

— На первом месте у нас Ира Углова. Её шедевр... Читаем?

— Вы читаете, а мы аплодируем.

— Я дура, а ты, выходит, дурак.

Я отдавалась тебе за так.

А теперь — в обличье жены —

Говорю тебе: «Деньги нужны!»

Толстая баба, что в будке, тебе не даст.

Ты для нее ни на что не горазд.

А для меня ты, хотя и дурак,

Но все же навроде мужа, что не пустяк.

Мимо, сквозь жизнь, летят поезда.

В небе полднем стоит Звезда.

Ты возлежишь, я возлежу.

На лысого Черта с обидой гляжу.

Так мы пробудем всего полчаса.

Сердце — на сердце, глаза — в глаза.

Баба, что в будке, тебе не в smak.

Но и со мною ты полный дурак.

— Bravo! Переходим к следующему номеру программы, — радостно, будто заодно он и конференсье, повёл Бен Заахав.

— Второе место, как переходящее красное знамя, вручено поэту наших солдатских будней.

— Наших? В смысле, израильских?

— Рой Приманкин других в своих творениях не держит. Читаем?

— Вы читаете, а мы аплодируем.

— Идут ученья в Бейт-Джабриль.
 Стреляю я, они стреляют.
 И пули, превращаясь в пыль,
 на фоне неба быстро тают.
 Отстрел закончен. И, ускорив шаг,
 Идем по стрельбищу к далекой цели.
 Со мною рядом Малер, Гаммер, Шлаг.
 За нами Шварц, Вербовский, Вейлер.
 А сбоку Гриша, Коля, Стах,
 Крученных, Пушкин и Есенин.
 И Гробман на своих ногах
 бежит взглянуть в глаза мишени.
 Окстись, поэт! Без промаха мы бьем.
 Кому по лбу, кому по глотке.
 Потом в ночной палатке пьем
 Свою еврейскую по-русски водку.

— Bravo! Душа радуется в День дурака от таких виршей, — Бен Захав продемонстрировал собравшимся оттопыренный большой палец правой руки, сигналив таким образом, что передача удалась на славу. — Присоединяй и свою фигу в кармане в подарок лауреату. Кто у нас будет на третьего?

— Нет, имя потом. Потому как вас ожидает сюрприз. Из цикла «Нарочно не придумаешь», — загадочно улыбнулся Пиарский...

— Заинтриговали. Кто же это?

— Нет-нет, сначала стихи. Читаем?

— Вы читаете, а мы аплодируем.

Смартут Пиарский прочистил голос, кашлянув три раза в эфир, и тут же сказал по-культурному: «извините». Затем, искусно придав голосу женский тембр, прочитал с выражением, как на экзамене в школе:

— когда бы снова легко усесться
 промежду строк
 но год какой живу без сердца
 без рта и ног
 живу без носа живу без почек
 в любви провал
 и отчего-то мой зябкий почерк
 куриным стал
 смотрю я прямо ты смотришь криво
 во взгляде вздрог
 и в нем я вижу отнюдь не диву
 ни рта, ни ног

— Автора! Публика просит автора! — настойчиво произнёс Бен Захав.

— Он среди тут.

— Кто?

Это был самый неприятный момент для Дани Ора. Не дай Бог, именно смеха ради, именно в День дурака, как бы по ошибке, вполне простительной в столь знаменательный день, назовут его имя. Но нет, пронесло. Потупив очи, Лина Лайкова отозвалась на вызов автора.

— Это я.

— Вы?

Смартут Пиарский пояснил:

— И отрицательный пиар имеет положительный резонанс для литературного имени. Звучим ведь не где-нибудь в Тмутаракани, а на радио — и, значит, по всему миру. Пусть нас слышат в Америке и России, в Канаде, Франции, Австралии...

— И в Израиле, — подсказал ведущий.

— И в Израиле, — согласился, не перечая, учредитель идиотской премии. — Пусть слышат и учатся...

— Как не надо писать стихи?

— Надо-не надо — без разницы. Стихи пишутся там же, где заключаются браки. На небесах. И когда они не в масть, это не обязательно вина бедного поэта. Он написал, что ему продиктовали сверху.

— А если ему продиктуют сверху писать нечто такое, что не соответствует его убеждениям, взглядам на жизнь? — не удержался Дани Ор. — Вы не забыли, товарищ Пиарский, из какой мы страны?

— Мы не забыли. Это вы забыли, уважаемый, что мы из разных стран! — загорячился его оппонент — Вы из Союза — страны социалистического реализма, где каждый редактор учил писателя, что можно и что нельзя. А мы уже из России, свободной от Союза.

— Прежде всего, если судить о грамотности, от редакторов! Но не от идеологии. Что можно и чего нельзя делать сегодня, вам превосходно известно, лучше, чем мне, уехавшему позавчера! — желчно откликнулся Дани.

И вот теперь, после перепалки, сдерживая в себе скомороха эпохи Рублёва, приспело попивать с ними кофеек, как ни в чём не бывало, и выслушивать поливы вечно молодящейся Лины Лайковой, всё ещё не потерявшей надежды проникнуть в его сердце: коли не на высоких каблуках, так хоть в тапочках на босу ногу.

— А я бы выпила сейчас «крепыша» советского образца вместо этого... — Лина брезгливо отодвинула чашку с напитком асфальтового цвета. — Или соточку коньячка. В прошлый раз, когда меня приглашали, об этих моих желаниях не позабыли. Не то, что сейчас.

Дани кивнул, уловив намёк, и отошёл к стойке.

— Ицик, — сказал буфетчику, с которым познакомился в пору прежних выступлений по «Голосу Израиля». — Три по сто, и ни в одном глазу.

— Эйн баёт! Нет проблем!

Разместив на подносе бокалы полупрозрачного стекла, Дани спиной уловил торопливый шепоток:

— Ходят слухи по бомонду: мужик обзавёлся новой подружкой.

— Кто она? Откуда?

— Лина! Каждому любопытно. Но Дани никому её не показывал. Боится, что оторвут с мясом.

— Смартут! Ты у нас вегетарианец.

— Я — да. Но ты ведь охотница до мяса.

— Не даётся.

— А пригласи его «на третьего». В ходе соавторства, как известно, рождаются не только рукописи, но и дети.

— Вообще-то, это идея!

Что за идея витала в воздухе радиийного буфета? Секрет? Для большинства — да, но отнюдь не для посвященных в тайны мадридского двора, правильного, творческой кухни маленького Израиля. И Дани был проинформирован тут же, как опрокинули по сто. При этом идея окуталась бриллиантовым дымом, готовым в считанные дни преобразоваться в золотые тугрики и обрушиться с небес проливным дождём российских гонораров.

Оказывается, известный романист, популярный у домохозяйек и прочих потребителей массовой литературы Смартлид Троян представляет собой в натуре тройку бойких борзописцев. Это Смартут Пиарский, Лина Лайкова и Дима Муркин, махнувший с лотерейным счастьем в виде Грин-карты в Штаты. Договор на серию книг о непростой израильской действительности, включая теракты, взрывы автобусов, контрмеры израильской армии и провалы с абсорбцией новых репатриантов, уже подписан с крупным российским издательством СОС. Но для полного соответствия имени на обложке, многозначного Смарт-Ли-Д, требуется взамен Димы — предателя сообщества равнопишущих собратьев по перу — новый автор на букву Д.

— Будешь на третьего? — спросила Лина, предвкушая часы творческого бдения, когда строка сменить другую спешит, дав сексу полчаса. — Пойми, голова садовая. Еврейская мудрость гласит: если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь проделать большой путь, иди с людьми.

Дани отмахнулся, от предложения.

— Голова садовая, а урожай снимать вам.

— И нам, и вам — всем! Деньги пойдут, публикации обеспечены, — заверил его Пиарский, — Я открываю журнал «Поднебесный Иерусалим». Для солидности напечатаю кое-кого из первых рядов литературного балагана. Есть на примете пару москвичей, один питерец и примкнувший к нему рижанин с дипломом доктора искусствоведения. Но в основном буду из номера в номер гнать нашу продукцию. Издательству это на руку. Меньше придётся тратиться на рекламу. А нам двойная выгода: и здесь читатель схавает потуги нашего труда, и там не подавится. Ну, впрягаешься в тройку?

— Русская тройка кого угодно вывезет. Но ей подавай снег и бенцы, — сказал Дани. — А у нас солнце и посвист пуль.

— Куда клонишь? — нахмурился Пиарский.

— Не клоню, а уклоняюсь. Не вижу смысла впрягаться в тарантас, господин На троих.

— Троян.

— Пусть Троян. В честь компьютерного вируса, что ли?

— Жаргон, Дани! Трое — в переносном виде.

— Хорошо, жаргон. Как бы потом, но уже без всякого переносного вида, не брякнуться с облучка под копыта? Подкованные, между прочим, железом.

— Не тушуйся, молодец! Лина научит тебя гнуть подковы. Не смотри, что у нее ручки мягкие.

— Гнуть подковы нужно на виду у людей. А я предпочитаю одиночество.

— Хошь, как хошь! — с притворной невозмутимостью отреагировал Пиарский. — На роль автора назначим другого писателя, — и повернулся к Лине: — Кто у нас на примете?

— Дима Присоскин, теперь на израильский лад Давид Сосун.

Дани вспылил, услышав имя известного проходимца, с лёгкостью меняющего не только партийную ориентацию, но и национальность, когда ему выгодно.

— Вот и сосите с ним за компанию молочко от бешеной коровки. А я домой. Пока!

— Покакаешь дома, а сейчас до свиданья, — на прощанье Пиарский не нашёл ничего лучшего, чем выдавить из себя расхожую шутку проходных ленинградских дворов.

«Дурака не одурачить даже в день дурака», — не очень веселый каламбур прокрутился в мозгу у Дани, когда он, добравшись на скоростях в Гило, посмотрел на дверной звонок, зная: на кнопку давить не стоит, никто ему дверь не откроет.

В состоянии душевной потерянности, притулясь к спинке дивана, он сидел в пустой квартире. Перед ним — зомбиящик с отключенным звуком. На экране какие-то тени в белых халатах взрезают скальпелями другие тени, похожие на гуттаперчевые куклы.

Где пульт? Ага, вот, на диване, под подушкой. Добавим звука. Ах, это инопланетяне! И демонстрируется секретный фильм о вскрытии неудачливых гостей из космоса, потерпевших крушение на летающей тарелке в Америке, около города Розуэлл, в штате Нью-Мехико, в июле 1947 года.

Помнится, газета «Вечерний Ленинград» саркастически разоблачила Розуэлльский инцидент, заявив, что там разбилась не летающая тарелка, а американская ракета, построенная на основе Фау-2 и запущенная с полигона Уайт-Сэндс, а свидетели происшествия видели не погибших инопланетян, а трупы обезьян из породы макак, которые находились в жилом отсеке ракеты.

Разоблачением разоблачением, но на экране отнюдь не мёртвые обезьяны, а вполне человеческие создания, правда, без носа, слишком маленьким ртом, и росточком с гнома... Ладно, хрен с ними! А то

на ум приходит всякое, вроде выкидышей. Да и смотреть на всяческие медицинские фокусы сил нет. Брякнешься в обморок, как тогда... Кто скорую вызовет? Никого нет, ты один на весь белый свет, один-одинёшенек, и умирать будешь, никто стакан воды не поднесёт.

Дани поморщился при упоминании о смерти и стакане воды. Операционная, оборудованная на американской базе, напомнила самое пренеприятное, что случилось в жизни, когда он и впрямь чуть не отдал душу Богу.

Люба тогда, после возвращения из научного центра, зная, что эксперимент оказался неудачным, ни в какую не соглашалась родить ребёнка, упёрлась с требованием аборта, будто что-то в ней настойчиво говорило: «Нельзя, нельзя!»

Врачи утверждают — всё в порядке! Она — «нельзя!»

Дани пробовал уговорить — «рожай!». Она — «нельзя!»

Что — «нельзя»? Почему — «нельзя»?

Просто — «нельзя!», и всё тут. Хоть в сумасшедший дом отправляй вместо родилки. Но не скажешь ведь жене — «рехнулась!», скорее сам сдвинешься по фазе, понимая, что первенец, которого ждали, о котором мечтали — даже имя придумали — уже никогда не появится на свет. Но мало того, если бы ещё знать, что и потом Любе не стать матерью — никогда потом! Аборт приведёт к бесплодию, а оно к непрерывным взаимным упрекам, слезам, желанию наложить на себя руки и прочим истерическим выходкам, на которые обречены женщины, лишённые надежды на материнское счастье.

Но знать заранее... это из области фантастики, пока не прорежется пророческий дар. Когда же прорежется, это ближе к старости, то и знать заранее нет особого желания. И без того знаешь, что следует за старостью. Не молодость, конечно. А если оборотиться в молодость, если добавочный разок вспомнить...

Ох, как потрясло тебя, Дани, известие, что для того, чтобы жене сделали аборт, мужу надлежит сдать кровь. Без справки о твоём донорском пожертвовании крови ее не допустят к операции. Опять-таки — предупреждение: «откажитесь от аборта». Но... упёртость Любы была просто невиданной, и пришлось самому лечь на операционный стол. Лёг и, оттирая капельки пота со лба, смотрел на иглу, высасывающую из вены живительную влагу. Может быть, заодно и душу.

В Библии сказано: душа таится в крови. Если так, то вместе с кровью вынимают из тебя сейчас по каплям часть бессмертной души, и, наверное, потому, либо по совсем другим, медицинского свойства причинам, ты и сам выходишь из собственного тела.

Самым натуральным образом.

Через затылок.

Выходишь наружу и поднимаешься под потолок, откуда наблюдаешь за собой, бледным, безжизненным, без кровинки живой в лице, как сказал бы поэт Серебряного века. Но ты поэт века иного, и не стремишься соединиться ни с кем из них, уже давным-давно возне-

сенным крылатым Пегасом к другим мирам. Ты предпочитаешь мир этот, земной, знакомый до боли, и всем существом отбиваешься от магнетической силы, влекущей тебя к небу. Сквозь каменный потолок, сквозь дождевые облака — к небу. Но не к обычному, наблюдаемому из окна. К видоизменённому, похожему на рыхлый снежный наст, искрящему снежинками, которые уплотняются с каждым метром твоего подъёма к запредельным высотам. Испытываешь эйфорию, весь целиком впитываешься в невиданное блаженство и осознаешь: оно будет в дальнейшем сопутствовать тебе всю жизнь. И тут — испуг: какая жизнь, когда это смерть? А кто без тебя напишет и издаст твои книги? Кто без тебя напишет и выставит твои картины?

Кто?

— Ты! — послышалось из дальних миров, и ты очнулся, вернувшись по касательной в собственное тело...

По версии дежурной медсестры, хлопотавшей у твоего носа ваткой, смоченной нашатырным спиртом, ты брякнулся в обморок, что нередко случается с мужчинами при виде шприца.

По твоей версии, вышел из клинической смерти. В обморочном состоянии, помнил, не дано ничего видеть и слышать. А сейчас явно и видел, и слышал, и... да-да-да!.. использовал право выбора: жизнь или смерть.

Ты выбрал жизнь. Жизнь для себя. И все последующие годы мучился мыслью: почему ты не выбрал жизнь и для ребёнка? Ведь и в той ситуации, когда Люба настаивала на прекращении беременности, у тебя было право выбора. Но ты им не воспользовался. Не хватило характера. Вот и жизнь развалил, книг не издал, выставок не провёл. А всё почему? Потому, что нет никого, кому бы оставил наследство. Ты и Люба. Вас всего на всю планеты двое. Что? Это ведь оттуда, из семидесятых. Помню: скамейка, одна из семейства «наших». Рядом, на гудроне, сдвоенность теней, высвеченных парковыми фонарями.

Теням легче намного. Без звука и привносного волнения — слились.

А нам?

Нам надо учиться жизни у собственных теней.

Пальцы ошупью овладевают таинством. Они, как тени, соприкасаются, они, как тени, вместе.

Здравствуй, чужая ладонь! Здравствуй!

Здравствуй и ты, чужая жизнь! Здравствуй!

А звезда — одна из многих — скатилась вниз, как слеза. Но слеза — радости или печали?

— Кто-то умер, — сказала ты. — Есть такое поверье: падение звезды предрекает смерть.

Закатилась чужая звезда. Но на каждую смерть — по закону природы — приходится чье-то рождение.

— Пусть сегодня родились мы!

И внезапно: а ведь сегодня и впрямь Тот День Рождения. Хочется схватить телефонную трубку и сказать, как тогда, за век до расставания: «Если любишь — приезжай!»

А что? Кто запрещает это сказать? Кто запрещает вспомнить о Дне Рождения? Чтобы две одинокие фигуры встретились вновь посреди шахматного поля. Чтобы, подняв глаза, опять увидеть своё отражение в глубине её зрачков.

— Ты?

— Я.

— Ко мне?

— К тебе.

— А я к тебе.

Здравствуй, жизнь!

ПРЕДСКАЗАНИЕ

И тогда подойдут —
Дани Ор! Дани Ор!
Снова схватят меня —
Дани Ор! Дани Ор!
Заточат в круг времён
для пришельца закрытый.
— Ты поставлен жрецом —
Дани Ор! Дани Ор!
У святого огня —
Дани Ор! Дани Ор!
Восходящей из моря
земной Атлантиды.

ПСИХОГРАФИЯ

И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал:

— Пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле.

И я пошёл к Ангелу и сказал ему:

— Дай мне книжку.

Он сказал мне:

— Возьми и съешь её. Она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мёд.

И взял я книжку из руки Ангела и съел её. И она в устах моих была сладка, как мёд. Когда же съел её, то горько стало во чреве моём.

И сказал он мне:

— Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих.

Иоанн Богослов

9

Тук-тук!

Кто там?

Ангел!

Ба, да ты не один.

С подарком.

Знакомый ангел привёз после побывки на родине пол-литра божественного нектара, изготовленного на седьмом небе. И говорит:

— Попробуй!

Попробовал. И что? Крылышки выросли? Наступило просветление?

Ничего подобного! Наоборот, наутро голова разболелась, как с похмелья, когда упьёшься самогонкой.

Что же получается? И на седьмом небе не научились варить добротное зельё?

— Научились! — поясняет ангел — Проблема не в зелье, а в человеке. Ангел выпьет — и балдеет. И на ночь глядя, и спозаранку, вставая на ангельскую работу во имя трудов праведных. А человек — не ангел, что наукой доказано. И не только по причине отсутствия крылышек. Вкусив эйфории, ему тут же не терпится пострадать за мимолетное счастье.

Вот и страдает!

Дани коробило: дал слабину, не удержался — позвонил в Питер, и безотчетно, подаваясь эмоциональному завихрению, кинувшему в молодость на берега Невы, предложил Любе выхлопотать недельку отпуска и махнуть в Иерусалим. Утро, хоть и похмельное, вечера мудренее. По трезвому не звонил бы. Но поздно: не переиграть, не перекроить судьбу, и мучиться-мучиться снова, после того как освоится дома и начнет в который уже раз разматывать клубок душевных переживаний. Не в психиатричку же её сдавать!

А себя? Рассказать бы врачу о предутреннем сне, глядишь, и диагноз: помешательство. Но врач поблизости не обитает, а сновидение необходимо прокручивать в мозгу, чтобы, как ведомо из личного опыта, не улетучилось насовсем. Приснилась эстрада, концертный зал, переполненный публикой, и ты у стойки с микрофоном. Зачем? Почему? Выясняется, ты и певец, и певец, и композитор, и петь тебе — исполнять сейчас новую песню, оперного настроения. А слов нет в наличии. Правильнее сказать, возникают, разбиваются о рифму, и тотчас исчезают. И выдаёшь импровизацию, а не заранее созданный текст, притом тут же забываешь произнесённые слова, кроме последних, надрывных: «Убили девушку мою. Проща-а-ай!»

Не дай Бог проснуться с такими словами на губах. Не отплюёшься! Противно во рту. Изжога. Прибегай к дедушкиному лекарству: чайная ложка соды, стакан воды и пару капель острого уксуса. Вскипает нечто мутное, невзрачное. Напиток типа — ой-ой, а пенится,

будто пригласили на роль шампанского и, обжигая, сбегает по пище-
воду, сминает по пути дурноту и горечь.

И снова: жить да жить бы на свете!

Жизнь — не смерть, отчего же ей не напомнить страдальцу из
пустыни одиночества: «лишняя рюмка не помешает». Да и когда она
лишняя? Разве что вечером, в поздний час разговора с Питером.
«Приезжай, если любишь!» — повторил с некоторым отчуждением в
голосе. И копкой пальцев постучал по лбу: «Даже когда выглядишь
умным, не забывай, что можешь оказаться в дураках». И оказался,
слыша телефонное признание:

— Я мечтала изменить жизнь, а выяснилось: переехала из одной
кухни в другую.

— У тебя кто-то есть?

— Папа... Мамы, как ты знаешь, уже нет. А папа...

— Всё тот же, старый... законник? — подобрал эквивалентное
«козлу» небидное слово.

— Еле живёт. И оставить его не на кого.

— Сюда его не тащи!

— Он и не хочет. «Умирать буду, — говорит, — но не поеду. Не
буду я умирать под чужим флагом».

— Хорошо, что он у тебя такой патриот. Пусть тогда живёт на
свою советскую пенсию.

— Если бы советская, да по тем временам. Военная! Не прожить
без моей подачи. Здесь дикая инфляция, доллар подскочил в два
раза, а пенсия... слёзы в базарный день.

— Не стражай, поделимся. Подкину «зелень». С голоду не
помрёт.

— Только не проговорись ему потом про свои баксы. У него
опять на Штаты аллергия, как при Хрущёве во время Карибского
кризиса. «Умру, но не буду жить на их подачки».

— Пруха — не старуха! А на шекели будет?

— Я же говорила, под чужим флагом маршировать не станет.

— Умирать...

— Умирать — маршировать, это у него едино, если над ним бу-
дет развиваться иностранный флаг.

— Придумай что-то.

— Скажу, что ты трудовым рублём поделился.

— Гонорарным.

— Непременно, гонорарным. За картину, проданную на биенна-
ле графики в Питере, скажу, тебе переслали рубли в Иерусалим. А
что делать в Израиле с ними ты без понятия, вот и поделился рублём.

— Рублём, так рублём. Израиль — страна чудес! Тут даже рус-
ская литература ныне цветёт пышным цветом, и сама себя содержит.
Три толстых журнала выходит сейчас, два русскоязычных союза пи-
сателей создано. Наши писатели...

— Нет-нет, про русскоязычных писателей ты тоже бывшему
замполиту командира полка ни слова! Упрёшься в его нержавеющей

со времен нашей репатриации взгляды, когда пытался убедить, что и в Израиле будешь писать. Помнишь? «Русская литература делается под руководством Центрального комитета КПСС славными сынами партии, возглавляемой Леонидом Ильичом Брежневым. И не где-нибудь за рубежом, а у нас, на бескрайних просторах Родины. Только под воздействием живительных соков наших полей и нив творческое перо не обезножит в руках писателя и будет способно передать все нюансы многообразной жизни строителя коммунистического общества, где человек человеку — друг, товарищ и брат».

Ох, господи! Насколько надо зазомбираться при Сталине, чтобы, войдя в 21 век, продолжать грузить заезженную тягловую лошадь мифического развитого социализма с человеческим лицом.

Общество при Сталине — Хрущёве — Брежневе работало не для того, чтобы сытно есть, красиво одеваться, ездить на европейские курорты. А ради прекрасного будущего, когда сытно есть, красиво одеваться и ездить на европейские курорты будут их внуки и правнуки.

И что? Вроде бы так и получилось. Едят — одеваются — ездят. А обществу дедов даже памятника не поставили. Да и как его поставишь ныне, при развитой рыночной экономике с бандитским уклоном, если он, согласно представлениям Маяковского, выглядит так:

Пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.

Стахановское движение возникло из-за того, что в лагерях было уничтожено такое количество работающих людей, что заменить их уже было нечем.

И тогда вместо одной нормы человеку предложили выполнять три-четыре, совершать рекордные вырубki угля и выплавки стали. И тем самым заменить у станка, мартеновской печи, в забое и цехе трех-четырех прежде работающих по соседству с ним товарищей по профессии. Они и заменяли, со всей старательностью, пока сами не попадали в шестеренки карательной машины. После чего ещё не осужденному человеку предлагали взять новый стахановский почин и выполнять вместо одной нормы пять-шесть-семь. До ста эти вершителя жизни не успели дойти со своими предложениями. Или, быть может и так, до ста ещё не научились считать.

Но вернёмся в полдень двадцатого века.

Мир литературы.

Самая популярная книга в СССР.

И.В. Сталин «Марксизм и вопросы языкознания».

«Ко мне обратилась группа товарищей из молодежи с предложением высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании. Я не язы-

ковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей. Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому я имею прямое отношение. Поэтому я согласился дать ответ на ряд вопросов, поставленных товарищами».

(«Правда» — М., 1950, 20 июня)

Время, трудноватое для пера. Из глубины эпохи слышится сталинское: «Других писателей у меня для вас нет!».

И то!

Одни отправлены в закордонное забвение. Марк Алданов, Константин Бальмонт, Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Евгений Замятин, Дмитрий Мережковский, Владимир Набоков, Игорь Северянин, Марина Цветаева, Саша Чёрный.

Или — на расстрел. Николай Гумилёв, Борис Пильняк, Михаил Кольцов.

Или — в ГУЛАГ. Осип Мандельштам, Александр Солженицын, Варлам Шаламов.

Ретроспектива семидесятых, начала восьмидесятых годов — времён полного построения социализма в СССР и обещанного партией и правительством коммунизма.

Мир литературы.

Самое популярное в Советском Союзе произведение.

Леонид Брежнев «Малая земля. Возрождение. Целина» — трилогия.

Каждая книга издана тиражом в 15 миллионов экземпляров.

А время опять-таки трудноватое для пера. Куда ни повернись, выявляются карательные психушки для диссидентов и неподконтрольных власти покорителей Парнаса. А не хочешь подсесть на лекарства, выпрямляющие мозговые извилины в правильную сторону, уходи в эмиграцию.

И уходили, надеясь, что это не изгнание, а послание. Василий Аксёнов, Иосиф Бродский, Владимир Войнович, Александр Солженицын.

Они и вернулись.

А где же главный литератор семидесятых Брежнев, достойный членского билета Союза писателей СССР нового образца №1? Специально для того, чтобы ему выдать удостоверение за №1, и провели обмен членских билетов Союза писателей СССР. Это сколько же денег выбросили на ветер, лишь бы угодить дорогому Леониду Ильичу?

Справка из «Википедии»: «Летом 1987 года книги трилогии были изъяты из книжных магазинов и списаны в макулатуру».

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Кровь и гной, и непременно
брачный лад ствола и каски.
Память вскроет себе вены,
чтоб исчезнуть без огласки.

ПСИХОГРАФИЯ

Нужно, чтобы наука памяти не отнимала свободы мыслить. Теперь слишком загромаждают ум множеством самых разнородных наук, и никто не чувствует страшного вреда, что уж нет времени и возможности помыслить и оглянуть взором наблюдателя самое приобретённое знание. Нынешнее обилие предметов, которые торопятся вложить в наше детище, не давая ему перевести духа и оглянуться, превращает его в путника, который спешит бегом по дороге, не глядя по сторонам и не останавливается нигде, чтобы оглянуться назад. Это правда, что он уйдёт дальше вперёд, чем тот, который останавливается на каждом возвышенном месте, но зато знает твёрдо, в каких местах лежит его дорога и где именно есть путь в двадцать раз короче. Это важная истина.

Николай Васильевич Гоголь

Глава пятая **Знак рожденья — Лев и Солнце**

10

Июль 2015 года выдался в Израиле чрезмерно жарким. В Эйлате — 45, в Тель-Авиве — 36, а в Иерусалиме до 40 градусов. Любители выпить шутили: «водка от ревности кипит». А больные сердцем ловили капельку живительного воздуха у кондиционера и лопали в бессчётном количестве таблетки, оберегая себя от предательского инсульта.

В такую погоду таскаться по раскалённым улицам — занятие самоубийственное. Не лучше ли сидеть дома, попивать холодный чай, спасаясь от перегрева, и играть телевизионным пультом? Благо холодильник работает, а наличие 120 каналов позволяет развлечься, попутешествовать по миру — от африканских джунглей до арктических морей, и немножечко потешить тётушку ностальгию, вспоминая Хрущева, Брежнева, Андропова при просмотре архивных киножурналов «Новости дня» минувшего века.

В какой уже раз, включая телевизор, настраиваясь на российский канал, Дани думал: лишь бы не тарбарщина нынешних идеологов об истинно российской литературе, которая, как некогда утверждали и выпускники Высшей партийной школы, конечно, делается только на просторах родины чудесной, где с каждым днем всё радостнее жизнь. Может, скажут уже хоть в подвёрстку, хоть мельком о той — огромной по масштабам и значению — литературе, что создается на русском языке в других странах. И особенно в Израиле, где и он, Дани Ор, не последнее перо. Но глухо, как в танке. В пору жизни в Союзе его замалчивали, в годы израильского открытия самого себя тоже не упоминают, словно, уйдя в эмиграцию, он исчез-растворился.

Из истории литературы помнится: «Вы откликаетесь эпохе, а эпоха откликнется вам», — так отвечали издатели Александру Грину, автору «Алых парусов». Дани тоже, но спустя десятилетия, получал от редакторов издательств письма, но совсем иные по смыслу. «Ваш фантастический реализм не откликается на потребности нашей эпохи построения коммунистического общества».

Казалось бы, понятие «фантастический реализм» — было чем-то ругательным в пору развитого социалистического реализма, согласно которому, герои произведений вели себя в жизни так, как им предписывалось в постановлениях партии и правительства. Но обратимся к истории литературоведения. И увидим: термин «фантастический реализм» впервые встречается у Фридриха Ницше для характеристики творчества Вильяма Шекспира, а потом у Вахтангова для определения направления, в котором работает его театр. Так что, если издательские критики семидесятых увидели в прозе Дани фантастический реализм, то это отнюдь не поколебало творческих установок автора, и, быть может, даже подтолкнула его к отъезду в эмиграцию. Ведь как ни пудри мозги советскому обывателю, правда останется всё равно правдой: свои знаменитые произведения многие русские писатели выстрадали за границей.

Поэму «Мертвые души» Н.В. Гоголь написал в Риме.

Роман «Идиот» Ф.М. Достоевский создал во Флоренции. В этом городе на площади перед палаццо Питти на стене одного из домов прикреплена табличка, извещающая о том, что именно здесь Ф.М. Достоевский написал «Идиота».

Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенев сочинял, в основном, во Франции — в Париже, хотя замысел произведения ему явился в Англии, когда он отдыхал летом 1860 года в маленьком приморском городке Вентноре. В сентябре того же года он пишет П.В. Анненкову о своей задумке: «Намерен работать изо всех сил. План моей новой повести готов до малейших подробностей — и я жажду за неё приняться. Что-то выйдет — не знаю, но Боткин, который находится здесь... весьма одобряет мысль, которая положена в основание. Хотелось бы кончить эту штуку к весне, к апрелю месяцу, и самому привезти ее в Россию».

Получилось не совсем по задуманному, и свой роман Тургенев заканчивает уже в собственном имени — Спасском. Но как оказалось, последнюю отделку рукописи ему ещё предстояло совершить. И это он сделал в Париже после читки романа В.П. Боткину и К.К. Случевскому, чьим мнением очень дорожил. В марте 1862 года «Отцы и дети» были опубликованы в «Русском вестнике».

Роман Владимира Набокова «Лолита» написан в США, на английском языке, и опубликован в 1955 году в парижском издательстве «Олимпия Пресс».

Можно продолжить, если внимательно проследить за творчеством наших современников — будущих классиков русской литературы, которая ныне не знает географических границ. И действительно,

русская литература создается сегодня одновременно по всему Земному шару. В США, Франции, Израиле, Канаде, Австралии, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, Литве, Украине, Эстонии — везде, где вместе с нами пребывает в эмиграции русский язык.

Создаётся. Но об этом вслух на российском телевидении не говорят, будто боятся обидеть какого-то новоявленного гения из номенклатуры, готового взяться за перо, чтобы осрамить эмигрантов диссидентского корня величием русской словесности.

Какое время на дворе? И где ныне этот двор? И что подразумевать под ним? Ау!

А на дворе, моём дворе —
сияние — утопия.
Земное солнце. По жаре
не выискать бедовее.

Мыслишка всякая в игре.
Крепчает солнце.
Ловите искры в сентябре.
Кто жив — спасется!

Снова буквы в цифровом коде. Сентябрь — закодированная девятка — назойливо мельтешит, как в 2001-ом, когда всей мощью обрушилась в образе и подобии воздушных лайнеров на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А ведь предупреждение было, и, как обычно, накануне 21 века, грозя остальному миру, прозвучало в Израиле. Когда? В том же 2001 году, в месяц перевернутой девятки, в июне. Но кто обратит внимание, что в шестёрке содержится намёк на девятку, а кровавый Тель-авивский июнь предупреждает о смертоносном Нью-Йоркском сентябре? Разве что лишь приверженец фантастического реализма. Недаром сразу же в час гибели десятков подростков, когда в день защиты детей 1 июня 2001 года террорист-смертник взорвался у входа в дискотеку «Дельфинарий», написались, будто продиктованные свыше, такие строки:

В нежданный День Календаря
вздымилось небо.
Живём теперь, благодаря
тому, что слепы.
Не видим метку — «в Божий суд»
у тех, кто спехом
войдёт в разорванный маршрут
земного эха,
кто — от Нью-Йорка до Москвы —
вдруг вбит в Израиль,
когда — куда ни норови,
вхож — в «Дельфинарий».

Проникнемся тайнописью цифр.

Нью-Йоркские: $1 + 1 + 9 = 11$.

Тель-Авивские: $1 + 6 = 7$

Плюсуем: $11 + 7 = 18$.

А 18 в этом подлом случае — закамouflированные три шестерки $6 + 6 + 6$, обозначающие в Апокалипсисе имя дьявола.

11

Возбуждение начеку. Кажется, ещё немного, ещё чуть-чуть, и решится нечто глобальное — жизнь укажет живительным лучом дороге к тому единственному и неповторимому, что по упрощённым понятиям представляется счастьем. Много ли нужно для этого? Вот недавно в редакции газеты «В обход секретов» напомнили: что ты, помимо всего прочего, отличный журналист. Упомянули об эссеистике, фельетонах, спортивных очерках, обошедших весь мир. И как бы к слову, ненавязчиво, чтобы не отпугнуть, попросили вновь взяться за перо и дать пару сот строк о последней Маккабиаде. На тему еврейских, стало быть, олимпийских игр, проходящих раз в четыре года.

Отчего же не написать? Лучший повод отогнать хандру не изыщешь! При этом забудешь, что всего минуту назад донимала гнетущая тоска, ломало позвоночник, наждачной бумагой натирало сердце, хотелось залезть под одеяло, уткнуться в подушку и ничего не слышать, не видеть. Если бы ещё можно было не думать, но... тогда бы не вспомнилось спасительное в мгновения дикой душевной боли высказывание английского поэта Дэвида Герберта Лоуренса: «Я никогда не видел, чтобы звери себя жалели».

И вдруг — телефонный звонок, и нет хандре, нет нытью, а свет, которого ожидаешь в конце туннеля, в форме того самого живительного луча, вспыхивает перед тобой и ведёт-ведёт. Теперь только не теряй понапрасну времени. Беги, заводи машину и гони в больницу «Шарей цедек». Ну и название, воистину «Ворота справедливости»! В особенности сегодня, когда распахнулись для выхода в жизнь человека. Не какого-то арифметически рекордного, пригодного для израильской статистики, а одного-единственного, самого дорогого на свете — сына!

Только что позвонили из регистратуры. И сказали, даже не упомянуть какими словами, но при переводе на доступный пониманию русский в таком, приблизительно, разрезе: «Где тебя, поганца, носит в столь знаменательный день? Жена рожает, а он, видите ли, забился в гнездо кукушки и прячется от событий. Где рождает? Разумеется, у нас, в «Воротах справедливости». Как доставили? На амбулансе. Люди — не сволочи: вызвали с улицы амбуланс — и гони! Почему с улицы? Потому что схватки — вещь незапланированная, если жёнущку не держать дома под постоянным приглядом. Выпустил ее за покупками, вот она и прикупила тебе ребёночка. Кто? Мальчик-мальчик! Три пятьсот весом! Так что не робей, хватай такси и... Ах, у тебя своя тачка? Чего же ждёшь?»

Действительно, чего ждёшь? Вперёд — с песней: «Крепче за банку держись, шофер».

А это ещё кого несёт? Нет ничего досаднее утренних звонков в дверь. Либо домоуправ, собирающий деньги на ремонт генератора, либо почтовый курьер с заказным письмом-требованием об оплате штрафа за неправильную парковку. Либо...

Гаданье на кофейной гуще чаще попадают в точку, чем спазматические размышления новоявленного отца-счастливица.

Провернул ключ в замочной скважине, и обомлел.

Люба! Откуда? Ах, да! Люба-Любочка! Отчего же сама дверь не открыла? Побоялась застать врасплох? Вдруг у меня любовница? Да нет у меня никого, нет, кроме одной-разъединственной Любаши. С этим и могла входить, как тогда... как всегда. Что? Ты без ключа? Потеряла? Нет? Увели? Когда? Скорей всего, во время приёма посетителей в офисе? Но зачем в Питере уводить ключ от иерусалимской квартиры? Ну да, думали, что ключ от питерской. Ладно, о ключе потом. А сейчас — чемодан сюда, в уголок, пакеты с подарками — на кресло, и в машину. А поговорить? Время — не терпит! В машине и поговорим.

То счастливое бешенство, которое испытывал Дани, передалось и его «японке», крутящей на предельной скорости колёса. Зубы скрипели, как тормоза на поворотах.

Видя, что с мужем творится что-то неладное и, главное, неподконтрольное, Люба не настаивала на разъяснениях, не заводила «обещанный разговор», и даже не интересовалась, куда её везут. Правда, тревожное состояние магнетически передавалось и ей. Она смотрела на Дани, узнавая и не узнавая: радостный, как в день свадьбы, и одновременно с тем расторможено-озлобленный, словно вновь предстоит сделать важный для жизни выбор. Какой?

Люба нервно ударяла коленкой о коленку, тыльной стороной ладони вытирала набегающие слезинки, а при въезде в паркинг больницы, вдруг схватилась за его руку.

— Не уходи!

— Да что ты? Что ты? Я тебя не оставлю. Мы вместе... всё вместе...

Дани скосил взгляд, и ему почудилось: Люба впадает в паническое состояние, подобному давнему, охватившему при виде его мертвеющего лица, когда из него вынимали шприцем кровь, чтобы дать взамен разрешение на её аборт и... и избавление от ребенка... настолько желанного, что даже небеса, будто и у них есть право выбора, наконец, смилостивилась и вернули в 2015 то, что забрали четверть века назад.

— Люба, пора!

— Нет-нет!

Страх в ней вызывало ритмическое нашёптывание Дани: «Всё образуется! Всё образуется!».

— Было бы только дыхание и воля, — бормотал он, будто вновь сидит за стойкой у бармена Грошика, а не за рулём.

Бормотал по инерции и потом, не давая себе отчёта, что ведёт уже Любу к лифту, нажимает кнопку нужного этажа, и коридором, увешанном видовыми картинами Иерусалима, проходит туда... туда, где слышится детский плач.

— Вы в родильное? — спрашивает медсестра.

— По вызову.

— Вам сюда.

И вот — кабинка, выложенная кафелем, с вмонтированным в камень широким зеркалом в металлической раме из нержавеющей стали. Стеклянная перегородка, за ней палата, вся в белом. Одеядо, простыня, подушка. На кровати Любаша — его Любаша. И ребёнок — его сынишка. Обхватив ручонками тугую грудь, он жадно впитывает целебные соки жизни.

Боже! Свершилось!

— Чей? — спрашивает Люба, все ещё не имея силы отпустить его руку.

— Не догадываешься?

— Хочешь сказать — твой? Постой-постой! Не она ли? Эта молодая мамаша была у меня на приёме, когда пропал ключ.

— Да ты что? Себя не узнаёшь в молодости? — Дани потряс Любу за плечи. — Разуй глаза, смотри! Она...

— Её нет! — испуганно сказала Люба.

— Как «нет»?

Дани повернулся к стеклянной перегородке. Где Любаша? Не шмыгнула же она, право, за дверь в тот момент, когда он повернулся лицом к Любе?

Но Любаши не было.

Одинокий, оставленный без присмотра младенец дрыгал ножками и надрывно плакал.

— Маму зовёт, — сказала Люба.

— Ты его мама!

— Не городи чепухи.

— Это наш ребенок, Люба! — повысил голос Дани.

— Я никого не рожала. И у меня нет молока. Да и не появится... возраст!

— Возвращайся тогда в Питер, — выдохнул Дани, не понимая, что говорит.

— Не тебе меня возвращать. Я здесь не только по твоей слёзной просьбе, но и по работе, на семинаре повышения квалификации.

Дани мотнул головой, вытряхивая абсурдное крошево происходящего.

— Возвращайся-возвращайся, — повторил, не найдя более убедительных слов. — Мы всегда возвращаемся к себе, чтобы с нами ни приключилось в будущем.

— По тебе и видно. Посмотри в зеркало.

- Чего вдруг?
- Посмотри, посмотри!

Дани уставился в зеркало, ища какого-то приметного несоответствия. Но кроме прыщика под глазом на левой скуле, ничего подозрительного не обнаружил. Всё при нём — борода, усы, коротко подстриженные баки.

- Какой был, такой есть.
- Вот именно!
- А что?

— Эх, ты, казак степной! Ни на толику не постарел. «Какой был, такой есть». На вид — не более тридцати трех лет. И это сегодня, когда пора выглядеть на шестьдесят.

- Эксперимент? — напрягся Дани, что-то усиленно вспоминая.

— Ладушки-оладушки! Забыл, как вскинулся, когда были подписаны все бумаги? «Женой не рискую!» — бросился сам, словно на амбразуру, в эксперимент. Эх ты, мушкетер питерской закваски! Бросился, и... ищи ветра в поле.

Глава шестая

Варианты сознания

12

Господи, а ведь и впрямь было! В памяти ничего толком не сохранилось, кроме каких-то визуальных либо словесных обрывков. Да вот ещё и стишки, пульсирующие в мозговых извилинах с неведомого срока.

Всё было так, чего же плачешь?
Но чтобы ни было потом,
былое не переиначу
и вусмерть не залью вином.

Каким-то образом вдогонку выливаются слова наставника: «Гораций считал, что вино сокращает молодость». И тут же, ради противоречия, слова совершенно иного порядка: «Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким умрёт!»

Слова, слова...

Еврейские мудрецы говорят: «слова создают реальность».

В чём же реальность? В метрических данных? Или в зеркальном отображении? И почему сознание не учитывает несоответствия? Хотя... хотя, когда ты заглядывал в паспорт? Да и где он? Скорей всего, остался в туннеле, где ты очнулся, не помня причины, по какой туда попал.

Жаркое лето 2014, в разгаре «туннельная война», тебя из джазового кафе каким-то образом выловили палестинские террористы и

в бессознательном состоянии затащили в подземный каземат. А затем предложили на выбор: жизнь или смерть.

Чтобы жить, пояснили, играя стволom, нужно драться, и кинули на ринг.

Ты выбрал жизнь и нокаутировал противника, как в стародавние времена, когда представлял Израиль на XXIV Олимпиаде в Сеуле 1988 года.

Однако, избежав смерти, оказался в состоянии грогги, будто сам налетел на мощный удар. Очнулся в туалетной кабинке питейного заведения Грошика.

В голове шум, в руках дрожь. Никакого представления о реальности. И почему-то из всей одежды лишь трусы и майка, а руки пахнут оружейным маслом.

Где брюки? Без них ни денег, ни ключей. Впрочем, запасные под половичком у входа в квартиру. Так что паниковать нечего, хотя...

Но как не паниковать? В заднем кармане брюк, кроме загранпаспорта, лежал и авиабилет в Питер: собирался махнуть на свиданку с женой, во имя, так сказать, налаживания семейных отношений. Видимо, не судьба.

Вместо самолёта эта ухватистая подружка угнездила своего избранника на кафельном полу рядом с унитазом, и догадывайся, если есть чем думать: не выворачивало ли тебя незадолго до беспамятства наизнанку?

Выворачивало? Что при таком раскладе пил? Помнится, вроде бы не денатурат. Виски. Ну, разумеется, виски! А где? Не в элитарном кабачке, надо полагать. В привычном глазу подсобном помещении, типа ресторанной кладовки, где поставлены картонные ящики с пластиковыми тарелками, вилками, ложками. И не в одиночку, как бедолага-бомж. С Аллой, арабисткой — переводчицей у террористов и негласным агентом израильской разведки, судя по её намёкам.

Потом, после изрядного глотка, отключка. И вот... Полуоткрытая дверь, а за ней шум-тарарам, какое-то веселье с визгливыми вскриками под хлопки шутих.

«Где наше не пропадало?» — колыхнуло мозг и подняло тебя на приливной волне отчаяния. Шаг, другой. И на шатких ногах неуверенно двинулся по коридору на звук голосов. В результате оказался в незнакомом, только что открывшемся баре на Русском подворье, в центре Иерусалима — пять минут ходьбы по улице Хелена Амалка — Царица Елена до радиостанции «Голос Израиля», и столько же — в другую сторону — до городского муниципалитета.

Многолюдно, празднично, зазывная музыка, огненный фейерверк, цветные ленты, сыплющиеся сверху вперемежку с конфетти. И над всем этим буйством красок и звуков, как бы парит, ловко разливая напитки, человек в котелке и с моноклем в глазу.

— По случаю открытия выпивка за счёт заведения! Пейте, господа, мы за вас сегодня платим!

Ты подошёл к стойке. Натолкнулся на привычный для израильянина вопрос:

- Со льдом или чистый?
- Не видишь? Они руссит. Я русский.
- А я Грошик, бармен Грошик.
- Будем знакомы!
- Лехаим!

С этого приворотного «лехаим» паб стал постоянным пристанищем. И сейчас лучше бы находиться там, чем здесь, в больнице, у зеркала, с жестокой реальностью вернувшего тебя, Дани Ор, во всяком случае, внешне, на тридцать лет назад, в тот чемпионский по состоянию здоровья период жизни, когда никакие испытания не страшны, включая и замысловатые прыжки сквозь время.

Получается, смена возраста произошла, причём, совершенно незаметно для самосознания, сразу по выходу из туннеля, в момент обретения себя после неимоверного эмоционального всплеска.

Что же это? Непоправимая беда, либо элементарная для кого-то коррекция? Кому-то свыше выгодно представить тебя постаревшей жене в образе молодого супруга, в ком она души не чаяла. Впрочем, и тебе, считающему себя пожилым человеком, представили в прошлом жену в облике юной чаровницы.

Для чего? Зачем? Где разгадка всей этой путаницы?

Не в ребёнке ли?

Ребёнок! И вдруг он с ужасом увидел, как женщина в чёрном костюме, внешне напоминающая Нору из бара Грошика, сопровождаемая медсестрой, выносит из родильного отделения младенца, его кровиночку.

Дани метнулся к двери, на перехват, чтобы прорваться в приёмный покой.

Он им покажет, как измываться над человеком!

Но дверь была заперта. Не иначе, как снаружи. И стучи кулаком, бей ногами, никакого отзвука.

Обессилено Дани сполз вдоль стены. Притулился затылком к холодному кафелю и закрыл глаза.

— Всё? Представление закончено? — слышалось будто бы издали.

— Я хочу назад, в своё время, — сказал он, тяжело дыша. — С первой минуты появления на свет человек становится частицей времени. Своего времени. Если мне снова тридцать три, я хочу туда, откуда вырван.

— Опять пойдёшь в армию?

— А что?

— Снова примешься обивать пороги с заверениями, что отыщешь Ковчега Завета?

— А что?

— И станешь донимать меня упрёками за то, что решилась на аборт? А как я могла поступить по-другому? Рожать от человека,

пришедшего домой после неудачного эксперимента и облученного неизвестно какой энергией?

— А что? Родила бы тогда, сегодня не было бы этой нелепицы. Когда я не я, а ты — это ты. Или, как с Любашей, менее года назад, я — это я, а ты — это не ты, сегодняшняя.

— Дани! Тебе надо к психиатру.

— А тебе, Люба... тебе надо в Питер. Возвращайся. Тебя папа там ждёт. С моими деньгами.

— И не только.

— С этого бы и начинала. «Разошлись, как в море корабли».

— Эх, Дани-Дани! Корабли иногда меняют курс. Ты меня ждёшь в Питере. Ты... и только ты, единственный... в том приличном для моего мужа возрасте. И тебе — именно тебе — там нужны твои деньги. На жизнь... со мной.

— Как?

— А вот так, юный ты мой Казанова! Свалился он, мой законный супруг... не могу сказать — ты... как снег на голову. В пору, когда шла здесь туннельная война. «Здрасьте, — сказал, — не могу без тебя!»

— А паспорт? Паспорт! Откуда у него мой паспорт?

— Не городи чепухи, Дани! У него ЕГО паспорт, год рождения 1955, место рождения Ленинград. Фотка, подпись, продление. А у тебя? Предъяви!

— Пропал, когда был я в туннеле. В его, кстати, обличии, твоего, — выдал с усмешкой: — законного супруга.

— В любом случае, предъяви ты свой паспорт полицейскому, сразу попадёшь в каталажку. Выглядишь в два раза моложе, чем в документе. Да и дата рождения не соответствует внешности. Подозрительно, не правда ли?

— Что ты от меня хочешь, Люба?

— Исчезни! Не мешай мне жить... после стольких-то лет разлуки... с моим мужем.

— А наш ребёнок?

— Нет у нас общего ребёнка. И не будет! Исчезни. Не то... исчезнет он... И мне опять мыкаться всю оставшуюся жизнь в одиночестве.

— Но я ни в чём не виноват!

— Не надо было толкать меня на этот эксперимент.

— Ты ведь пять минут назад сказала, что я бросился тебе на замену.

— Не на замену, Дани, а вдогонку. Улавливаешь разницу? В последний момент, когда отправил меня в институт, ты испугался остаться без юбки. Вечная проблема с тобой. Вот из-за этого и вся неразбериха. Мы оба под облучением. Одна наша половинка знает, что эксперимент не удался и приближается к золотому возрасту. А другая знает, что эксперимент удался, и карнавалит, будто находится в Бразилии на празднике жизни, как ты сейчас...

— И Любаша...

— Моя... как её назвать? Соперница?

— Она не соперница. И я не соперник твоему... как его?.. законному супругу.

— Но не попадайся ему на глаза! Вам в одной упряжке не ходить. А он... Он... мне дорог, не меньше тебя в прошлом, когда мы были молоды. Но он не в прошлом. Он сейчас. И если по твоей вине исчезнет, я тебе век не прощу.

— Любаша!

— Обращайся так к своей ненаглядной! Чёртов ходок! — и Люба хлопнула дверью, теперь уже не преграждающей путь в приёмный покой.

13

Знакомый ангел рассказал удивительную историю.

Его крылатые однокашники из высшей школы потусторонних знаний решили облагодетельствовать кого-либо из наших двуногих собратьев. И со своего седьмого неба сбросили на землю подкову. На счастье.

Она угодила в колодец, с живой отныне водой.

Человек, отхлебнувший этой воды, получил бессмертие.

А ведь он собирался утопиться.

Как теперь быть? Вечность томиться от житейской муки, которая сводила с ума? А наложить руки на себя — не могли, небесный дар! К тому же назад не принимают: рай — не ломбард.

Вот так история! Язык эзопов, а смысл понятен и валенку. Ты, Дани, точно в таком положении, как тот счастливец. Сам себе не принадлежишь. Вывернуть себя наизнанку, в приемлемый по документам возраст не можешь. Значит? «Крепче за баранку держись, шофёр», и вали туда, где произошло с тобой видоизменение личности. Сначала в бар Грошика, а затем в его подсобку. Гляди, что-то и отыщешь.

Но что?

Непознанное — это как горизонт, ты к нему, а оно уходит. Познанное не прячется, протяни руку, и ухватишь. Но что в этом случае — познанное? Рюмка коньяка? Вот она, катится тебе навстречу по лакированному покрытию стойки, сопровождаемая доброжелательной улыбкой бармена.

— Шалом, Дани!

— Привет!

— Сегодня ты у нас будешь на первого.

— А Нора?

— Ещё не заходила. Но не тушуйся, свято место пусто не бывает. Заглянет через часок.

— Тогда... тогда... прости, мне бы в туалет.

— Вперёд с песней.

Песни не получилось, не песенное настроение, когда надо шаг за шагом обследовать свое годичное прошлое и, наконец, разобраться в ситуации. Впрочем, что разбираться: туалет как туалет — кабинка, унитаза, дёрнешь за цепочку, вода не замедлит — схлынет. И под этот привычный шумок, если... да, если сесть на пол, как тогда, вспоминается... Вплоть до... подсобки. А в ней Алла, та удивительная девушка-переводчица и заодно секретный агент, что вывела тебя из туннеля. И вы, нервничая, говорите о чём-то. О чем?

Ты:

— Хватит мудрить, Алла! На кого работаешь? На Израиль? Ха-мас? Русских?

— На русскоязычных! — Алла зашла за стеллаж, припрятала за картонными коробками автоматы, похищенные у террористов. И выявилась наружу с литровкой бутылкой «White Horse». — Хочешь?

— Не морочь мне голову! На кого?

— Это видно по результатам. А результат — тебе свобода, правителю Туннельного государства Махмуду аль Кувейти небесные гурии — ни сиськи, ни пизьки, одно воображение... Продолжить?

— Оставим! Выведёшь к людям, а там разберёмся.

— Сначала выпьем на посошок. У меня русская душа, а она имеет свойство гореть, — и разлила виски по пластмассовым стаканчикам. — Это придаст тебе бодрости.

— Лехаим!

— А сейчас иди ко мне, дедок-молоток. И не робей! Окей?

— Надеюсь, я тебя не разочарую.

— Ты обязательно узнаешь об этом. Потом...

Вот и наступило «потом». А узнавания никакого. Если обратиться к Гоголю, он говорил о подобном «узнавании»: «Есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает». Что ж, будем играть на барабанах. А для этого ещё разок напряжём память, и... перед тобой подземный спортивный зал, ты победителем спускаешься с ринга, Ахмед вручает тебе автомат, чтобы по условиям поединка застрелил проигравшего противника.

Медлить нельзя.

Секунда первая. Наносишь удар прикладом в подбородок Ахмеда — челюсть выбита, пусть воеет и кружится, приседая, на полу.

Секунда вторая. Дауд вскидывает автомат.

Секунда третья. Алла бьёт его сзади наотмашь доской с наклейкой «3-й раунд».

Секунда четвёртая и последняя в этом незапланированном раунде. Разворачиваешься лицом к пьедесталу. И одиночным — промеж глаз — отправляешь Махмуда аль Кувейти, провозгласившего себя правителем Туннельного государства, к праотцам, где его в нетерпении ожидают гурии.

Переводишь предохранитель на автоматический режим и короткой очередью, поверх голов, осыпашь свинцовым горохом

трибуну. Вся живность — под скамейки, никто не бросается на помощь Ахмеду и Дауду.

Всеобщая растерянность? Это тебе и надо. И бегом из зала. Вдогонку за Аллой, прихватившей «Калач» Дауда.

— Сюда! Сюда! — вела она за собой, углубляясь в туннельный лабиринт.

«Сюда?» — Дани и не заметил, как проделал несколько шагов по коридору и оказался в знакомой кладовке, среди картонных коробок с бутылками от кока-колы, пластмассовыми тарелками и стаканчиками. Где-то здесь, помнил, припрятано оружие. Надо проверить, на месте ли? Но не успел приняться за поиски, как в стене образовалась ниша и оттуда выявилась Алла, да-да, та самая Алла, которая год назад сказала, что он что-то узнает потом. Вся в замше с бисерной вышивкой — куртка, брюки, втянутые в сапоги с высокими голенищами.

— За тобой глаз да глаз нужен, дедок-молоток, — сказала она вместо приветствия, словно расстались только вчера.

— Видео?

— Видеоглаз, — засмеялась Алла. — А ты... — она прищурилась, простреливая взглядом полутьму. — Никак помолодел в родном Питере. Ну и косметологи там у вас, позавидуешь.

— Откуда ты знаешь про Питер? — напрягся Дани, с внутренним ознобом предполагая, сейчас явится разгадка.

— Ну-ну, дедок-молоток! Неужто вместе с возрастом у тебя вынули кусок памяти? Я же лично доставила тебя в аэропорт. На своей машине. А то опоздал бы на самолёт.

— Ты?

— Не Баба-Яга на летучей метле.

— Я с такими бабами не вожусь.

— Вот поэтому у тебя есть я. Подруга дней твоих суровых.

— Опять?

— Что «опять»?

— Предложишь выпить, а потом — отключка?

— Прости, дедок-молоток, потом как раз было всё наоборот. Полная «включка» и кайф до небес.

— Почему же я не помню?

— Давай повторим. Как говорится, повторение — мать учения. И всё пройдем сначала — от «включки» до кайфа. Идёт?

Алла потянула его за собой в нишу, в ту потайную комнату, в которой жила.

— Ты по-прежнему тут? А палестинцы?

— Палестинцев изгнали. А меня оставили.

— В качестве?

— Смотрителя и гида. Мы здесь экскурсии проводим для иностранцев, чтобы имели представление.

— Там всё как при мне?

— Без изменений.

— И ринг?

- На месте. Хочешь провести бой с тенью?
- На ринге бой с тенью не проводят. На ринге работают в паре.
- Поработаешь со мной? Или я тебе не пара? — кокетливо улыбнулась Алла. — Ну, зайдёшь? — и потянула за локоток.
- Дани интуитивно воспротивился.
- Чего ты?
- Ко мне жена приехала! — бухнул несусветную глупость.
- Она тоже после курса омоложения? Или? — девушка насмешливо посмотрела на Дани.
- Она из моей молодости.
- Тогда, бедняжка, иди — ищи вчерашний день! — Алла прыснула в кулачок и скрылась за дверью.

14

11 октября 1492 года Христофор Колумб «вошёл в меридиан» — так моряки называют нервное перенапряжение. На горизонте он увидел светящийся объект.

НЛО вынырнул из-под воды и устремился по небу вбок от курса каравеллы, направляя адмирала моря-океана на открытие Америки.

Колумб кликнул матросов, чтобы посмотрели на это чудо.

Матросы посмотрели, хмыкнули, не поверив своим глазам, и пошли пить любимое «кларете». А один из них, Педро Кутьерос, видимо, язвенник, не пошёл пить вино со всеми, а написал донос в инквизицию.

Скажите, в чём был виноват Колумб?

В том, что первым увидел НЛО? В том, что благодаря этому открыл Америку?

За что его судили? И кто? Теперь не упомним.

Америка стоит.

Колумб живёт в истории.

И почему надо вспоминать о том, что его без веских причин могли приговорить к смерти?

Потому что Америку назвали в честь Америго Веспуччи, её первого описателя, но не открывателя? Или потому, что лишнее видение иногда бывает опаснее любого предосудительного поступка. Это и осознал Дани, когда наконец-то застал в баре Нору.

— Где ребёнок? — набросился на неё, ошарашив Грошика свирепостью вида.

— Успокойся, — сказала Нора, перекрываясь руками. — С ребёнком всё в порядке. Еле успела!

— Издеваешься?

— Глупый ты, Дани, а ещё книжки пишешь. Лучше присядь и не кипятись.

— Ну? — Дани сел напротив девушки за стол у окна, который Нора занимала, как обычно. — Выкладывай!

Грошик приглушил музыку, льющуюся из динамиков. Подошёл к входной двери со стеклянным верхом, повесил табличку: «Перерыв на обед». И вернулся за стойку, чтобы не мешать.

Дани искательно уставился в глаза похитительницы, ища в них чувство вины, а нет, так хотя бы подсказки в довольно запутанной ситуации, когда впору вызывать полицию и обвинять её в киднеппинге. Но то, что он услышал, выбило его из действительности в нереальную обстановку фантастического фильма ужасов.

Из слов Норы выходило: ребёнок, оставайся он в родилке ещё несколько минут, непременно был бы разорван — так и выразилась «разорван», не считаясь с его отцовскими переживаниями — из-за разности энергетических потенциалов, исходящих от него, тридцатитрёхлетнего, и шестидесятилетней жены. Нора, получается, выхватила малыша, опять-таки согласно стилистике её речи, прямо из лап смерти. Теперь он в надёжном месте, в том институте, где проходил эксперимент со временем. И будет доставлен к своим разлюбленным родителям целёхоньким и здоровеньким, но лишь в случае, если в них не будет наблюдаться разноразной в энергетическом балансе. Как это понимать? А в самом доступном виде: когда родители обретут себя в том физическом состоянии, в котором пребывали при зачатии милого своего отпрыска.

Такая околонучная, малоразумная для гуманитария, кибернетика смыслов и положений. Не разберёшься в ней без логарифмической линейки, хотя и логарифмическая линейка без надобности, если позабыл, как ею пользоваться. Одно ясно: не возвратит Любашу, значит, ребёнка не видать. Но и её не возвратит, куда Люба не отчалит в Питер.

Дилемма. Голова кругом. В мозгу кавардак. Легче наложить на себя руки, чем думать о последствиях научных экспериментов, в которых тебе отведена роль подопытного кролика. Не надо быть пяти пядей во лбу, чтобы уяснить жестокую истину: подопытный кролик погибает первым. Не лучше ли вернуться в подсобку, отыскать припрятанный автомат и застрелиться?

Дани резко поднялся со стула, шагнул к двери, и вдруг с невероятной четкостью осознал: если он покончит с собой, то тем самым покончит и со своим младенцем. Тот не способен жить на этом свете, если его родителями окажутся пожилые люди, заряженные чуждой энергией.

15

— Сколько лет, сколько зим! — восклицаем по привычке, встречая старого знакомого.

При встрече узнаем: наш знакомец развелся с женой, дети отказались от него, ушли жить с матерью. Он открыл после этого бизнес, но вскоре прогорел. Женится с горя вторично. И теперь его лихорадит от ревности: молодая супруга подозревается в измене. Как быть с ней? Разводиться? Но она на пятом месяце беременности. Спрашивается, кого родит? Нет, вопрос не в том, мальчика или девочку, со-

вершенно в ином: с какого момента изменяет? До беременности или после? Нанять частного сыщика? Это выльется в копеечку, а денег уже практически нет. И неизвестно, не вступит ли сыщик также в половую связь с женой. Что предпринять?

После того, как вывалят такую грудку новостей, на ум вместо совета приходят слова древнего философа Софокла: никогда не родиться, возможно, величайший дар на Земле.

Об этом и подумал Дани, при выходе из бара, на Русской площади, когда повстречался с округлым по конфигурации Юликом Вертушкиным из музея древностей.

Юлик спешил на радио «Голос Израиля».

— Мне назначено интервью. Какое? О новой археологической находке, свидетельствующей о земной жизни Иисуса Христа, — торопливо доложил приятелю. — Дани, ты не поверишь, но наш музей впереди планеты всей — обнаружил самые первые материальные свидетельства жизни Иисуса Христа. У нас в руках оказался древний сосуд для хранения костей умерших — его возраст как раз подпадает под нужный срок — две тысячи лет. Так вот, французский лингвист Андре Лемера доказал, что на одной из граней сосуда есть такая надпись на арамейском языке «Яков, сын Иосифа, брат Иисуса».

— Я тут причём?

— Ты не причём. Ты не Иисус Христос, брат Якова, чтобы определять идентичность, — пошутил Юлик. — Но ты специалист по надгробным надписям. Давай за компанию отбредемся на радио. Я о находке, а ты в подкрепление о надписи — мол, это стопроцентная визитка Якова.

— Того Якова, которому Иисус явился одним из первых после воскресения?

— О чём речь? Один к одному! Да ты доктор исторических наук!

— Выпускник исторического факультета ЛГУ. Правда, о религиозных артефактах мы в семидесятых не проходили. Но что я скажу — это тебе понадобится при интервью — Яков, брат Иисуса Христа, стал, по поверью, первым епископом Иерусалимской церкви.

— Эйнштейн! Какие данные! Голова — Дом Советов! С такими познаниями... Не тушуйся, Дани, давай пойдём — отбредемся в эфир, и по сотенке пропустим за воскресение костей праведника нашего Якова.

— Юлик, мы не ангелы, чтобы выходить в эфир. А напоследок напомним: в первом веке Иерусалим насчитывал до пятидесяти тысяч жителей, среди них сотни носили имя Яков, были сыновьями Иосифа и братьями Иисуса. Библейские имена, старик, самые популярные у наших предков. Так что брешу самостоятельно, я тебе не помощник.

И махнув рукой на прощанье, двинулся к припаркованной внизу, на кривой улочке, под Русской площадью, машине.

Машинально подумал: последний год он по какой-то странной закономерности общается только с недавними знакомыми. А старые друзья, с кем служил в армии, с кем проходил первоначальную аб-

сорбцию, они как-то забылись, ушли на второй план. И, что удивительно, рука не тянется к телефонной книжке, не вспыхивает желание позвонить, напомнить о себе, чтобы встретиться-поговорить, выпить по рюмочке. И тут он понял: это инстинктивное самосохранение. Будто какая-то программа вложена в него, оберегающая от встреч с теми, кто с первого взгляда определит: ты — не сегодняшний Дани, ты вчерашний. Ужас, какое печальное слово, «вчерашний», а в действительности ведь всё наоборот. Ты, как бы сказать, «завтрашний», прошедший сквозь время, прыгнувший, если уже точно говорить о временном промежутке, на тридцать лет вперёд, и не растерявший в памяти ничего, что произошло с тобой за минувшие годы. Парадокс? Или какие-то неведомые горизонты науки, до которых беги-беги, но с гуманитарным выючком на загривке никак не добежать? Или? Кто подскажет? Михаил Светлов?

Я бегу, желанием гоним.
Горизонт отходит. Я за ним.
Вон он за горой, а вот — за морем.
Ладно, ладно, мы ещё поспорим!
Я в погоне этой не устану,
Мне здоровья своего не жаль,
Будь я проклят, если не достану
Эту убегающую даль!

(«Горизонт»)

Глава седьмая **Туннель, станция Смертников**

16

Однажды, собирая материал для исторического очерка в ленинградском архиве, Дани обнаружил любопытную заметку.

Один потомственный дворянин, не зная, как обратиться к царю, назвал его в прошении «Сентябрейший». Правильнее: «Августейший». Но на дворе стоял сентябрь, который, как известно, не август. Посему российский аристократ доверился хорошо знакомому времени года, а не каким-либо малоизученным требованиям этикета.

В своём послании дворянин просил зачислить его сына в пажеский корпус.

Николай Первый прочёл его письмо и наложил резолюцию: «Принять и учить за казённый счёт, чтобы не вырос таким дураком, как его папа».

Интересно, что выросло из этого сына?

«А что вырастет из твоего, если тебе не суждено его увидеть?» — с горечью подумал Дани, выжимая из своей «японки» доступную душевному состоянию скорость. Стрелка на спидометре задрожала на отметке 70 км. Он прибавил бы ещё, но на подъеме в Гило изредка дежурит автопатруль с радаром. Можно нарваться на не-

приятности, коллекционировать которые нет охоты. Дело даже не в штрафе за превышение скорости. Предъявишь водительские права, а там твоя физия во всей красе золотого возраста, год рождения — 1955. Глядишь, примут за террориста какого-то, тиснувшего документы у израильянина. И будь добр, двигай по воле случая в участок на дознание. Оно, известное дело, ничем иным, кроме ареста — до выяснения обстоятельств — не закончится.

Лучше бы...

— В старички? — подловил его на неподконтрольной мысли знакомый ангел.

— Где наше не пропадало?

— В старикачестве пропадает молодость. И будешь ходить, как неприкаянный, подобно твоему новому соседу Гоше с верхнего этажа. На днях направляюсь к тебе, а по дороге встречаю его — вид замученный, в душе собачья тоска.

— Штаны падают, девушки не любят, — бормочет под нос, погрязая по макушку в придурка-перестарка.

Я и пригласил его ради сочувствия в ресторан — развлечься, отдохнуть и окрепнуть духом. Заведение приличное, выпивка, закуска на месте, а весь обслуживающий персонал, чтобы радовать замшелое сердце — женщины обольстительного контингента.

В холле твой Гоша приосанился, расправил плечи и сунулся в карман пиджака за расчёской, чтобы старательно приладить на голове редкие волосики. А когда поднял глаза к широкому, во всю стену зеркалу, с радостным недоумением констатировал: шевелюра, как новенькая. Да и сам он мужчина в соку, с виду никак не больше тридцати трех.

— Это как?

— Простой ангельский подарок.

— Я тоже получил подобный подарок?

— О себе думай самостоятельно. А вот о твоём соседе сверху подумал я и, следовательно, покровительственно ему улыбнулся да и пригласил за стол.

Мигом к нам подбежала официантка.

— Что заказываем?

— Водочки, — бодренько сказал Гоша, выглядевший ныне на тридцать три года моложе своих лет.

— Сто грамм? — записала в блокнотик официантка.

— По сто на каждого, мне и приятелю.

— Мне не надо, — воспротивился я, все же ангельских кровей, не забулдыга какой, чтобы употреблять земные алкогольные напитки. Мне и райского нектара хватает с избытком.

— Ну и болван! — сказал мне с вескостью, как недоумку, Гоша.

Я же по-ангельски промолчал.

А официантка приняла заказ на водочку, на салатик, на первое и второе, плюс десерт.

— Что-нибудь экстравагантное тоже подать?

— Если это по карману...

— Хотите девушку по вызову?

— Две!

— Мне не надо, — опять воспротивился я земному искусству, да и честно говоря, что мне делать с девицей? Работать вместо опакхала? Крыльями обмахивать, чтобы не задохнулась от прилива хамсина?

— Ну и болван! — разозлился Гоша. — Да что с тобой, право? До водки не охотник, до девочек не ходок! Ты что, ангел?

— Хоть и ангел! Так что? — сказал я, ничуть не стесняясь своей редкой в ваших краях профессии.

— Вот и витал бы в небесах — не мешай людям на земле развлекаться!

— Ангелы, дорогой Дани! — это я сообщаю по секрету — не способны воспринимать всякие двусмысленности. Пришла просьба витать в небесах, значит пора уважить человеческое желание. Поднялся я под потолок и выпорхнул через открытое окно в небо.

— А Гоша?

— Что Гоша? Ничего особенного, если не считать, что в изумленных глазах официантки отразился уже не бравым молодцем, а самим собой — старым, плешивым, мешковатым: и штаны падают, и девушки таких не любят, и расплачиваться по счёту придется самостоятельно.

— К чему вся эта история?

— А покрути мозгами!

— Чего непонятного? Лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным. Это?

— Нет, короче и яснее: лучше — быть, чем не быть. Вот и будь!

— Но я не в своем возрасте.

— Не тебе решать. Оставайся самим собой, и всегда будешь в своём возрасте.

— Это как понимать?

— Жизнь подскажет.

— Пока что... она задаёт мне сплошные загадки.

— Пока что, — перебил его ангел, — мы приехали. Заезжай на стоянку и топай к жене. Поди, заждалась.

— Она меня теперь ненавидит.

— Сколько дурака ни учи...

— Что?

— Подумай мозгами, есть ли на свете хоть один человек, который предаст свою молодость и первую любовь?

— Единственную!

— Вот и ступай ножками. Единственный... Боже, какие на земле живут дураки! Даже трудно поверить, что Он создавал их по образу своему и подобию.

Не так всё просто с раем и адом, как это думается кандидатам на тот свет, когда они молоды, веселы и полны здравого смысла. Представьте себе, что существуют три одинаковые планеты, и каждая — самая настоящая Земля.

Пусть наша Земля — оригинал, а две остальные — копии. Рай в таком случае — это просто место, где живут люди, исполняющие при жизни предписания Бога, ад — пристанище тех, кто их не соблюдал.

Три Земли, и каждая развивалась в соответствии с деяниями своих обитателей — двуногих, прямоходящих, когда не пьяны. Мы же, местные, так сказать, земляне, находимся в промежуточном состоянии — ни в раю, ни в аду. И думаем-гадаем: а что там, на том свете? То же, что на этом. Но в раю все отстроено и благоухает цветами, а в аду — истлевают и пахнут серой. Однако куда ни подадимся, везде неприятно, подчас и тоскливо. Отсюда и реинкарнация, возвращение на землю-матушку.

Иногда и простое возвращение домой, кстати, тоже представляется как особый вид реинкарнации. Надеешься, что за время твоего отсутствия всё изменилось к лучшему, и тебя ждут, как при рождении, радостные восклицания счастливых от твоего появления на свет людей.

Надеешься, надеешься,ходишь в квартиру, по-американски распирая рот широкой улыбкой. И вместо горячих объятий холодный душ.

— Он сказал, что тебя убьёт!

Глаза у Любы на мокром месте, носом хлюпает, на коленях портрет юной Любаши, залитый слезами.

— Кто? — удивленно спросил Дани, устремляясь к жене.

— Муж.

— Я твой муж.

— Тот муж, что в Питере, — потерянным голосом произнесла Люба.

Дани схватил ее за плечи и потряс, приподнимая над диваном.

Портрет с глухим стуком ударился о пол.

— Да что с тобой?

— Он знает, где спрятан автомат. Найдёт и кинется тебя убивать.

— Не городи чепухи. В чем дело?

— Муж приезжает.

— Какого чёрта? Ревность заела к самому себе?

— На вручение премии.

— Что за премия?

— Днём позвонили из Международного центра «Новые классики». Сообщили, он выиграл грант на издание книги сразу на трех языках — русском, иврите, английском.

— Он? Или я?

— Вы... Нет, всё-таки он. Два года назад мой Дани...

— Я?

— Он! Он — тебя ещё не было в помине — подал роман на конкурс, и только сейчас жюри приняло решение. Как говорится, на встречу новому еврейскому году. Я позвонила в Питер, сообщила-порадовала и сказала, что просили передать: он должен явиться за получением, подписать документы, покрасоваться на фуршете, как принято. И всякое такое.

— Всякое такое — это обо мне?

— Разъяснила ситуацию. А он не врубается. Думает, ты двинешь на вручение гранта вместо него. И всё пойдёт прахом. Словом, полный облом! Грант отберут, он ведь для новых классиков, кому за пятьдесят. А тебе... Посмотри на себя в зеркало. Тебе в пору участвовать в российской премии «Дебют», до тридцати пяти лет. Ой, что будет? Он... завёлся: «приеду — убью! Я знаю, где спрятан автомат!».

— Я тоже знаю.

— Знаешь? — напряглась Люба. — Чего же медлишь? Беги — перепрычь. Что за несчастье мне с вами? То не было никого, сидела себе тихонько в офисе, ни о ком не думала, чтобы не взвыть от одиночества. А тут — на тебе приключение на старости лет — два охладомона на мою голову!

— Уймись, Люба! Когда самолет?

— Полагаю, уже приземлился.

— Едем! — вспылил Дани, увлекая Любу за собой.

— Куда?

— Я знаю, куда. На Чёрную речку.

— Рехнулся?

— Это ты рехнулась! Устроила нам дуэль, и без всяких секундантов. Что ж, посмотрим — кто кого? Приз того стоит.

— Кому достанется грант?

— Кому достанешься ты, Люба! — вырвалось у Дани. — Что за любовный треугольник такой? Свихнёшься! И в романе не придумаешь, чтобы возлюбленное древо жизни проросло сквозь весь земной шар — крона в Иерусалиме, корни в Питере.

Люба искоса поглядела на него, подняла с пола уроненную картинку и, положив на диван, прикрыла пледом, будто Любаша на портрете была и впрямь живой, и ей может стать холодно промозглой иерусалимской ночью.

— Эх, ты, горе-Малевич! Нарисовался у тебя не любовный треугольник, а полный любовный квадрат. Дай Бог, не траурного цвета, — сказала, помня, что в минувшие годы, которые провела в одиночестве, последнее слово при мысленном разговоре с мужем оставалось за ней.

Осторожные люди живут многократно. С самого детства до глубокой старости.

Сначала они живут, чтобы научиться ходить и при этом не споткнуться, не упасть и не набить шишку.

Затем они живут, чтобы вкусно поесть и не отравиться.

После — для того, чтобы благополучно жениться, родить детей, дожидаться внуков и не умереть при этом преждевременно от какой-то заразной болезни, допустим, свиного гриппа.

А когда они живут, чтобы рискнуть, рвануть куда-то очертя голову, вдохнуть свежий ветер приключений, столкнуться со смертью и победить?

Никогда они так не живут. Более того, намекнёшь им о подобном дискомфорте, связанном с ежечасной опасностью, скажут: «Видели мы такую жизнь в гробу».

Таки да! Главная их задача: дотянуть без излишних тревожных нот до гробового покоя, а там, на досуге, можно и посмотреть на жизнь, если, конечно, начнут хоронить к тому времени людей вместе с переносными телевизорами на батарейках.

Такую перспективу Дани даже в гробу предпочитал не видеть. При настроении сказал бы: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Но настроения не было, и он по привычке, зайдя в паб на Русской площади, заказал коньяк, для себя и Любы.

Грошик с любопытством посмотрел на его спутницу, что-то хмыкнул под нос и плеснул по бокалам.

— Со льдом? — обратился к Любе, зная, что Дани не разбавляет.

— Я из Питера! — выпалила Люба, и большего бармену не понадобилось, чтобы уразуметь: и ей льда не требуется.

В заведении было накурено, шумно и переполнено музыкой. Из-под потолка к столикам, занятым в этот поздний час разнокалиберной публикой, в основном туристического сословия с русским акцентом, выкатывалась какая-то популярная песня из репертуара Пахмутовой в новейшей аранжировке. А из телевизора, на фоне старого Яффо, вытанцовывал с подпевками на иврите израильский ансамбль типа «Анахну кан» — «Мы здесь».

Перехватив вопросительный взгляд Любы, Грошик хмыкнул:

— В любой тональности — для любой национальности. Девиз ресторанных лабухов всех времён и народов.

— Кто сказал?

— Имя его потеряно в истории.

— А «чаевые» сохранились?

— С Дани не берем, постоянный клиент.

— А с меня?

— Если ближе познакомимся, — Грошик протёр бумажной салфеткой монокль, сделал выразительное лицо. — Итак?

Люба подумала: назваться законной супругой Дани — смешно, скорей её примешь теперь за маму. И чтобы скрасить неловкость, перевела всё в шутку.

— Где мой ковер-самолет? Сюда не залетал?

— Его моль сожрала, — Грошик, не растерявшись, выдал в струю. А потом, будто сообразил что-то, и добавил: — Но если вас интересует просто самолёт...

Дани напряженно уставился на бармена.

— И пассажир с последнего рейса Питер-Тель-Авив.

— Похожий на тебя, Дани, да? Но постарше, под стать Любе?

— Точно! Это её муж, а она моя тётя, у нас назначена здесь встреча. Но... мы запозднились, — соврал без тени смущения Дани.

— Я проводил его в подсобку, передал с рук на руки Алле.

— Вы знакомы?

— Простите! — двумя пальцами Грошик приподнял котелок. — А на чьей кухне прикажете Алле кормиться?

— Проводи и нас! — не сдержалась Люба.

— Вы дойдёте своим ходом. Ать-два за стойку, и по коридору дорожкой наших любознательных туристов до двери с заманчивой надписью для любителей острых ощущений «Туннель, станция смертников». Затем спуститесь по лестнице и...

— Но это вход не в подсобку! — возмутился Дани, боясь быть обманутым, что не позволит добраться до оружия.

— Друг ты мой ситный! Тебя не поварёшки дожидаются, — выдал назидательно хозяин питейного заведения. — Всё круче! Тебя он дожидается. Там, — указал пальцем на пол, — под землей, ниже уровня кладбища, в спортзале для террористов-самоубийц, куда нервным и психам лучше не соваться.

— С Аллой?

— Кто с кочергой, а он, конечно, с Аллой. Что имеем, то имеем, — развел руками. — Наша Алла — не кидала! Покровительствует любимцу муз. В прошлом году отвезла в аэропорт, в этом приняла под своё крыло, как получила эсэмэску о прибытии блудного сына нашей с тобой исторической родины.

Люба подозрительно посмотрела на ухмыляющегося бармена.

— Что за Алла? Вы тут, получается, без меня не скучали?

— Длинная история. И не мы, а он — только он, твой «законный супруг», по метрическим сведениям, — Дани выгородил себя от подозрений в ловле ночных бабочек, и с каким-то сладострастием — отчего вдруг стало немного стыдно — подумал: условный любовник подставил «официального мужа», с кем выяснять отношения на самом беспощадном уровне, по принципу — быть или не быть.

Ситуация шекспировского драматизма. В мозгах муть, внутри горит, и такое желание дать кому-то по морде, что промедление и впрямь смерти подобно.

Дани схватил Любу за руку и — за стойку. Туда-туда, по выложенному квадратной плиткой коридору, к металлической двери с

устрашающей надписью, толкнул её и вниз по крутым ступенькам, слыша прерывистое дыхание кондиционера. Ниже и ниже, первый этаж, второй, а вот и спортзал. Шаг за порог, и попал под яркий свет множества ламп, встроенных в гигантскую люстру над рингом.

А на ринге? Кто на ринге?

Он, Дани Ор, собственной персоной. Но не сегодняшний — вчерашний, если так можно выразиться о человеке шестидесяти лет с поредевшей шевелюрой и поседевшей бородкой. Вельветовый пиджак, вельветовые брюки. На руках боксёрские перчатки. Злой, как чёрт, переминается в красном углу, с нетерпением поглядывает на входную дверь, в ожидании противника.

А где автомат?

В надёжных руках, у Аллы.

— Еле отобрала! — пояснила она. — Он такой неуступчивый. «Убью!» — кричит. Еле уговорила быть мужчиной, а не уголовником. И выяснять отношения по-мужски на кулаках.

— Я ему сейчас выясню! — психанул Дани и, оттолкнув удерживающую его от кровавой схватки Любу, бросился на ринг — в пучу мордобития.

— Стой! Стой! — услышал сквозь всхлипы вдогонку. — Он же старенький! Постеснялся бы!

Но какое там?

Что за стеснения на дуэли?

Быть или не быть? — вот вопрос.

И влезает в перчатки, сжимаешь кулаки, бросаешься в бой.

Левой-правой, нырок.

На выходе — боковым по скуле.

Раз! Попал! Два! Попал!

Прерывистое дыхание, бешеный темп, солёный пот заливают глаза.

Смахиваешь его кистью руки.

И...

Где соперник? Где он — тот чёрт косматый, грозящийся вынуть душу?

Где? Где? Где?

Внезапно приходит осознание: отныне ты один на этом коварном свете.

Но кто ты? Тебе тридцать три? Или шестьдесят?

Оглядываешься на Любу и Аллу.

Пытаешься определиться по их застывшим лицам.

И, плюнув на выдержку, в нетерпении бросаешься к зеркалу, распахнутому вдоль дальней стены.

Сейчас всё решится.

Всё решится.

Всё!



Галина КОМИЧЕВА

/ Киев /

ДОЖДЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Очередной понедельник. Низкое небо и слякоть.
 Ну, слякоть, пожалуй, уж слишком, —
 пускай будет просто ноябрь.
 И пусть будет дождь за окном,
 так, на случай на всякий,
 и воображенья, бегущий вдоль строчки, корабль.

В такую погоду читать бы Гомера, к примеру,
 да штопать носки или длинные письма писать,
 болтать об искусстве, и в непринуждённой манере
 какой-нибудь велосипед в соавторстве изобретать.

Итак, понедельник. Ноябрьского дождика нитки
 там рвутся, где тонко, чтоб крайнюю выразить грусть.
 Мой дождь затихает. Не думайте! — в новой попытке
 наш скучный отличник доскажет свой текст наизусть.

Ему б дошуршать до утра — неважно, что все тут продрогли —
 в согласье с небесным законом до утра дожить,
 в слепом упоенье лелеять куста иероглиф
 и через дорогу тень тополя переводить.

Вы ждёте завязки. Редактор мой изнемогает, —
 «Кирилл и Мефодий, и дался же вам алфавит!»
 И курит редактор, и курит, и длинно вздыхает,
 и в небо глядит, а оно тебе — серый гранит.

Так вот... а о чём мы? Ах, да, всё ещё понедельник,
 редактор хандрит, проклиная досужую букву,
 и — повторяюсь — досада его беспредельна,
 а дождик опять поднимает упавшую было хоругвь.

И всё ж он коснётся воображаемой лютни,
пять струн драгоценных любовно приладив к окну:
— Ну, что вы там, как вы там? Чем вы там заняты в будни?
— Рассеянный гость, интересен ты мало кому!

— Ах, я догадался! Вы — люди, ах, я догадался...
я с неба упал, я бездельник... я так... музыкант...
Как долго, как тупо у ваших домов я топтался
и в окна швырял мне дарованный небом талант!
Любите же свой понедельник! И тот, кто догадлив,
тот понял уже — понедельника не переждать,
но я буду петь вам, я должен излиться до капли,
я должен добаться до сердца и доколдовать!

* * *

Вот Оперный театр. В нём жилы напряглись
в неотразимых дам влюблённых кавалеров.
Я часто здесь брожу и все беру на веру
до встречи лобовой с тобой, земная жизнь.

Неукротима речь крутой житейской правды,
каменьями невзгод мои избиты дни.
Артисты у зеркал в немислимых нарядах
смыывают грим со щек, чтоб снова стать людьми.

* * *

Сколько судеб изломанных,
как поглядишь окрест.
Господи! Homo homini
Iurus и вправду est.

Ненасытима игорная,
бьющая в дых братва,
ей нипочём истории
алчные жернова.

* * *

Поди попробуй приручи,
стреножь брыкливую лошадку,
ни за какие калачи
не призовёшь её к порядку.

Не сыщешь для неё угла,
не запряжешь её в телегу, —
земные скучные дела
шальному неуютны бегу.

* * *

На отмели речной двухвёсельная лодка
ждала рассвета. Тихая волна
нашёптывала берегу слова
о верности ему. И тот кто
не спал в ту ночь и видел, как луна
бесследно уходила с небосвода,
был сам луной и музыкой воды,
и трепетом чарующей природы.

* * *

Вхожу в ирпенский лес, где вековые сосны
вплотную к тишине, как стражники стоят.
На восходящем солнце горят лесные торсы, —
художники природы, творят они, творят.

Я душу напою для следующей жизни
тобой, небесный свет, тобой, земная плоть.
Свободно и легко, сегодня, завтра, присно
любить, вдыхать, владеть позволил мне господь.

* * *

часы на руке
часы на стене

времени лепет

часы на руке
на башне часы

вечность не дремлет

* * *

клавиатурой вперёд
вынесли белый рояль

белый рояль...
белый рояль...
белый рояль...

* * *

На реке на Лыбеди вечереет,
на реке на Лыбеди закат жесток,
на реке на Лыбеди печенег, —
стрелы — в колчаны,
брагу — в горло,
себя — в комок.

На реке на Лыбеди, — ярость в ярость,
на реке на Лыбеди, — в дым! — храбрость,
на реке на Лыбеди все покамест, —
завтра полягут,
завтра полягут
крест-накрест.

— Что, печенег? — ноги вразброс?
Жизнь прожил?
Жёсткий достался тебе погост,
жадное ложе.

Иржи ТАУФЕР (1911–1986 гг.)

Перевод с чешского

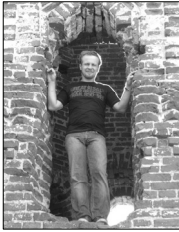
ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ РОДСТВЕ СЛОВ

Чего не напридумает поэт!
«Луну» в «полночь» обратить сумеет,
без солнца он бессонницей согрет,
и озарён, и одурманен ею.

«Река», конечно же, — от слова «речь»,
и течь реке без речи невозможно,
и в руслах рек — русалок осторожных
поэту всё же хочется сберечь.

Он «злато» с лёгкостью поименует «злом»,
сольёт «железо» с «жезлом», вероятно,
«угрозу» — не поспорите — с «грозой».

Слова ему заменят хлеб и кров.
Он в слове «мяч» увидел меч булатный.
Поэт, дикарь, дитя, алхимик слов...
Хлебников.



Илья ПОЛЯКОВ

/ Владимир /

ПИСЬМА ФОРКИДЫ

Сюда, на запад, даже солнце идет с неохотой. Каждое утро лучи света превращают воздух в серо-желтый кисель. Потом затухают, скользнув по дымному клубку, висящему над островом, не сумев пробиться сквозь туман до высосанной морской солью земли.

Медь зеленеет от испарений, идущих от расщелин, так что приходится часто счищать слизь песком и старыми водорослями, выброшенными на берег. Жалкая попытка хоть как-то оправдаться. Я не верю в его искренность.

Тут только вода и камни, точно этот кусок суши сохраняется как потайная кладовка материалов для создания нового мира. Не думаю, что кто-то решится на открытый бунт. Если такое и случится, то не скоро — даже дальновидным сестрам не открылись сроки.

Тут хорошо спится, хотя иногда я испытываю беспокойство, и мне чудятся шаги поодаль. Первое время просыпалась, пока не привыкла. Беспокойство мое ни разу не обернулось чем-то материальным. Только после пробуждения кажется, что остров тяжелеет и уходит под воду, точно его невидимой рукой нагружают камнями, отчего несчастный лоскут суши проседает, как корабль, принимающий балласт на обратный путь. Наверное, так стареют.

С сестрами все сложнее общаться, потому видимся редко. Думаю, их беспокоит нарастающая холодность. Они совещаются шепотом, после чего сочувственно вздыхают и как-то особенно смотрят на меня. На самом деле это мне стоит жалеть их. Есть мнение, что они разделили участь из солидарности. Чепуха. Я-то знаю, что тут замешано пустое тщеславие. Бедняги. Мне-то оставлен выход, а им не дано измениться. Впрочем, случись чего, они будут искренне оплакивать меня. Хотя и тогда не поймут, что служить делу можно по-разному. Для них я — изгой. Между тем, могуществом моим будут карать и миловать, защищать и спасать. Яд должен настояться, прежде чем стать лекарством.

Слухи дошли, что он уже побывал у бедных сестер моих. И они, состарившиеся еще до рождения и не видевшие за жизнь ничего, кроме глупых вопросов посланников и камней вокруг, не смогли пережить потерю единственного сокровища. Не осуждаю. Так и должно быть. Ну, или пусть будет так. Детали не так уж и важны.

Кажется, за утесом как-то странно шумит песок. Боги, дайте этому юноше ту решительность, которой он достоин. Надеюсь, посланец не наделает глупостей — в моем саду достаточно бесформенных скульптур.

Она смотрела на море из окна своих покоев и не обернулась, когда за спиной кто-то задел треножник.

— Это ты, сын? Он мертв?

— Да. И все, кто были с ним. Думаю, они заслужили.

— Хорошо. Тебя что-то беспокоит? Как все прошло на острове?

— Я застал ее спящей. Лежала спиной к бухте, завернувшись в плащ. Что-то снилось ей, потому что она несколько раз вздрагивала, пока я приближался. Я ударил не раздумывая, и тут рука дрогнула. Первый удар пришелся неловко. Меч развернулся в руке.

— Она проснулась?

— Не знаю. Надеюсь, что нет. Хотя странно дернулась и, как мне показалось, сжалась. Стона или крика не было. Пришлось бить еще два раза. Потом показались сестры. Они стояли поодаль и молчали — я даже сначала принял их за статуи. Меня же для них не существовало. В волнении я потерял сандалии и долго кружил по песку, пока не нашел.

— Знаешь, тебе не стоит рассказывать подробности людям. Удар должен быть только один.

АЙСА

Сестры родились давно и не помнили точной даты. В те годы еще не считали нужным присваивать имена отдельным годам, и вполне хватало того, что каждый живущий примерно сам представлял, сколько он уже существует на этом свете. Правда, случилось так, что иные сбивались со счета и жили просто так, ровно, без всяких вех. Привычка эта позволяла сестрам преспокойно существовать, из года в год и изо дня в день выполняя свою немудреную работу, которой учились с самого детства. Многочисленная старшая родня, вполне себе здравствующая, тоже не могла сказать ничего вразумительного, поскольку метрик не заводила и не удосужилась запомнить свой-то возраст, а какое дело до трех затворниц, пусть и одной с ними крови?

Не надо думать, что семейство это отличалось бестолковостью. Тогда старики совершенно спокойно забывали, сколько же лет

прошло с того или иного события. Зачем помнить то, чем никто не интересуется? Вот они и не утруждались.

О своем детстве даже сестры, особенно в старости, вспоминали часто и охотно. О том, как часто сидели на скалистом берегу, вдыхая солоноватый ветерок, довольно теплый и ласковый, стоит заметить, и кутались в тонкие белые одежды из лучшей шерсти, чья нить не уступала по толщине и прочности паучьей. И как зеленоватые воды Понта кувыркались у подножия утеса, расшибаясь в белую труху.

Отца они почти не видели, хотя почитали. Тот же, когда забегал, смотрел на дочерей очень строго, сидя у трех сомкнутых в единое ложе кроваток, точно подозревал в краже лакомства из семейной кладовки или боялся, что его могущество вскоре уступит их объединенной силе, и не радовался, как полагается родителю, а расстраивался. Что не мешало ему иной раз возиться с дочками дни напролет. Они же сторонились его импульсивного внимания. Даже старались укрыться в самом темном уголке комнаты, строя из детских одеял и пологов подобие внутреннего замка.

Все три матушки их мало бранились за подобные шалости, а наоборот, помогали максимально удобно устроиться внутри этих темноватых покоев с тряпичными стенами. Никого даже не удивляло, что матери девочек сами не знали, которая из них подлинная. И не потому, что три сестры считались единокровными — они-то как раз вышли из одного лона, просто с разницей в какой-нибудь год или полтора. Просто никто из домашних действительно не знал, кто их биологическая мать. Не считал важным знать — ну, так уж однажды решили на семейном совете. Звучит странно, но тогда было именно так.

Больше всего сестры тянулись к мрачной красавице, что навещала их половину дома только с наступлением темноты и дежурила у кроваток до рассвета. Она рассказывала чудные истории перед сном, грела лечебное питье во время детских хворей и почти насильно усаживала девочек перед сном на старые фуллоны. Чтобы сестры не путали их, на глиняных боках черным лаком нарисовали портновский инструмент — у каждой свой.

Почти с самого рождения к сестрам приставили единственного учителя — старую и злую многоглазую бабу, которая учила каждую своему ремеслу. После уроков на лавках пылились обрезки ковров и спутанные мотки ниток, которые немного скрывали прохладу каменных сидений.

Братья и сестры их, по большей части родившиеся позднее, дурачились за стенами и бегали по внутренним дворам дома, в то время как эти отшельницы почти все время проводили за работой и только изредка пробирались на вершину утеса надышаться морским воздухом. Еще они ухаживали в садике за посевами вайды и других полезных в их деле растений или разбивали камнями раковины

моллюсков, чтобы получить краску, дававшую пурпур, так ценимый царями. Крючковатые носы, способные учуять перемену погоды или смену ветра на огромном расстоянии, нисколько не смущались вони стоялой мочи и тухлятины, свойственной всем этим занятиям.

Других детей погружали в житейские премудрости вроде географии и основ исчисления, хитростям воинского дела, а то и какие тонкие умения, требовавшие особого мастерства. Трем отшельницам вполне хватало их лоскутных занятий. Зато они давно научились работать в любом стиле, знали узоры всех народов ойкумены и умели выполнить урок как сложно, так и просто, что поражали иной раз тем, как создается невиданная гармония из ничего. Когда им становилось грустно (что случалось, по правде, крайне редко), они мастерили куколок из тряпья. Что выглядело немного пугающе, ибо так три сморщенных старухи добирали незаконченное в детстве.

Когда получалось избавиться от настойчивых просителей, которые восхваляли их мастерство и усидчивость, при этом поглядывая настороженно, сестры любили немного попеть. В их песнях сплетались миры и рождались герои, пока еще неведомые мудрецам, и закатывались солнца, отгоревшие свой срок. Мелодию сказа заводила обычно младшая, за малым погодя к ней присоединялась средняя, и, только в самом конце включалась старшая, своим грубоватым голоском выводящая нужные и решительные ноты финала. Сестры разом замолкали и потом тихо присушивались, как эхо их пения перекачивается в каменных переходах. Как только отголоски добирались до самых дальних уголков, печеные лица старух выражали что-то вроде радости...

Сестры знали всех в доме и ни к кому не привязывались, живя своим уединенным мирком. Они как-то вообще рано надумали стареть. Едва их кожа набрала девической упругости, как превратилась в желто-коричневый сморщенный пергамент, тихо шелестевший, когда кто-то из них касался в полумраке тканей или клубков нити, сушившихся после покраски. Зубы раскрошились, рты провалились, а кожа под глазами высохла и вытянулась, как и черные груди их, никогда не знавшие детских губ. Даже родители их выглядели много моложе, но сестер подобные мелочи не беспокоили. Они верили, что рождены жить вечно.

Сестры ткали, кроили и сшивали долгие годы, не обращая на череду дождей и зноя во внешнем мире, хотя, как никто иной, понимали его устройство и правила, благодаря которым он еще держится, ухитряясь оставаясь кому-то интересным. Люди про них забывали иной раз, но потом все одно вспоминали, начиная с рвением ремонтировать и красить снаружи их убогое жилище, не решаясь, правда, проникать и даже заглядывать, вовнутрь.

В год семьсот пятьдесят третий по Тарутию или, проще говоря, в год при Коссе Лентуле и Луции Пизоне по миру прокатилась

странный затяжной недуг, тогда коснувшийся многих, но мало кем сразу замеченный — столь бессимптомным он оказался. Говорят, только три каких-то царя на юге познали странное беспокойство, отчего поспешно исцелились, предприняв спонтанное паломничество в пустыню, да две младших сестры-затворницы ощутили небольшое недомогание, которое скоро прошло само. Старшая вовсе ничего не заметила, монотонно занимаясь привычным делом.

Через длительное время, кажется, в триста двенадцатом, средняя и младшая сестры поняли, что болезнь, какое-то время дремавшая, вернулась. Заболели все, кто жил в одном доме с сестрами. Многие в округе не избежали той напасти и почти все перенесли ее в довольно легкой форме. Хотя кто-то и погибал, изрядно мучаясь в последние минуты жизни.

Дом сестер стал напоминать военный лагерь или осажденный город, в который вдруг прокралась верная спутница дурной воды и скудной пищи — чума. Хотя, конечно, это только вольная параллель — никакой скоротечности в симптоматике не наблюдалось. Просто большинство заболевших все сильнее хирели и угасали, постепенно теряя подвижность и медленно деревенея, точно мешки их тел понемногу досыпались каменной крошкой, смолотой в мельчайшую пыль, мягкую и пушистую на ощупь в тонком слое, но способную уплотняться в монолит под собственным весом, как только ее наберется чуть больше.

Агония семьи продолжалась долго. В триста восьмидесятом наступила развязка. Почти все, кто жил в родительском доме с сестрами, превратились в тяжелые мраморные статуи и замерли, понемногу теряя окраску поверхностных тканей и набираясь однообразной белизны. Немногие из родственников, так и ничего не почувствовавшие во время эпидемии, и потому выжившие, растерянно ходили по многочисленным покоям, стараясь достойно похоронить умерших. Они отбивали носы и руки застывшим родственникам и частями закапывали под виноградниками и в тени оливковых рощ.

Старшая из затворниц решила позаботиться только о двух своих младших сестрах, оставив другие тела на попечение немногих выживших. Она завернула их в красивые ткани, в которых недостатка не имелось, и поочередно отнесла к подножию горы, к расщелине, из которой наружу пробивался удивительно холодный поток, почти во всем своем течении петляющий по подземным переходам и не знающий солнечного света. Пробравшись в темные пещеры, пробитые водой за многие годы, старуха похоронила тела в глинистом берегу ручья, отметив места для памяти белыми глыбами мрамора, ставшими от близости воды почти рыхими.

С той поры минуло много лет. Старшая продолжает кромсать лоскуты, которые теперь ей готовят не сестры, а посторонние люди. Кроит она теперь, пожалуй, еще более искусно, чем раньше, хотя и сетует время от времени, что не умеют теперь ни составить пре-

красного в простоте своей узора, ни соткать плотную невесомую ткань, какой в прежние годы имелось в избытке. А еще она время от времени приезжает в то место, где скрыла тела своих сестер, и напевает концовки новых песен, начало которых отныне проходит мимо ее слуха и потому финалы эти выходят часто неожиданными и не каждому понятными. Она поступает так потому, что верит в бессмертие своей семьи и считает, что никто из умерших тогда на самом деле не умер, а просто уснул, чтобы отдохнуть до той поры, когда они снова понадобятся.

— Бабушка, а ты знала тех сестер?

— Конечно, мой хороший. Я знала их всех. Мы жили рядом.

— А как звали тех сестер? Ты помнишь?

— Помню. Но не знаю, какое их имя будет правильным. Их знали во многих странах, но каждый народ давал разные имена.

— А если бы они жили в наших краях, как бы их записали у дворника, бабушка?

— Не знаю, Митти. Младшую бы, наверно, звали Катей, хотя сама бы она, предполагаю, записалась бы как Клотильда. Ей нравились иноземное звучание. Среднюю... Не знаю. Ее иной раз звали просто Девятой. Не спрашивай, почему. Так к ней обращались иностранцы, пришедшие в наши земли с запада.

— А старшую? Как ее-то звали?

— С ней вообще интересно. В некоторых землях почему-то думали, что она мужчина. Это не важно, на самом деле. Ей все равно. Тут ее зовут почти так же, как на родине. И она еще жива.



Андрей ДМИТРИЕВ

/ Нижний Новгород /

* * *

На пустых пакетах из «Пятёрочки»,
 что наполнил ветер пустырей,
 он вознёсся, отпуская поручни,
 над сварливой родиной своей.
 Пролетая над гнездом кукушкиным,
 над балконом главного врача,
 он увидел сквозь туман удушливый
 всё, что мы отдали сгоряча
 на растопку тигельного времени —
 тонкие страницы дневников,
 лозы, выраставшие из темени,
 и цветы лирических стихов.

Был он послан за крупой и шпротами,
 за топлёным маслом и халвой,
 за батоном и лимоном жёлтым, но
 так ни с чем и кружит над землёй,
 впредь не претворяющейся плоскою.
 Лёгкость выносима ль бытия?
 Не ответишь, не пустив по воздуху
 собственное эго, как дитя,
 что перед собой толкает голову,
 предлагая в долг её тому,
 кто всплывает над пучиной города
 антиподом тонущей Муму.

* * *

Островитяне верят горизонту,
 когда садятся в ряд на берегу
 встречать рассвет (какой уж, право, сон тут),
 но чаще наблюдать под моря гул
 закаты остывающего солнца.
 Ах, эта запредельная черта —

тебя в расчёт лишь брать и остаётся,
чтоб разграничить завтра и вчера,
ведя глаза вдоль линии отреза.
Так риторично падает кокос
с высокой пальмы, что рождает пьесу
про дождь метеоритный прелый мозг.

Островитяне подают окружность,
как схему мира на стекле метро,
как то кольцо, что в знак жены и мужа
на безымянном, названном хитро.
Сидим и мы фронтально горизонту,
угадывая точку, где сошлись
пять линий, проверяющие зоркость
у хиромантов мнительной глуши.
Повсюду — море, и повсюду — правда,
а, впрочем, там, где канул солнца шар,
пожалуй, по начальственным раскладам
побольше красного карандаша.

* * *

И падала лапа на розу Азора,
и старый садовник искал в этом смысл,
и мальчик смотрела через дырку в заборе,
как призмы теплиц оформлялись в кубизм,
и цвет облетал, оставляя ужимки
вопросов, которым не найден ответ
получше, чем горстка простой ежевики,
что сыпать напрасно в прозрачный пакет.

Как медленен вкус у рябиновых листьев,
когда они жухлым наследием рвут
себя же с ветвей за любовь пейзажистов,
которым закусывать нечем уж тут.
Остывшие всполохи, стон тополиный,
садовник на тачке везёт инструмент
в дощатый сарай и сутулую спину
над пропастью гнёт, словно горный хребет.

* * *

Возьми-ка чёрный уголёк,
зайди-ка в тёмную пещеру
и нарисуй-ка между строк
зверей каких-нибудь священных,
потом каких-нибудь людей —
пусть схематично и коряво —

но так, чтоб в этой темноте
культурный слой вступал бы в право,
и чтобы через сотни лет
студент — прыщавый археолог —
увидел в том какой-то след
в поэзии пещерной школы.

Ещё не рубят интернет,
свежи и актуальны тренды,
в конце пещеры брезжит свет
и царственны волхвы-главреды,
но кость — закапывает кость,
и на макушках гор скалистых
уже сомнение зажглось,
что там приют для альпинистов.
Возьми-ка чёрный уголёк —
почувствуй пальцами всю тщетность
попыток выпасть между строк
из этой тесноты пещерной.

* * *

Счёт угрюмым вести пассажирам,
клеить к тусклым маршруткам хвосты
в городах, где нет пальм и инжира,
можно лишь бы душой не остыть,
хоть внутри голоса тугоплавки
и на лицах чугунный отлив:
скажем, сядет прохожий на лавку,
смотришь — памятник, даром что жив.

Вот и лето — такое краткое —
промелькнуло, и будь здоров,
да, ведь холод здесь носят кадками,
чтобы им останавливать кровь.
И когда речь заходит про оттепель
или просто про дикий пляж,
здесь клянут то жару — мол, в кофту бы,
то избыточно пёстрый пейзаж.

С тем уложены в эту формулу —
трон великого снеговика
и на зябкой ограде вороны,
стерегущие прах века.
Ловишь ветер, стоишь под куполом
и как будто бы сознаёшь
цену солнца, что греет скупно так,
но взимает отнюдь не грош...

Селим ЯЛКУТ

/ Нью-Йорк /



СЕЗОН ЦВЕТЕНИЯ ВИШНИ¹

Михаил Юрьевич был разговорчив и даже велеречив, со склонностью к старинным оборотам, которые режут ухо нынешнему слушателю. Качество общения, увы, утрачено, тем более приятно, что Михаил Юрьевич был здесь исключением. Хорошо, что еще остались люди с обращением *сударь* или *дорогой вы наш* без всякой иронии, а просто потому, что так было когда-то принято среди интеллигентных, расположенных друг к другу собеседников. Слушателей у Михаила Юрьевича пока хватало. Это был достойный типаж: высокий, широкоплечий, со спутанной седой шевелюрой, которая росла, буквально, на зависть (мужчины поймут). Следы возрастного увядания, которые: как правило, драматически сказываются на внешности, отходили здесь на второй план, придавая Михаилу Юрьевичу значительность и артистизм. Он часто выступал на публичных мероприятиях, в частности, открытиях художественных выставок, и нередко появлялся в телевизионных репортажах. Культурная часть жизни у нас, к большому счастью, на высоте, пусть даже не бросается в глаза. Кому нужно, оценит и воздаст должное. Что еще? Михаил Юрьевич был любознателен, смешлив, и, как ни странно, обидчив, буквально ни с того, ни с сего. Жена Лидия это знала и соблюдала осторожность. В молодости Лидия была замечательно красива, не уступая итальянским кинозвездам, которые тогда появлялись на нашем экране. Сохранились фотографии, поэтому легко подтвердить. Но и сейчас сумела многое сберечь, пронести сквозь годы. Фигуры это касалось меньше, а в лице задержалось. Первый муж Лидии был известный художник и оставил ей достойное занятие, можно сказать, миссию. Расхаживая от стола к дивану, Лидия перекладывала его рисунки и репродукции, надеясь таким образом сохранить и упрочить мужнину память. Конечно, все это требовало большого труда, даже одно хождение (сами попробуйте и убедитесь), но цель того стоила. Места в комнате не хватало, Миха-

¹ Рассказ взят из книги С.Ялкута «Против течения», Алетей (СПб.) 2022 г.

ил Юрьевич устраивался на краешке стола, он проводил время за компьютером, рассчитывая открыть равнодушным сердцам свои размышления о прекрасном. Русскоязычные журналы за рубежом публиковали его статьи. Такая это была пара. Лидия еще хлопотала, а Михаил Юрьевич, буквально, парил. С годами это не угасало. Эпоха миновала и скрылась за горизонтом, но люди не могли отказаться от самих себя в угоду новому, бездушному времени. Они его как бы не замечали и были, по-своему, правы.

Достойное, осеннее отношение к жизни. Михаил Юрьевич мог, например, прожить на одной картошке и вкусно поджаренных сухариках из простого хлеба, чуть присыпанных солью. Чай он заваривал великолепно. Иногда, не закусывая, позволял себе пропустить рюмочку, как лекарство, с пользой для сердца.

Да, приходилось думать о здоровье. Супруги были прикреплены к *Больнице для ученых* (так больница и называлась) и *творческих работников*. Репутация у больницы была высокой, и вообще, прикрепленность создавала чувство уверенности, как сказали бы раньше, *в завтрашнем дне*. Хоть само будущее осталось в прошлом, но пафос еще сохранился, угасал постепенно, питаюсь воспоминаниями. Михаила Юрьевича в больнице знали. Человек общительный, словоохотливый до болтливости и наделенный счастливой внешностью, он задерживал на себе взгляд. Для женщин возраста чуть выше среднего был лишней повод вспомнить молодость. Самого Михаила Юрьевича это особо не беспокоило, забота о жене заполняла его целиком.

Больница располагалась на холме, спадающем обрывом к нижнему городу, оттуда к реке, и далее в заречные пространства вплоть до самого горизонта. Больничная территория была отгорожена от обрыва неказистым, но прочным металлическим заборчиком, вдоль которого пролегла асфальтированная дорожка, или, применительно к больнице, терренкур. Сзади был двор, асфальт, котельная с кучей угля, таинственные помещения, которые всегда есть в медучреждениях, и это, собственно, все, не считая самой больницы. С другой, парадной стороны, перед крохотным сквериком винтом уходил в нижнюю часть города спуск, не предназначенный для прогулок, и дышать свежим воздухом, полезным для *ходячих* больных, было особенно негде. Только дорожка, терренкур вдоль обрыва. Зато вид с холма открывался прекрасный, что для работников умственного труда и искусств крайне важно. Для Михаила Юрьевича было именно так. В больницу он поступал с застарелой аритмией сердца. Сделано было все возможное, упрекнуть врачей было не в чем. Михаил Юрьевич и не упрекал. Оказалось, так тоже жить можно, несмотря на повышенную нервозность самого времени, сказавшегося на больнице не лучшим образом. Все куда-то сместилось, непонятно для интеллигентных людей, зачем и куда. Ведь мечтали, как лучше, но что теперь...

Обо всем этом размышлял Михаил Юрьевич, прогуливаясь вдоль обрыва по лечебной тропе. Накануне он поступил в кардиологическое отделение и теперь осваивался, готовясь к встрече с врачом, вчера они познакомились и переговорили на ходу. Михаил Юрьевич вышел рано, до завтрака, чтобы глянуть на знакомые места. И не просто, а с целью. Лидочка станет навещать, когда он устроится и появится время, свободное от анализов и процедур. Михаил Юрьевич сладко предвкушал, как они станут встречаться. С прошлого пребывания он запомнил удобную скамеечку, если переступить через оградку, сразу за кустиками, над самым обрывом. Исключительное местечко, будто из каких-то старых времен, оторванных от нынешней пошлой реальности. Внизу была своя жизнь с подновленными особнячками, с трамваем, будто игрушечным и от того трогательным (насколько это можно сказать о трамвае), с неброскими куполами церквей, рассыпанными тут и там, зелеными шляпками среди разноцветных квадратиков крыш. Все это свое, родное и доступное ласкающему взгляду. На кирпичные трубы, нагло выпирающие из пейзажа, можно не глядеть, зато поверх взгляд уплывал нестесненно во всю ширь. То, что нужно для ностальгического переживания, для поэзии, нечто сладостное, как еврейское жаркое с черносливом. Михаил Юрьевич был человек исключительно русский, но, как интеллигент, томился по несбывшемуся и несбыточному, ощущал идиллическую неприхотливость бытия в *портретах старых домов*, достойных живописи и обновления канализации. И все это буквально под ногами. Устройся удобно и смотри.

Сейчас Михаил Юрьевич спешил убедиться, на месте ли заветная скамеечка, но вдруг позади раздалось злое ворчанье, не лай, а именно сдержанное выражение вражды. Обернувшись, Михаил Юрьевич увидел собаку, пробравшуюся сквозь дыру под изгородью и явно недовольную его появлением. И сам вид был неприятный. Щетина на собачьей голове торчала клочьями, посреди колыхались закрученные вверх неправдоподобного вида усы, а маленькие черные глазки буквально жгли, столько в них было неприятных эмоций. С какой стати? Очевидно, собака жила в норе ниже по склону, а сюда выбиралась для каких-то своих надобностей. Отрицательной энергии, которая, как говорят, доступна собачьему восприятию, Михаил Юрьевич не генерировал. Он любил этот мир, природу, в общем, все живое, буквально, готов был понять и обнять, что и доказывал при малейшей возможности. Даже мяса не ел, весьма кстати при нынешней дороговизне. Сейчас Михаил Юрьевич присел, склонив набок голову, чтобы оказаться к собаке поближе для дружеского общения. И сказал несколько действительно теплых слов. — Милейшая Вы моя собака, — буквально сказал Михаил Юрьевич, обратившись именно с большой буквы, — простите нас, жестокосердных... Не всякий смог бы так изысканно выразиться, но основания были, в городе развелось немало бродячих собак, телевидение поднимало эту проблему, и мнения высказывались разные,

вплоть до радикальных. Телевизор Михаил Юрьевич не жаловал, но его отношение можно понять по свойствам благородной натуры. Свой он, свой, все понимающий и милосердный, и рычать на него не нужно. Михаил Юрьевич хотел объясниться по-французски, но подходящие слова, кроме *s'il vous plait* (это он сказал), сразу не нашлись. Зато нашлись другие — поэта Мориса Метерлинка *На смерть собачки*. Теплое, проникновенное прощание с близким другом. Хоть, если свериться с поэтическим текстом, сходства с нынешней собакой было мало: там — бульдожек, гладкий и безгрешный, как агнец, здесь — закрученные проволокой усы, смахивающие скорее на прусские, глаза какого-то зловещего вида, плюс нечесанность и немытость, которые с Францией у нас не вяжутся, по крайней мере, не в первую очередь. Но Михаил Юрьевич был эрудит и поэт, сказал, как сказал, встал, повернулся и пошел дальше. Добрых дел он наделал немало, это было его кредо, и у самого взыграло внутри, тем более с утра. Но не долго. Коварная псина догнала Михаила Юрьевича и ухватила за ногу, причем все это молча, выказывая подлый свой нрав. Тут же отскочила, прижалась брюхом к асфальту, не скрывая зверского настроения и готовая продолжить в том же отвратительном духе. Хорошо, что рядом с дорожкой нашелся камень, и Михаил Юрьевич вооружился. Подлая тварь (а как иначе теперь назвать, даже будучи страстотерпцем?) шмыгнула в дыру, скатилась в обрыв и пропала. Сквозь штаны укус оказался не слишком болезненным. Тем более, обидно. Самое время было спросить: за что? Одичалая жизнь ожесточит кого угодно, Михаил Юрьевич часто выступал в роли адвоката (по жизни это была его позиция), но сейчас удовлетворения не получил. Нога к тому же стала болеть. Следующая мысль оказалась главной. Он — ладно, а если Лидочка?! С ее чувствительными нервами. Сзади за ногу. За колготки сквозь брюки. С ее романтической натурой. Мысль буквально обожгла. Михаил Юрьевич не дал воображению разойтись, первого импульса было достаточно. Вот она впереди, заветная скамейка. Казалось бы, сядь и замри. Но как? Не джунгли, но и там, наверно, такого нет. А если даже есть... Чтобы ни с того, ни с сего. Молча, вероломно... Слова нанизывались, одно мрачнее другого.

Тревога взбудоражила. Потому жалобы на здоровье Михаил Юрьевич излагал как-то вяло, с усилием. А ведь к разговору с врачом готовился.

— Да, конечно. Лекарства пьет, как положено... Одышка... Боли...

— Может спать на левом боку?

— Затруднительно. Стучать начинает. Потому избегаю. — Михаил Юрьевич взял паузу. Сказать или нет? — Что еще? Это, пожалуй, важно, хоть к делу не относится. Собака укусила во время прогулки. Не где-нибудь, а прямо здесь, на территории больницы.

Врач строчила сосредоточенно, а тут оторвалась, подняла голову. Удивилась. — Укусила? У нас?

— Да, именно здесь. — Михаил Юрьевич описал место и обстоятельства происшествия.

— И что?

— Ничего. Просто укусила собака. — Михаил Юрьевич излагал четко, подтянул штанину и предъявил для осмотра место укуса — как раз над носком, ссадину, без крови и впечатляющей раны, но заметно. Врач так и сказала: — Вообще то... — И замолчала. Глянула на Михаила Юрьевича, растерянно, сугубо по-человечески. Пожала плечами. Ясно, не знала, что произнести. Молодая, новенькая. Миловидная, но без определенности в чертах, которые налагают возраст и профессия. Старые кадры развехались по миру, а теперь, вот... Михаил Юрьевич опустил штанину.

Врач встряхнулась, вернулась к главному, но как-то без интереса, думая о чем-то другом. Приставила трубку к груди, велела не дышать, убедилась, что аритмия никуда не исчезла.

— На улицу пока не выходите. — Сказала врач. — Побудьте в палате. — И ушла, красиво покачивая бедрами. Михаил Юрьевич проводил глазами и остался в палате один. Время скверное. Лекарств казенных не стало, кормят — стыдно сказать. К тому же не сезон. К зиме люди разболеются, а сейчас самая пора для профилактики. Михаил Юрьевич так и рассчитал. И что теперь?

Зря он сказал про собаку? Так это может показаться. Нет, не зря. Лидочка может придти. Знает или нет про заветную тропу? Он сам ей рассказывал, мечтали вместе... Как предупредить? За телефон не уплачено, связи нет... Мысль металась, была хвостом...

Было бы в Америке, где из больницы вывозят в колясках, негр сзади толкает, едешь себе, чтобы ничего не повредить. Пусть не негр, а афроамериканец (от *негра* Михаил Юрьевич понемногу отвыкал), но можно ли там такое вообразить? Сбежались бы лоеры. Засудили учреждение. Верный способ заработать миллион.

На миллион Михаил Юрьевич не претендовал. Истратил бы на благотворительность, мысленно он себя проверял. И вообще, больничная каша располагала к реализму. И было, чем заняться, и Америка не зря вспомнилась. Михаил Юрьевич вел переписку со старым приятелем, художником из Нью-Йорка. Неприятное вышло дело. Приятель завез в наш город картины, и Михаил Юрьевич по доброте душевной принял участие. Не сильно старался, но и не умыл, как Понтий Пилат, руки. Нужно ему было? Теперь он себя спрашивал и отвечал. Нет, не нужно. Другие люди затеяли, американец (человек здешний и не наивный) мог и сам рассудить, куда собрался, но поддался на уговоры. Обещалась выставка, продажа, издание каталога, даже монографии. Почему бы нет? Какой же классик (а художник претендовал) без монографии? Выставка была, но ничего, о чем мечталось, не последовало. В ожидании коммерческого успеха картины отдали на хранение, и они стали исчезать. Теперь из Нью-Йорка на лохматую голову Михаила Юрьевича

сыпались упреки. Хоть ничего, кроме речи на открытии, он не совершил. На картинах по декоративному фону рассыпаны были фигуры с неопределенными очертаниями. Можно было понять: яйце-головые космонавты (предположительно), какие-то матросы, больше других японцы в цветастых халатах, женщины, конечно, с длинными шпильками в голове, туго спеленатые от носа до пят, даже непонятно, может, кроме женского скелета там и смотреть нечего. И все это на фоне буйного цветения. Выставка так и называлась. *Сезон цветения японской вишни*. Симфоническая живопись — так это определил Михаил Юрьевич. Он любил, оттолкнувшись от названия, провести идею. Ее он и доказывал на открытии, как раз для монографии. И вино было, которое Михаил Юрьевич не стал пить из-за сердца. Глотнул водочки, специально припасли для него. Хорошо было, люди спорили, хлопали друг друга по плечу, окликались *старик*, курили на улице... А что теперь?

Михаил Юрьевич думал, что написать разгневанному приятелю, понимая, что отчасти виноват. Нужно было удержать, костями лечь, нельзя было чужеземцу полагаться на сладкие обещания, пусть даже от миллионерских фондов. И именно он должен был удержать. Но ведь хотели, как лучше, кто же знал... А тут еще эта собака. И что делает теперь Лидочка...

Снова объявились врачи. Завотделением был тоже из нынешних — молодежавый, с бородкой, в очках, которые прикрывал рукой, подпирая лоб, будто защищал глаза от солнца. Такой жест среди врачей можно встретить нередко (у мужчин чаще), и он имеет важное психотерапевтическое значение. Пока врач думает вот так, в профиль, заметно со стороны, значит, и больному легче.

Действительно, разобрались быстро. Лекарства Михаил Юрьевич принес свои, от инъекций деликатно отказался. Прямой необходимости, вроде бы, не было, а инфекцию в организм могли внести. Этого, конечно, Михаил Юрьевич говорить не стал. Тем более, шприцы в отделении были только на крайний случай, а Михаил Юрьевич мог потерпеть.

— Так что же вы у нас делаете? — шутиливо спросил заведующий. Он писал диссертацию и сейчас размышлял, включать ли в нее случай Михаила Юрьевича. Наука тоже не стояла на месте, Михаил Юрьевич со своим беспокойным сердцем мог пригодиться.

— Да, вот... — Михаил Юрьевич воззвал к памяти прежнего начальства. — Аркадий Львович рекомендовал на проверку, раз в год. А тут уже почти полтора.

— Значит, хорошо лечим. — Сказал заведующий, а Михаил Юрьевич поспешно согласился.

— Кардиограмму сразу снимите. — Последовало указание женщине-врачу. — Возьмите пока наш старый аппарат. — И уже, обращаясь к Михаилу Юрьевичу:

— А вы, мне сказали, на собак жалуетесь.

— Я не на собак.

— А на кого?

— То есть на собаку, конечно, но не в плане личных претензий.

— Все равно. На нашем, медицинском языке это называется жалобой. Покажите, как она вас...

— Просто укусила... и вот... — Михаил Юрьевич поспешно подтянул штанину.

— М-да. — Заведующий был человек, видно, недоверчивый. — Как это вы умудрились? Ни с того, ни с сего... Именно вас...

— Но я, собственно, не за себя... — Смешался Михаил Юрьевич, как подлинный интеллигент, он и сам понимал, есть какая-то его вина. Неважно, какая, но есть. — Я потому, что там больные ходят.

— Ну, насчет этого вы — пионер. Хотите, чтобы мы вписали в историю болезни?

— Вообще-то... Я просто так сказал...

— М-да... Придется записать. — Последние слова заведующий выделил тревожной интонацией, но Михаил Юрьевич пожал плечами, и доктор стал диктовать: — Жалуется на укус собаки. Это в жалобы. Теперь — в результаты осмотра: — На нижней трети правой голени участок гиперемии, по виду, след от укуса, небольшая ссадина... Сквозь штаны укусила?

— Сквозь штаны. — Подтвердил Михаил Юрьевич.

— Хм, удачно... хоть и штаны не всегда... — Доктор задумался о чем-то своем. — Теперь насчет консультации...

— Хирург в отпуске. — Подказала врач, не отрываясь от истории болезни.

— Ладно, что-нибудь придумаем. — Заведующий встал с некоторым усилием, несмотря на возраст. Солидно встал. Огляделся. — Он один здесь? Пусть пока так. Понаблюдаем...

— А что с сердцем? — Поинтересовался Михаил Юрьевич.

— Снимем пленочку, будет ясно. Можете выходить. Только, пожалуйста...

Собственно говоря, всё. Михаил Юрьевич поспешил на свидание с женой. Волновался, Лидочка одна выходила редко. Но сейчас добралась благополучно, и они проследовали по аллейке к заветному гнездышку. Михаил Юрьевич шел со стороны обрыва, даже слегка теснил жену. Лидочка и вообще избегала открытых пространств, а здесь еще собака. Опасность подстерегала. Про собаку Михаил Юрьевич предупредил, но в общих чертах, про укус умолчал. Лидочка собиралась в неврологическое отделение, на дневной стационар, чтобы пройти курс массажа и физиотерапии, ей еще придется гулять по этой тропке. Но это позже. Супруги рассчитали, Михаил Юрьевич вернется домой и сможет сопровождать. В общем, планы сложились, и свидание удалось.

— Рафик месседж прислал. — Сообщила Лидочка. — Каждая картина три тысячи стоит, по американскому каталогу. Директор, с которым Рафик договаривался, ногу сломал, он бы пришел, но нога на вытяжении. А новый не знает ничего и знать не хочет. Страховых документов найти не могут.

— А мы здесь причем? — Тоскливо отозвался Михаил Юрьевич. — Я ему писал, нужно самому приехать и срочно вывозить.

— Ты же Рафика знаешь. Нет, пусть вернут по списку. Он Президенту направил официальное письмо и в прокуратуру. Я написала, что ты в больнице.

Михаил Юрьевич перевел дыхание. Тот с переломом (если не врет), у него сердце... Устыдился собственного слабодушия, но что он может сделать? А сердце нужно беречь.

— Через понедельник у Сережи Алтуняна открытие. — Звонил. Просил выступить.

— Посмотрим. Ты же видишь. — Действительно, пока было неясно с больницей, вообще, неделя большой срок. Хотя, забегая вперед, можно было твердо сказать — Михаил Юрьевич придет и выступит. Такой это человек...

С утра взяли кровь на анализ, потом медсестра повела на консультацию. Обычно Михаил Юрьевич ходил на консультацию сам. Давали ему на руки *историю болезни* и отправляли. Но сегодня сопровождала сестричка, медработник. — Видно, делать им нечего. — Думал Михаил Юрьевич. — Больных нет, вот и окружают заботой. А ему то что? Сестричка была толстушка, юное лицо буквально светилось. Михаил Юрьевич залюбовался, не преминул сравнить с Авророй. И сам же уточнил, не с крейсером, а с утренней зарей. Не то, чтобы смешно, но изящно. Оказалась практикантка из медучилища. Михаил Юрьевич не жалел слов, это была его стихия, шутил, пока ждали лифт и спускались с шестого этажа на первый, в поликлинику.

— Значит, хирург на месте. — Говорил Михаил Юрьевич. — Но к чему нам хирург? У меня все органы на учете. Тут и смотреть нечего.

Свернули, однако, в другую сторону. Очереди под кабинетом не было. И Михаил Юрьевич оказался у психиатра.

Пожалуй, первый по-настоящему интеллигентный человек. Сестричка устроилась ждать под кабинетом, а Михаил Юрьевич с доктором остались наедине. Немолодой, это понятно. Молодого психиатра даже вообразить трудно, не то, что увидеть живьем. Лицо большое, потемневшее от хлопот, редкие волосы аккуратно зачесаны назад, нос, пожалуй, выделялся. Большой мясистый нос, доктор часто к нему прикасался и, наклонив голову, звучно освобождал в платок, буквально, трубил. И сам же извинялся, не совсем обычно — *виноват*. Глаза при этом слегка слезились, доктор заодно подсушивал их платком, приподнимая дымчатые очки. Потому выражения глаз было не рассмотреть. Но и без того ясно — человек умный и сможет подсказать, если что. Лицо показалось Михаилу

Юрьевичу знакомым, наверно, общим выражением интеллигентности, которую сейчас не часто встретишь. Оказалось, к тому же, имел место факт личного знакомства. Но об этом позже.

— Ну, так что там с собакой? — Психиатр бросил взгляд на кучую *историю*, устроился поудобнее. Видно, привык слушать и делал это с удовольствием. — Вы не волнуйтесь.

— Я не волнуюсь.

— Вот это напрасно. Без эмоций не проживешь.

Но, конечно, лучше не жаловаться.

— Я не жалуюсь.

— Как же. Вот запись. Сами выразились. — Доктор прихлопнул рукой. — В следующий раз старую историю поднимут. Эту вот самую. Что у нас тут? Собачка, однако... А диагноз какой? — Доктор рассуждал нравоучительно и закончил неожиданно. — Жалоба, знаете ли, документ. Теперь вот у психиатра отметились.

— Меня к хирургу направляли. Но он в отпуске. — Михаил Юрьевич, действительно, чуть растерялся, а потом решил. Почему бы и нет? Будет, что вспомнить. Потому вкратце изложил суть, хотел показать травму, но доктор смотреть не стал. — Вы лучше своими словами. Вы ведь, наверно, с ней общались, с собачкой? Мы с вами — интеллигенты, любим поговорить с живым существом. Войти, так сказать, в положение. Люди даже с рыбками в аквариуме разговаривают. Есть, конечно, совсем безмозглые, те ни в какую, а есть поумней. Тем более собачка. Общались, признайтесь...

— В каком смысле *признайтесь*?

— В самом миролюбивом. — Доктор взмахнул рукой. — Можно подумать, мы с вами юристы какие-то. Просто признайтесь, что разговаривали.

— Представьте себе. Даже стихи вспомнил.

— Вот видите. И какие же? Если не секрет.

— Метерлинка. *На смерть собачки*. Прекрасный белый стих.

— Вот как. — Доктор заерзал на стуле. — Запоматывал, каюсь. Но это мы понимаем... Расчувствовались, наверно?

— Ничуть. — Михаил Юрьевич искал слова. — Конечно... То есть, я пытался...

Психиатр сочувственно кивал. — Я как чувствовал. Жизнь сейчас трудная. Хочется поддержать морально. Вы и с другими, наверно, вот так, по-свойски. — Доктор взял паузу и воспользовался платком. — Виноват.

— В разумных пределах. — Твердо отвечал Михаил Юрьевич.

— В разумных, говорите... Прекрасно, прекрасно. А вообще, как дома? Как настроение?

— Никаких проблем.

— Я ведь Илюшу Лидиного знал. Замечательный художник, дарил своим расположением. Сам я неравнодушен к прекрасному.

А недавно на улице Лидочку встретил. Первый раз за долгие годы. Вы в магазин отошли, а то бы прежде познакомились. Она про вас вспоминала. Просила, если будет возможность, окинуть взглядом. И прямо сюрприз, пока мы с ней проект составляли, как бы вас убедить, а вы уже тут, буквально, нарисовались. У вас с ней как?

Михаил Юрьевич не стал удивляться. — Вы лучше у нее самой спросите. Она сюда планирует. Я тогда к вам подведу...

— Обязательно. — Сказал доктор с энтузиазмом. — Тут главное, не запускать. Еще Илюша покойный тревожился. Она так под стеной и ходит?

— И не иначе.

— Вот видите. А если кирпич упадет? Знаете, как сейчас рассуждают.

— Вряд ли. А то, что с балконов льют на цветы — это да. Шляпа спасает. Еле уговорил. Все равно лучше, чем облучение. Вы ведь знаете...

— Знаю, знаю. — Подтвердил доктор. — У всех что-то есть... Я тоже детей отправил. Живу один, за могилками ухаживаю. У вас как?

— С могилками?

— Нет, вообще...

— Книгу пишу. Готовлю второе издание.

— А первое где?

Михаил Юрьевич постучал себя по виску. — Все здесь. А это — расширенное и дополненное.

— Вы только название не забудьте указать.

— *Самоучитель харакири.*

— Замечательно. Как вам такая мысль в голову пришла? Или специально увлекаетесь?

— Хочу товарищу в Нью-Йорк послать.

— Тогда и мне не забудьте.

— Я бы здесь многим направил.

— Думаете, воспользуются? Я бы не рассчитывал. Хоть, знаете, времена мутантур. Я помню, раньше к нам приводили. С идеями. Я, честно скажу, избегал, но ведь заслушаешься...

— *Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы...* Здорово как...

— Красиво — так лучше. Здорово — это нужно у доктора спросить. А одевать кто ее будет?

— Кого?

— Свободу. Сами говорите — нагая приходит. Или так и будет разгуливать, молодых людей смущать, Венера ваша... Хорошо еще, если с руками. А то ведь и прикрыться нечем... У нас климат, сами знаете, простудить легко. Как бы ни померла красавица.

— Беречь нужно, это вы правильно заметили. От нее и пойдет. Я сам позировал когда-то для портрета *шестидесятника*. Испытал лично. — Михаил Юрьевич разволновался.

— Так это вы были, — всплеснул руками доктор и схватился за платок. — Виноват. То-то я смотрю, лицо знакомое. Сколько лет, а вы все такой же. Вдохновенный, если позволите...

— Художник Кригель писал. У него недавно замечательная выставка была. Из Нью-Йорка привез. Отличный художник.

— А, а... Кригеля знаю. То есть не совсем лично. Мне тут недавно его картины предлагали.

— Вот видите. — В процессе разговора спало напряжение, и появилась уверенность: все будет хорошо. Мысль Михаила Юрьевича удивительным образом совпала со словами доктора. Значит, не перевелись единомышленники, не оскудела родная земля.

— Заканчивайте книжку, пока здоровье есть. Актуальнейшая тема. Видно, через самое сердце пропускаете. Небось, и болезнь отсюда. — Доктор вздохнул. — А палата какая?

— Седьмая.

— Это хорошая палата. Не меняйте ни в коем случае. Будут предлагать, а вы ни в какую. Я так и пишу. Здоров. И подпись. Я бы восклицательный знак поставил, но у нас не принято. Зато подчеркну дважды. Зовите вашу сестричку. Лично вручу, иначе нельзя. Лидочке привет. Так и передайте. Привет. И приводите побыстрее. Будет полностью здоровая семья.

— Она и так здоровая — Уточнил Михаил Юрьевич.

— Знаю, знаю. Но мало ли что. А вы уже были... И справка при вас. Пусть обязательно при выписке укажут. Консультация психиатра. Здоров.

Расставание прошло выше всяких похвал. Доктор вручил визитку. Михаилу Юрьевичу тоже предлагали напечатать, и возможность была, но он отказался. Принципиально.

Вроде бы, все. Но нет. День прошел, и в палату к Михаилу Юрьевичу заглянули. В рабочей одежде, то есть в такой, что по больницам не ходят. Раньше бы и сюда не пустили, но теперь порядок другой, как в лучших больницах мира. Зря ходить не станут, а если к близкому человеку или по делу, как сейчас, почему не пустить.

И эти пришли, один даже в ботинках до колен, будто с войны. Такому никакая собака не страшна. Другой — проще, в кроссовках, как сейчас ходят. Был еще третий, в синем халате, административного вида. Он и раньше попадался Михаилу Юрьевичу на глаза, а сейчас молчал.

— Это вас собака укусила? — Представился тот, что в ботинках. Он и вообще был старше. — Нужно лично удостовериться. Напишите, что мы были.

— А вы кто?

— Бродячими животными занимаемся.

— И что?

— Не обнаружили. Он (тот, что в кроссовках) специально спускался, весь обрыв исходил, чуть в мусорник не свалился. Видно, там она и питалась.

— Кто?

— Собака ваша. Нет там никого. Я с верха сторожил, заметил, если бы была.

— И что я должен записать?

— Что мы были. Положено так. Время рабочее.

Михаил Юрьевич подумал и написал: — Удостоверяю, Николаенко А.И. и Крутых Б.Е. обследовали склон *Больницы для ученых* и бродячих животных на нем не обнаружили. Дата (работники подсказали) и подпись.

Михаил Юрьевич не часто подписывал официальные документы и испытал какое-то новое чувство, названия которому он не знал.

Синий халат не произнес ни слова, подхватил документ, ознакомился, передал по адресу, а Михаилу Юрьевичу сказал благожелательно.

— Все под Богом ходим. Жизнь такая, что и собаку можно понять.

— Я же не за себя... — Начал было Михаил Юрьевич, но его уже не слушали.

Потом сняли кардиограмму на новом аппарате, который вернули из ремонта. Пошли обычные больничные дела.

Но и это не все. Ночью приснилась та самая собачка. Милейшее создание... Виляла хвостом, в силу прежних драматических обстоятельств хвост исчез из памяти. Но сейчас все было иначе. Михаил Юрьевич познакомил собачку с Лидочкой, и они пошли вдвоем, собачка чуть сзади. С балконов капало, но это была такая, извините, чепуха, что можно не вспоминать. Потом наткнулись на японца, немолодого и в очках, что для нас как-то непривычно. У нас все японцы дальнорюжие, как пастухи на горе Фудзи, а этот сидел в цветущем саду, на коврике, подобрав под себя ноги и воткнув меч в землю. Японец читал толстую книгу с непонятными знаками, возможно, творение Михаила Юрьевича, его как раз перевели на японский. Или какое-то другое, потому что пишут сейчас много. На глазах спящего появились слезы, и тут Михаил Юрьевич увидел женщину совершенно невиданной красоты, как оставили ее нам в подарок древние греки. И он опустился на колени с портняжным метром в руке, с карандашом в зубах и стал измерять божественную лодыжку.

И еще важно. Всю ночь счастливый Михаил Юрьевич проспал на левом боку.

Иван ПЛОТНИКОВ

/ Екатеринбург /



* * *

Идешь поперек хоровода,
сухой незаметный ручей,
как будто на слове «свобода»
закончился поиск вещей.

Идешь, распуская поруку,
водой шелестя травяной,
как будто движение по кругу
дано зачеркнуть тишиной.

* * *

Желтого коснешься огонька —
словно изнутри краснеет ноготь —
к этому дрожащая рука
в темноту опущена по локоть,

то ли в темноту закрытых штор,
то ли в темноту колючих веток,
так холодный трогаешь узор
ради тишины иного цвета.

В темноте летит быстрее света
двух немых понятный разговор.

* * *

в углекислом голоданье
обретенье вещества
не находят узнаванья
краснокнижные слова

взмах руки необратимый
открывает темный лес
как земные псевдонимы
что холодный воздух ест

как в твердеющей ледышке
созревает теплый мед
и в небесной передышке
пересмешница поет

* * *

Ягода волчья застынет на языке,
щебет и крик заключая в одном глотке.

Долгий огонь загорается без угля,
воздух между зубами холоден, как земля.

Что-то удержит сердце над пропастью немоты,
где были ягоды, стали расти цветы.

Пламя течет, словно в ветре растет трава
и отравляет только твои слова.

* * *

а если только музыка иная
где бесконечность нот в изнанке света
вода свой долгий ливень обгоняя
мгновеньем отражается в предметах

скажи воде в какой сонливый полдень
мы взгляд задержим думая о лете
на повести о невозвратном годе
где шум листвы в непостоянном цвете

а если только тишина и ветер

* * *

Увидел небо на земле,
и воздух ночью на балконе
так светел,
как прозрачен днем,
собой простертый на стекле,
и ветер, пойманный дождем,
горизонтально тонет

А ночью неба словно нет,
и вот, как дождь, увидишь звезды,
вдыхая подневольный свет,
когда всю ночь стучит вода
и отражает светлый воздух,
который для нее — звезда.

* * *

Речь легла сплошной фольгой,
воздух криво отражая,
но под ледяной рекой
движется вода большая.

Горизонт реки зашит,
и она без продолженья
вся в изломах и в движеньи,
да, застыла, но шуршит.

* * *

«Азбука белых флагов» —
легло на краю листа.

Если геометрии снега
дыханию будет мало,

если дорожный камень
всё соберет в себя,

стоишь пустотелый,
размахивая рукавами.

* * *

Из парка, шуршащего низкой тенью,
из леса, молчащего
просветами редкими
я ничего не выношу с собой.

И ясности мгновения
растворяются
словно летний пейзаж
после первого осеннего ливня,

но зеркало окна
помнит смутно его отражение.



Марк БОРНШТЕЙН

/ Санкт-Петербург /

МАМА

Воспоминания Татьяны Аркадьевны Борнштейн
(в девичестве Мельницкой, 1910–2006 гг.),
записанные её сыном по устным рассказам
в сентябре 2020 года

ДОБРЫНИ

— Да что ж ты всё бегаешь взад-вперёд, то в дом, то из дома?

Ну как им объяснить, взрослым, что вот этот чудный запах в деревянном доме — смоляной, яблочный, табачный — через какое-то время исчезает, и надо выскочить наружу, побегать немножко, и — снова в дом. И тогда он обдаёт тебя, как в первый раз.

Так мама рассказывала про приезд в родовую усадьбу Добрыни в Тверской губернии, где она проводила летние месяцы до 1916 г. А её отец, контр-адмирал Аркадий Александрович Мельницкий, уйдя в отставку, жил там постоянно.

Утром он тихонечко стучал в стенку: «Шишулька!». А она давно уже ждала этого стука, пулей неслась к папе и ныряла к нему в постель. Тут можно было заплетать косички в пышной раздвоенной адмиральской бороде, что доставляло огромное удовольствие обоим. На ночном столике стоял удивительный прибор, в который папа на ночь укладывал свои часы. Стоило нажать на кнопку, включался свет, и на потолке загорался крупный циферблат со стрелками. Все стены в спальне были испещрены пулями — это папа с маминым старшим братом Мишей стреляли из пистолетов по сучкам. А над кроватью висела большая фотография линкора «Севастополь», на котором папа ходил в кругосветное плаванье.

Дома он носил одни и те же белые морские брюки, в которых ходил в плаванья. Однажды бабушка (мамина мама, Елизавета Михайловна) решила их то ли выстирать, то ли выбросить, и тайком их забрала. Поднялся дикий скандал с хлопаньем дверей по всему дому, с криками «Подлецы, мерзавцы, где мои шта-

ны?» — «Аркашенька, я их выбросила, — робко говорит бабушка, — надень другие». — «К чёрту другие! Подать мои штаны!» Штаны были возвращены.

Дедушка всегда сам занимался сельскими работами, ну и крестьян тоже нанимал, конечно. Однажды купил американский плуг, роскошный, чуть ли не никелированный. Все домочадцы и крестьяне вышли смотреть, как он будет пахать. И тут выглянуло солнце, и плуг засверкал. Мама от восторга завизжала. Лошадь перепугалась, махнула через забор — и плуг сломался. Нянька поскорее увела маму в дом, который так и трясся от дедова гнева. «Вот черти-то тебе принятся!», — говорила нянька, укладывая маму спать. Но мама увидела во сне ангела, который смотрел на неё и улыбался.

Аркадий Александрович обладал какой-то сказочной физической силой. Нераспечатанную колоду атласных карт он рвал пополам. Однажды в каком-то портовом английском кабаке он увидел, как моряки безуспешно пытаются поднять стул за переднюю ножку. «Позови-ка мне того мерзавца», — говорит он старпому (здесь не было намерения обидеть, просто в лексиконе деда не было других обращений, кроме «подлецов» и «мерзавцев»). «Русский офицер просит вас подойти», — переводит старпом. «Ес, ватер-клозет», — говорит дед, указывая на стул (других английских слов он не знал). «Русский офицер просит вас сесть». Берет стул за переднюю ножку и, немного поелозив им по полу, ставит на стол вместе с мерзавцем. А вот этому эпизоду мама была свидетелем: настройщики рояля никак не могли подобраться к педали для ремонта. Отогнав подлецов в сторону, дед уселся на стул, поднял рояль на одной ноге и, обхватив её руками, так держал всё время, пока подлецы ремонтировали. Ему было около семидесяти лет. Аркадий Александрович до глубокой старости не был знаком ни с болезнями, ни с медикаментами. И Елизавете Михайловне стоило большого труда преодолеть медицинское невежество мужа.

— Аркашенька, ты принял лекарство?

— Конечно, Лизанька, ещё вчера.

— А сегодня?

— А сегодня ты мне не давала.

— Так я ж тебе вчера дала 30 порошков на месяц.

— Вот я их и принял.

Ещё маме довелось наблюдать, как Аркадий делал в подарок жене серебряную розу. Всякие ювелирные инструменты (валки, фильеры и пр.) у него водились. Раскатав серебряный рубль в тонкую фольгу, ножницами вырезал из неё лепестки, выгибал их, спаивал и сажал на стембель, который волочил из того же рубля через фильеры. Мама глядела, как зачарованная, на всю эту работу и не понимала, как можно этой здоровенной лапищей делать такие изящные вещи.

А однажды Аркадий поразил всех, поднеся Лизавете вальс собственного сочинения. Бабушка великолепно играла на рояле, была ученицей юного Александра Зилоти, того самого друга Рахманинова, которому он посвятил знаменитую польку. Дед на рояле не играл (пальцы были двойной ширины), но грамоту знал. Бабушка взяла ноты, села играть — действительно, чудесный вальс, хотя чуточку знакомый. Оказывается, хитрец перевернул ноты шопеновского вальса и переписал, расставив новые знаки.

Иногда маму спрашивали, что приготовить на сладкое. «Мороженое», — всегда отвечала мама. Крутили мороженое в специальном цилиндре с ручкой, закреплённом в тазу, в который накладывали лёд и посыпали его солью. В мороженое добавлялась ягода — клубника, малина, черная смородина. А подавали всегда на кленовых листьях, уложенных на тарелки. Раковое суфле подавалось в больших раковинах от моллюсков. Однажды мама попросила, чтобы обед ей накрыли на чердаке, где стоял одуряющий запах от хранившихся там яблок. И ведь послушались малышку!

Мама очень любила бегать в цыганский табор. Когда они приезжали, дед всегда разрешал ставить шатры на территории усадьбы, а ещё делал цыганкам мониста из принесённых ими монет. Маму угощали леденцами, которые готовили на костре на листе жести. А мальчишки научили прицельно плевать сквозь зубы и свистеть. Но для побега в табор нужно было улучшить момент, когда нянька пьёт чай с кухаркой. Приходит как-то к бабушке старуха из табора: «Лизавета Михална, уйми ты своего Ключа, ну что ж он Шурку смущает?». Николай Ключев (не поэт) — кто-то из родни, молодой человек. А мама однажды видела, как они с Шуркой-цыганкой целовались в малиннике.

Вообще летом молодёжи в доме бывало много: двоюродные братья и сёстры, Мишины однокашники (он учился в Пажеском корпусе). Катались по Клецину озеру в челноке, который Миша сам выдолбил, играли в крокет, серсо, в горелки. И страшно издевались над мамой, перекидывая её котёнка Рыжика, как мячик, через каменное крыльцо. А мама в слезах бегала от одного к другому. Жили мальчишки в одной комнате рядом с буфетной, которая стала называться «воняльник». Миша с Лилей постоянно дразнили маму, называли её «плёдлесью» — у мамы не получалось правильно произнести название изысканного цвета «серо-буро-малиновый с продресью», зато брат с сестрой разрешили ей публично говорить «говнизия».

Гостил в Добрынях молодой польский скульптор Станислав Дерш. С ним у бабушки возник роман, и в 40 лет она забеременела. Дед принял это спокойно, но твёрдо сказал, что если родится мальчик, он ему имени не даст (фамилии Мельницкий). Но родилась мама, и дед полюбил её, как родную, даже больше. А имя ей дали Лиля с Мишей, которые были старше на 14 и 15 лет. Бабушка хотела назвать её Музой, но Миша с Лилей воспротивились не на шутку. Миша стал точить свой кортик: «Если назовёте Музой — зарежу!». — «Ох,

да называйте, как хотите!» И назвалась она Татьяной. Не откажешь молодёжи в хорошем вкусе. Станислав был мобилизован и погиб на фронте. Мама помнит бабушку с телеграммой в руках, повторявшую: «Стасинька, Стасинька...».

Другом дома был ветеринар по прозвищу Сямчик. Когда он приходил к чаю, самовар тут же уносили, а появлялся большой, ведёрный. Сямчик меньше дюжины чашек не пил. Однажды его позвали спасть Рыжика — у него рыба кость встала в горле вертикально. Сидит, широко раскрыв глаза и рот, и не может мякнуть. Сямчик легко, в одно движение убрал кость, и Рыжик удрал.

Кроме Рыжика из маминой живности был ещё щенок Тютка, которого бабушка где-то подобрала и под дождём принесла в зонтике. А у деда были две большие собаки — Норка и Нептун. С Нептуном случилась беда: во время еды мама слишком близко подошла, и он на неё страшно зарычал. Дед увёл его в лес и застрелил из пистолета.

Потом из этого же пистолета чуть не насмерть застрелилась сестра Лиля, не получив от отца разрешения на брак с возлюбленным Петей, железнодорожником. Стрелялась в зарослях сирени. Мама помнит, как отец нёс её оттуда на руках, а из волос падали шпильки. Потом, наверно, уже после революции, они поженились и жили в деревенском доме в Окуловке. Мама там была. Против русской печки стоял концертный рояль, и Лиля, блестящая пианистка, в паузах меж хозяйских дел садилась нему и играла. Там и родились трое детей: Александр, Наталья и Аркашенька.

Брат Миша тоже женился весьма оригинально. Был послан другом к какой-то Лидочке (Лидии Васильвне Базловой) сделать от его имени предложение. Но увидев эту Лидочку, напрочь забыл о друге и сделал ей предложение сам. Получил согласие и женился. Мама помнит венчание со множеством флёр д'оранжей. Умер рано, в 1921 г. Остался сын, тоже Михаил.

Сам Аркадий Александрович свататься приехал к своему сослуживцу Михаилу Ивановичу Батьянову, впоследствии генерал-лейтенанту свиты, члену Военного Совета, в его имение «Золотое Яблочко» недалеко от городка Сарны, много позже назначенное в наследство внучке Татьяне, моей маме. У Михаила Ивановича было к тому времени четыре незамужних дочери: Елизавета, Елена, Вера и Машута. «Выбирай», — говорит Михаил Иванович, — «вон они за окном на лужайке в мяч играют». — «Мне бы вон ту», — показал дед на старшую, Елизавету. А на красавице Елене женился Николай Плещеев, племянник поэта. Их дочь Леночка вышла замуж за Васю Мельницкого, того озорника, что вместе с Мишей перекидывал Рыжика. Родили Ирину и Андрея, моих любимых брата с сестрой. Леночка пережила блокаду, но, упав на улице, сломала ногу. У соседки едва хватило сил дотащить её до дому и уложить поперёк кровати. Нога срослась на 11 см короче. Пришлось ломать вторую и подравнивать. А тётя Машута с дядей Володией погибли в Соловках.

Когда прадед получил орден Андрея Первозванного, это большая осьмиконечная звезда, усыпанная бриллиантами, он тут же заказал копию со стразами, а бриллианты роздал дочерям на украшения.

Однажды произошло вполне историческое событие. Бабушка с кем-то из сестёр возвращались в Добрыни и, проезжая какую-то деревню, услышали плач и причитания. Оказывается, умерла вдова Данилова, оставив двух девочек круглыми сиротами. Сёстры дали денег на похороны, а девочек взяли на воспитание. Бабушке досталась Шурочка. Спустя какое-то время бабушка заметила у воспитанницы постоянную тягу к танцу. Показала её Агриппине Вагановой. Той девочка так понравилась, что сразу была принята к ней в школу. Потом — революция, голод, а балерине нужно особое питание, нужны и силы, и фигура. Как уж бабушка выкручивалась, неизвестно. Но все ели, что придётся, а для Шурочки всегда был бифштекс. Наверное, помогал Первозванный. После учёбы Шурочку сразу взяли в Мариинку, где довольно скоро она стала получать главные партии. Партнёром был замечательный танцор Георгий Баланчивадзе, за которого она и вышла замуж. Он увёз её в Париж к Дягилеву, а потом в Америку. Имена Джорджа Баланчина и Александры Даниловой стали известны всему миру. Где-то на рубеже тысячелетий Александра навестила Петербург, но мама этого не знала, а Шурочка ничего не знала о маме. А могли бы встретиться! Александра дожила до 102-х лет, а мама всего до 96-ти.

А закончилась жизнь в Добрынях в 1917 году. Пришли к деду крестьяне: «Батюшка, Аркадий Алексанч, надо вам уезжать, нам велено вас жечь. Поможем собраться и подводы дадим, прости нас грешных». Уехали в Афимьино, имение гр. Отто. Там дед и скончался на следующий год. А в усадьбе был устроен клуб, который в том же 1918 г. и сгорел по-пьяни.

Волею судьбы мои друзья — Юлий Андреевич Рыбаков, художник и правозащитник, депутат двух сроков Госдумы, и его жена, Екатерина Михайловна Молостцова, учитель биологии, дочь другого депутата Госдумы и правозащитника Михаила Михайловича Молостцова, оказались соседями по Еремково, на другом берегу озера от Добрынь. Будучи у них в гостях где-то в начале тысячелетия, мы пытались найти следы усадьбы. Нашли краеугольные камни коровника, где мама в 5-летнем возрасте доила свою корову, яму, выложенную огромными валунами — ледник, куда свозили лёд с Клещина озера, и никаких следов усадьбы. Но через пару лет Юленька, их дочь, сумела разыскать её следы среди разросшегося кустарника. И я храню несколько обломков печных кирпичей и оплавленные кусочки оконных стёкол — всё, что осталось от Добрынь. Самое удивительное, что мы ходили по плану, нарисованному мамой в 90-летнем возрасте. План абсолютно точный. До сих пор не понимаю, как мог ребёнок 6-ти лет увидеть и запечатлеть на всю жизнь огромное пространство с

соседними деревнями, ж/д станцией, почтой, клиникой доктора Морковина, который спас Лилю после попытки самоубийства, плана самого дома. И сейчас пишу эти заметки только по рассказам мамы, сохранившей эти воспоминания до конца своих дней.

ПЕТЕРБУРГ

Жили Мельницкие в Песках, где-то в 4-й или 5-й Рождественских (до сих пор Советских!). А мамин дедушка, Михаил Иванович Батъянов, в 20-м доме на Надеждинской (Маяковского).

Одно из ранних ярких маминых воспоминаний. На новогодней ёлке в гостях у товарища детства Коти Смирягина был подан горячий шоколад. Мама опрокинула чашку на белую скатерть. Все её успокаивали, но безуспешно. Пришлось увести домой. Поднялась высокая температура, и мама несколько дней провела в постели в горячке.

Как-то у Михаила Ивановича был приём по случаю Пасхи. Длинный стол был покрыт скатертями в цвета российского флага. А по средней, синей полосе, расставлены вазочки с гиацинтами. Ждали гостей, в зале никого не было. Мама забралась на стол и стала собирать цветочки в свой фартучек с кармашком. Была поставлена в угол. Но там она чувствовала себя превосходно: угол закрывался японской ширмой с вышитыми птицами и цветами. И во время наказания мама понемножку распускала ниточки вышивки. Возможно, это была та самая ширма, которую вышивала ее мама, Елизавета Михайловна. Там было 8 или 9 створок. Когда бабушка закончила последнюю, первую пришлось вышивать заново — слишком была велика разница между работой начинающей вышивальщицы первой створки и опытного мастера последней.

Однажды Михаил Иванович давал обед для званых гостей высокого ранга. Семья тоже принимала участие. Дети — подростки Лиля, Миша и Леночка, хорошо подготовились. В Знаменской улице (Восстания) недалеко от площади был замечательный магазин шуток и розыгрышей. Например, там можно было купить связку металлических пластинок, которые при падении издавали звук разбитой посуды. Очень хорошо было её бросить за дверь перед тем, как слуги должны были принести сервиз. Или, например, сухая чернильница в паре с лужицей пролитых чернил, которая начинала двигаться, когда её пытаешься снять промокашкой. Помню роскошный бокал с красным вином, которое при наклоне приближается к краю бокала, но не выливается (двойные стенки). В этом чудесном магазине дети купили несколько пар невинных игрушек: тоненькая резиновая трубочка соединяла маленькую резиновую грушу с миниатюрным подобием футбольной камеры, такой крохотный лепесточек, который раздувался при нажатии на грушу. Эти вот лепесточки были разложены под скатертью под все приборы, а груши гроздьями прятались за свесом скатерти возле детей. Обед начался вполне благо-

пристойно. Но вот кто-то из гостей потянулся за соусом, а соусница слегка покачнулась. Другой захотел взять солонку — и та заколебалась. Потом задышали и тарелки гостей. Дети сидели непроницаемые. У всех вдруг оказались срочные дела, и наспех извинившись, гости заспешили к выходу. «Куда вы, Иван Петрович, а макароны?», — воскликнул вдогонку Михаил Иванович, еле сдерживая смех. Никаких макарон в меню не было. Когда зала опустела, прадед дал волю хохоту: «Ну, черти, показывайте, что это вы придумали». Тут уж и дети расхохотались.

Невысокого роста, со жгучими глазами, молдаванин по национальности, шутник и озорник, Михаил Иванович Батьянов был вместе с тем человеком какого-то органического бесстрашия. Участвуя совсем молодым офицером в Крымской кампании, он бросился в горящий пороховой склад на Малаховом кургане, и с двумя матросами потушил пожар. За это был представлен к Георгию. А в его кабинете над столом, где полагалось висеть царскому портрету, мама видела венки, поднесённые евреями из местечка Тульчина, которых он спас от погрома, подняв свой батальон.

Служил прадед и на Кавказе, где нашёл свою первую жену, красавицу-гречанку. В Хасав-Юрте родилась бабушка Елизавета. Жёны рано умирали, он женился снова, под конец уже путал детей с внуками. Ну поди тут разбери, когда племянник нянчит своего дядю, а внучка — сына. «Кто это?», — спрашивает он тихоноком, указывая на младенца. «Это Боренька, ваш младшенький». Последней, третьей женой была Лидия Мстиславовна, фрейлина императрицы, у них детей уже не было.

Умер Михаил Иванович в 1916 году. Мама помнит, как его везли на лафете по Невскому в Лавру. Множество народу, военных, салют. Пришла под густой вуалью известная актриса Лидия Борисовна Яворская, его любовница. Дружила с Чеховым, с Ростаном, а в Пенах у Репина после обеда тайком ела привезённую с собой ветчину. Все бабушкины сёстры демонстративно отвернулись от неё, а Елизавета Михайловна подошла к ней и протянула руку. Этот эпизод маме особенно запомнился. После чего бабушка рассорилась с сестрой Машутой. На похоронах мама впервые увидела папу в мундире, при орденах, с адмиральскими эполетами. Потом мама заставила его с ней фотографироваться. Дед сидел на стуле, а мама стояла у него между ног. Мама помнит эту фотографию, но она не сохранилась. После этой церемонии дедушка отдал маме эполеты распускать на причёски куклам.

Как было принято в дворянских семьях, маму учили французскому. Была приглашена мадемуазель Сидони. «Лё кок», — говорила она, показывая на петуха. «Нет, петух», — возражала мама. «Ля ваш» — «Нет, корова!». Учёба никак не ладилась. «Ля баль» — показывает мадемуазель на мячик, и тут маму прорвало, ей понравилось слово, она вскочила и побежала по комнатам, выкрикивая «Ля баль! Ля баль! Ля баль!..» На этом французский и кончился.

Однажды сестрички Лиля и Леночка (двоюродная) повели маму в зоосад. Запомнился только какаду. Его рекламировал восточный человек, похожий на армянина: «Ам-мериканский как-каду! Серет только р-раз в году! И пр-ритом — на ходу! Пр-ропустите барышень посмотреть!» Эту историю я услышал от тёти Лены, но она никак не могла вслух произнести, чем именно этот попугай занимается ежегодно. Наворачивала эвфемизмы, а я никак не понимал. Потом мама всё рассказала без купюр.

Ещё один замечательный эпизод, которого мама видеть не могла, героем его была маленькая Лиля. Дед вернулся из кругосветки (у него их было четыре) и встал на якорь против Адмиралтейства, там, где львы стерегут лестницу. Встречать вышел Государь со свитой. Моряки стоят в две шеренги, дед выходит из шлюпки, и его матросы (небывалый случай) подносят ему огромную бельевую корзину цветов. Музыка. Высочайшее поздравление с благополучным прибытием. И вдруг Лилин крик: «Мама, мама, вот он! Я его узнала!» — и показывает пальцем на одного матроса, который тайно встречался с кухаркой. Бедняга окаменел. Доносчицу увели.

Однажды дед взял бабушку в большое плаванье. Побывали в Каире, в Индии, на Цейлоне, в Японии. Как-то он привёз из плаванья ей подарок — подносит сжатый кулачище, раскрывает, — и оттуда выпархивает, расправляясь, огромная кашемировая шаль. А вот в Париже дед был зван на официальный приём с обязательным присутствием супруги. У него была парадная одежда, а у бабушки — нет. Отправились к самой знаменитой модельерше — то ли Мими, то ли Коко. Так мол и так, а завтра нужно вечернее платье. — Па де проблем! — А успеете? — В котором часу приём? — В семь. — Приходите к шести. А сейчас выберем ткань. Распахивает двери, а там — роскошный магазин. Выбрали шёлк модного цвета «танго» — такой шафранистый персик. Очень к лицу смуглянке Лизавете. Назавтра приходят к шести получить заказ, а там и конь не валялся. Дед было в ярость, но Мими-Коко мигом его успокоила. Её бригада мгновенно сшила холстинковый чехол по фигуре в обтяжку, а дальше начались чудеса. Мими-Коко прямо от рулона прикладывала ткань, где-то запускала складки, где-то бросала её от плеча к полу, где-то подрезала движение ткани в самых неожиданных местах. Всё это прикалывала булавками, а её мастерицы тут же примётывали. Десять минут — и готово ослепительной красоты платье. Дед глядел, разинув рот, на это колдовство. а бабушка боялась шелохнуться, чтобы платье не пришили к ней. Отблестав на приёме, вернулись в отель. И тут бабушка обнаружила, что платье не снимается. Мадам и в голову не пришло об этом предупредить. Пришлось срочно всё распарывать, а дома бабушке сидеть за свой Зингер, чтобы Лилия с Мишей могли щеголять в рубашечках цвета парижского танго.

Несколько десятков лет мне не давала покоя эта история. Но вот в начале 80-х годов в Магнитогорском театре «Буратино» затеяли

«Варшавскую мелодию», и я решился сделать концертное платье Гели по парижскому рецепту. Наверно, модель дома Мими-Коко была более изысканной, но зато моя не была одноразовой.

Как-то в гости зашла дама, по словам бабушки — высшего света. В прихожей шепотом спросила у мамы, как зовут новую прислугу. «Здравствуй, Грушенька!» — обратилась к ней по имени. А в следующий визит уже справилась о здоровье, о семье.

Довольно рано у мамы стали проявляться творческие склонности, но музыкой с ней не занимались: рояль был постоянно занят то Лилей, то бабушкой, да и как-то было не до неё. Тогда мама самостоятельно по примеру Шуручки пошла в Вагановское училище, и была принята. Но бабушка, узнав об этом, увела её рыдающую из училища, решив, видимо, что одной балерины в семье вполне достаточно. И только в 30-е годы, уже будучи самостоятельной, мама смогла купить рояль и стала сама заниматься. Помню прелюды и мазурки Шопена, 8-ю и 21-ю сонаты Бетховена. Мама очень хорошо играла, хотя такой техники, как у Лили или бабушки, было уже не достичь.

В гостях бывали известные актёры Александринки Ходотов и Давыдов. Когда Владимир Николаевич Давыдов, будучи очень пожилым человеком, иногда на несколько минут засыпал за обедом, бабушка просила гостей сделать паузу в еде, чтобы он, проснувшись, не заметил своего отсутствия.

Вот припомнился ещё забавный случай. В Пажеском корпусе, где учился дядя Миша (это на Садовой, где теперь Суворовское училище) на церковной службе батюшка читал проповедь о благонравном поведении. И Миша в ответ пропел низким дьяконским басом: «Поста-раем-ся-а-а». Был посажен на гауптвахту, откуда его забрал дед Михаил Иванович в закрытой карете без ремня и фуражки.

Ещё несколько примет дореволюционного времени в маминих воспоминаниях. Сам ритм жизни был совсем другой, очень неторопливый. Пешеходы, извозчики, конки, автомобили крайне редки. Телефонов почти не было, так что в гости ходили на удачу. Дамы во время визитов всегда были со своим рукодельем (вышивка, вязанье). Попутные продукты покупались в небольших количествах — 50, 100 г, холодильников-то не было. Бумажный пакетик обвязывался бечевкой с маленькой деревянной палочкой, см 5-ти, и привешивался к пуговицам верхней одежды мужчин. Когда садились в конку, мама всегда просилась на империал, верхний салон. У Владимирского проспекта была остановка, и припрягалась ещё пара лошадей, чтобы подниматься дальше, к Знаменской (пл. Восстания). Невский и прилегающие улицы были мощены торцами (деревянные брёвнышки см 40 высотой шестигранной формы укладывались наподобие сот). По ним лошади и экипажи двигались почти бесшумно. Мне ещё до-

велось увидеть фрагмент этого торцевого мощения, сохранившийся в угловом проходе между ул.Декабристов и Львиным переулком. Потом закатали асфальтом.

В ИЗГНАНИИ

Воспоминания об Афимьине, куда переехали из Добрынь, связаны с нуждой и голодом. Бабушка очень мучилась без папирос. Пробовала покурить чай, но сразу — сердечный приступ. Миша устроился работать счетоводом в сельсовет. Отдали маму в школу с большим опозданием, сразу в 3-й класс (по возрасту). Мама считала, что её забыли вовремя отдать. Не знаю, но осень 17-го года была не лучшим временем для поступления в школу. Эти пропущенные два года тяжело сказались на всей дальнейшей учёбе, мама никак не могла догнать программу. И самым трудным была математика. Мама пропустила даже таблицу умножения, и до старости ходила в магазин с вырезанной из обложки школьной тетради таблицей. Отличницей была только по географии — это от папы-морепопавателя. Огромную мамину косу ниже спины школьники привязывали к скамейке парты. Когда маму вызывал учитель, она вставала, и тут же падала обратно. Класс смеялся.

Посреди озера, где все купались, был островок, куда дети плавали собирать землянику. Мама не умела плавать, это было до слёз обидно. Но однажды ей приснилось, что она плавёт, во сне это было очень легко, и даже побывала на островке. На следующий день мама сразу поплыла и добралась до заветного островка.

С разрешения властей в каком-то огромном пустующем сарае Мельнице устроили театр. Строительством занимался Миша, а репертуаром и режиссурой бабушка. Играли в основном водевили. Как-то Миша после антракта забыл приклеить усы. Выйдя на сцену, увидел страшные глаза бабушки, прикрыл рот рукой и со словами «пардон, пардон» попятился в кулису. Через минуту вернулся в усах. А однажды кого-то из партнёров понесло: он стал чесать весь текст подряд, весь диалог. Бабушка как хлопнет рукой по столу: «Позвольте, это же я вам всё хотела сказать!». И диалог продолжался, как ни в чём не бывало. Потом театр прикрыли.

Мама ходила по заброшенным домам и обрывала провода ненужных звонков. Вытаскивала из них золотистую проволоку и делала серёжки, которые у местных девок шли нарасхват. Это был её первый самостоятельный заработок. Расписывала шарфики химическим карандашом, не подозревая, что это станет её будущей профессией.

Потом мама с бабушкой оказались в Вышнем Волочке, в гостинице. Мама заболела корью. И тут же началась страшная болезнь — маме стало казаться, что бабушка её бросит, и не отпустила её ни на шаг. Это продолжалось довольно долго, и только когда бабушка слегла, мама немного успокоилась — теперь не сбегит. Бабушка

лежала без сознания, но вдруг приподнялась с подушек, широко раскрыла глаза, и ясным голосом спросила: «Танюбочка, что это?». После чего снова легла и отошла. Маме было 14 лет.

Какое-то время мама была в детдоме — там же, в Вышнем Волочке. Там на улице увидела большую чёрную собаку на поводке и позвала: «Тютка». Собака бросилась к ней — и ну целовать. Хозяин подошел, спросил: «Девочка, ты — Мельницкая?» — «Да». — «Так это ваша собака». Однажды мама наступила на ржавый гвоздь, торчащий из доски, и насквозь пропоролла стопу. Доктор во время операции повесил ей на ногу свои очки: «Если дёрнешься, я больше никого не смогу лечить». И мама лежала, не шелохнувшись, терпя адскую боль.

А потом маму забрала к себе Лиля, в избу с роялем. Однажды мама прибежала к Лиле, возбуждённая радостным открытием: «Представляешь, я прочла такую книжку! Там юноша и девушка полюбили друг друга, но не могут пожениться — их родители в ссоре. А потом он ещё нечаянно убивает её брата...» — «Ну так это «Ромео и Джульетта», это все знают», — невозмутимо сказала Лиля. Так и мне однажды в девятилетнем возрасте повезло найти в соседском дровяном сарае, куда сносился всякий хлам, разрозненные книжки журнала «Вокруг света». И там я наткнулся на повесть без начала и конца про каких-то гёзов, про герцога Альбу, про кошачий клавесин короля, про убийцу рыбника с вафельницей... Через много лет я узнал, что это был «Тиль Уленшпигель», знаменитый роман Шарля де Костера. Но первое впечатление при свечке в пыльном сарае было гораздо ярче.

ЛЕНИНГРАД

В 18 лет мама вернулась уже в Ленинград. Наверно, вместе с Лилиной семьёй. Леночка тоже вернулась, жила с детьми в коммуналке в Дмитровском переулке, 11. Потом и мама получила комнату на Коломенской, 20. Сделала попытку поступить в Академию Художеств, но у неё даже документов не приняли, поскольку она «непролетарского происхождения». И тут сторож Академии, увидев расстроенную девочку, решил ей помочь: «А ты попробуй, девонька, в ГХПТ». Только что открылся при Академии художественно-промышленный техникум, где было отделение росписи тканей. Мама решила, что это ещё лучше. И её приняли! Там были замечательные педагоги: Георгий Траугот, графику и шрифт преподавал Бейер, композицию — Лина Осиповна Короткова, которую иногда подменял её муж — Иван Андреевич. Потом он стал главным художником Большого театра кукол и преподавателем в Театральном институте. У него-то и я учился, уже в 60-е годы. Увидев у меня на защите диплома маму, он воскликнул: «Таня? Мельницкая? Я ж тебя по ногам узнал!». А у мамы до самой глубокой старости были необычно-

венной красоты и изящества ножки, и всегда на каблучках. «Что ж ты раньше не объявлялась?». А мама не хотела, чтобы их знакомство как-то влияло на мою учёбу.

И вдруг на последнем курсе ГХПТ студентам объявляют, что их отделение закрывается, а кто хочет — может перейти на педагогическое. Мама перешла, и по окончании была распределена в Институт Народов Севера преподавателем ИЗО (изобразительных искусств). Мама очень полюбила северян — ненцев, нанайцев, чукчей, эвенков, лауроветланов — за их открытость и доброту. Она никогда не раздражалась, если после объяснения задания кто-то поднимал руку и спрашивал: «Пер-подаватель, что мы будем делать?». И они платили ей такой же любовью. Что касается ИЗО, мама их только знакомила с разными материалами, а рисовать сама у них училась.

Но вот в году так 36–37-м на Ленфильме открывается студия мультипликации. Дело совершенно новое. Мама пришла со своими работами, и её сразу взяли — увольняйтесь и приходите к нам. Уволилась, пришла в отдел кадров. Посмотрели документы — нет, вы нам не подходите. Почему? Происхождение-то непролетарское. Что делать? В институт уже не вернёшься, пришлось идти в артель по росписи шарфиков, галстуков, платков, косынок батиком (древняя индийская технология, закрывающая горячим воском части рисунка для следующего слоя краски). Её работы высоко ценили, назначили мастером.

А потом привели учеников, молодых людей. Выбирайте. Мама, не колеблясь: «Мне — вот этого». Это был Иосиф Григорьевич Борнштейн, будущий мамин муж и мой отец. Его тоже не приняли в Академию Художеств, хотя допустили до экзаменов. Ему просто поставили двойку за рисунок. Отец пришёл к профессору и спросил, правда ли его рисунок так плох? «Ваш рисунок лучший, — сказал старик-профессор, — но я не могу бороться с этими комсомольцами». Папа сдуру пришёл на экзамен в белых штанах, да и с происхождением тоже не всё было в порядке: его отец, Гирш-Лейб Иосифович, купец 1-й гильдии, торговал сибирскими лесами, а Елена Михайловна Кушак, его мать, — тоже купеческого сословия. Не получив образования, папа всё-таки стал художником. Его оформительские, художественно-графические работы для меня были начальной школой будущей профессии.

Отец любил поэзию!!! И маму-то он пленил стихами Киплинга. Был дружен с Валентином Стеничем, переводчиком Киплинга, со многими молодыми поэтами. С Борисом Корниловым, ближайшим другом, в весёлых компаниях молодых поэтов было много разгульного пьянства. Пили на пари «аршин», это, когда периметр аршинного квадрата выстраивался из напёрстков водки, а середина заполнялась закуской по требованию спорщика. Назначалось время (час, например). Проигравший платил штраф. Иногда игра-

ли в «большой аршин» — это уже не периметр, а вся площадь аршина уставлялась напёрстками. И конечно, чудили. Однажды кому-то из компании засунули половую щётку с длинной ручкой в рукава застёгнутого пальто. Он так и ходил, распятый, не имея возможности освободиться без посторонней помощи.

Когда папа привёл Бориса Корнилова домой — у того разбежались глаза: шесть сестёр одна другой краше. Потом всё-таки остановились на одной, на старшей, Люсеньке (Цыпе), и они поженились. Это произошло через несколько лет после его разрыва с Ольгой Берггольц. И вторая папина сестра Нюсенька (Хана) тоже не без папиного участия познакомилась и вышла замуж за поэта и журналиста Николая Слепнёва. Жили в «Слезе» на Триицкой. Дом №7 на улице Рубинштейна (тогда — Триицкой) был построен специально для литераторов. Назван был «Улыбка социализма», там была архитектурно реализована социалистическая идея: у каждого литератора своя спальня, но столовая, кухня, залы для работы и отдыха, туалеты — общие, чтобы творцы могли постоянно общаться. Довольно скоро обитатели переименовали его в «Слезу Социализма», так и вошёл в историю. Сейчас на нём висит памятный барельеф Ольги Берггольц, а у тётки Нюси с Николаем постоянно бывала неразлучная парочка — Евгений Шварц с Даниилом Хармсом. И Корнилова, и Слепнёва в 38-м расстреляли. Хармса чуть позже. У мамы много лет хранилось последнее письмо Бориса Корнилова Люсеньке из тюрьмы на Шпалерной. Недавно я его обнаружил и передал их дочери Ирине, живущей в Париже.

Поженились родители в 1940-м году, 30-го апреля. Папа был немного суеверен, и, спохватившись, что в мае жениться нельзя, чтоб весь век не маяться, бросился с мамой в ЗАГС. Дело было вечером, и ЗАГС уже закрылся. Но (надо знать характер отца) он уговорил работников его открыть, и их расписали. Свадебный подарок папы был глубоко символичным. Это был молоток. Нельзя сказать, что у папы руки не из того места росли, он делал тончайшие графические работы, но всё же первые уроки столярного ремесла мне давала мама. Отец стал её вторым мужем. Первый — Николай Струбинский — работал в лаборатории Шора по созданию звукового кино. С ним она прожила недолго. Вскоре его арестовали (37 или 38 гг.), и вслед за ним всю семью. Маму, конечно, тоже должны были арестовать, но она по девичьему легкомыслию забыла поменять паспорт и осталась Мельницкой. Её и не нашли. Хотя в Большой Дом зачем-то всё-таки таскали. Следовательно, молодой и воспитанный человек с безукоризненными манерами, предложил ей стул, был вежлив. И мама вела себя не как перепуганная подследственная, а как молодая красивая женщина. Отпустили. Но в коридоре за открытой дверью увидела на полу гору паспортов: репрессированных? расстрелянных? Больше о Струбинском ничего не слышала.

До знакомства с папой мама понятия не имела, что такое еврей и еврейство. И вот отец приводит новобрачную в родительский дом

для знакомства. Дед Григорий, сидя за столом, демонстративно закрывается газетой. Мама разговаривает с Еленой Михайловной, с сёстрами, а дед отсутствует. И несколько лет он не признавал гойку (не еврейку) за жену сына. Мама не знала, как быть, как себя вести. «Ты ему жена?» — спросила маму её педагог по пению. «Жена». — «Ну так и веди себя, как жена». С Екатериной Александровной Волковой (урождённой Вернер), педагогом по пению, маму познакомила её сотрудница Ирина Сергеевна Теодорович, урожденная Квашнина-Самарина, тоже неправильного происхождения, настоящая русская красавица древнего дворянского рода. Екатерина Александровна после окончания консерватории попала в Мариинку. Но вскоре её заметил режиссёр и стал делать ей такие предложения, что ей пришлось уйти из театра. Стала заниматься частной педагогикой классического пения, образовался кружок из десятка учеников. Занимались у неё дома, в довольно большой комнате в коммунальной квартире на Большой Зелениной против сквера, где сейчас метро «Чкаловская». Странные соседи — не возражали, не доносили... Вот к ней-то маму и привела Ирина.

Они с мамой не просто подружились. Екатерина Александровна относилась к маме, как к дочери. Я тоже считал её родной бабушкой. Где-то в 30-х годах она взяла с собой маму в плаванье на колёсном пароходе по всей Волге, до самой Астрахани. Помимо грандиозных впечатлений у мамы сохранились акварели Жигулёвских гор. Что касается пения, у мамы оказалось чудесное меццо-сопрано. Разучивала песни и романсы русских композиторов: Даргомыжского, Глинку, Гурилёва, Варламова, Рахманинова, Римского-Корсакова, и западную классику: Моцарта, Керубини, Россини, Грига... огромный репертуар. Иногда вместе с другими учениками давали концерты в частных домах. Когда мама купила рояль, к ней зашла племянница, Лилина дочь Наташа. Мама ожидала, что Наташа поздравит её с покупкой (она ж знала о маминой мечте), проверит звук, поиграет — Наташа закончила консерваторию по классу вокала. Но Наташа рояля не заметила! Мама была поражена.

ВОЙНА. ЭВАКУАЦИЯ

А потом началась война. Папу на фронт не взяли — у него была одна почка: в детстве упал в пролёт лестницы, катаясь на перилах. А маму и других женщин-сотрудниц прямо с работы, в чём были, отправили на рытьё противотанковых рвов под Кингисепп. Выдали кирки и лопаты. И вот в платящих, в туфельках били землю кайлом. Жили в землянках. Там у мамы случился выкидыш. Когда участились немецкие налёты и началась бомбёжка, женщины бросились в блиндаж к командирам, но там никого не оказалось, сбегали. Женщины побросали кирки-лопаты и двинулись в сторону Ленинграда. Сожжённые деревни, разбомбленные дома, немецкие самолёты. На-

встречу — грузовик с нашими военными: «Куда вы идёте? Там — немцы!» Поворачивают. Нагоняет военный на мотоцикле: «Туда нельзя — немцы». Шли несколько дней, на заброшенных полях находили какую-то еду. Дошли всё-таки. Мама пришла на Дмитровский, к Леночке. Её уложили в постель, накрыли одеялами, дали горячего чаю, а Андрюшка побежал за Осей на Фонтанку.

Потом эвакуация. Дедова семья с дочерьми, с папой, с мамой отправились в Новосибирск. Старший папин брат Володя (Вульф) сидел в лагерях в Хабаровском крае. Сохранилось его письмо оттуда к отцу (дедушке Грише). Лиля с детьми, Леночка с детьми, Екатерина Александровна с Ириной остались в Ленинграде, пережили блокаду. Сохранились их письма маме в Новосибирск. Старший сын Лили Шура ушёл на фронт, выжил. А сын Екатерины Александровны Степан погиб в самом начале войны.

В Новосибирске деду Грише удалось снять комнату на Октябрьской, главной улице города, а папа устроился художником-оформителем в Дом Красной Армии, и там ему помогли снять комнату. Ещё на вокзале мама, сидя на вещах, увидела со спины мужчину в папином пальто. Позвала: «Ося, Ося», а он только прибавил шагу. Это был просто вокзальный вор. И хозяйева квартиры, у которых родители снимали комнатку, тоже постоянно их обкрадывали. Даже картошки мама не досчитывалась. Однажды и мама всерьёз задумалась о воровстве. У Михрютки, хозяйина квартиры, был патефон, и однажды мама услышала какую-то потрясающую ектинию (Господи, помилуй!) Хозяин наотрез отказался продать пластинку, а мама всё думала: ну зачем она ему? Вот тогда-то и возникли грешные мысли.

Однажды папу изловили и привели в милицию, как немецкого шпиона. Одна бдительная гражданка, увидев его на улице с противогазом через плечо, решила, что он — парашютист, и донесла. Папа в противогазной сумке носил эскизы оформления и документы. Отпустили довольно быстро. Мама расписывала туркменские и персидские ковры на байковых одеялах, которые приносили заказчицы. Дело было нужное — население нуждалось в домашнем уюте и красоте. Папа иногда приносил с работы старые лозунги — куски кумача, на которых белой гуашью было написано «Слава Сталину», или что-то подобное. Мама стирывала и шила нужные вещи. Помню у папы красные трусы, а у меня — «генеральское пальто», из чего-то перешитое, но на красной подкладке. В другой раз папа где-то раздобыл немного кофейных зёрен. Мама их понемножку грызла, пытаясь заглушить голод.

И вот, наконец, мама попадает в роддом. Рожать первенца в 33 года, дистрофику, в условиях эвакуации было рискованным делом. В роддоме не было ни простыней, ни одеял. Маму уложили на один тюфяк и накрыли другим, такой же свежести. Это было нормой, и никто не удивлялся. На другой же день после начала войны в столовых пропали кружки, вместо них чай давали в консервных бан-

ках. Пропали и ложки, суп мама пробовала лакать по-кошачьи, чем очень насмешила папу — он-то догадался пить через край. И на всё одно объяснение — война! Зато сами роды прошли успешно. Врач даже созвал студентов: «Смотрите, какие красивые классические роды!» Ну что тут красивого? Вылетел, как пробка из шампанского, не дав сделать гигиенических приготовлений (это мамин комментарий). У новорождённого почему-то свисали большие пейсы, а глаз он не открывал три дня. На четвёртый соизволил распахнуть. Молока у мамы-дистрофика было хоть залейся. Кроме меня, она кормила ещё двоих младенцев. Однажды по палате прошёл шорох: «Мужчина, мужчина!» И мамочки стали прихорашиваться. Отцов в те поры в роддом не допускали, и мама сразу догадалась, кто это — папа только сквозь стену не мог пройти. И действительно, появляется Иосиф. «Танечка, какая же ты страшенькая!» — были его первые слова. Есть мамин рисунок трехмесячного младенца. Кстати, в отсутствие УЗИ ждали девочку, которую даже назвали Катей, и мама ей шила приданое розового цвета.

После моего рождения (в октябре 43-го) отношение деда к маме резко переменилось. Во-первых, мама нисколько не противилась совершению обряда обрезания. А когда вскоре после выписки из роддома дед пришёл увидеть внука, то застал маму за глажкой пелёнок. Ничего не сказал, подошёл к столу, перевернул зачем-то пустую тарелку, провёл пальцем по дну, потом подошёл к ребёнку, поглядел, сказал одно слово: «Наш» — и ушёл. На следующий день принёс мезузу (небольшая деревянная коробочка чёрного цвета с молитвами, охранный амулет) и прибил её над дверью. А ночью расталкивает жену (видимо, полночи не спал, всё думал): «Еленча, Еленча, ведь она ему пелёнки гладит!». С тех пор мама стала любимой дочерью, и он постоянно ею тыкал в нос родным дочерям. Это была другая крайность, и маме стоило больших усилий не поспорить с золовками. Хуже того, дед Григорий стал склонять маму следить, соблюдает ли бабушка правила приготовления кошерной пищи. В условиях эвакуации соблюдать кошерный стол было почти невозможно, но дед задавал маме конкретные вопросы, и маме приходилось лукавить, чтобы не подвести бабу Лену.

Потом, в этом же году, пришла телеграмма от Володи, что он едет на фронт, и два часа эшелон будет стоять в Новосибирске. Понимая, что в лагере ему точно не выжить, он напросился на фронт «кровью смыть вину», как это тогда называлось. И был направлен в штрафбат. На вокзале, где собралась вся семья, мама с ним познакомилась (значит, его посадили до 40-го года, когда мама встретила с отцом), и он ей очень понравился. В начале 44-го пришла похоронка. А тут ещё умерла от туберкулёза папина младшая сестра Ниночка в 17-летнем возрасте. И тогда дед, цадик (правоверный набожный еврей), бывший старостой ленинградской синагоги, покочнулся в вере. И мама, отнюдь не набожная, но крещёная, помо-

гала ему вновь вернуться к Богу. Мама никогда об этом не рассказывала, а я узнал эту историю не так давно, когда разбирал мамин архив, из письма Екатерины Александровны.

И ещё одно письмо из блокадного Ленинграда в Новосибирск я там обнаружил — от Наташи, Лилиной дочери. Рассказывает, что жили вчетвером — с мамой, братом Аркашенькой и новорождённой Наташиной дочкой. Брат Шурка был на фронте, а отец, Пётр, жил отдельно. Страдали голодным поносом, мечтали об эвакуации, но опасались за Наташину грудную дочь. Наконец, незадолго до снятия блокады, решились. Девочка-грудничок простудилась и умерла ещё на Ладоге, а больные Лиля, Аркашенька и Наташа доехали до Борисоглебска, где их сняли с поезда, и Аркашеньку поместили в больницу. Он был весь раздутый водянкой и вскоре умер. Это был необыкновенный мальчик, все его звали «небесенький», какой-то неземной доброты и кротости. Плакали медсёстры, плакали врачи, а с Лилей случился «разрыв сердца», как тогда говорили, — инфаркт. Наташа осталась одна. Уехала жить в деревню Жулёвка в Воронежской области, вышла замуж за рабочего депо Николая. Детей больше не было. Мы с мамой её навестили летом 50-го года. Мама не узнала в этой деревенской бабе выпускницу ленинградской консерватории, Лилину дочь.

А в Новосибирске однажды зимой маму с кульком из одеял остановила на улице какая-то женщина: «Да что ж это ваш ребёночек так долго болеет?» — «Да нет, что вы, он здоров». — «Так вы же каждый день его носите, к врачу, наверное?» — «Нет, мы просто ходим гулять». — «Гулять? В такие морозы?» — этого сибирячка понять не могла. А вот с чем была настоящая беда — так это с манной кашей. Пришёл домой доктор, проверил состояние малыша и выписал рецепт на манную кашу (вроде продуктовой карточки на месяц). Мама проводила доктора до дверей, возвращается — рецепта нет. Ни на столе, ни под столом. Обыскалась — нету! Смотрит — ребёнок что-то жуёт. Запустила палец в рот — и вытащила кашу. Бумажную. Где-то различимы буквы рецепта. Ужас! Чем кормить ребёнка? Наутро побежала к доктору и, чуть не плача, показывает эту кашу. «Вот богатырь!», — рассмеялся доктор. — «В один присест месячную норму съел!». И выписал новый рецепт. В другой раз, варит мама манную кашу. И вдруг видит, что сверху в кастрюльку льётся какая-то струя. Проследила за ней взглядом — это сын, лёжа в кровати, пустил струю через всю комнату. Пришлось варить заново, а эту — с удовольствием съел отец.

Мама продолжала расписывать ковры с грудничком на коленях, а папа устроился художником-декоратором в Новый ТЮЗ, созданный Борисом Вульфовичем Зоном, знаменитым театральным педагогом, из ленинградских актёров, оказавшихся в эвакуации. С театром удалось и вернуться в Ленинград. Тогда это было очень непросто — эвакуированных ленинградцев всеми силами старались не пускать домой.

По дороге мама варила сыну кашу в паровозной топке в ковшике с длинной ручкой, а сын в это время развлекал актёрскую братию лепетом. «Как дела, Марик?», — с этого обычно начинался разговор. В ответ — что-то невразумительное. Наконец, Серёжа Боярский (отец Михаила Сергеевича) сказал: «Ну что они всё к тебе пристают? Ответь им просто — ни хухры и ни мухры». В следующий раз артисты услышали в ответ что-то вроде «хуырр-хуырр-хуырр». Эта серьезная беседа продолжалась бы до самого Ленинграда, но в Орехово-Зуево была большая остановка. В гостинице, где мы жили, у мамы вдруг стали пропадать чайные ложки. Она терялась в догадках, пока не застучала меня, засовывающего ложечку в щель между половицами. И там же мама вновь встретила своего ангела — он стоял на кухне среди развешенного белья и улыбался, как тогда, после злополучной истории с американским плугом. Мама его сразу узнала. А через несколько минут он как-то растворился в воздухе.

Вернулись в Ленинград в марте 45-го года. И отцовская квартира на Фонтанке, и мамина комната на Коломенской были заняты другими жильцами. Пришлось первое время жить в Октябрьской гостинице у Московского вокзала, в старом корпусе по нечётной стороне Лиговки. Потом папе удалось получить комнату в 20 кв. м в огромной коммуналке на проспекте Маклина (сейчас опять Английский). Там и жили до 85-го года, пока дом не пошёл на расселение.

Но день Победы встретили ещё в гостинице. Люди высыпали на площадь, незнакомые целовались. А меня даже подняли на танк (какое счастье для мальчишки!). Это одно из самых первых моих воспоминаний. А мамыны воспоминания на этом заканчиваются.



Максим ЯКУБСОН

/ Санкт-Петербург /

СЛОВО

Н.К.

Слово наше заговаривает боль.
 Братец, братец мой, сестру свою уволь!
 Трудно, трудно пить и в зеркало смотреть.
 Так и тянет провалиться и запеть.
 И поплыть, в холодной люльке полететь.
 Загореться; и сгореть, сгореть, сгореть.
 Только ты, мой братец, ждѣшь, не расколдован.
 Ты, душа моя, огнѣм зимы закована.
 Что растопит эту боль и этот лёд?
 Птица мертвая железная поѣт.
 Как дослушать ее песню, верещание её?
 Стук колѣс, её железное жильѣ.
 Памяти крылатой перезвон.
 Телефона незнакомого день-дон.
 Как подняться с дна морозного денька?
 И ответить — я жива, жива пока;
 Пока есть ещё минута для любви.
 И ты тоже, брат, живи, живи, живи.

РАНА

В.Х.

Тебе ли принадлежит рана, обнимающая небо и землю?
 Можно ли обладать раной?
 Мне ли принадлежит она?
 Где границы раны?

Можно очертить тело, лежащее на асфальте.
 Можно остаться образом на экране,

Эмалью на камне, иконой для храма или иконой стиля.
Но можно ли оставить образ на плащанице?

Оставить, как след пути, свою рану?
Дверь имени, парус иного ветра,
Судно неизбежности.
Тело надежды.

* * *

Со звёзд видна, видна малютка-жизнь.
Она видна, она и есть звезда.
Раскроет скорлупу ореха.
Гляди, корабликом пускай,
Любуйся, изучай, играй.

И больше ничего понять
Не сможешь ты —
Конец, начало,
Что радовало, огорчало...
В горсти, как сор и сон пустой.

Стучи — выстукивай морзянкой
О твёрдости и пустоте,
Дыхание держа осанкой,
Молчание зажав в узде.

ИЗ ГЛУБИНЫ

Нет ничего прекрасней шизофреника,
Глядящего в пучину своей грусти.
Кто падает — не чувствует падения.
И знает: Бог дурного не допустит.

Кто не умеет выражать эмоции —
Кричит или хватается твою голову.
Шагай, шагай, бесстрашный новобранец,
Пока здесь расплавляют твоё олово.

Не держат тело ноги,
Снег не тает,
Зима пришла,
Весна не наступает.

Принять конечность этой остановки —
Как прядь со лба её убрать. Неловко.

* * *

И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

А.С. Пушкин

Найдя себя на куче хлама,
Обложку памяти захлопнув,
Когда прощаться ещё рано,
А обольщаться уже поздно,

Терпя зловонный запах мифов,
Укрывшись прошлогодним плодом,
Иван Васильевич Сизифов
Над смертью празднует победу.

И жизнь и смерть он не заметил,
Но ядовит промозглый климат.
Он ждёт, сознанием покинут,
товарища по эстафете...

* * *

От подступающей волны
В каком убежище укрыться?
В парадных перьях стрекозы
Уносится в театр столица.

Течет река вместо ручья.
Поэт ушёл, оставив птицу.
А та, в пейзаже растворяясь,
На холст жены моей садится.

Кто знает с кем? Куда идти?
Зачем? Как долго? С кем вернуться?
Где сердце? Рядом, впереди?
Или, как чай, налито в блюдец?

Людмила МАРШЕЗАН

/ Париж /



ВЛАДИМИР ЗАГРЕБА. СЛЕДЫ ПРОШЛОГО

Воспоминания часто пишутся после ухода со сцены жизни главного действующего героя, который по понятным причинам не может возразить, объяснить или рассмеяться в лицо. Мои заметки — это совсем другое. Мне искренне хотелось дотянуться до душевного одиночества, быть «яблоком задора» для вновь возвратившегося к жизни, после инфаркта миокарда, писателя Володи Загребы. И я была награждена за свою писанину трогательным откликом Владимира:

— Ну, Маршезанка, ты меня удивила! Лихо! Тепло... Я даже послал разным литературным людям. Атмосфера точна. И свет... свет дружбы и любви. Ты прямо какая-то madame de Sévigné XXI века. Ты меня приятно удивила. Ну, я заключаю тебя в мои объятия.

Эти записки были озаглавлены просто: «Как хороши, прекрасны наши встречи». Вот они.

15 апреля 2018 года

Позвонил Борис Марковский:

— Людмилка, лови моё парижское мгновение у Загребы и приезжай на чай.

— Без его личного приглашения я не... — тут же в телефонной трубке раздался насмешливый, с приятной хрипотцой, голос Володи:

— Детка, записывай: 36 rue St Maur. Ты легко найдёшь по многочисленной толпе поклонников у дверей моего дома. Не комплексуй и проходи без очереди. Тебя ждёт неслучайная чайная встреча.

И вот я на улице Saint Maur. Моё внимание привлекает оригинальное, вернее, странное здание, напоминающее сейф из необработанного, небритого бетона, сохранившего при литье дырочки-отверстия, создающие необыкновенный узор. Удивительно, почему меня привлекают странные вещи, строения, люди. Ведь я такая правильная, дисциплинированная, ответственная. Может быть, тянет на то, чего мне не хватает? Невидимый настройщик неба золо-

тым мажором солнца ввёл меня в какое-то смешливое настроение, и увидев внушительную очередь перед № 36, я невольно рассмеялась. Заинтригованная, решила узнать в чём дело. Моя любознательность и улыбка помогают раскрывать секреты Парижа, получившего в 17 веке название Города Света. Мы все хорошо помним описанные в «Трёх Мушкетёрах» стычки, нападения, ночные побоища на узеньких тёмных улицах столицы. Атос (1615–1645), обитавший на rue Férou (знаменита своей поэтической стеной «Bateau ivre» Артюра Рембо), не дожил до указа 1667 года об обязательном освещении Парижа. Портос, родившийся в 1617 году, не оставил никаких документальных следов о своей смерти, и лишь д'Артаньян, ушедший в иной мир в 1673 году, увидел Париж в полном блеске огней. Жил он на улице Могильщиков (сейчас rue Servandoni, рядом с Люксембургским садом, где проживаем и мы). Покровителем могильщиков был Saint Maur! Вот так, все истории Парижа, переплетаясь между собой, вывели меня на улицу Saint Maur, которая раньше была дорогой, ведущей в одноимённый монастырь.

Подойдя к зданию под номером 38, построенном в индустриальном стиле, узнаю, что раньше здесь находилась литейная мастерская, производившая всё необходимое для железных дорог Франции с 1855 по 1929 год. После закрытия предприятия долго думали, как же использовать помещение. И вот, в этом году, открылся первый в Париже центр виртуального искусства под названием «L'Atelier des Lumières», где проходит выставка Густава Климта (1862–1919). Это цветной «обман» феерического света, создающего впечатление объёмного присутствия живописи, потрясает зрителей. Вот поэтому так покорно они стоят в очереди в предвкушении современного чуда.

Мир улыбался мне. Ровно в назначенное время, смущенно войдя в квартиру Загребы, увидела знакомые милые лица: фото-Графа Владимира Базана, светлый лик Николая Бокова (писатель-философ), бородатого редактора Бориса Марковского. Только с хозяином я не была знакома. Его глаза ласково и пристально рассматривали меня. Я покраснела до непристойности. Разрядил ситуацию Базан, увлечший меня в... туалет, где на полках красовалась коллекция разношерстных и разномастных верблюдов всех калибров.

— Вот этот малыш родился сегодня, — заметил с гордостью фотограф, демонстрируя горбатого дромадера.

— Где? В туалете? — растерянно спросила я, ещё не зная, что в основном верблюдоводство пополняется подарками Володи Базана.

Раздался всеобщий смех и прозвучал экспромт присутствующих мужчин:

Нет ничего прикольнее на свете,
Чем появленье Люды в туалете...

«Мне стало легко и уютно в этом мужском весёлом квадрате. Ведь мы были разными, какая благодать! Прекрасно дополняли мы друг друга. Что одинаковость нам может дать? Лишь ощущение замкнутого круга» (*Марина Цветаева*).

Все соревновались в остроумии, смеялись, читали стихи, пили чай, а Владимир Загреба осторожно прикоснулся к моей спине, проверяя, растут ли крылья. Ведь это он автор знаменитого «Летающего верблюда», а от верблюда до Люды только рукой подать. Момент моей застенчивости прошёл, и я почувствовала себя совершенно свободно и раскованно в квадрате гениальных мужчин, поняв, что благоустроенные слова здесь были бы не к месту. Загреба сразу вышел из коридора устоявшихся фраз и представлений. Грациозность интонаций его речи, необыкновенный парадоксальный юмор, неумная фантазия и детскость — завораживали. Невесомый, летучий, романтический флирт кружил головы. Праздничное изобилие дружбы. Как жаль, что нет рядом моих подруг, чтобы разделить с ними шквал комплиментов. Ребята были интересными собеседниками, забавно «игравшими» словами, и мы веселились, как дети. Наш Фотограф снимал для истории.

Неудержимо летело время. Боков и Базан, взглянув на часы, покинули нас, оставив меня в равнобедренном треугольнике. За все мои словесные выкрутасы я была награждена сборником, посвящённым 20-летию международного литературного журнала «Крещатик», по страницам которого «в разных направлениях прог(г)ливаются полторы тысячи бездельников». Оценив эстетику обложки, над которой потрудились Михаил Архипов и Олег Целков, открыв книгу, улыбнулась надписи: «С нежным удовольствием, В.Загреба». Его глаза источали свет и радость.

18 апреля 2018 года

Было особое состояние неба: наконец-то оно заболело весной! Смеялся день — озорной, благоуханный. Я вновь приглашена на чайно-литературную церемонию к Загребе. На сей раз, приготовив домашнее печенье в форме сердечек и заметив, с каким наслаждением Марковский их поглощает, я назвала его сердцеедом. Опять мы развеселились, а мне хотелось серьёзного разговора о романе «без швов» «Летающий верблюд». Критика писала, что это не «книга — черный ящик Пандоры. Это роман, героем которого является язык. Кажется, что смысл этого сюрреалистического тома заключается в том, что стоит жить под знаком СВОБОДЫ, ТВОРЧЕСТВА, ДРУЖБЫ!». Только открыв эту книгу, сразу понимаешь, что она не такая, как все: безответственный редактор, некорректный директор, Хвостословие, т.е. предисловие Алёши Хвостенко и т.д. Фразы из романа давно живут самостоятельной жизнью. Их цитируют, думая, что это классика: отцы — не дети; жизнь коротка —

искусство вечно; вооружённые мощи советского народа; поколения всё по колено и т.д. Я попросила мастера литературного скандала, разрушившего дистанцию между читателем и произведением, подписать мне свой шедевр. Вот эти строки:

Летающей на вертолёте Люде,
От верблюда такого же...

В. Загреба

Умом всё это не понять, поэтому необходимы объяснения. В предыдущую встречу, говоря о Шарле Бодлере, я вспомнила оригинальное высказывание одного французского писателя: «Цветы зла» Бодлера — это маленький домик, который поэт построил на литературной Камчатке». Естественно, мне захотелось поделиться воспоминаниями о нашем семейном путешествии на полуостров и полёте на вертолёте в Долину Гейзеров. Это был незабываемый день, когда, распахнув все окна большого вертолёта, вместимостью в 20 человек, мы мчались среди вертикально поднимающихся парогазовых струй, вырывающихся из огнедышащего горла действующего вулкана Карымский, любовались яркой бирюзой, изумрудностью, янтарностью кратерных озёр, фонтанированием многочисленных гейзеров, загадочной дымкой сверкающей скалы Витраж. А как всех позабавили медведи, спешащие из Долины к Курильскому озеру на дегустацию икры (нерест лосося). На Колю Бокова, прожившего долгое время в пещере для усмирения гордыни, рассказ о вертолёте произвёл впечатление удивительное. Он заподозрил меня в связях с КГБ, не понимая, что билет на этот вид транспорта может купить каждый, у кого есть деньги. Стоит дорого, но красота, которая спасёт мир, стоит этого. Присутствующие забавлялись шутками, прочно связав моё имя с вертолётom и зарифмовав Люду с верблюдом. Благоглупости!

У Володи Загребы оригинально и смешно вытанцовывались забавные стихи. Он умел связать то, что никак не связывается. Даже в его квартире всё необычно, как и сам хозяин. Чувствуется характер и тонкий эстетизм, не боящийся эклектики и, конечно же... верблюдов, которых ему бесконечно дарят друзья. Но это не создаёт ощущение музея, наоборот — всё уютно и притягательно. Однако мне не терпится увидеть описанную в «Летающем верблюде» Стену Плача — два пятьдесят на метр двадцать — фотографии и рисунки друзей, которых с нами уже нет, но память сердца сильнее смерти, сильнее рассудка памяти. В честь Виктора Некрасова, которого Загреба лечил, помогал, спасал, дочь свою назвал Викой. Эта стена — сакральное место в доме, напоминающее о близких, замечательных людях, так как в его окружении не было случайных проходимцев.

В разговоре В.З. вёл себя так, будто мы давно знакомы, и мне казалось, что это действительно так. Мне нравилось, что им никогда не обладало блаженство лени, но только блаженство творения.

Губительный и неумолимый бег времени. Как не хочется прощаться, поэтому мужчины, прихорошив — Борис — бороду, Владимир — шляпу — идут меня провожать. Взяв их под руки, торжественно шагаю мимо небольшого сквера, принимая реверансы цветущих белым кустов. Цветы сакуры, при виде гениев, в глубоком обмороке теряют лепестки, но мои друзья так увлечены утончёнными шутками, что ничего не замечают. Мы смеёмся, мы так много смеёмся, думая, что впереди у нас целая вечность последней молодости.

19 апреля 2018 года

Закончился неофициальный дружеский визит Бориса в Париж. Перед отъездом Марковский вместе с Загребой решили написать «ужасно смешные стишки», которые послужили началом «Загребариков». Я упала от смеха на ковёр, когда Володя с его неподражаемыми интонациями читал стихи по телефону. Ребята юморили и меня уморили по полной программе. Смехотерапия!

20 апреля 2018 года

Жаркий исход апрельского дня. Время расшаталось и притихло. Я заскучала и по их голосам и шуткам.

23 апреля 2018 года

И вот я снова мчусь на rue Saint Maur, стремясь своим бегом укротить бег времени, что мне волшебным образом удаётся. В назначенный час звоню в знакомую дверь. Меня ждёт сюрприз — приглашение сестры на... подоконник! Вот так оригинально будет названа книга-альбом, посвященная художнице Франс Требюк (жене Загребы), и меня приглашают написать о её работах, о её мире, о ней. Заманчиво — ответственное дело! Вначале моя беседа с Франс напоминала осторожное течение маленькой речки, огибающей на своём пути все препятствия, но потом вдруг открылись шлюзы, и мощный поток симпатии и взаимопонимания сблизил нас моментально. Она не любила своё патриотическое имя и представлялась Фредерикой, что мне совсем не нравилось. Тогда Франс предложила мне своё домашнее прозвище Фану, которое так шло ей своим музыкальным изяществом, подчёркивая её тонкость и красоту. Её муж, художник слова писатель Загеба, не вмешиваясь в наш разговор, набивал курительную трубку английским табаком и исчезал в дымной вуали. Как говорят в Одессе, у меня делается тоска при виде врача, который берёт в рот такую гадость. Прощаясь с Фану и трижды расцеловав её, я поняла, в чём заключается притягательность её работ — в необыкновенном умении сделать своим и уютным абсолютно всё, к чему прикасается лёгкий её талант. Совсем не прост простой каран-

даш в руках Франс. Мне захотелось сесть рядом с ней на подоконник и тихо наблюдать за её работой. Но мэтр Загреба, докурив трубку, в плаще и шляпе ждал меня, чтобы проводить к метро.

25 апреля 2018 года

Мне было легко и радостно писать о Фану, о её графике, её стиле, о любви не только к Парижу, но и к людям, самым обыкновенным людям, живущим обыкновенной жизнью. Представив себе, что в этот момент Фану по синему краю неба ведёт карандашом линию, может быть, линию жизни, устремлённую к горизонту набережных, я почувствовала запах уходящего времени. В её рисунках, как и в сердце, вольный дух и божественное умение быть самой собой, умело соединяя воспоминания и вот этот, уже исчезающий миг — золотистый, воздушный, нежный.

26 апреля 2018 года

Утро улыбнулось телефонным звонком Загребы. Характерный, легко узнаваемый голос произнёс:

— Детка, ты написала лучше, чем я думал.

Эта фраза меня здорово развеселила. Впервые меня приняли за дулышку! Наконец-то я достигла женского совершенства!

По всей видимости, Володя Загреба сделал себе пересадку мозга в сердце и посвятил мне гениальные поэтические строчки. Отменив тормоза слов, он остановился на краю тайны, не забыв надеть свои крылья. Я ещё чувствовала тень звука подаренных мне стихов, а Загреба уже раструбил — разослал их по всему свету. Писателю нужны читатели!

27 апреля 2018 года

Утром я надеваю платье из счастья и по синему весеннему небу ухожу из дома в книги. Вдруг — облако в окно, даже без стука, просто так, в гости. Уютно и радостно. Меня не покидает утреннее лёгкое возбуждение от предчувствия восхождения к вершине дня.

С Леночкой У. мы взлетаем на четвёртый этаж. Радужный-радужный Загреба ждёт нас за чайным столом. Мы с Леной переполнены живыми эмоциями после вчерашнего спектакля — карнавала любви с прекрасными костюмами, декорациями, настоящим пением и игрой на различных музыкальных инструментах. Юные студенты ENS с чувственным задором сделали всё, чтобы заставить понять зрителей, что любовь — это глагол!

Слушая наш щебет, Володя медленно возвращался домой из своего внутреннего мира. А потом решил, что нельзя пускать женщин на самотёк, и взял нас в оборот, т.е. начал читать стихи Михаила Марковского, брата-близнеца Бориса.

И туда не поздно
мне уйти, куда
весело и грозно
канула звезда.

Мы все приговорены к смертной жизни. Совсем недавно Миша покинул нас. «Смерти — смерть», проговорила Лена, а Загреба грустно улыбнулся.

29 апреля 2018 года

Сегодня день рождения Бориса Марковского. На телефонные звонки он не отвечает, и тогда я пишу ему акrostих:

Безмерный
Обалденный
Роковой
И отменный
С днём рождения!
Умиление!

Ждать какой-то реакции от новорождённого бессмысленно. У редактора профессиональное отвращение к буквам, а я — люблю их, особенно первобытное рычащее р-р-р, притягивающее меня в именах Владимир и Александр. Вова и Саша — просто манная каша, поэтому наш сын с пелёнок звался Александром. Но Загреба, сохранивший душу ребёнка, подтверждая поэтические строки: «а мужчины — наши дети», предпочитает уменьшительные имена: Вовочка и т.д. Покорно согласившись, вкладываю всю теплоту души, произнося его имя, что не отменяет наших жестоких словесных сражений, где никто не может уступить друг другу. Характер!

Начиналось всё с остроумной радости-встречи. Шутки кипели, как самовар.

— Представь, собравшись уже к тебе, на пороге услышала голос сына Давида, спросившего, куда же я исчезаю.

— Пить чай в Загреб, — ответил мой муж.

— Круто, — рассмеялся сын, не поняв юмора, но зная, что мама отличается оригинальностью.

Загреба улыбается. У него сохранилось интеллигентная привычка не говорить о себе, а живо интересоваться собеседником. И я выкладываю последние новости о Ксении Триполитовой, русской балерине, которой 24 апреля исполнилось 103 года! Её любимый муж Николай покинул сей мир почти полвека назад. Для одинокой Ксении я устроила праздник с музыкой, пением, шампанским. Чтобы доставить ей радость воспоминаний о её любимой сямской кошке, принесли красавца Лео, пятнистого, как леопард, котёнка. Он нежился на коленях у Ксении, а балерина счастливо смеялась, глядя на его чистокровный шик и игривое изящество.

— Детка, ты идиотка... романтическая. Ты должна писать, у тебя лёгкое перо (но тяжёлый характер), а ты... с котятами развлекаешься.

— Ну, не только. Ещё побывала на концерте у франкмасонов (Grand Orient de France). На входе стоял огромный детина, и все входящие выполняли какой-то ритуал: их головы склонялись то вправо, то влево. Я поцеловала его и справа, и слева, но вдруг услышала его шепот: «Пароль! Я не услышал пароль...»

— Ты, конечно же, сказала какие-то глупости, и он тебя пропустил.

— Да, что-то вроде этого.

— Детка, ты идиотка.

— Меня это не портит.

— Тебя ничего не портит, настолько ты уже испорчена.

Я улыбаюсь, мы все улыбаемся ему: Леся, Леночка Д. и Леночка У. — на его любимое выражение «идиотка», которое он выговаривает с нежностью и добротой.

1 мая 2018 года

Ландышевое утро. Голова кружится от запахов ландышей, подаренных моим мужем. Такова французская традиция — преподносить эти цветы первого мая. Беру один из горшков с белым ароматным чудом и еду поздравить Фану. Как сказал один из моих любимых писателей Ромен Гари: «на душе нельзя экономить». Вот он и оказался нашей «горящей точкой» преткновения.

Для меня Ромен Гари — герой нашего времени, умеющий выжимать гармонию и красоту из самых обычных слов. А сколько у него оттенков печали и грусти, а самое главное — стремление изменить мир, сделать его добрее и справедливее. «Писатель — это вообще счастливое сочетание тех или иных данных и способностей. Писатель должен быть по возможности совершенен». И Гари стремился к совершенству, доказав это своей жизнью и даже смертью.

— Детка, мне надоели твои охи и ахи по поводу Романа Кацева. У него тоже были недостатки.

— У него даже пороки были совершенными. Многих ли ты знаешь, получивших дважды Гонкуровскую премию? Или ты можешь назвать кого-нибудь, кто за короткий период с 1974 по 1980 год написал 11 шедевров, создав абсолютный роман Эмиля Ажара?

— Тебя впечатляют только премии и лауреаты.

— У меня всегда восторг при свете целей.

— Детка, в тебе много хорошего и дивного, но тебе кое-что мешает, особенно твои друзья, безжалостно пожирающие время. А это не время идёт — это сама жизнь.

— Я живу одним днём, но каждый день, не забывая, что есть дела поважнее, чем жизнь, продолжая любить друзей, которые так много для меня не сделали.

— Идиотка. Тебе не грозит разрыв сердца, потому что у тебя его нет.

Сердце пульсирует в кончиках моих пальцев. Глубоким взглядом я опускаюсь в его серо-зелёные-чайные глаза. Оцепенение. Он разливает чай в красивые чашки и угощает меня сладостями, наговорившись всласть.

— Детка, ты смотришь на мир славным птичьим взглядом и вот-вот зачирикаешь. Я подарю тебе наручники, чтобы каждое утро твои сыновья приковывали тебя к письменному столу и ты могла бы нормально писать, а не бегать по всему Парижу, как бешеное животное.

Я смотрю на черно-белую фотографию на стене: красивая, молодая, улыбающаяся мама с обожанием смотрит на шестнадцатилетнего юношу в форме военного училища. Его дивные мягкие глаза утопают в океане материнской любви. Но я уже знала, что этого милого мальчика Вову страшно лупили сверстники-антисемиты. Чувовищно!

Мне вспомнились стихи Фаины Загребы (1915–2001), посвященные сыну:

Я спасла тебя, сын,
И рассеялась мгла,
Но от бед защитить
Я тебя не смогла...

Захотелось сказать ему: «Володя, ты молодчина, столько бед перенёс и не сломался, мне так близко твоё обострённое восприятие мира и натянутые до предела чувства, я люблю, как ты пишешь, и с нетерпением жду твоих «Загребариков» каждый день. Я больше не буду дразнить твою литературную ревность, ведь каждому писателю просто необходимо иметь читателей-почитателей, поклонников и обожателей. Это стимулирует творчество и придаёт ему смысл и радость создавать решительно непохожие творения».

Загреба заслуживает поклонение. Ему грозил студёный ГУЛАГ, и только по счастливой случайности он оказался в Париже. Я медленно поднимаюсь со стула, подхожу к нему, забираю его игрушку-трубку — и вот сейчас обязательно скажу ему что-то приятное, но я молчу. Иногда мы стесняемся прилива чувств, а надо бояться отлива. Загреба надевает плащ, шляпу, перчатки и провожает меня. Как быстро протикало время. Конечно, я умею изобретать его, переводя стрелки в часах, но сегодня всё не так, и обгоняя себя, время вздрагивает от звона моих каблучков, пронзающих асфальтовое небо. Это молодое нетерпеливое время старит нас, но доктор Загреба считает, что вся жизнь еще впереди.

Погода всё хорошеет, а мои белые брюки подобны одинокому парусу. Они резко контрастируют с плотным романтическим одеянием Володи. На нас обращают внимание, а мы спокойно классически просто идём. Вдруг доктор-писатель выдаёт экспромт:

А твои льняные брюки,
Так и рвутся... на поруки.

Мы смеёмся, как сумасшедшие. Обычно телефонный разговор В.З. заканчивает фразой: «Целую тебя в левый глаз», поэтому, остановившись у входа в метро, я прикрываю левый глаз, ожидая обещанного поцелуя, но он целует меня в лоб и говорит: «До встречи, взростая». Вот так я выросла в его глазах.

25 мая 2018 года

Домашнее затворничество Загребы тревожило меня. Он много работал над «реанимационным» романом «До завтра, Дант...». Первоначальный вариант названия был ещё хуже: «Последняя репетиция смерти», — о его двухмесячном пребывании в реанимации парижской клиники «Моцарт». Будучи доктором, В.З. прекрасно понимал, что ОНА играет с ним в прятки. Не на поле брани (браниться он не любил) вызвал писатель её, а на юмористический турнир, придумав впечатляющий эпиграф для книги: «Перед смертью не напишешься». Он убил меня своим юмором. Мне хотелось отвлечь, развлечь В.З., и я пригласила его на конференцию в институт славистики на rue Michelet, предупредив, что вечер состоится в том же зале, где 26 октября 1986 года выступал Бродский. «Ну и что», — без энтузиазма ответил Загреба. Я озадаченно рылась в памяти, придумывая, чем бы его заинтересовать.

— Володя, рядом со славянским институтом раньше находился Международный институт социальной истории. Представь себе, в ночь на 7 ноября 1936 года — символическая дата — кто-то украл из института 80 килограммов архивов Троцкого! Тебя же забавляют такие истории, можешь вставить в очередную роман.

— Уже вставил. Твоего знакомого. Помнишь, господина Болта — болтуна болтливого. На первой же странице он исполняет роль кота: любимого, молчаливого, дохлого.

Мы встретились в кафе на бульваре St Michel. Когда он удобно уселся и вытащил трубку, я поняла, что никакая сила не сможет сдвинуть его с этого места. Столики в парижских кафе устроены как зеркала, чтобы отражать и отражаться. Французы говорят: «видеть и быть видимым». В глазах у Загребы светилось небо.

— Я прочту тебе стихи матери, написанные в 1945 году, — произнёс В.З., отложив трубку.

Я шагаю, как слепая,
Сквозь ряды солдат...
Мир мой,
Выдуманный мир мой —
На кресте распят.

Незаметно подкралась сумерки. Нам нравится наблюдать это мгновение, когда простое платье парижского дня сменяется вечерним нарядом. Я смотрю в его непонятные, но понятые глаза серо-зелёно-чайного цвета, а последние лучи солнца сплетаются в золотой нимб над головой Загребы.

Антракт. Летние каникулы

Так заканчиваются мои записи, которые Володя успел прочитать, и его впечатления вам уже известны.

А дальше время закружило нас. Было приятно видеть Загребу на презентации моей книги «Рассказы из Парижа», где он развлекал шутками всех гостей. Приехав недавно из Санкт-Петербурга, я привезла ему из дома-музея Ф. Достоевского матерчатую сумку с чёткой надписью «Идиот» и вручила под радостный смех Леси Тышковской и остальных присутствующих. Он, как всегда, элегантный, в шляпе, с пёстро-цветным ярким шарфом, с трубкой в руках царственно принял подарок, а Борис Давидович Гессель запечатлел фотоаппаратом этот миг.

Через год вышла его книга в Киеве «До завтра, Дант...». Я специально летела в Одессу через Киев, чтобы привезти Загребе его новое произведение. Ведь для писателя рождение книги — большое событие, и держать свою книгу в руках, рассматривая обложку — большая радость. Он был потрясён в полном смысле слова, когда я выложила на стол 30 экземпляров!

Фану устроила сладкое торжество по этому поводу, а Володя сказал: «Ну, Маршезанка, что сказать, ты настоящий друг. Если бы ты мне привезла три экземпляра, я был бы тебе благодарен и подарил швейцарский шоколад, но ты привезла тридцать! И у меня нет слов...»

— А шоколад есть? — спросила я серьёзно.

Все рассмеялись. Было радостно и светло необыкновенно.

Презентацию «До завтра, Дант...» Загреба решил устроить у Коли Бокова, чтобы отвлечь его от тяжёлой болезни. Николаю стало лучше, и его выписали из больницы. Это совпало с приездом его сына Максима с очаровательной женой Татьяной из Москвы. В эйфории встречи мы не услышали шепоток смерти. Боков покинул нас 2 декабря 2019 года. Зимнее солнце, спрятавшись за облака, ушло в сон. В аллеях Люксембургского сада ни души, только тела, одетые грустно и однообразно. Я останавливаюсь у скульптуры французского поэта с душой ребёнка и музыкой в душе — Поля Верлена.

Скульптурная группа трёх женских фигур символизирует три души поэта: душу ребёнка, душу религиозного человека и душу чувственности. Возникшая мгновенно связь с Николаем Боковым перешла в уверенность — у него тоже были эти три души. Сразу же звоню Загребе. Он внимательно слушает и, на удивление, соглашается со мной:

— Детка, напиши об этом... А какая скульптура напоминает меня?

Я знаю, что он шутит, но отвечаю совершенно серьёзно:

— Это «Гений искусств» — словно устремившийся в полёт, уносимый движением в высь. Ты же — летающий.

— Конечно, с летальным исходом. Можно посмотреть на гения?

— Пожалуйста. В Люксембургском саду, XIX век, скульптор Жюль Далу. Памятник Эжену Делакруа, окружён бронзовой скульптурной группой: Время, Слава и Гений искусств. Ты узнаешь сразу.

— Ты потеряла чувство юмора. Могла бы просто сказать: «Хочешь увидеть Гения — посмотри в зеркало!» Впрочем, всё это ерунда. Будь человеком, помоги Максиму организовать достойные похороны отца. Он без французского языка, а с английским, сама знаешь, во Франции не очень.

Мы сдружились (я и мой муж Филипп) с Максимом и Татьяной, помогли во всём разобраться, приезжали к ним в квартиру Бокова, где все стены были уставлены книгами. Коля редко пускал кого-либо в мир своих состояний. Поздно ли теперь войти в этот мир, или же есть ещё впереди целая вечность?

Несмотря на забастовку многие приехали в нео-византийский крематорий кладбища Père-Lachaise. На экране, в зале церемоний, высвечивалась фотография Николая Бокова с жизнеутверждающим взглядом. Я читаю друзьям посвященные ему строки:

Время вспахало плугом утрат,
Жертвой ненужною падают листья...
Ты невиновен, а кто виноват
В этом мире без истин?
Вот с фотографии — острый взгляд
И детская полуулыбка...
Есть ли Там обмен и возврат,
Когда происходит ошибка.

Фану, сидящая рядом с Филиппом, внимательно вслушивается в мою речь о трёх душах Коли, а Загреба уже уехал домой — он устал, плохо себя чувствует, и это меня настораживает.

Перед Рождеством Фану просит меня заехать к ним. Меня ждёт сюрприз: Загреба вручает ангела, у которого «летают» крылья.

— Это ты, — говорит он, а Фану крепко меня целует.

Уход Бокова подорвал здоровье Загребы, но он продолжал писать, несмотря на частые госпитализации. Были изданы ещё две замечательные, элегантные книжки с иллюстрациями Михаила Архипова. Володя задумался об организации презентации этих книг и попросил меня помочь. Решили, что лучше всего собрать друзей в середине сентября.

6 апреля 2021 года в день рождения Загребы мы с Филиппом отправились к ним в гости. Наши семьи так сдружились, что главные праздники стали отмечать вместе. Заблаговременно готовился подарок к этому событию. Моя знакомая художница нарисовала волшебно-красивые крылья, укрепив их на спине изысканного верблюда. Пусть хотя бы один из его коллекции будет летающим!

Володя с детским любопытством развязывал ленты на коробке. Я обратила внимание, что он похудел и состоял из одной улыбки, что не помешало ему пить шампанское и восхищаться летающим верблюдом. Он любил оригинальные подарки и подвесил его над кроватью. Вдруг, взяв телефон, включил голосовое сообщение, которое я оставила ему, когда он находился в больнице, в ответ на его «Загребарик» (стих):

Как жизнь летит, уходят вдаль года,
Для юмора всё меньше остаётся места,
Но есть в Париже дивный Загреба,
И нам с ним очень, очень интересно!

Эти строки он ужасно перевёл на французский язык, и все смеялись. Его дочь, красавица Вика, с мужем Стефаном, устроили маленький фейерверк в честь двойного праздника: день рождения Володи совпал с покупкой квартиры Вики и Стефана, которые к середине августа ожидали рождение второго ребёнка. Володя, поздравляя дочь, целовал ей руки. Будущее казалось прекрасным. Мы были уверены, что ОНА отступила от него, оказалось — затихла в засаде. В этот день мы вспоминали чудный вечер, проведённый в прошлом году в семейном дачном гнезде клана Франс Требюк–Загреба, где познакомились с её сёстрами и братьями. Ужин состоялся на террасе красивого дома, стоящего на берегу их частного озера, с деревьями в небеса, скалами и пёстрыми цветами. Тишина, покой, благодать. Только романы писать, но писатель Загреба рвался в Париж, где во всём великолепии своего уродства высилась Монпарнасская башня, а Сена, словно девичья шея тонка, делала вид, что плавно течёт под мостом Мирабо.

Последний раз мы виделись с Володей в июле. Мы навестили его с Леночкой Д. Фану сияла от радости: Володя был в отличной форме. Мы обнимали Фану и ликовали вместе, а Загреба демонстрировал свою вернувшуюся силу, принеся тяжёлый поднос с чаем, сладостями и фруктами. Он много говорил, и его глаза смотрели как бы изнутри, а в голосе заключалось необъяснимое очарование доверительности. Его смешные, забавные «Загребарики» довели нас до изнеможения, когда хохот перешёл в стон. Мы совсем не понимали, что это в последний раз, не приняв всерьёз его исповеди, что писал он не для СЛАВЫ, а для СЛОВА! Как настоящее мгновенно! Не удержать его и не запастись впрок. Время — ужасный деспот.

Писатель Загреба напоминал мне мощное дерево, которое закатали асфальтом под самый ствол, но это нисколько не сказалося на интенсивной невидимой никому жизни корней. Только сочные плоды трудов-книг оповещали нас о его неиссякаемой энергии и мужестве. Он сам был и поэтом, и музой, и конечно, огромным словарём цитат-перевёртышей: «Невменяема эпоха — не в меня эпоха», «мы созданы друг против друга» и т.д. Доктор всегда чувствовал пульс течения жизни, а стиль у него был артиста, и беспокоило его только искусство литературы.

Я часто ему звонила, не обратив внимания, что он всё меньше стал говорить, предпочитая слушать. У него ещё нашёл-ся последний всплеск сил, чтобы написать мне прощальный «Загребарик»:

Волосатая нежная грудь,
безнадёжные синие ноги...
Дорогая, позволь мне уснуть —
я устал после долгой дороги.

Вечером бесцветным голым голосом Фану объяснила мне, что его может спасти только чудо.

Утром 9 августа, в 10.45 закончился земной путь Владимира Алексеевича Загребы (Ленинград, 6 апреля 1940 — Париж, 9 августа 2021).

«Невозможно, чтобы навсегда», — подумала я. Неужели больше никогда не услышу его хрипловатый голос?

Четверг, 12 августа 2021. Похороны Загребы

В природе неурядица. После дождей и совсем не августовской прохлады ожившее небо подарило солнечный и жаркий

день. Париж пуст и тих, отдыхая от жителей, отправившихся на моря-океаны. На кладбище Père-Lachaise, где Володя будет похоронен рядом с матерью Фаиной Загребой, в окружении коллег по литературе: Мольера, Бальзака, Мюссе, Доде, Бомарше — пришли попрощаться русские друзья и многочисленный клан Требюк-Загреба. На Фану нет лица, а о Вике мы все беспокоимся. Вот-вот она должна родить и дать жизнь второй внучке Загребы, которой, увы, он уже не улыбнётся. Пусть в этой жизни будет только жизнь, а наша память — преодоление всех смертей. Загреба не выносил красивых, пафосных фраз, предпочитая шутить над всем: «Ничего страшного, если надо мной смеются, гораздо хуже, когда надо мной будут плакать».

Стоя у его гроба, ждали традиционного выступления вдовы, но её чуткость и душевная щедрость подсказали, что вначале должен прозвучать его любимый русский язык. Неожиданно Фану предоставила мне слово. Конечно, можно сказать, что Володя покинул землю, чтобы слиться со звёздами и светить нам, но чувствовала — ЕМУ не понравится. Тогда я просто прочла строки, пришедшие ко мне на Père-Lachaise:

Сегодня мы здесь, на пороге у Бога,
молча жёлтую шляпу снял старый каштан пред тобой.
До свидания поэт, до свидания, писатель Володя,
ты же знаешь, что встретимся все
под какой-то счастливой звездой.

Мне хотелось вселить в присутствующих надежду, и я процитировала фразу его любимого философа Владимира Янкилевича: «Тот, кто был, не может перестать быть: отныне таинственный и абсолютно непостижимый факт прожитой жизни является его пропуском в вечность».

Как утешение, прозвучала в исполнении Галины Бларэ песня «Рай» Анри Волохонского (музыка Владимира Вавилова), которую часто исполнял под гитару Алёша Хвостенко.

Над небом голубым
Есть город золотой...

Сердечно прозвучала французская речь родственников. В их нужные и веселые слова вдруг вклинился ЕГО голос текстом из «Летающего верблюда». Дочь Вика — известный режиссёр и актёр театра вместе со своей коллегой Лор сыграли отрывок из Володиного романа. Таким образом он был с нами, снова шутил и любил нас. Повисла минута молчания и скорби. Из оцепенения

нас вывела новозеландская колыбельная песня, исполненная профессиональной певицей Клер, женой брата Фану.

Мы бросали в могилу нежные, благоухающие розы — символ воплощения жизни и любви, и в то же время — цветок скорби и траура.

Солнце закатно кровоточило. Он покинул нас... Осталась несправедливая пустота.

Михаил РАХУНОВ

/ Чикаго /



* * *

Отважно музыка дает
Возможность слышать за пределом
Той грани, там, где переход,
Очерченный упрямым мелом.

За гранью, там, где переход,
Где музыка совсем другая,
Где стрелок остановлен ход
Одним щелчком, как бы играя.

Кем остановлен? — не узнать.
А, может быть, на том кордоне:
Всем стрелкам приказали гнать
Быстрее самой злой погони...

И только музыка дает
Возможность оценить без страха
В прах неизбежный переход
И вновь рождение из праха.

ЗВЕЗДЫ

Все та же Большая Медведица,
И Марс, и Венера все те же.
Душа же по-прежнему ленится:
На звезды смотрю я все реже.

И светят небес многоточия
Все тем же немеркнущим светом,
И ждут, и взывают — и ночи я
Сжигаю, не помня об этом.

ТАМ, ГДЕ ВИШНИ И МОГИЛЫ...

(на картину Antoni Taule (р. 1945) «Атлантида»)

В открытый мир глядит малыш, и хлеб в руке застыл.
Лишь сделай шаг, — и он весь твой, от вишен до могил.
И даже хлеб в его руке не сладок так, как те
Тугие серьги (без числа), что зреют в темноте.
А что могилы, для него — они ничто, пустяк.
Вперед, герой, и мир весь твой, один лишь сделай шаг.

И я когда-то вдаль глядел, и мир лежал у ног.
И, все советы позабыв, шагнул я за порог...
Две жизни — крылья за спиной, и третья жизнь, пари!
Никто не крикнет злобно вслед, «Все завершил — умри!».
И значит снова в долгий путь, и снова новый взгляд
На жизнь, на смерть и на любовь, на Небеса и Ад.

* * *

Иду тропой заиндевелой,
Осенних листьев суета;
Своим неприхотливым делом
С утра природа занята.

Накинув плащ свой желто-красный,
Ждет перемен озябший клен,
И серым крепом грубо, наспех,
Завешен мрачный небосклон.

Уравновешенная осень
Все расставляет по местам
И нашей помощи не просит,
И ничего не дарит нам.

* * *

Не перемудрить бы, не пережелать бы,
Три глотка, не больше, из ковша свободы,
Все, как говорится, заживет до свадьбы,
В срок угомонятся бури-непогоды.

Жизнь такая штука: три сердечных стук —
Улетит, исчезнет, не оставив тени,
Лоскуток надежды — вся ее наука,
Все ее итоги — поздний лист осенний.

Что ж, нам не укрыться от ее туманов,
Хватить спать, леньденыш, под простынкой белой;
Поднимайся с миром, поздно или рано,
Заверши, как должно, начатое дело.

* * *

Кто их знает, товарищ майор,
Все причины подспудного страха.
Плачет в небе невидимый хор
Так, что к телу прилипла рубаха.

Может, там, в черной ночи без дна
Нам куется расплата в итоге,
И начальная сбита цена,
И вбивают последнюю боги.

Огорошены тьмой, смущены,
Вопрошаем нетвердую память,
И владеют умами лгуны,
И прохвосты командуют нами.

Кто их знает, и кто разберет
Все сплетения ставок и судеб.
Перепутаны выход и вход
Нет ответа, где были, где будем.

Но не зря за сплетеньем теней
Все сильнее ощущения света —
Запрягает упряжку коней
Ненасытное жаркое лето.

И по небу пойдут облака,
И растают подспудные страхи,
И расправит небрежно рука
Ворот к телу прилипшей рубахи.



Александр ЗАЙЦЕВ

/ Москва /

СМЕРТЬ ИЛЬИНА

Стало известно, что писатель Ильин вот-вот умрет, а незадолго до этого выяснилось, что именно он и есть живой классик, хотя сейчас уже полуживой, и то, что он классик, еще не более двух лет назад было совершенно неизвестно. Наградили премией, издательство-монстр напечатало две тысячи экземпляров. Журналисту Максиму поручили, пока не поздно, взять интервью.

Журналист Максимов специализировался на интеллектуальных разговорах. Его бросали туда, где нужно было понимать. За двадцать лет он застолбил нишу собеседника сложно устроенных людей.

Дотошно выловил из сети незаметные рецензии, скудную биографию, прочитал сборник прозы (понравилось), переговорил с Ильиной второй женой (бывшей) — да, талантливый, но тяжелый. Впрочем, она не видела его давно.

— Максимов? — Ильин помолчал в телефон. — Можно, я подумаю?

Максимов, разумеется, согласился. Ему показалось, что в интонации Ильина был смысл «вообще-то я вас презираю». Ильин же подумал, что, когда журналист сказал «конечно», он имел в виду «поторапливайся, скоро умрешь».

Начиналась холодная часть осени с вкраплениями зимы. Умирать в зиму особенно не хотелось. Ильин представлял себе замерзший грунт, как тяжело его рыть, как вокруг серо, — лучше бы без мероприятий. Максимов смотрел из окна такси на подмерзшие обочины в окурках и говорил под нос «н-да-а».

Посидели на кухне — чай, всё прилично (по слухам, Ильин выпивал). Максимов перешел от разведки к интервью и спросил о «секрете настоящей прозы», Ильин перебил:

— По мнению Померанца, Бог — как лампочка: светит всем. А иудеи, христиане, мусульмане видят свет с разных сторон. Только с чего он взял, что Бог похож на лампочку?

Ильин выключил кухонное бра, потому что появилось солнце:

— Пойдемте гулять.

Максимов присмотрелся: не хуже небольших людей, — возможно, даже лучше.

Клязьма текла метрах в двухстах от подъезда, за рощей из сосен. На реке были заводы и утки. Вода чертила кривые вокруг коряг.

На тропинке Ильин вдруг остановился:

— Я толком ничего не рассказал. Извините... Вот: дерево...

— Красивое? — предположил Максимов.

— Да нет, — Ильин вздохнул и пошел дальше.

На следующий день Ильин умер, а Максимов, когда это узнал, не испытал ничего, только увидел голову этого Ильина из полупрозрачного тумана, как у привидений, как она заполняет всю кухню, в которой сидит сам вполне реальный Ильин за чаем, в которой вчера светила желтая лампа, и единственное, что ословилось, — Ильин был похож на загримированного мальчика.

«Похож» — «*был* похож». Грамматика.

Люди. У одних видимое горе. У других нет. У кого-то кажется, что нет. Кому-то кажется, что у них горя нет, а на деле есть. Редкие снежинки на черной земле.

— Несчастный, — говорит на поминках фиолетовый литератор. — Вы знаете, в сущности он был очень несчастный.

— Что ты, Боречка, — возражает сосед. — Ему повезло больше всех!

— Это да, — легко соглашается Боречка.

Максимов перестал слушать и вспомнил слова Ильина: «Подумаю», — мол, соглашаться на интервью или нет. Вот и подумал. Максимов устал от поминочного ресторана. В душе чувствовался эстетический и метафизический протест. Который через минуту, конечно, остынет — хотя бы потому, что время протестов прошло.

...И портрет нарисуют позже — возможно, не при Максимове уже, понятно. Но сейчас он в удачной позиции — последним видел, говорил. Теперь нужны компьютер, заметки, дневники.

Обозначилась вторая жена Ильина — вернее, вдова.

— Почему мне не позвонили?

— Почему должны были? — спросил Максимов.

— Теперь я ближайший родственник, — это был полувопрос о правах на квартиру и остальное.

Из секретера вывалились бумаги. Видимо, их Ильин временно спрятал перед приходом гостя, чтобы скрыть беспорядок. Максимов подобрал их с пола, организовал в стопки. Листы А4, много карандашных записей.

Еще слегка пыльный ноутбук — Максимум вспомнилась детская поездка в Ялту, как зашли с отцом в дом Чехова, — там в кабинете стояла пишущая машинка. И этот ноутбук станет экспонатом — только вряд ли в однокомнатной можно организовать музей. Да нет, Ильин не Чехов... Вернее, никто не знает. Он подумал о папе, о лете, когда приехали в Ялту, как бродили, держась за руки, вспомнил свои шорты и сандалии, яркое солнце и склоны, как в гостиничном номере он порезал ладонь консервным ножом и плакал, пока папа мазал царапину йодом и перевязывал бинтом.

На окнах цветы в горшках.

Выходя из подъезда, Максимов снова заглянул к консержке. В каморке пахло борщом.

— Приеду через неделю, — Максимов протянул ключи и 1000 рублей.

Консержка кивнула.

— Вы не могли бы поливать цветы?

Консержка замотала головой:

— Там был покойник.

Максимов снова достал бумажник.

Консержка замахала руками:

— Нет, нет, нет, нет, нет.

— Послушайте...

— Я очень боюсь умереть.

Максимов положил на стол пять тысяч.

— Если бы деньги помогли мне не бояться смерти, я бы сама себе заплатила.

На вид ей лет восемьдесят.

Через месяц Максимов сыграл свадьбу. Невеста — студентка из его мастерской в театральном училище — моложе на четверть века. Максимов знает о том, что об этом могут сказать, обязательно скажут, что за этим стоит, что может стоять, и что ему, конечно же, всё равно. Седина и большой живот. Карьеризм молодой провинциалки. А вдруг настоящая любовь. Да нет... Психоаналитически — налицо повторение сценария, виток спирали, ведь и прежние жены были сильно моложе, и всех он (говорил, что) любил, и всех он (говорят, что) оставил. И так далее.

И так далее... Но насколько еще далее? С женой они ходили под соснами на Капри, пили вино, дышали морем, любовались закатами. С которой? — Да с любой. Это могло быть (или было) с любой (одной) из них. Проснувшись в гостиничном номере, он подумал, что, когда всё закончится, всё так и будет продолжаться, — свадьбы, Капри, усталость, претензии, развод, снова закаты и море, и так круг за кругом, виток за витком. По утрам он с любопытством смотрит на спящую в подушках молодость, на свои ступни,

отекие за ночь, как он шлепает ими по приятной прохладной плитке в туалет, как мочится, и иногда в такие минуты почему-то тихо радостно хохочет.

На интервью в студию пришел финалист премии «Роман года». Он молодой, в очках модной геометрии, в продуманно порванных джинсах. Максимов спрашивает, как требуется, о великом и вечном — и тут же о его книгах, создавая нужную аберрацию. Иначе не было бы этого кресла, бессменного авторитета, издательств. Капри, черт побери.

Подумать только, в тридцать пять лет уже написал больше Чехова и Бунина вместе взятых. А стихов — больше, чем Пушкин. Финалист отвечает логично, аккуратно. Максимов желает ему «дальнейших творческих удач».

Незаметно прошли двадцать лет. Максимов сидит в студии — теперь уже он — гость. Ради него светят софиты, ради него собрались люди.

Максимов заметно похудел, упростился по-стариковски. О былых похождениях забыто — теперь в нем видят мэтра телевидения, критики, театра. Чувствуется — его любят.

Приятно отвечать на вопросы. Неприятно, что в передачу «Линия жизни» приглашают, когда думают, что всё.

Рассказывает, что знал многих. О былых встречах, спектаклях, интервью... Вдруг спрашивают про Ильина. О нем ведь так мало известно. А он вспоминает что-то давно забытое, но как будто рядом, как бывает, когда много времени под тяжестью спрессовывается. Неполитые цветы. Дал консьержке тысячу...

— Ильин был... знаете, каким...

Максимов вспоминает: лето в Ялте, он с папой, машинка Чехова и порез ладони.

Он плачет. Публика аплодирует.



Алексей РОСОВЕЦКИЙ

/ Киев /

ДОВОД

Когда мне хотелось её разозлить, я говорил Ирке: «Слышь, ты, икра!» — «Я не икра», — отвечала мне Ирка и злилась. В тот самый день перемирие мы отпраздновали в кино: модным, длинным и глупым фильмом. Помирившись, мы выпили.

Фильм был глупый вдвойне оттого, что мы смотрели его, разлученные пустым карантинным креслом, хотя проснулись — Ирка позже, как обычно бывает, я раньше, на старом диване, разложенном навсегда, приютившем когда-то иркиного отца, теперь нас, а вечером снова уснем рядышком. И меня, как всегда, понесло говорить об этом нелепом фильме, который стоило бы поскорее забыть, ибо время не позволяет нам путешествовать — тем более, в прошлое. Можно мысленно, только зачем?

Его не зря называют прошлым — что прошло, то ушло навсегда. Как невидимый эпидермис осыпается с кончиков пальцев (я так любил целовать её руки, она не любила), прямо сейчас мы с тобою, любимая, не торопясь обращаемся в прах.

Тем вечером в фиолетовых сумерках позднего лета боги разлили закат цвета сливок, окрашенных кровью. Он лежал на плечах твоих, как небрежно выброшенный свитер. В саду кинотеатра коричневый запах гвоздик опьянял, а розовый аромат отдавал детским мылом. Времени можно было коснуться, как знакомых колен под столом, и отправиться вместе в будущее, всем троим, показалось по силам.

ЧЕМ РЫБЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ЛЮДЕЙ

Если бы рыбы умели смотреть в телескоп и, предположим, не только считать, но еще и в Фейсбуке писать, они написали бы нам, как сверкают чешуйки Великой Матери-Рыбы на самом небесном дне. Просчитали бы цикл, когда подмигнет она снова всем детям своим единственным глазом.

(Что составляет, согласно старинным указам, вполне полных суток — всего 29, а еще 12 часов и даже 4 минуты.)

Как твердь, и вода, и небо — совершенно особое дело, когда люди в трубу глядят: они хотят отыскать только черные дыры с кротовыми норами. Оттого люди кажутся рыбам кротами — убогими и слепыми в наших нелепых трудах повертеть дыру в небесах.

Ни одна из знакомых мне рыбок (в особенности — аквариумных), ни ученая рыба, ни просторыбинка — в океанах, озерах, прудах и морях, куда любая земная река благодарно течет, не хотела бы стать человеком. Только одни человеки мечтают стать кем-то еще.

МАРИНА В ИНСТАГРАММЕ

Ты снова танцуешь, любимая Саломея — плохонько, так в «Горькой луне» танцевала Эмманюэль Сенье. Перед смартфоном, как перед мужчиной, танцуют. С телефоном, будто с головой глуповатого Иоанна. Ты сама — и поклонница, и звезда собственных Stories, от Фейсбука и до Инстаграма.

Мы просто две искры в цифровой бесконечности, где ты снимаешь свои сэлфи даже со мною внутри.

Пой, Марина, убаюкивай колыбельными свой страх перед неумолимым течением времени между йогой и обедом в «Pesto Cafe». И точно так же, как все дурные приметы вокруг — непременно к старости, в моих лайках и репостах нет ничего от страсти.

РОЖДЕСТВО 2020 ГОДА

В Рождество все немного козлы. В продовольственных и маршрутках задыхаешься не под маской — от сердитых, насупленных лиц, вожделеющих к Новому году икры, хотя нечем платить коммуналку.

Дома кошка-мерзавка играет с елкой, прошлогодней, как снег, а в шкафу притаилась бутылка бурбона. Он тягучий, как мед, и такой же целебный, как время, но лечит быстрее. Нет, соврал, полбутылки — наверное, в этом сезоне я часто болел. Что совсем не беда: на балконе с предпоследнего в этом году гонорара я шампанского предусмотрел.

Что одиночество — не проклятие, это дар, понимаешь не сразу, с годами. Дома так хорошо одному! Самому непременно найдется, о чем помечтать и зачем помолчать. Дома тапочки прямо с порога приветственно машут ушами, и виляет хвостом мой домашний халат.

Есть пластинка Stray Cats — скрипучая, словно прогулка по насту. А еще накануне скачал пару-тройку любимых рождественских фильмов. Каких? «Поменяться местами» и «Крепкий орешек». Но вы не спешите смеяться — в Рождество все мужчины немножечко дети, от кидалтов и до пожилых. Одинокие люди, давно разуверившись в чуде, просто тихо чуют в Рождество за двоих.

НОВЫЙ 2021-й ГОД

Всегда недолюбливал праздновать Нового года приход — а теперь меня разлюбил Новый год. В тридцать лет выпиваешь для полноты ощущения счастья (а еще, чтобы дольше не падал). В сорок три — от тоски. Хотя давно уже специально для всех несчастливых таблетки изобрели: от виагры и до экстези.

В ночь на первое января каждый год от тебя отпадает невидимой тенью, как написанное четверостишие (или, скажем, бутафорская борода у нетрезвого Деда Мороза наутро), что-то ненужное, лишнее. Вроде давно бесполезных привычек и даже вредных, — наподобие увлечений. В зависимости от пола, они так и не стали ни дружбой, ни чем-то большим, что лишено глагола.

Ведь об этом, по сути, мы просим у ангела (или все же нечистого?), притаившегося внутри циферблата, когда точно в полночь приносим мы в жертву ему бутылку сухого игристого.

Григорий МАРГОВСКИЙ

/ Бостон /



ТРИ ЭССЕ

СТИХ И КАМЕНЬ

Юношей, учась в Литинституте, я ежедневно с восхищением перечитывал пушкинские строчки, адресованные рано ослепшему поэту Ивану Козлову:

Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

Их отлили из бронзы на станции метро, откуда я после лекций добирался до общежития. Метафора на диво соответствовала вечной подземной ночи, сквозь которую со свистом нёсся поезд. Случайно ли выбор пал именно на эту строфу, или таков был замысел скульптора? Вряд ли нам удастся это выяснить. Но вот о чем я подумал: как часто люди пытались увековечить поэтическое высказывание в камне или в металле?

Порывшись в интернете, а также вдоволь напутествовавшись, я обнаружил изваянные из прочного материала стихи Катуллы и Тютчева, Мандельштама и Тараса Шевченко, а также Валентина Берестова, Гамзатова и сталинского акына Джамбула. Придавала ли трехмерность посмертного воплощения дополнительную нетленность их мнимым или реальным шедеврам? Ведь камень тоже конечен, как известно, не зря писал вещей Шаламов: «Моими ли руками / Построен город каменный, / Ах, камень, серый камень, / Какой же ты беспмятный. / Забыл каменотесов / Рубахи просоленные, / Тебя свели с утесов / Навек в поля зеленые. / Твое забыли имя / Не только по беспечности, / Смешали здесь с другими / И увели от вечности».

Кое-кто из ваятелей писал неплохие стихи: в первую очередь, конечно же, вспоминается Микеланджело. Правда, инструментарий принципиально разный: поиск созвучий — с гусиным пером или айфоном — явно уступает по трудоемкости резцу, зубилу или тиглю. Зато в части развития сюжета и метафоры у этих двух поприщ немало точек соприкосновения (хоть и нелегко представить, скажем, мемориальный комплекс, дотошно воспроизводящий одну за другой песни «Илиады»). Статуя бывает плоскостной, а стихотворение порой вбирает в себя космические пространства: в этом, вероятно, также проявляются диффузия и кооперация двух настолько, казалось бы, несходных видов искусства.

Насколько я сумел понять, ритмы и рифмы становятся осязаемой скульптурой чаще всего из патриотических, краеведческих либо похоронно-кладбищенских побуждений. Об этом свидетельствует и широковегетарийная имперская выдержка из «Медного всадника» на петербургской набережной, и пронизанное светлой грустью хокку Басё на гранитной глыбе в небольшой японской деревушке Хираидзуми. Надгробье Надсона увенчано его патетическим четверостишием про розу и арфу, а в Калифорнии на памятнике ветеранам Второй мировой войны вырезаны два куплета из песни про солдат и белых журавлей. Что же касается моих студенческих студий на перроне, то в вашингтонском сабвее имеется аналог московской транспортной Пушкинианы: одна из тамошних станций украшена развернутым отрывком из старого хиппи Уолта Уитмена.

Существуют, впрочем, и другие способы наглядной «кристаллизации» поэтической речи — публичного её запечатления ради возможности не только лицезреть, но и при желании пощупать ладонью силлабо-тонику, дольник, верлибр. Так, в гарвардском Центре визуальных искусств Карпентьера я недавно посетил выставку некоего Джонатана Бергера, одно из созданий которого — набранное латунными буквами и вывешенное в вертикальной плоскости эссе о выдающемся португальском поэте Фернандо Пессоа. Идея хороша тем, что недостаток оригинальности и созидательной энергии скульптора в этом случае компенсируется глубоким содержанием цитируемого фрагмента. Вопрос лишь в том, насколько долго удастся эксплуатировать подобный художественный прием и не приестся ли он со временем не только публике, но и самому автору?

Или вот еще, например: в одном из общественных парков Хьюстона, среди тенистой и вечнозеленой техасской флоры, неподвижно застыли в сидячей позе объемные стихо-статуи. «Прочсть» их совсем не просто, для этого желательно заранее ознакомиться с текстом: чтобы уловить — где начало, где конец. Наверное, такого рода литературно-визуальных шарад на земле гораздо больше, просто я недостаточно осведомлен. А есть и такой способ увековечения: в Америке проводятся конкурсы на лучшее стихотворение — и затем, в качестве приза, творение победителя оказывается вы-

гравированным на специально отведенной плите. Я бы назвал это культурным изъяном демократии: именно такого сорта уравниловка и породила в нашу эпоху небрежение к чеканному мастерству, подменив ристалище рыцарей пера тараканьими бегами прытких и тщеславных выскочек.

Однако наиболее впечатляющим экспериментом из этой области несомненно является проект, сравнительно недавно запущенный у нас в Бостоне. Там-сям, в двух городских районах Гайд-парк и Роузлиндейл, на тротуаре проступают поэтические инсталляции. Но происходит это — только когда на улице идет дождь (таковы техника нанесения надписей и качество материала). Тексты отобраны под редакцией бостонского поэта-лауреата Даниэллы Легрос Джордж и включают цитаты из таких современных авторов как Лэнгстон Хьюджс, Гэрри Дьёр, Барбара Хельфготт и Элизабет Мак-Ким: имена, русскому читателю практически неизвестные...

Камни, принимающие нашу поступь,
словно черная вода — серые камни,
камни, украшающие шею самоубийцы,
драгоценные камни, отшлифованные благоразумием.
Камни, на которых напишут: «свобода».
Камни, которыми однажды вымостят дорогу.
Камни, из которых построят тюрьмы,
или камни, которые останутся неподвижны,
словно камни, не вызывающие ассоциаций.
Так лежат на земле камни, простые камни,
напоминающие затылки, простые камни, —
камни без эпитафий.

Этой цитатой из Иосифа Бродского, образца 1959 года, мне бы хотелось завершить свои чуть-чуть странные заметки. Ни к какому всеохватному выводу я, пожалуй, в них не пришел. Твердую породу разрушают необузданно бушующие стихии, так же как неумолимое время подтачивает и покрывает патиной любой проблеск лирического или эпического дара. Вечности нет ни для чего, ни для кого. Кроме, разумеется, самого Бога, вдохновляющего и скульптора, и поэта в их тщетном порыве к бессмертию.

ПОЭТ И НЕДВИЖИМОСТЬ

Живя под Тель-Авивом, я часто появлялся в районе Флорентин — грязном, кишасщем клопами и нелегалами, где снимали тесные каморки мои собратья по перу: бывшая одесситка Рита Бальмина, которая с завидным упорством плела венки эротических сонетов, и питерский лихой бонвиван и рифмач Михаил Зив, то и дело закладывавший за воротник. Поэты буквально ютились друг у друга на головах: Рита обитала на последнем этаже, а Зив и вовсе облю-

бовал будку на крыше, откуда блаженно мерцал кусочек Средиземного моря. Впоследствии оба перебрались в не менее затхлый район Шхунат-ха-Тиква: там уже в роли Карлсона оказалась более предприимчивая Бальмина, а Мишка соорудил себе хибару из подручных средств, в духе Ниф-Нифа. Меня поражало, как он умудряется существовать в прорешливых фанерных стенах, без окон, с куском ржавой жести вместо кровли. Тем не менее, когда надо было где-то срочно разместить беременную дочь одной беспутной московской поэтессы, приехавшую в Израиль без денег и документов, гостеприимство проявил именно этот нищий усатый пропойца с берегов Невы.

Во все времена поэтам жилось нелегко, особенно опальным и в изгнании. Невольно приходят на ум депрессивный парижский чердак Ходасевича и вечные скитания по чужим углам Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой... После разговора Сталина с Горьким, сообщившим вождю, что литераторы на Западе в основном вдохновляются пейзажами у себя на загородных виллах, неподалеку от реки Сетунь возник поселок Переделкино. Отнюдь не все его обитатели достойны упоминания, но нельзя обойти молчанием знаменитую дачу Пастернака. Там были созданы роман «Доктор Живаго», циклы стихов «Земной простор», «На ранних поездах», а также «Переделкино»: настолько Борис Леонидович дорожил новой обителью вдохновения. «Это именно то, о чем можно было мечтать всю жизнь. В отношении видов, приволья, удобства, спокойствия и хозяйственности, — это именно то, что... настраивало поэтически», — писал он отцу в Англию. Спустя пару десятилетий в Переделкино получили дачи и поэты-шестидесятники: Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Окуджава. Дом Булата Шалвовича сразу же стал прибежищем вольнодумства: отсюда провожали за океан Аксенова — после скандала, связанного с «Метрополем», и здесь же впоследствии собирались «апрелевцы», вынашивая план борьбы с национал-патриотами из «Памяти». Параллельно, на даче у Евгения Александровича, автора ангажированных поэм «Братская ГЭС», «Голубь из Сантьяго» и острой антиэмигрантской сатиры «Мама и Нейтронная бомба», пировали представители писательского истеблишмента, а также именитые коллеги из «братских стран». Так или иначе, а пророчество Блока «За городом вырос пустынный квартал...» сбылось самым дивным образом.

Встать в литфондовскую очередь за квартирой или связать себя узами Гименея с московской пропиской во времена моего студенчества мечтали почти все поэты-провинциалы. Большинство из них тихо спивались в коридорах общежития, и лишь избранным удавалось выпорхнуть на простор: по выражению Заболоцкого, «из мильона птиц». Наряду с этим и среди уроженцев столицы я встречал стихотворцев, чьи жилищные условия оставляли желать лучшего. Помню, в январе 1984 года Вадик Степанцов (уже тогда леле-

явший идею создания своего «Ордена Куртуазных Маньеристов») привел меня и еще двоих сокурсников в гости к Алексею Дидурову, автору выпускного гимна «Когда уйдем со школьного двора...» Поэт вел жизнь люмпена, собирая пустые бутылки на бульварах, а его клетушка в коммуналке больше походила на купе общего вагона. От пола до потолка он понавтыкал самодельных полок: там кипами сгрудились подшивки выцветших газет. «А это мой Музей Голой Восьмиклассницы!» — гордо сообщил хозяин. Сомнительные черно-белые ню и «Письма Голой Восьмиклассницы к Голому Восьмикласснику» оказались главными экспонатами этой шокирующей выставки. Степанцов сиял, поглядывая на нас свысока: вот, мол, какие у меня продвинутые учителя! Затем мы долго пили чай, и Дидуров смаковал стихотворение Олега Чухонцева «Барков», где были такие строчки:

И вам почтение, отцы строптивых од!
Травите олухов с горячечным задором,
авось и вам по вышней воле повезет
и петь забористо, и сдохнуть под забором.

Да уж, в Истории такое случалось нередко: сдохнуть под забором довелось не одному служителю Муз. Лужиков Саша, пермяцкий поэт с улыбочивым лицом и чуть раскосыми добрыми глазами никогда не производил на меня впечатление сорвиголовы. Одновременно со мной отслужил в армии, активно публиковался где-то на малой родине с прицелом на карьеру... и вдруг! В некрологе у нашей общей знакомой читаю, что он в «нулевые», оказывается, стал бомжом и поселился на какой-то свалке под Сыктывкарком. Подельники его уважали за крутость, даже провозгласили своим паханом: ведь приходилось делить добычу, распределяя особо ценный мусорный улов. Однако неофициальный статус ему не помог ничуть. Суровый климат Республики Коми и тотальная коррупция во власти взяли своё. Лужиков замерз в сугробе по пьяни. А, может быть, и перейдя на тяжелые наркотики. Его мне почему-то особенно жаль: тем более что стихи на этом языке пишутся всё реже и реже...

В годы правления Ельцина предметом всеобщей зависти стал практичный поступок поэта Ивана Жданова: получив солидную по тем временам премию им. Аполлона Григорьева, он приобрел дом в Крыму. Ивана я знал с конца 80-х, он часто навещался к родителям моей первой супруги (мы жили все вместе на Новом Арбате) и обожал макароны по-флотски, обычно прося у тещи добавку. Однажды телевизор был включен, крутили мультфильм «Бемби». Пристально следя за олененком, карабкавшимся на кручу, гость неожиданно гаркнул: «Вот бы навернулся!» Помню, я с трудом скрыл разочарование: настолько не вязалась циничная реплика с его умо-зрительной просодией. Однако цепкость в нем проглядывала уже

тогда: родом из алтайского села, Жданов отпахал буровиком на Севере, но едва забрезжил шанс вступить в Союз писателей, он не преминул им воспользоваться. Тем паче, он ведь был чистокровный русак, «с правильной фамилией» — как он сам мельком сострил в одном телеинтервью.

Были и другие примеры наездников Пегаса, грамотно управлявшихся с недвижимостью. Соратник Жданова по группе метаметафористов и культовый поэт поколения Александр Еременко с развитием дикого капитализма подался в риэлтеры и вдвоем с женой достиг похвальных результатов. Однако всех на данном поприще обскакал Алексей Пинус, учившийся со мной в одном семинаре у Винокурова. Лёша стеснялся фамилии отца, кишиневского еврея, и взял псевдоним Сосна: якобы это перевод с латыни (хотя «пинкас» на иврите, или «пинхус» на идише, означает книгу записей долгов у ростовщика). Тем не менее, бизнес папы, инженера-строителя по профессии, его глубоко увлек с самого начала. Сосна учился у Пинуса-старшего строить коттеджи на заказ и втридорога перепродавать чужие квартиры. Он свел дружбу с умиравшим художником-нонконформистом Зверевым, завладел правами на его картины и возвел так называемый Зверевский центр современного искусства — продолговатый сарай, где он выглядит теперь калифом на час, наливая щедро собратьям и ожидая славословий в свой адрес. С синекурой его тягаться мало у кого достанет куража: в стихах же Алексей, увы, так ничего стоящего и не создал...

Тема любого пространного эссе предполагает экскурс в историю. Обратим же свои взоры к полуострову Малая Азия. В силу кочевого происхождения, турки никогда не имели наследственного дворянства, тем не менее их правители часто старались выдать себя за аристократов. И султан Абдул Меджид был весьма доволен, когда французский поэт Альфонс де Ламартин, которого он пригласил ко двору, обратил его внимание на то, что после Бурбонов Османлы были самой древней династией в Европе. За эту тонкую лесть предводитель правоверных впоследствии подарил французскому классику загородную резиденцию близ Бруссы, где тот с удовольствием предавался вдохновению. Вообще же, будучи политиком и дипломатом по совместительству, Ламартин отправился в путешествие по восточным землям еще в 1832 году. Он посетил Сирию, Ливан, Палестину и даже опубликовал книгу под названием «Voyage en Orient» три года спустя. Но во время паломничества в Святую Землю его юная дочь внезапно погибла при трагических обстоятельствах. Это стало поворотным моментом в его мировоззрении: поэт отошел от католической религии, погрузился в пантеизм и сблизился с демократами. А в 1840 году, противодействуя политике Тьера по восточному вопросу, Ламартин и вовсе высказался за уничтожение Турецкой империи, предложив отдать Константинополь — России, Египет — Англии, а Сирию — Франции.

Глава «Плеяды» Ронсар, будущий придворный поэт Генриха II, появился на свет в родовом замке Ла-Поссоньер, переделанном в новом вкусе его отцом: большие окна, украшенные барельефами с латинскими надписями, а вокруг — зеленые луга, сбегаящие к Луаре, холмы, покрытые виноградниками, и леса, примыкавшие к королевскому Гастинскому лесу. Великому и безбытному Рильке тоже перепал от состоятельных поклонников пусть крошечный, но всё же замок. Владея портом в Гавре и экспортируя кофе и хлопок, богатые швейцарские меценаты помнили завет своего предка Теодора Рейнхарта: «Хорошо быть купцом, но не следует забывать красоту мира — надо помогать поэтам, писателям и музыкантам». Когда Райнер Мария Рильке приехал в Сьер, недалеко от Шамони, поселившись в гостинице, он увидел старое поместье XII века с симпатичной башенкой и мечтательно произнес: «Как мне хочется там жить!» И потомок негоцианта Теодора по имени Вернер решил: «Покупаем этот дом». В замке Мюзот, уже смертельно больной, австрийский лирик жил и работал все последние пять лет: в башенке был его кабинет, там он и создал самые известные свои произведения — «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею». Хорошо обладать дорогой недвижимостью в Стратфорде-на-Авоне, пуская по миру своего героя — старого короля, отвергнутого дочерьми: а если всё наоборот?.. Зависимость от чьей-то милостыни крайне унизительна для творчества: но и в этом состоянии возможен прорыв через тернии к звездам.

Иногда, впрочем, и сами поэты оказывались способны на широкий жест. Много лет подряд, бывая в Лондоне, Иосиф Бродский останавливался в доме у своего переводчика Алана Майерса и его жены Дианы в Северном Финчли. Когда же Диана развелась с супругом, нобелевский лауреат (хорошо запомнивший те пресловутые «полторы комнаты» в Ленинграде) любезно помог ей приобрести собственное жилье: здесь же, на тихой улочке Хэмпстед Хилл Гарденс. Эта квартира стала и главным его лондонским пристанищем — вплоть до самой его смерти в 1996 году... Ну, а несравненный Коктебель, этот громокипящий кубок человеческого и поэтического радушия, и вовсе является апофеозом в этом смысле. Десять лет Макс Волошин строил свой дом на берегу моря, заранее видя в нем «художественную колонию для поэтов, ученых и художников». В лучшие годы там гостило до шестисот человек за лето. «Он был вдохновителем мудрого отдыха, обогащающего и творчество, и познание», — вспоминал Андрей Белый. 17 марта 1893 года Максимилиан записывает в своем дневнике: «Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в Крым, в Феодосию, и будем там жить. Едем навсегда!.. Мне кажется, что вот именно теперь, только теперь начинается настоящая жизнь... там, около Феодосии купил вместе с мамой маленькое имение. Всего в версте от моря, недалеко от гор... Боже, как хорошо!» Откуда ему было знать, что грядет великий передел собственности? А откуда было знать поэту-авангардисту Ивану Жданову, что грядет перекройка государственных границ?..

Исторической качкой, бывало, поэтов подбрасывало вверх-вниз, и страдали при этом, как правило, наименее приспособленные. Так, один из столпов русского символизма Вячеслав Иванов перекочевал из своей надмирной «башни» в подвалы ватиканского книгохранилища; автор «Лолиты» — из дворянского гнезда на съемные квартиры аж в трех странах, хотя в итоге, к счастью, на полный пансион в альпийском Монтрё; а переводчик Мильтона и большой недооцененный поэт Аркадий Штейнберг — из respectable-квартиры одесского врача в тюремную камеру, затем в окопы Второй мировой, потом опять в советский концлагерь, и лишь к концу жизни в собственную избу в селе Юминском под Тверью, которую он и отремонтировать сумел своими руками, и оборонить от хмельного соседа, ворвавшегося туда с топором и истощено вопящего: «А, расселились, нехристи!»

Когда я очутился на Бермудах, я первым делом посетил бывшее жилище Томаса Мура, автора «Вечернего звона». Три года ирландец служил регистратором в местном Адмиралтействе: своё бунгало он украсил всеми видами пальм, лиан и кипарисов. До сих пор это чуть ли не самый экзотический сад на целом острове. «Но остался ли хоть след от хижины проклятого поэта Артюра Рембо на Кипре, где он решил перезимовать, направляясь в Эфиопию?» — спросите меня вы. О! Там я тоже побывал когда-то и готов засвидетельствовать: ни камешка, ни бревнышка, ни сухой былинки от временки гения не сохранилось. Экскурсовод, приветливая курносовая гречанка, цитировала нам его «Пьяный корабль» по-французски. Вот и вся недвижимость, как говорится... Хотя бывает ли надежней, с другой-то стороны? Ведь и обитель Овидия в Томах — это его «Письма с Понта», а не сарматская глина, которую давным-давно вымесли полчища безграмотных завоевателей. Дом поэта — это сами его творения: его идеи, эмоции, образы и созвучия. И китайские отшельники, выводившие стихи иероглифами в горных пещерах, верили, что своды рухнут, а их свиткам, возможно, удастся пережить землетрясение.

ГИЛЬДИЯ МЕНЕСТРЕЛЕЙ

Недавно одна моя знакомая провела опрос в фейсбуке: чем зарабатывают на жизнь ее собратья по перу? Посыпались самые постмодернистские ответы: «контент-менеджер», «креативный продюсер», «оформитель витрин модных бутиков», «бухгалтер-калькулятор в ресторане актив-отеля», «разработчик компьютерных игр», «косметолог, руководитель онлайн-школы для эстетистов». И я тут же вспомнил, как в Москве, на рубеже 80–90-х, поэты в основном сторожили и дворничали, пахали на бензоколонках и в ночных киосках, самые отвязные — декламировали вирши на Арбате, обходя толпу с обтерханной шляпой, а наиболее удачли-

вые — выцганивали себе местечко литсекретаря или плюхались в редакторское кресло, обзаведясь литфондовским удостоверением. Что ж, если бы Иппокрена сделалась еще и источником дохода, было бы куда проще!

Modus vivendi безусловно влияет на творческий облик поэта, накладывает отпечаток на его менталитет. На первом курсе мы дружили с Эвелиной Ракитской. Она писала диссидентскую лирику, ругая войну в Афганистане, — чем ужасно нервировала Винокурова, руководителя семинара: он шепотом умолял её перестать играть с огнем, во благо им обоим. Но вскоре Эвелина основала кооперативное издательство и принялась, постепенно снижая планку, открывать читателю платежеспособных авторов. В какой-то момент у нее развилась мегаломания, она переключалась в Израиль — и запустила «международный конвейер славы». Клиенты жаловались: их книги издавались небрежно, большая часть тиража бесследно пропадала на мифических складах. В результате, как и следовало ожидать, сама она полностью отошла от стихосложения: испытал к нему отвращение как к таковому... Два альтернативных примера: Игорь Меламед и Саша Закуренко. Оба, после коллапса СССР, вынуждены были, с литинститутским дипломом, торговать букинистикой на книжных развалах. Проходя мимо Никитских ворот, я часто видел, как они приплясывают на морозце, задрав воротники и трепетно листая двухтомничек какого-нибудь Бена Джонсона или прижизненное издание Флоренского. Спустя несколько лет Игорь устроился сотрудником в Дом-музей Пастернака и буквально на глазах превратился в выдающегося русского поэта, а Закуренко — стал преподавать литературу в гуманитарном колледже и писать глубокие по интеллектуальному анализу и языковому чутью монографии и статьи.

Тем не менее, рассуждая о всевозможных профессиях поэтов, я хотел бы абстрагироваться от смежных с их непосредственным призванием специальностей. Переводить иностранную классику, редактировать книги и подборки коллег, писать рецензии, составлять комментарии к собраниям сочинений — всё это, несомненно, очень важная часть литературного процесса. Но куда интересней изучить, скажем, тягу стихотворца к преподавательской деятельности. Не сказалось ли основное занятие Василия Жуковского — воспитание цесаревича — на балладной, почти колыбельной плавности его стихотворений? Не провозгласили ли акмеисты Анненского своим предтечей чисто автоматически — основываясь лишь на том, что он как директор гимназии терпеливо наставлял вихрастого Гумилева? Ну, ладно, с Сологубом всё более-менее ясно: его *magnum opus* «Мелкий бес» — плоть от плоти порождение педагогического опыта. Но не проникла ли школьная дидактика в александрийскую просодию Александра Кушнера? Не отразились ли классные штудии Некрасовских трехсложников на фольклорной интонации Олега Чухонцева?.. Поэты, руководившие в Литинституте творческими семи-

нарами, за редким исключением делились на три категории: ветераны войны, горланы партийной идеологии и просто устроившиеся по благу. С годами бывшие фронтовики отошли в мир иной, а две других категории ненавязчиво переплелись между собой: да так, что уже и не отличишь — who is who...

Но обратимся к биографиям поэтов Серебряного века, чья жизнь, казалось бы, неотделима от литературы. Социальный статус родителей, наличие уютного гнезда не всегда избавляли от необходимых борются за выживание. Пастернак одно время давал частные уроки и работал на заводе помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчетности, а Маяковский в 15-летнем возрасте выжигал по дереву и раскрашивал пасхальные писанки. Смена общественного строя сказалась и на занятиях небожителей. Цветаева полгода составляла архив газетных вырезок в Народном Комиссариате по делам национальностей, а Ахматова год после революции выдавала книги и заполняла карточки в библиотеке Агрономического института. Даже богатый наследник Блок три года правил в ЧК стенографические отчеты по расследованию преступлений царского правительства, а не отличавшийся приспособленностью Мандельштам заведовал в Наркомпросе сектором эстетического развития отдела реформы школы. В этом смысле показательна судьба Гумилева: в 1918 г. ему помогли устроиться в шифровальный отдел Русского правительственного комитета в Париже, но чиновничья работа его не устраивала, и через два месяца он вернулся в Россию — где, как мы знаем, неприязнь к бюрократии обернулась для него трагедией. Впрочем, если учесть, что практически всю Первую мировую поэт провел в окопах, нельзя не признать, что с ремеслом пушечного мяса он был знаком не понаслышке.

Воинами по профессии были многие поэты в истории. Храбростью не отличался Гораций: он служил в армии Брута в должности военного трибуна, а при поражении республиканцев благоразумно подался в дезертиры. Хотя еще за 600 лет до него похожим образом поступил древнегреческий лирик Архилох, служивший наемником и, с приближением опасности, покинувший поле боя. Вот что он сам пишет об этом:

Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть.

Зато уж демонический поручик Лермонтов проявил чудеса отваги на речке Валерик — сколотив свой собственный именной отряд и предприняв ряд дерзких вылазок в тыл врага! Он, как свидетельствовал один из его подчиненных, «сумел найти путь к сердцам солдат. Отказавшись от всяких удобств, он вел тот же образ жизни, что и они, — спал на голой земле, ел из общего котла, небрежно

относился к соблюдению формы и своему внешнему виду». Оказавшись в действующей армии в результате ссылки, Лермонтов отшлифовал до блеска ту тенденцию разжалования до низших чинов, которая наметилась в России по отношению к легкомысленным фрондерам: до него в кандалах на гауптвахте из-за поэмы «Сашка» мучился Полежаев, а связавшийся с дурной компанией и укравший золотую табакерку Баратынский — мерз в гиперборейской Финляндии, добываясь ничтожной пенсии прапорщика. Как писал французский романтик Альфред де Виньи: «Венец воина — терновый венец, и среди его колючих терний нет, как мне кажется, ни одного, которое бы заставляло человека страдать сильнее, нежели слепое повинование».

Сам де Виньи в 15 лет поступил на военную службу, состоял в охране Людовика XVIII и четверть жизни отдал казарме (хоть ни разу и не участвовал в сражениях). В его «Неволе и величии солдата» читаем такой вывод: «Солдат — человек, нанятый за сольдо, т.е. за жалованье, — это гордец, вызывающий к себе чувство жалости; это одновременно и осужденный, и палач, это — козел отпущения, постоянно приносимый в жертву своему народу и ради своего народа, который над ним потешается; это — мученик, ожесточенный и вместе с тем безропотный, которым попрекают друг друга то Власть, то Нация, непрестанно враждующие между собою». Что ж, нередко поэты в армии становились инакомыслящими: сказывалась несовместимость избранных натур, их утонченного мироощущения, с ежедневной муштрой и звериной жестокостью. Австриец Георг Тракль, мобилизованный в 1914 г. и определенный на должность военного провизора, с трудом справлялся с обязанностями по уходу за ранеными, страдал от депрессии и покончил с собой в больничной палате, приняв смертельную дозу кокаина. А поэт Самуил Киссин (Муни), старший товарищ Ходасевича, служил делопроизводителем в головном эвакуационном пункте по другую сторону фронта — однако, тоже не справившись с приступом отчаяния, решил застрелиться из чужого револьвера.

Разумеется, наиболее престижной социальной нишей для поэтов (равно как и для простых смертных) считалась государственная служба. Как тут не вспомнить Гаврилу Державина — генерал-прокурора Сената и министра юстиции, которому, чтобы занять свое место в иерархии, приходилось то засылать лазутчиков и разоблачать мятежников, то руководить внешнеторговыми операциями и составлять записки об экономической вредоносности иудеев? Творчество свое он изначально подчинил карьерным интересам — о чем свидетельствуют многочисленные хвалебные оды сильным мира сего. Но так поступали многие литераторы во все времена. Аристократ по рождению и выпускник Оксфорда Филип Сидни (бравый служака, впоследствии геройски погибший на войне) сперва исполнял обязанности кравчего в Виндзорском замке, затем — посла в

Праге, но Елизавета не разделяла его протестантского рвения — и поэт, удалившись в свои поместья, сочинил и посвятил ей пастораль «Майская королева»: после чего Её Величество незамедлительно произвели его в рыцари. Завидная изобретательность при-суца поэтам!

Кстати, на дипломатическом поприще поэты приобретали не только истовый патриотизм, но и хорошее знание языков — что расширяло их культурный диапазон и придавало им философской глубины, обеспечивавшей мировое признание («Молчи, скрывайся и таи...» — разве это не сформулированное в чеканных строчках кредо посольского работника?) То же относится и к профессиональным связям: внештатный атташе Тютчев познакомился в Мюнхене с Шеллингом и Гейне, а работавший синхронистом в ООН Геннадий Русаков благодаря этому контактировал с американскими и европейскими собратьями по перу. Развитию в человечестве глобального мышления немало способствовали и поэты-ученые. В Веймаре Гете курировал дворцовый театр и служил советником герцога, попутно развивая горнодобывающую и лесную промышленность, ботанику и остеологию, сельское хозяйство, геологию и минералогию: в какой-то момент жажда универсализма вынудила его покинуть затхлые стены — и он, подобно своему персонажу, превратился в странствующего мудреца. Его петербургский собрат по «комплексу Фауста» Ломоносов (оговоримся: заметно уступавший ему в мастерстве литературном) открыл наличие атмосферы у Венеры и основал научное мореплавание, заложил основы для производства стекла и создал молекулярно-кинетическую теорию тепла. Но для нас во всем этом перечне принципиально важно то, что на государственную службу поступали люди, изначально наделенные поэтическим талантом, а не наоборот. В отличие от нынешней ситуации — когда стихи вдруг начинают кропать министр иностранных дел Лавров, экс-глава администрации Сурков и даже сильно пьющий шеф Роскосмоса Рогозин...

Но особую касту среди обитателей Парнаса составляли перво-проходцы. Британский поэт Роберт Бёртон, владевший 29-ю языками, первым из европейцев, переодевшись паломником, посетил запретную для кафиров Мекку, а позже возглавил экспедицию в Восточную Африку, где открыл озеро Танганьика. Из-под пера его вышло множество как художественных произведений, так и статей, посвящённых географии, этнографии и фехтованию, но его переводы на английский «Камасутры» и сказок «Тысячи и одной ночи» пользуются спросом до сих пор. По следу его (и, конечно же, авантюриста Артюра Рембо!) тянулся неукротимый конкистадор Гумилев. Из своего третьего вояжа в Африку он писал Вячеславу Иванову: «Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я

совсем утешен и чувствую себя прекрасно. Приветствую отсюда Академию Стиха. Сейчас пойду купаться, благо акулы здесь редки». И Академия Стиха поныне благодарна его неподражаемо точной, тройственной — как и его путешествия на Черный континент — метафоре, покрытой свежим загаром и обветренной хамсинами:

Здравствуй, Красное Море, акуля уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!
На утесах твоих, вместо влажного мха,
Известняк, как чудовищный кактус, расцвел.

Будучи 17-летним юнцом, в заштатном и безоблачном Шарлевиле, Рембо сочинил свой знаменитый «Пьяный корабль» — гимн всех бунтарей и скитальцев. Предвидел ли он уже тогда предстоявшие ему приключения в Египте, Эфиопии, Йемене, торговлю пряностями, кофе, шкурами и оружием? Быть может, он таким образом запрограммировал свою беспокойную судьбу, и текст, сочиненный поэтом — это та же перфокарта, модифицированный генетический код, носитель информации о неотвратимости грядущих пертурбаций? Или же всё устроено противоположным образом — и родившийся в сельской канаве эпикуреец Вергилий, проведенный детство в имении отца, скупщика леса и пчеловода, не мог не создать идиллические «Буколики»?.. Близорукость не позволила Кипплингу сделать военную карьеру, и он двинул в репортеры — благодаря чему отточил перо и сумел запечатлеть в экзотических строчках картины своего бомбейского детства. Случайность не менее значима в жизни человека, чем predeterminedness... Уолт Уитмен занимал должность в драконовом департаменте генпрокурора и альтруистически трудился в госпиталях Вашингтона — но при этом стал певцом полной свободы и крайнего эгоцентризма. Противоречия столь же важны в формировании личной эстетики, сколь и очевидные закономерности... Размышлять о связи творчества с профессией можно до бесконечности. Зарабатывать на хлеб насущный, любыми способами, жрецу фантазии порой необходимо, но добывать пищу реальной жизни для своего истощенного воображения — необходимо всегда.



Мария ИГНАТЬЕВА

/ Барселона /

НА ПЛЯЖЕ

Коронавирус. В опустелых,
без ярких зонтиков, песках
негр мускулистый учит белых
прыжкам с опорой на руках.

Две дамы в умиление тихом,
не зная сами почему,
сидят перед учёным сикхом,
вникая в сложную чалму.

Что, жизнь моя, устала прыгать?
И я не в силах, как во сне,
развеять сказочную прихоть
картин, являющихся мне.

* * *

Какой бы медленной походкой
дорога ни передвигалась,
а злость берёт — какой короткой
вдруг оказалась!

Что ж, провожай теперь звериным
укором пажити и горы,
там с пиренейским розмарином
усохли годы.

А звёзды ясные, хоть плачь ты...
А затянувшаяся осень,
а этот порт, а эти мачты —
too much, чтоб бросить?

С людьми-то проще: нет и нету
из убывающей когорты.
Ищи-свищи теперь по свету
живых и мёртвых.

Навряд ли новые палаты
в краю без горечи и грима
вернут касанье суховатой
щеки родимой.

И здесь не навсегда, и там не
наверняка — так в одиночку
колотишь в запертые ставни:
ещё отсрочку!

А вдруг и впрямь в иной отчизне
земное воротят сторицей:
оно и так уже полжизни
всего лишь снится.

БАРСЕЛОНСКИЕ КОПЛАС

В железных зарослях густых
дикорастущей Барселоны
туземцы смотрят в телефоны
и важно слушаются их.

Весь этот город как римейк
однажды бывшего шедевра.
читатель ждёт уж рифму «евро»,
а получает снова «фейк».

Ликуй, материя, ты дух
неисчерпаемый, как атом.
смерть — лишь патологоанатом
твоих последних оплеух.

Как было прошлое смешно,
затянута и глуповато,
а этот век — он мозг крылатый,
быстротекущее кино.

Когда нас мысли усыпят —
русалки с белыми глазами
тряхнут седыми волосами
в ракушках розовых до пят.

И техник счастья — Гауди —
на керамическом погосте
рассыплет радужные кости
и — в синей пене — бигуди.

* * *

Мужские ряженные груди
и женских щиколоток вздор —
татуированные люди
меня пугают до сих пор
упорством недоразуменья.
И без того у нас в крови —
взять и исчезнуть незаметно,
как городские воробы.
Не надо ныть: Адам не умер,
он просто поменял прикид,
над ним луна, как Грета Тунберг,
надменно рожицу кривит,
и серебристые узоры —
последней воли черновик —
свивают веские резоны
в сердцах доверчивых чувих.
В рубашке звёздной паутины
родится резвое дитя,
а старичье жуёт мякину —
постылый ужас бытия.

* * *

Как ловко шулера напёрсток
глочет шарик заводной,
а купол впечатлений пёстрых
не ловит воздух золотой.

То запах снега на пригорке
иль, скажем, скошенной травы —
всё отправляется в «другое»,
всё только призраки, увы.

Как ни пытаешься заметить
росу, и радугу, и лес —
не надыхаться перед смертью
сугробом таящих чудес.

Сама себя переиграла
моя расчётливая тень,
и не досталось ей ни грана
из предусмотренных потерь.

А дни, что я забыть хотела,
всё ярче помню, как назло:
неосмотрительное тело
всю силу в них перенесло.

* * *

Поскольку выжила, постольку
гуляет блёкля луна,
в дионисийских кривотолках
искусно обожествлена.
Пока ты пялишься на небо,
Тот, кто на нём и не живёт,
уже забрал в тяжёлый невод
богами полный небосвод.

* * *

Хребет к хребту, за гривой грива
Стремятся к берегу, где я
Фиксирую неторопливо
Изменчивость небытия.
Длиннее вечер, ночь короче,
Свивая время в новый жгут.
Бельгийка с другом — пара гончих —
Вдоль кромки берега бегут.
А я одна как перст, как перстень
На вычурной руке мужской,
Тяну полвека ту же песню:
Пора домой, пора домой.

НОЧЬ

Не чую тела, вопреки
тому, что чувствую, как чётко
рукой, коснувшейся руки,
с лица откидываю чёлку.
Я, поделённая на две,
как в отрочестве, бестелесна,
лишь мысли-звенья в голове
скользят по плоскости отвесно.
Но не гони, повремени,
исследуй, как они ветвятся
две эти жизни, как они
уже шестой десяток снятся.
Волна, гонящая волну
до горизонта и обратно
под небом с месяцем во лбу —
очередным невариантом.



Владимир ШУБИН

/ Мюнхен /

БАВАРСКИЕ ШТРИХИ¹

ПУШКИН В МЮНХЕНЕ

Когда я стал заниматься историей «русского» Мюнхена, меня удивило, что в числе его жителей и путешествующих гостей встречается большое количество лиц из окружения Пушкина — как близкого, так и далекого. Было бы понятно, если бы речь шла о таких столицах, как Париж, Вена, Берлин... В первой половине XIX века Мюнхен еще не мог претендовать на славу европейской культурной метрополии — она пришла к нему на рубеже XIX–XX столетий. И все же в пушкинские времена и в послепушкинские сороковые-пятидесятые город уже привлекал многих путешественников — своими достопримечательностями, интеллектуалами (философы Шеллинг и Шуберт, эллинист Тирш, историк Гёрреси и другие) или, как минимум, удобством местоположения при планировании европейских вояжей.

У меня создалось впечатление, что чуть ли не четверть персон из словаря Черейского (Л.А. Черейский. «Пушкин и его окружение») прошла по мюнхенским мостовым. Во всяком случае, это будет не очень большим преувеличением, если учесть и незнакомых поэту современников, связанных с кругами его общения. В «пушкинском» списке мюнхенских гостей ближайшие друзья поэта — внимательно осматривающие город и его коллекции Василий Жуковский и Александр Тургенев, тут задерживается Петр Вяземский, на лекциях в университете — московские мыслители братья Киреевские, Михаил Погодин, Степан Шевырев, тут промелькнули Петр Чаадаев и Сергей Соболевский, дважды заглянул недовольный Николай Гоголь (то ему холодно, то жарко, да и гостиничный «кофий смотрит подлицом»), побывал Николай Греч, на дипломати-

¹ Окончание. Начало «Крещатик» №2 (92)' 2021.

ческой службе в Баварии занимали посты знакомцы Пушкина из рода князей Гагариных, «арзамасец» Дмитрий Северин и их сослуживец Федор Тютчев, стихи которого Пушкин печатал в своем журнале «Современник», сюда приезжали сановники Сергей Уваров, Дмитрий Блудов, граф Бенкендорф, аристократ и музыкант Матвей Виельгорский, литераторы Владимир Титов и Николай Рожалин, тут прошли последние годы великосветских красавиц пушкинской поры Амалии Крюденер (Адлерберг), Марии Нарышкиной, Жанетты Вышковской, в мюнхенскую хронику вписался пышный куст царского семейства: Александр I, Николай I, великий князь и будущий царь Александр II, великие княгини Мария Николаевна, Елена Павловна, а также сопровождавшие их царедворцы обоего пола... А раньше всех названных и неупомянутых в Мюнхене появился барон Шиллинг, который изучал технику литографии и отпечатал здесь в качестве образца озорную поэму дяди Пушкина Василия Львовича «Опасный сосед».

Сам же Пушкин, как известно, не бывал «даже в Любеке». Путешествиям за границу препятствовали то шестилетняя ссылка, то иные обстоятельства. Любек же был первым портом, куда прибывали россияне, отправлявшиеся в Европу из питерского Кронштадта. Вяземский в форме анекдота пересказывал сценку, как разгорячившийся в каком-то споре Пушкин несправедливо ополчился на Европу, на что его друг Александр Тургенев отозвался репликой: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек».

Следующему нашему классику в хрестоматийном ряду поэтов — Лермонтову — тоже не довелось повидать заграницы.

В свете всего этого мне показалось забавным увидеть на страницах мюнхенской истории реально живших тут Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также встретиться на улице с Онегиным. Причем с Онегиным столкнулся почти в буквальном смысле: иду по городу и читаю табличку «Онегинштрассе»... Улицу художницы Марианны Веревкиной видел, ее коллег по цеху Василия Кандинского и Алексея Явленского тоже, улицы композитора Александра Глазунова, немецкой актрисы русского происхождения Ольги Чеховой... В свое время меня приятно удивила встреча с Кюхельбекерштрассе, но тут быстро выяснилось, что она не только не имеет отношения к другу Пушкина поэту-декабристу, но и вообще к конкретному лицу, а названа в честь уважаемой в городе профессии: Кюхельбекер (Küchelbäcker) — одно из старых обозначений булочника. Но вот Онегин явно и не профессия, и не немецкая фамилия...

Вообще, в истории Мюнхена можно встретить Михаила Шемякина — художника, но совсем не того, который ныне известен во многих странах, Илью Эренбурга — опять же художника, а не именитого писателя. Но сегодня у нас разговор о Пушкине и его современниках.

Пушкин

Главным орудием его труда был карандаш, основным подспорьем — блокнот. Правда, что он там писал, было понятно только ему и узкому кругу посвященных. Язык был неузнаваем — ни русский, ни немецкий, да и на язык в обычном понимании это было мало похоже, скорее — смесь замысловатых закорючек. Сам же Александр Пушкин (Alexandr Puschkin) не просто хорошо в этом разбирался, но и считался большим мастером, особенно, если это касалось системы «крючкотворчества», называемой габельсбергской. Впрочем, обозначим вещи своими именами: Пушкин был признанным стенографом.

Он родился в Мюнхене в декабре 1822 года. Как раз в тот год, когда наш Пушкин еще находился в южной ссылке, работал над «Бахчисарайским фонтаном», «Братьями-разбойниками», кажется, уже подступался к «Онегину». Нашему Пушкину с детства были привычны немецкие фамилии, их носили лицейские друзья, учителя, государственные сановники, герои Двенадцатого года, ученые, домовладельцы, мастеровые... Как там у Гоголя в «Невском проспекте»?

«Перед ним сидел Шиллер — не тот Шиллер, который написал “Вильгельма Телля” и “Историю Тридцатилетней войны”, но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера».

Со своей стороны, ни Гофман в Бамберге, ни Шиллер и Гёте в Веймаре не могли похвастаться соседством... ну, скажем, с цирюльником Державиным или портным Карамзиным... Русские были знакомы немецким классикам как странники, дипломаты, но в окрестностях их германском пространстве оседали редко. И все же оседали...

Пушкин, не тот, который написал «Пиковую даму» и «Бориса Годунова», а будущий знаменитый стенограф Пушкин, прилежно прошел курс обучения в мюнхенской гимназии (служивший здесь долгие годы Тютчев мог встречать его на улице в ученической форме), закончил университет и стал преподавателем, автором учебных трудов. За увлеченное распространение в Нюрнберге, Вюртцбурге и Байройте стенографической системы своего учителя Франца Габельсбергера был даже прозван в профессиональных кругах «Апостолом габельсбергской школы на франконской земле».

Когда во второй половине XIX века он профессорствовал в Байройте, туда навещался из Мюнхена еще один Пушкин — Йозеф, он был пятью годами моложе Александра и, судя во всему, доводился ему братом.

Йозеф Пушкин (в русском эквиваленте Иосиф, Осип) родился в Мюнхене в 1827-м, когда наш Пушкин (не «апостол») уже работал

над 3-й главой «Онегина». Йозеф также с детства любил карандаш и лист бумаги и после гимназии, на 16-м году жизни, поступил в Баварскую академию художеств.

Тогда и позднее его можно было часто встретить на мюнхенских улочках и площадях с эскизным планшетом. Он оставил потомкам серию акварелей с уголками баварской столицы, известны и его гравюры с видами Байройта и других мест.

Имена братьев были немецкими, хотя одно совпадало с русским, второе имело русский аналог. Но вот фамилия очевидно выдавала их инородное происхождение. При этом в матрикулярной книге Баварской академии художеств, заполненной при поступлении Йозефа, графа «Происхождение носимого имени» содержит ответ: Мюнхен. Это могло бы означать, что его семья проживает в Мюнхене. Но следующая графа «Историческая страна происхождения» ставит в тупик: Бавария. Впрочем, и это может лишь говорить о том, что юноша был не приезжим, не иностранным студентом, а отпрыском проживающего в баварской столице семейства. В графе о родителях добавляется, что отец Йозефа домовладелец. Точка.

У них точка, а у меня вопрос: откуда взялся такой папа, родивший в Мюнхене вместе с неизвестной нам мамой двух талантливых баварцев Сашу и Осю Пушкиных, младших современников русского поэта?

Разумеется, вместо того чтобы метать тут вопросообразные молнии, следовало бы сходить в городской музей, где собраны работы Пушкина, с любовью рисовавшего уголки Старого Мюнхена, поинтересоваться там, порыться в архивах, связанных с учебой и службой его брата Александра, съездить в Гамбург, где Йозеф состоял в сообществе живописцев... Но тогда выяснится, что некто Пушкин (мало ли Пушкиных-однофамильцев) женился на немке, уехал, что в те времена было редкостью, в Германию, пошли дети, внуки... И все станет на свои места. А интрига исчезнет...

Лермонтов

С Лермонтовым — никаких интриг: русский, по имени Михаил, отчество, правда, «подкачало»: Александрович. Но разговор о нем я хочу предварить сюжетом, непосредственно связанным с «настоящим» Лермонтовым, то есть с поэтом Михаилом Юрьевичем.

Нога его не ступала по чужбине, но вот судьба его автографов — рукописей, рисунков, набросков — отмечена довольно необычной географией. Часть их еще при жизни поэта попала в Вюртембергское королевство, куда со своим немецким мужем уехала родственница и друг поэта Александра Верещагина. Позднее к ее собранию добавились автографы и материалы от Варвары Лопухиной, в которую, как уверяют современники, Лермонтов был страстно влюблен до конца дней. Почти сто лет все это хранилось в одном из штутгартских замков, затем коллекция была распродана на аук-

ционе. В поле зрения российских лермонтоведов она попала в середине XX века, когда ее часть уже находилась под Мюнхеном в собрании профессора-историка Мартина Винклера.

С ним и попытался связаться в 1955 году Ираклий Андроников, но за неимением адреса отправил письмо наудачу — в самый знаменитый мюнхенский музей Старую Пинакотеку. Где оно затерялось, не знает, наверное, даже Всевышний. Каково же было удивление лермонтоведа, когда несколько лет спустя Винклер сам разыскал его.

И вот, в 1962 году Андроников в гостях у профессора: «Мартин Винклер живет в сорока километрах от Мюнхена в городке Фельдафинг, арендует нижний этаж уютного особнячка. Из окон виден зеленый луг, сбегаящий к речке, кupy деревьев. Квартира ученого напоминает музей: гравюры с видами старого Петербурга, портреты, писанные безыменными русскими мастерами, футляры от мумий, привезенные из Египта, соломенные зонты из Замбези, афиши балетных спектаклей Дягилева, в спальне — фотографии в цвете: хозяин дома снимает с большим искусством... Войдете в кабинет — великолепная русская библиотека по истории, по искусству, сочинения русских классиков, редкие книги, собиравшиеся в продолжение долгих десятилетий. В свое время — в 1928 и 1930 годах — профессор Винклер побывал в Советском Союзе, встречался с А.В. Луначарским, знакомился с Новгородом и Киевом, Ленинградом и Ярославлем, Москвой и Кавказом...»

Лермонтовские реликвии из собрания Винклера вскоре навсегда покинули баварскую землю: Андроников редко возвращался из своих путешествий с пустыми руками...

По случайному совпадению именно в то время, когда профессор Винклер со своей коллекцией поселился под Мюнхеном, на его улицах появляется Михаил Лермонтов, понятно — «другой». Только что закончилась Вторая мировая война. Ему двадцать с небольшим. За плечами сюжеты одной из типичных эмигрантских биографий — детство на Балканах, где он родился в семье белогвардейца из русского рода Лермонтовых, воспитание в кадетском корпусе, служба добровольцем в Русском корпусе.

В кадетском носил прозвище «Гулька», там же в наказание за провинность однажды получил задание: «Ты, Лермонтов, пиши стихи!» Стал пробовать. Например:

На окне повис паук,
В паутине муха.
Скоро будет ей каюк —
Пауку житуха.

Другим его увлечением, в котором он тоже будто следовал за своим великим сородичем, становится рисование. В Мюнхене после войны начал учиться на архитектора. А в 1950-м перебрался в Америку, где прожил еще многие годы, работая преподавателем по ис-

тории России, архитектором и продолжая полюбившиеся занятия графикой. На рубеже 1990-х у него завязались тесные отношения с Россией, в том числе с возникшей тогда ассоциацией «Лермонтовское наследие», объединившей отпрысков рода Лермонтовых из многих стран.

Онегин

Сразу раскрою первый секрет: Онегин это женщина, знаменитая оперная певица 1910-х — 1930-х годов Зигрид Онегин. Улица в ее честь была названа в 1956 году. Здесь некоторое время фройляйн Хофманн (так звалась она до замужества) брала уроки вокала. Известность к ней пришла на штутгартской сцене, после чего, в 1919-м, она была приглашена в Баварскую оперу.

Первым мужем певицы стал пианист и композитор барон Евгений Борисович Онегин. Он приехал из Петербурга. В 1913 году, когда Зигрид было двадцать два, а Евгению Борисовичу за сорок, они заключили брак в Лондоне, сами же жили в Штутгарте. С началом Первой мировой войны у Евгения Борисовича возникли осложнения: как подданный враждебного государства он должен был или своевременно покинуть Германию, или встать на особый учет в местной администрации. И тут выясняется, что «Евгений Борисович» не только не русский, но и не мужчина. Выяснились и настоящие «его» имя и фамилия — фрау Агнеса Элизабет Овербек, место рождения — Дюссельдорф.

В свое время Агнеса Овербек познакомилась в Италии с Зинаидой Гиппиус и, увлекшись литературно-салонной дивой русско-Серебряного века, последовала за ней в Петербург. По возвращении стала выдавать себя за барона Евгения Онегина, но иногда представлялась и Львовым-Онегиным, называя себя внучатым племянником знаменитого музыканта, автора гимна «Боже, царя храни». Покрой костюма, прическа, некоторые манеры — все было умело стилизовано и приближено к мужскому образу. И этот артистический образ покорила молодую певицу Зигрид Хофманн...

Лондонский брак музыкальной пары был признан незаконным, в отношении Агнесы Овербек началось разбирательство. В 1919 году она умирает. И в том же году Зигрид Хофманн получает приглашение на мюнхенскую сцену. Годом позже выходит замуж за врача Фрица Пенцольдта. В Мюнхене и позднее на знаменитых подмостках Нью-Йорка, Берлина, Лондона, Зальцбурга, Вены, Парижа, Байройта она сохраняет свое сценическое имя Зигрид Онегин, с которым к ней пришла первая слава и, судя во всему, первая любовь.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ III РЕЙХА

Речь снова пойдет о господине Вольфе, о его родственниках, о которых не принято было говорить. Господин Вольф нисходил к ним

порой с высоты своего пьедестала, проявлял заботу — отправлял деньги, изредка с кем-то виделся, но об этом, как и о самой родне, мало кто знал. Семейный портрет на публичных подмостках оказывался погруженным в густую тень за исключением одного лица, выхваченного мощным лучом поднятых на небесный софит прожекторов, и этот лик говорил окружающему миру: *я совершенно внесемейное существо*. В иных случаях еще более обезоруживающе: *я женат на Германии*.

Германия, которая таким образом была замужем за господином Вольфом, вовсе такового не знала. Потому что само имя «господин Вольф» было лицедейским. В паспорте же стояло: Гитлер, в народном и официальном обиходе также Фюрер, в кругу друзей и близких допускалось Ади. А как господина Вольфа его знали совсем немногие. В первую очередь родная сестра Паула. Впрочем, она могла и забыть их детскую забаву, но в 1936 году он напомнил ей придуманное в какой-то давней игре прозвище и настоял, чтобы отныне она именовала себя госпожой Вольф. Да и сам еще на взлете своей политической карьеры в 1920-х время от времени прикрывался этим именем при некоторых знакомствах, в частности с девушками, и не только. За спиной у него вообще-то был неплохой опыт конспирации, приобретенный в пору, когда вернувшись с фронтов Первой мировой, исполнял в Мюнхене обязанности информатора войсковой разведки.

Со временем, когда фюрер пал и исследователи, а с ними историки-любители бросились срывать драпировку с темных мест его биографии, вокруг самой его фамилии образовалось много разных недоразумений. В семейном древе, которое прослеживается от бабушки и ее родителей, фигурируют: Шикльгрубер, Гидлер, Гюттлер, Гитлер. Сбоку время от времени пытается примоститься некто Франкенберг.

Так кто есть кто?

Бабушка

Анна Шикльгрубер была австрийской крестьянкой. Жила бедно, в сорок два года родила сына Алоиса, отца будущего фюрера. Сама была незамужней, и сына записали на ее фамилию. Когда Алоис вышел из младенческого возраста, его забрал к себе в дом знакомый бабушки по фамилии Гюттлер (Hüttler). У него был старший брат, менее успешный, перебивавшийся случайными заработками. В церковных книгах брат значился как Гидлер (Hiedler). Сейчас трудно объяснить, почему родные братья носили созвучные, но все же разные фамилии. Не будем, однако, забывать, что дело происходило двести с лишним лет назад в одной из австрийских провинций, когда написание имен легко варьировалось, могло заноситься в метрические книги на слух полуграмотными церковными служащими.

Этот-то бедняк Гидлер, будучи уже пятидесяти лет от роду, посватался к Анне Шикльгрубер, которая была тремя годами моложе. Вместе и прожили остаток лет. А после их смерти брат Гидлера, воспитавший в свое время Алоиса, захватил с собой трех свидетелей и отправился в церковь, где когда-то Алоис был крещен, и там они засвидетельствовали, что покойный Гидлер и был настоящим отцом мальчика. Отчим превращался в отца, сирота-пасынок, которому к тому времени было уже 39 лет, — в его родного сына. Священник не возражал и, где надо, вычеркнул слово «внебрачный», а также изменил фамилию Алоиса с Шикльгрубер на Гитлер — то ли был глуховат, то ли посчитал, что *т*, будет соответствовать более правильному написанию, чем *д*. Так в 1876 году появилась известная всем фамилия.

Как кстати пришлось потом эта случайная подмена жиденского *д* на мужественное *т*! В произношении появился доминирующий твердый звук — словно подарок будущему диктатору. И ему, диктатору, фамилия явно нравилась. Когда в начале 1930-х годов один из лингвистов, изучив ее происхождение, предложил произносить ее с затянутым «и...» и соответственно транскрибировать в словарях [*ˈhiːtl̩ɐr*], фюреру это этимологическое занудство пришлось не по душе. Его фамилия должна звучать, как уже звучала в ушах миллионов: кратко, без затяжек, решительно, твердо и уверенно — как выстрел.

До сих пор бытует ходячее мнение, будто Адольф Гитлер с детства носил фамилию бабушки. Эта ошибка попала даже в Большую Советскую Энциклопедию 1960-х годов. Разумеется, быть такого не могло, поскольку за тринадцать лет до рождения фюрера отец его уже именовался Алоисом Гитлером.

Историки, конечно, задавались вопросом, с какой целью правилась метрическая запись о рождении Алоиса Шикльгрубера. Версия, вроде, напрашивается сама собой: отцом его был Гюттлер, который забрал мальчика к себе в семью, а его мать позже сосватал за холостого брата. Со временем же объявил покойного брата отцом Алоиса, который уже успешно поднимался по чиновничьей лестнице в таможенном ведомстве и которому эта ретушь в биографии была во всех смыслах на руку. И все же версия всегда подразумевает, что в конце предложения стоит не точка, а вопрос. Под этим знаком и остается имя настоящего деда будущего фюрера: бедняк Гидлер, более успешный Гюттлер или — и это нельзя сбрасывать со счетов — неизвестный третий.

Другой знак вопроса вокруг происхождения Алоиса однозначно снят со спекулятивной гипотезы, известной под названием «франкенбергская теза». Она была изложена в предсмертных записках одного из главных нацистских преступников Ганса Франка и сводилась к тому, что отцом Алоиса был зажиточный еврей Франкенберг, у которого Анна Шикльгрубер подрабатывала при доме.

Исследователи не преминули все перепроверить и выяснили: никакой Франкенберг в тех местах и в те времена не проживал, обитание лиц еврейского вероисповедания в тех местах и в те времена не подтверждается, да и сама фамилия Франкенберг восходит к старому немецкому дворянству и ее распространение среди иноверцев неизвестно.

Зачем нацист Франк, один из ведущих юристов III рейха, перед смертью в нюрнбергских застенках придумал эту «тайну», догадаться можно. Вина за холокост тем самым перекаладывалась на самих евреев. Фюрер оказывался плохим парнем, не чистым арийцем... — одним словом: сами виноваты. Примитивная «теза» с антисемитской отрыжкой, давно перечеркнутая историками, до сих пор всплывает на страницах интернета или экранах телевизора, чтобы лишний раз подурочить какого-нибудь доверчивого обывателя.

Папа Алоис

Ему исполнилось 10 лет, когда умерла его мать Анна. Она могла бы гордиться сыном, который сумел позже вырваться из крестьянского круга и подняться до ранга государственного чиновника. Правда, иногда выпивал, бывал суров с женами и детьми. Женат был трижды и в двух последних браках имел нескольких детей. Оставим тех из них, кто, к несчастью, умер во младенчестве, и сосредоточимся на тех, кому суждено было стать свидетелями взлета и падения знаменитого родственника.

В 18 лет (1907) будущий фюрер оказался сиротой. В ближайшем окружении оставались единокровные брат и сестра Алоис и Ангела и родная сестра Паула. У первых двух со временем появляются дети — его племянники и племянницы. Если не считать, что за день до смерти фюрер сочетался браком с Евой Браун, то этим списком и ограничивается ближайший круг его семьи. В следующем ряду числятся родственники, приобретенные в результате браков Алоиса и Ангелы, а также семейный куст по линии матери в нижнеавстрийской глубинке (тетя, двоюродные братья-сестры, их дети).

Уже в середине двадцатых годов, когда Гитлер начал отшлифовывать свой имидж политического лидера, семья стала предметом его особой заботы, суть которой можно свести к двум словам: все должно сохраняться по отношению к нему дистанцию, не красоваться, не говорить лишнего. Тогда же принялся ретушировать семейный портрет и, по словам современного биографа Р. Зандгрубера, постепенно «превратил своих предков в «бедных домовладельцев», отца переписал из таможенного чиновника в почтового, а родственников, пытавшихся приблизиться к нему, непреклонно от себя отталкивал». Тот же биограф вспоминает такой эпизод: когда Гитлеру сообщили о мемориальной доске в родной деревне матери, у него «случились очередной приступ безудержного гнева». Любой сторонний интерес к семейной хронике и личностям воспри-

нимался болезненно. В этих вопросах он всегда пребывал настороже. Но к родительскому очагу демонстрировал должное уважение, выделяя при этом сердечные чувства к матери: «Я уважал своего отца, мать, однако, любил». И с пафосным вдохновением о матери и о себе: «Она подарила немецкому народу великого сына».

Мама Клара

Мама доводилась внучкой тому самому Гюттлеру, при котором воспитывался ее будущий муж Алоис. И если отцом Алоиса был сам Гюттлер (наиболее распространенная версия) или его брат Гидлер, она в обоих случаях оказывалась со своим мужем в кровном родстве.

В доме «дядюшки Алоиса», который был старше ее 23 годами, Клара появилась в 16-летнем возрасте в качестве домработницы и сиделки при его больной жене. По воле последней из дому была вскоре изгнана, а когда больная умерла, вернулась и получила все права хозяйки семейства. В силу родственной близости брак был сначала отклонен местными церковными властями, и только после разрешения более высоких духовных инстанций смог быть оформлен по всем правилам. Интимные отношения, как уверяют, возникли еще при больной жене «дядюшки». Эти мутные круги родительского прошлого, из которого выплывало, что Гитлер мог доводиться своей матери кузенком, по понятным причинам, оказывались для него в разряде табу — для собственного любопытства, а уж тем более для уличного.

Брат Алоис

Старшего брата, как и отца, называли Алоисом. Как и отцу, ему суждено было родиться до брака и некоторое время носить фамилию матери. Примечательно, что в семейной хронике Гитлеров причудливым образом периодически возникают повторяющиеся или близкие сюжеты, в чем мы еще сможем убедиться. Однако родители Алоиса-младшего вскоре поженились, затем появилась на свет его сестра Ангела, но тут их мать умирает и в доме появляется молодая мачеха (Клара).

В отличие от старательного и прилежного в службе отца Алоис-младший не проявляет ни интереса, ни способностей к учениям или ремеслу, в восемнадцать лет попадает в тюрьму за кражу, в двадцать снова оказывается за решеткой, после чего уезжает в Англию, женится на ирландке и вскоре становится отцом (сын Уильям Патрик Гитлер). Семью, однако, бросает, отправляется на родину — то ли по обстоятельствам военного времени (Первая мировая), то ли в поисках наемной работы или организации собственного дела. И не возвращается — опять же, вроде, по обстоятельствам военного времени, но вполне возможно, возвращение просто и не входило в его планы. Через несколько лет снова оказывается

под судом — на этот раз за двоеженство. Во втором, нелегитимном, браке, заключенном в Австрии, рождается его второй сын Генрих Гитлер.

В 1937 году Алоис, перебравшийся к тому времени в Берлин, оказывается на виду публики в качестве трактирщика. Австрийская газета «Freie Stimmen» в сентябре того же года сообщала:

Алоис Гитлер, единокровный брат имперского канцлера, открыл в районе Берлина Westend ресторан, который начал работать в среду. Ресторан называется «Alois». В день открытия все места до последнего оказались заняты.

Вопрос о родственных связях с канцлером Алоис Гитлер отклонил как нежелательный. «Я не хотел бы использовать свое имя в качестве рекламы. Мои главные усилия, чтобы мои посетители были удовлетворены».

Театральное бравирование родством (небезуспешное — заведение привлекало внимание) продолжалось до известных событий 1945 года. Вскоре после этого Алоис счел благоразумным поменять фамилию, изгнав из нее некогда втёршееся твердое *t*, и до конца жизни именовался господином Гиллером.

Племянник Уильям Патрик

Вслед за своим отцом племянник-англичанин поспешил воспользоваться могуществом «дядюшки Ади» и прибыл в Германию. Одна из неприятностей постигла его, когда на террасе берлинского кафе при проверке документов он гордо, хоть и с явным акцентом, представился Уильямом Гитлером, на что получил замечание, что имя фюрера не может быть предметом шуточек. И на ночь был взят под стражу. В другой раз дело обернулось хуже: клиент предприятия, где начал работать Уильям, донес в полицию, что тот заносчиво и фамильярно использует имя великого лидера. И хотя племянник-патриот пытался объяснить, что делает это ради успеха и престижа фирмы и во славу Германии, его уволили. Надо полагать, уволили с согласия дядюшки, которому Уильям все это время досаждал письмами, требующими обеспечить ему приличную карьеру и угрозами раскрыть в английской прессе скрываемые семейные факты.

Затаив обиду, племянник-неудачник вернулся в Англию, откуда вместе с матерью отправился в Америку. Сразу по прибытии в Новый Свет он начал выступать с заявлениями о губительной для мира политике Гитлера, опубликовал большую работу «Почему я ненавижу своего дядю», совершил турне с выступлениями по Америке и Канаде, рвался на фронт, чтобы воевать против фашизма, жаловался Рузвельту, когда его, как иностранца, отказались принять в армию. И был, в конце концов, зачислен, правда не во фронтовые соединения.

А после войны сошел с публичной сцены — в силу исчерпанности политического «амплуа». Многолетнее афиширование фамилии на обоих континентах тоже исчерпало себя, и возможно, по этой причине племянник-антифашист пожелал, чтобы его могильный камень был обозначен псевдонимом. Что и сделали, написав по его желанию «Stuart-Houston».

Кажется, с тем же успехом можно было бы просто выбить на памятнике свастику. Стюарт Хьюстон или, точнее, Хьюстон Стюарт Чемберлен — англичанин, ставший известным немецким философом-расистом, труды которого высоко ценились и использовались гитлеровской пропагандой. Примечательно и то, что своего первого сына Уильям Патрик назвал Александр Адольф.

Племянник Генрих

Сведения о нем довольно скудны — и потому, что прожил он всего лишь неполные двадцать два года, и потому, наверное, что был мало похож на своего авантюрного отца и эпатажного братца-англичанина Уильяма и представлял собой типичного молодого немца, вступающего во взрослую жизнь с внушенной ему преданностью фюреру и рейху.

В то время как Уильям Патрик клеймил своего дядю из-за океана, Генрих заканчивал курс обучения и воспитания в одной из национал-социалистических школ-интернатов. К началу Второй мировой войны был выпущен из школы и поступил на службу в Вермахт. Дальше в его биографии остаются только три пункта: Восточный фронт, плен в январе 1942-го и уже в следующем месяце смерть в Бутырской тюрьме в Москве.

Обстоятельства последних его дней неизвестны. Фюрер, по видимому, был опечален, но как истый диктатор, мог утешать себя мыслью, что неизбежные жертвы придают лавровое величие тернистому пути. И ни в каком страшном сне, надо полагать, не мог себе представить, что на место Генриха в советские застенки и лагеря вскоре придет чуть ли не сонм его родственников — племянник Лео, а за ним почти вся родня по линии матери: два двоюродных брата и сын одного из них, двоюродная сестра с мужем. Да и сам он — великий сын германцев или, точнее, то, что останется от его бранных останков (фрагменты черепа, челюсть) — попадет в колумбарий на Лубянку.

Сестра Ангела

Из всего семейного куста — единственная, кого на протяжении нескольких лет могли видеть в доме фюрера. В 1924-м она навестила единокровного брата в ландсбергской тюрьме, а после его освобождения стала помогать в домашнем хозяйстве — сначала в Мюнхене, потом в альпийской ставке Бергхоф. К моменту этого сближения Ангела уже много лет вдовствовала и воспитывала двух дочерей и сына. Гитлер числился их опекуном. Кажется, она

имела основания винить брата за смерть своей старшей дочери Гели, сведшей счеты с жизнью в его квартире в 1931 году, но продолжала вести его хозяйство в Альпах до 1936-го. К этому времени в жизни фюрера уже большую роль играла Ева Браун, которая и заменила Ангелу в Бергхофе — официально как домохозяйка.

Ангела перебралась в Саксонию, вышла там вторично замуж. Это событие вызвало замешательство по месту ее старой работы — в иудейской академической школе в Вене, где она в 1922–1923 годах занимала должность кошерной поварахи. «Руководитель школы, — говорилось в бюллетене Еврейского телеграфного агентства, — находится в затруднении, следовать ли традиции и отправлять ли поздравление невесте... сестре германского рейхсфюрера». Подобные пятна семейной хроники вызывали у Гитлера озноб и подталкивали тщательной маскировке.

Последней заботой брата об Ангеле стало указание весной 1945-го вернуть ее из Саксонии, к которой приближался советский фронт, в Альпы.

Племянница Гели

Ей посвящены чуть ли не бесчисленные страницы биографических исследований, фильмы — как документальные, так и художественные. Показательны некоторые названия: «Запретная любовь Гитлера», «Племянница и Смерть», «Гитлер — восхождение Зла»... А по сути, исторических свидетельств не так уж и много.

Гели попадает под особое покровительство своего дядюшки во второй половине 1920-х годов. С 1927-го изучает в Мюнхене медицину, снимает жилье недалеко от дяди в пансионе. Бросает университет и увлекается пением. Дядя Ади оплачивает музыкальные уроки, обеспечивает всем необходимым. В 1929 году он переезжает в новую просторную квартиру, куда забирает и племянницу. Все это несколько напоминает сюжет с его родителями, когда юная Клара поселилась в доме совсем не юного дядюшки. Как далеко зашли отношения на этот раз — предмет гипотез и спекуляций. Но не исключено, что со стороны дяди все ограничивалось восторженным платоническим созерцанием.

Как бы то ни было, его опека оборачивается для Гели нелегким бременем: жизнь под неустанным вниманием, переходящим в унизительный контроль с неизменными нравоучениями, становится все более невыносимой. Возникавшие еще до переезда увлечения категорически пресекались Гитлером и сопровождались требованиями устанавливать для своих чувств испытательный срок и не допускать встреч с противоположной стороной в течение года или двух. Так произошло с личным шофером и другом Гитлера, попросившим руки 19-летней Гели. Подобным образом были прерваны ее отношения с одним сокурсником, который трезво оценил происходящее:

«То, как твой дядя поступает с тобой, я могу объяснить только его эгоистическими мотивами. Он просто хочет, чтобы однажды ты бы никому кроме него не принадлежала».

В 1931 году 23-летняя Гели умирает дома от выстрела из пистолета. Полиция и семья объявляют это трагической случайностью, исследователи склоняются к самоубийству.

Поведение Гитлера в эти дни говорит о его тяжелых переживаниях. Но к этому времени у него уже завязалось знакомство с Евой Браун. Общение с ней развивается активно и, разумеется, скрытно. Вскоре Ева, которая, к слову сказать, была моложе его племянницы на три года, становится новой любимой птичкой в золотой клетке. Она заменяет фюреру Гели, а заодно и ее хозяйственную мать — поскольку главной клеткой для Евы им определен альпийский дом Бергхоф, где хозяин представляет девушку гостям как новую экономку. На этот раз птичка не рвется наружу, но против безликого существования в тени фюрера бунтует и, следуя примеру Гели, пытается наложить на себя руки, причем трижды; правда, все три раза, то ли по счастливому везению, то ли, как считают некоторые историки, по расчету самой Евы, обходится без трагических последствий.

Племянник Лео

Судьба брата Гели словно повторяет на каком-то этапе участь более молодого племянника Гитлера Генриха: война, Восточный фронт, плен и московская тюрьма. Однако Лео чудом остается жив и в 1955 году возвращается в родные края в Австрии. Бытует легенда, будто фюрер предлагал Сталину обменять племянника на находившегося в немецком плену сына Сталина Якова Джугашвили. По другой версии, немцы взамен Якова просили выдать им своего фельдмаршала Паулюса. Вождь, по позднейшим воспоминаниям его дочери Светланы Аллилуевой, ответил отказом: «Нет, на войне, как на войне».

Кроме Лео советский плен пережил еще только один родственник фюрера — из числа тех, кто был схвачен не на поле боя, а в своих домах на оккупированной австрийской территории.

Сестра Паула

Судьба надолго разлучила 11-летнюю Паулу с братом в 1907 году, когда умерла их мать Клара. Некоторое время жила при сестре Ангеле, позже работала в Вене в страховой компании. В 1920-м впервые после долгой разлуки встретила с братом, а десять лет спустя была уволена на основании его политического имиджа: до 1936 года Австрия, как могла, дистанцировалась от политики нацистского лидера. Брат приглашал ее то на партийный конгресс в Нюрнберг, то на Олимпийские игры 1936 года, побывала она и на

Вагнеровском фестивале в Байройте, но во всех случаях, как и другие немногие приглашенные родственники, не могла себе позволить никаких публичных контактов с фюрером. В газетном репортаже с IV Зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене она случайно попадает в один кадр с братом — в ряду зрителей за его спиной, рядом занимает место Ева Браун.

Есть сведения и о не сложившейся помолвке или помолвках Паулы, вызывавших неудовольствие Гитлера. К счастью для Паулы, после войны она попала в руки американцев и после допросов была отпущена, как и другие родственники (по настоянию Гитлера никто из них не вступал в партию и не занимал государственных постов). Последние годы провела возле бывшей альпийской ставки брата в Берхтесгадене, занимая 16-метровую комнату. За неимением средств получала государственное пособие.

В течение двадцати лет по воле брата, чтобы не привлекать к себе внимания публики, она именовалась госпожой Вольф. В 1956-м, за четыре года до смерти, когда другая родня давно спряталась под псевдонимами, Паула, напротив, вернула себе родовую фамилию с твердой буквой *t*.

Осенью 1955-го в одном из писем знакомому она прокомментировала семейный портрет, который к тому времени обрамляли многие похоронные венки: «Послевоенное время вырвало из моей семьи гораздо больше, чем можно было предвидеть. Мой племянник вернулся из России домой, с ним молодой родственник... а по закону должны бы вернуться семь человек. Остальные пятеро... не пережили пленения. Это судьба сотен тысяч... Братец должен был бы с этим согласиться, потому что и мы не щадили».

Илья РЕЙДЕРМАН

/ Одесса /



* * *

Опять трамвай заблудился
в безвыходности времён.
Тот, кто в трамвае родился,
не знает, зачем рождён.
И колёса гремят ещё.
Тот же маршрут — прямой.
Между тюрьмой и кладбищем.
Между кладбищем и тюрьмой.
С одной стороны несвобода,
вечный покой — с другой.
Искры летят с небосвода
под трамвайной дугой.
Между неволей и смертью...
Что же тут выбирать?
Выпало жить в лихолетье —
вот и попробуй не врать.
Провалишься в века пустоты.
Очутишься где? Бог весть.
Только души работа
спасает. Совесть и честь.
...Где я? И что за местность?
Стена. И ещё стена.
Уносимся в неизвестность,
теряя в пути имена.
Колёса стучат, укачивая.
Клетка, тюрьма, — трамвай!
Жизнь — не щедра на удачи, но
смерти не выдавай.
Вот она — тянет лапищи.
Это твой путь домой —
между тюрьмой и кладбищем,
между кладбищем и тюрьмой.

...Колёса вращаются в воздухе,
вспарывая облака.
Дух не нуждается в отдыхе.
Дорога его далека.
Это твоя свобода.
Не безрассуден будь,
и в упоенье полёта
ищи единственный путь.
Горы и доли. Годы.
Всему помаши рукой!
...Искры летят с небосвода
под трамвайной дугой.

* * *

Когда пространство, да и время рушится,
уже не стоит пыжиться и тужиться.
Само собой когда-то обнаружится,
кем был. А если нет — зачем пенять?
Покуда дышится, покуда пишется,
душа летит на дальний звук, что слышится,
пытается хоть что-нибудь понять.
Полуглухой — прислушивайся к времени.
Полуслепой — сквозь тьму гляди, вперёд.
А слово — семени подобно, семени.
И смысл его, быть может, прорастет.

ДВА ГОРОДА

1

Петербург! У меня еще есть адреса,
по которым найду мертвецов голоса.
О. Мандельштам

Эпохою полупридушенный,
гляжу на город с тоской.
Сойти на Большой Конюшенной
или на Малой Морской?
Будят улиц названия
глубинного знания слои,
колеблют воспоминания,
что, может, и не мои.
Зияет история дырами.
Вечный неяркий свет.
С туристами да пассажирами
общего у меня — нет!

С испытанными, воспитанными,
без всяких уже идей.
О, как широк ты, Питер!
На больших рассчитан людей.
А человек уменьшается,
став шариком ртутным, ничьим.
С прошлым — не совмещается.
В будущем — не различим.

май 2017, Санкт-Петербург

2

Я вернулся в мой город...
Осип Мандельштам

...Ну что ж, попробуй улыбнуться.
Иль горько думай: что за бред?
Как в город свой — могу вернуться,
когда его как бы и нет?
Так долго душу убивали,
в которой плач, в которой смех.
Сегодня и морские дали
нельзя увидеть без помех.
Так долго убивали память,
где Пушкин с Бабелем — вдвоем.
На камне камня не оставить?
Сдаём историю внаём?
От сна бы страшного очнуться,
упиться летней синевой...
Могу ли в город мой вернуться,
коль говорят, что он — не мой?
Не мой. Немой. Без права речи.
А речь, а слово, — смысла дом,
совместность мысли, место встречи...
Мычи, молчи, иль бейся лбом!
Ну что ж. И эти дни — прольются,
впитавшись в землю, как дожди.
Вернуться в город мой, вернуться!
Он позади. Он впереди.

* * *

Расставляет ли всё по своим местам
смерть, подводя итог,
а чего не успел ты сделать сам,
уйдёт, как вода в песок?

Вот вопрос, который меня допёк
(корчусь в печи — пекусь!)
Ибо сам себе подвожу итог,
а узнать результат — боюсь.
Может, смерть лишь встряхивает коробок,
ибо в кости сыграть пора?
Вот Случайный Порядок — кровав и жесток,
новый бог, чьё имя Игра.
И тогда вся жизнь — казино, вокзал,
где толкутся, утратив честь.
«Бог не играет в кости» — сказал
Эйнштейн. Место истине — есть?
Если всё — игра, выхожу из игры.
Скажут пусть, что сошел с ума.
Неужели случайны эти дары —
небо, время и жизнь сама?

* * *

Сокровенное — кровью в венах,
нечто, прячущееся под кров.
Открываясь в прозреньях мгновенных,
нас оно оставляет без слов.
Сокровенное — скрытое — тайна...
Ну а вдруг — ничего? Пустота?
Лишь бессмысленный шепот случайный
умирающего рта?
Что не стало словом, любовью,
не вместились в жизни большой —
сокровенное — вышло с кровью,
улетело вместе с душой.

ПАМЯТИ ЗИНАИДЫ МИРКИНОЙ

1

Как удержать огонь в руках?
Ведь больно. И какой в нём прок?
Одолевая смертный страх.
Проскальзывая между строк...
И тает тело, словно воск.
И тайны — не постичь уму.
Но дух в нас мыслит, а не мозг,
и пламя освещает тьму.

И жизнь потрачена не зря, —
рыдай от радости навзрыд,
когда в стихах горит заря
и говорит, зачем горит.
И неземной пронзает ток.
И мировой услышан гул.
...Не спрашиваю, кто зажжёт.
Не спрашиваю, кто задул.

2

Есть Бог глубин
и Бог высот.
Но он один —
и тот, и тот.
Глядящий на меня с высот —
Судья! И мой немеет рот.
А тот, кто в тайной глубине —
неслышно шепчет что-то мне.
Вступаю во владенья дня,
тьму сокровенную храня.
На дерево гляжу. А тень
его, ветвями шевеля,
как будто дополняет день,
свидетельствуя: вот земля.
И в ней корнями сплетены
все наши ночи, наши дни.
В объятьях тайны-тишины,
в той глубине — мы не одни.

3

Как бесконечен выдох, вдох!
Как будто мною — дышит Бог!
И мной — живёт? И мыслит — мной?
А, значит, я — не прах земной?
И нужно место дать Ему.
И нужно дать ему ответ.
Вместить в себя живую тьму.
И слышать вновь: «Да будет свет!»

22–25.09.2018



Инесса РОЗЕНФЕЛЬД

/ Потсдам /

И СЛОВНО ЖАЛЬ НЕСБЫВШЕГОСЯ ЧУДА...

Илья Рейдерман назвал сборник избранного «Из глубины», так звучит начало псалма. Поэзия для него — не что иное, как погружение в непостижимые бездны души, в иррациональное подсознания: «в ту влажную трепещущую тьму, / в ту глубину, где лоно или рана, / в ту почву, что еще горчит от слёз, / в ту тишину, в ту сердцевину боли...». Не на поверхность, в волны житейского моря, где бушуют шквалы страстей, а лишь на самое донце роняют «слова, как семена. Чтоб смысл пророс...». Глубинный смысл бытия воссоздаёт язык поэта, его система символов, образный строй. «Я не молчу. Я говорю, как рыба. / Сквозь толщу вод кричу!», «...И шевелю, как рыба, плавниками, / и молча разеваю рыбий рот. / И слово, что накоплено веками, / внутри меня мучительно орёт...». Мироощущение поэта таково, что среда обитания представляется ему неким пространством немоты: «С аквариумом схож мой куб, в котором... как рыба, бьюсь, пока сорвётся с губ ..взлетающее слово». Как тяготит его эта невысказанность, тяжесть смысла! Об этом его раннее стихотворение «Немота»:

Я онемел. Так стань моим,
 язык огня, язык заката!
 Сгорим, а там туман и дым
 как тени уплывут куда-то.
 Но как хорош костёр земной!
 Но как велик костёр небесный!
 Как жарко говорит со мной
 язык огня над темной бездной!
 Бросаю в топку свой словарь.
 Слова как бабочки сгорают.
 ...Гудит огонь и повторяет
 обрывки их, как пономарь.

Метафора «языки пламени — язык огня» переключается с пушкинским «Пророком»: «глаголом жги сердца людей». Слово многозначно, в нём переплавляются смыслы, оно живо и изменчиво в своей стихии. Слово для поэта — воздух: «хочу быть словом на устах пространства, / легчайшим словом, высказанным вслух». Слово — одушевлённая материя, основа бытия:

За каждой мыслью — голоса других.
За каждым словом — ожиданье слова,
и созидают глубину живого
все те, кого и нет среди живых.

Слова существуют только будучи услышаны, поняты, когда они «задевают за живое». «О, ты, небесный рыболов, / ты корм бросаешь нам из слов», — смиренно обращается Илья к создателю, обращается без посредников: «Здесь — ты и Бог. Вас в мире только двое», с упреком ко Всевышнему за то, что создал поэта таким. Что наделил тонкостью восприятия и отпустил на волю, сделал «вольнотпущенником Бога» — чтобы он смог пропустить через себя «поток времени». И возложил небывалую ответственность: «Ты отныне чист. Но и виновен. / Тяжкий крест — нести благу весть» («Крещение»). И позволил наблюдать беспристрастно, как бы со стороны, метаморфозы собственного бытия.

Илья явился в мир и... «выпал из времени в вечность». «Больше ведь и некуда было», — признаётся он.

Я рыба среди рыб. Я птица среди птиц.
Я — дерево среди других деревьев.
Ну а среди людей — Лицо среди Лиц.

— пишет он в своем сборнике медитаций «Я».

Я был всегда — и лишь сейчас родился. ...
Я — в веществе молчащем, полусонном,
в космической материи слепой —
предчувствовался. Ибо мир был лоном,
он был и мной, а не одним собой.

Он принимает обличия библейских пророков: «Я к вам пришёл из Ветхого Завета...» («Библейские вариации» в кн. «Молчание Иова»), «...Но я с тобой, Экклезиаст, твоя печаль — моя». Так же органичен его слог в кругу классиков: «Пирую с вами посреди чумы! / Борис и Анна, Осип и Марина...». Или же условно отождествляет себя с одним из них:

Все стихи Мандельштама — написаны мной.
Я — безумец, ещё недобитый,
что стоит перед той же стеной,
и терзается той же обидой.

Поэт глядит в зеркало, в «зыбкий времени водоём», и видит себя, нет, не себя, а того, кто был им полвека назад. Некто из временной плоскости сливается с его обликом, возникает голографическая формация, «и судьба получает объём». Но отныне поэт неразделим с этим существом, которое остановится частью его экзистенции. Извечный дуализм сущностей проявляется в полной мере. Илья невольно проговаривается: «как частица — живу я жизнью отдельной, / как волна — я жизнью живу мировой».

Иначе ему нельзя, иначе — невыносимо. Иначе «бытие» сократится до убогого «быт». Неслучайно Илья противопоставляет эти понятия и повторяет, как заклинания: «Есть тяжесть бытовых вериг», «Украл у быта, суеты, у тысяч пустяков — хоть миг», «И каменные жернова / размалывают в прах слова, / в муку, пригодную для быта». «Безлюбым быт», не освящённый традициями и обрядами, чужд его существу. В хлопотах есть что-то святое, забота о ближнем священна, равно как и отшельничество, добровольная аскеза. Для Ильи нет ничего страшнее, чем «погрязнуть в быте». Для него это означает — потерять себя, лишиться того, чем человек отличается от любой биологической особи:

«...мы в быт зарылись, как в окоп, по грудь. / Что ж поднимает нас по вертикали, / как жар болезни поднимает ртуть?» В этой двумерной реальности ему тесно, он готов совершить усилие, чтобы подняться над бытом, принадлежать не только современности, но и всевременности. Ему нужно обособиться, а не приспособиться, чтобы остаться во времени, поселиться в нём и возвыситься до вневременного.

Илья Рейдерман буквально проповедует свою идею надмирного, экзистенциального, не только в поэзии, но и на своих лекциях в Одесском художественном колледже им. М.Б. Грекова, в авторских телепередачах на одесском ТРК Глас («Мгновения бытия», «Поворот», «Перезагрузка»), в клубе «Итака» (в котором активно участвовала и автор рецензии, и который существовал в Одесском объединении молодежных клубов с начала 1990-х в течение двух десятилетий), и в «Свободной школе философии и культуры», которую ведёт сейчас. Не будет преувеличением сказать, что за ним — целая школа последователей.

Так длить «серебряную нить», соединяя «серебряный век» и нынешний, «нить продевать сквозь ушко дня», может лишь тот, кто знает о себе: «Заполняю душою разрывы / в ткани ветхой. Скрепляю слюной, / словно ласточка — мысли, что живы». «Мы в потоке времени — даже не промокли», — с горечью констатирует поэт. Илья — врачеватель души, философ с библейским обликом.

Книга «Молчание Иова», одна из самых пронзительных исповедей, — это книга и о его личной судьбе, о его земном пути. И о судьбе всего «народа Книги»:

Когда нас хладнокровно убивают —
 Бог в мире пребывает? Убывает?
 Весь этот океан вселенской боли,
 в котором разум наш идёт ко дну,
 и явь, подобную кошмару, сну, —
 признать ли проявлением божьей воли?

Вопрос остаётся без ответа, происходящее непостижимо, неподвластно разуму:

Когда предсмертный слышен детский плач, —
 Он может быть спокоен, счастлив, весел?
 Сокрылся Он. Он облаком завесил
 лицо. Равны и жертва, и палач.

.

Но ежели Ты слышишь всё и видишь,
 но ежели всё ведаешь, не спишь, —
 Ты тоже проклинаешь, ненавидишь,
 и вместе с нами Ты в огне горишь!
 Участвуя в безмерной этой драме
 и нас не покидая до конца,
 Господь бессмертный — умираешь с нами,
 страдальческого не открыв лица...

Действительность оказывается страшнее библейской притчи, ужасней кошмарного сна, убийственнее ада. Историю Холокоста поэт пытается сопоставить с известными сюжетами древнееврейских сказаний.

Всё же Иов остаётся непоколебим в вере, он молчит, не ропщет, не порицает. Мир, переживший Холокост, лишается веры. Бессмертный Господь умирает вместе с жертвами палачей. Не об этом ли писал ещё в послевоенной Европе 20-х годов прошлого века в своей новелле «Мендель-букинист» Стефан Цвейг: «Мендель уже не был прежним Менделем, как мир — прежним миром»? Прежде, до Катастрофы, ещё возможна была такая форма существования, при которой ежедневно и ежечасно «Якоб Мендель сквозь свои очки ...глядел в другой мир — в мир книг, ...вечно движущийся и перевоплощающийся, в этот мир над нашим миром», и было возможно существование личности «с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого, истинного мудреца и подлинного безумца, — с трагедией и счастьем одержимых» (С. Цвейг).

«У нас отняли вечность», — твердит Илья своим ученикам. Нынешняя реальность скорее узнаётся в сочинениях Кафки. Актуальным считается стиль постмодернизма, смесь беспощадной иронии и циничной усмешки над непосредственностью веры, над тщетностью

идеализма. Социум становится глух к «трепетному творчеству», критериями популярности становятся механическое мастерство, эпатажность и эксклюзивность. Произведения искусства интересуют публику лишь тогда, когда их параметры умецаются в прокрустово ложе, ограниченное порогами этих качеств. «Наступает глухота паучья», по выражению Мандельштама.

Илья учит нас понимать происходящее, верно строить систему ценностей, ставить превыше всего личность, индивидуальность. В своём памфлете «Революционеры с молотками» из цикла «Чугунные сердца», пробуя себя уже в качестве прозаика, он ставит современности точный диагноз: «Развращённое зрение — воспринимает только ядовито-яркие цвета, а если не раздражить его аппетита, оно на всё глядит рассеянно, невнимательно. ...Мы можем смотреть, но разучились видеть! Мы не видим того, что еле заметно, — доброжелательного взгляда, скрытого горя, души, на миг распахнувшей ставни лица и выглянувшей наружу. Мы бы взгляделись — но нам некогда! Нас приучили следить за сюжетом: чем всё кончится! И вот, кажется, что мы уже все живём в каком-то телесюжете и лихорадочно стремимся к концу — мчимся в автомобиле по дорогам, спешим, бежим, спотыкаемся, не глядя по сторонам...».

Не впустить в себя озлобление не смотря ни на что — высшая мудрость: «...всё то, что враждует вовне — не должно враждовать во мне». И всё же конфликт с миром неизбежен, он может проникнуть и вовнутрь, отнимая самых близких. Рано ушедший из жизни Карл Рейдерман бунтовал против отца-интеллигента. Но в тюрьме он писал стихи (под псевдонимом Карл Ольгин), и в них он оказался парадоксально близок к тому, что отец всю жизнь исповедовал:

И каждый стих — как крик в ночи —
Чтоб разорвать оковы сна.
Коль двери заперты — стучи.
За ними прячется весна.
Хоть я, увы, не Мандельштам,
Но мне б хотелось быть не хуже,
В своей душе построить храм,
Убрав оттуда грязь и лужи.

Оттого поэт и вживается с такой полнотой в образ Авраама, считая себя вправе возразить Всевышнему:

Твой помысел — натянутый канат
в пространстве между небом и землёю.
По воле по Твоей — иду над бездной, над
бедой (к Тебе — лицом, и ко всему — спиною...)

Поэт учится переводить «воплъ из недр болящей плоти» на библейский язык:

Я — древо без листвы. Я — крик беды.
Своих птенцов утратившая птица.
Как непосильна тяжесть правоты
божественной! Но я готов смириться...

Это уже голос ветхозаветного Иова.

...«Последний шестидесятник», которого некогда благословила сама Анна Ахматова, находит в себе силы быть, обретает второе дыхание. После ещё одного житейского удара, потери жены, — он завоевывает стихами юную девушку, которая станет спутницей его жизни, музой, соавтором — Анастасию Зиневич, психолога, а теперь и кандидата философских наук, да ещё и прозаика. К его псевдонимам прибавляется ещё один, Борис Осенний — этому уместней писать отнюдь не старческие, поразительно страстные стихи о любви!

Издавая за свой счёт тоненькие стихотворные сборники в своей «провинции у моря», трудно рассчитывать на признание, а тем паче славу. Что же даёт поэту силу внутренней веры в своё поэтическое призвание, свою правоту? Понимание поэзии и философии как централизованного выражения самого духа культуры. Илья Рейдерман — поэт и философ одновременно (редкое сочетание), но и в каждой своей поэтической строке он философ. Он проповедует бытие культуры, в которой есть бытие вечного, идеального, не уместяющегося в тесных рамках социума, но возвышающегося над ним. Но этот дух культуры должен быть воплощён в личности, стать экзистенциальным, превратиться в судьбу поэта. И на это уходит вся жизнь.

Она из его книг называется «Вечные сны» — в ней множество стихов под эпитафиями, в ней торжествует духовное братство пишущих, мыслящих людей культуры. А последняя книга, целиком вошедшая в Избранное — называется «Дело духа». У духа есть дело. Работа. Повседневная. Нужно кропотливо «связывать день с днём. А дни — с тем, что за краем дней». «Я жизнь прожил в предощущеньи чуда» — говорил о себе Марк Шагал. «И нет ответа на немой вопрос. / И словно жаль несбывшегося чуда...» — так завершает Илья Рейдерман своё стихотворение «Снежинки, что невидимы почти...» — о тающем на лету мартовском снеге. Южный снег обречён. Но стихи, может быть, остаются. Хотя, по словам Тютчева, «нам не дано предугадать, / как наше слово отзовется». Может быть, чудо всё же сбылось, и имя ему — подлинная, такая редкая в нашем мире Поэзия?



Анна ДОЛГАРЕВА

/ Москва /

ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ

1

раз два три выше ноги от земли

человек становится музыкой, шариком с гелием
поднимается выше сосен и облаков
выше птичек и мотыльков
мы не ведаем что мы делаем
дунул плюнул и был таков

человек будто клад опускается в темную воду
в зеленое озеро раздвигая лучи
оставляя ключи
оставляя одежду
свободу и несвободу
помнишь как били о стену дома дворовые мячи

сотню каменных хлебов изъела
тридцать два зуба сточила
износила белое тело
ничего не оставила дурачина

а была человек и даже кому-то принадлежала
выгуливала по утрам собаку цвета осенних листьев
имена чужие в голове держала
держала лица

раз два три
выше ноги от земли

2

папа ходил по неведомым дорогам, незнакомым путям
возвращался, приносил печенье
говорил: это тебе от лисички
наверное, там
были удивительные леса
и там на качелях
качались лисичка-сестричка и котик-братик
не ссорились никогда, делились печеньем и хлебом
позже узнала, что он и в лесу-то не был
но вздрогнула, когда через двадцать лет любовник-женатик
не отвечал две недели, потом пришел с коробкой конфет,
сказал: это тебе от зайчика
перевернула
конфеты рассыпались, на полу валялись под стулом,
в комнате остался только июльский свет
дверь за ним закрывая, от смеха сгибаясь
выдохнула: спасибо тебе, братец заяц

3

все детство ела хлеб от лисички, от этого
выросла тварью лесной, пугливой, сторожкой
зато умела вызывать дождь среди лета, ведь
это самое простое, ловишь паука косиножку,
рвешь его тоненькую паутину
не противно? нет, не противно
выросла тварью лесной без человеческой речи
знала, что где-то в лесу ждет всегда лисичка
и однажды встретит
и не то что боялась встречи,
но почему-то осталась привычка
закрывать плотнее на ночь входные двери,
вешать у окна засушенную рябину
а лисичка ждала, словно клад, что ожидает в пещере
и была единственной, кто ее любила

4

разоткровенничалась с подругой на пьянке,
к слову пришлось, вот душу и разбередила.
ну и чего ты, говорит Янка,
давно бы уже от него уходила.
ты, отвечает, только не смейся, ладно?
я без него ночевать боюсь, ну чего ты, серьезно.

словно в шкафу что-то дышит, красноглазое и громадное,
словно слышу его шепот многоголосный.
я его с детства чую, такие, Янка, дела.
я потому одна никогда не жила.

прятала синяки, не надевала шорты и майки,
не вызывала ни скорую, ни полицию.
готовила ему на работу ссобойки,
слушала его байки,
чудилось черное нечто, и были у него лица —
тысячи лиц, и не было ни одного лица.

несет меня лиса за синие леса.
несет меня...

5

папа всегда являлся на Новый год,
когда с подарками, когда просто так.
мама говорила, что он не жмот,
просто алкаш и дурак.
но папа являлся, и это было самое лучшее,
словно волшебные башмачки и золотой ключик.

тридцать первого поссорились,
слово за слово, потом кулаком,
потом стал засовывать в рот одеяло.
задышалась, но не боялась,
почему-то стало легко,
а потом куранты пробили двенадцать,
и кто-то начал стучаться.

дверь открылась сама, прошел,
пах землею гнилой,
улыбнулся провалом улыбки,
потянулся осклизлой рукой.

а потом остались вдвоем, пили чай
с конфетами от лисички, до самого до утра.
ничего не страшно было, горела свеча,
говорила, говорила, а потом уже стало пора.
как бы там ни было, что бы ни ждало впереди,
папа обязательно приходил.

6

в сосновом лесу почти не бывает подлеска
поэтому он такой светлый почти прозрачный
солнечный луч звенящая тонкая леска
иван-да-марья и колокольчики
говорящий и зрячий
словно у дерева челоуечья кожа
тянется ветка
не колышется темная вода под осокой
вызрела брусника до кровавого цвета
леший гуляет возле макушек высоких

ничего не осталось совсем ничего
только вот эти муравьиные тропы, иголки рыжие
размазанный сок черники
птичий гвалт кочевой
и солнце брызжет

и в воде снуют темноспинные голавли,
и земля не держит, и низко гудят шмели

раз два три
выше ноги от земли



Борис ОСТАНИН

/ Санкт-Петербург /

«ДОГАДКИ О НАБОКОВЕ»

(фрагменты)¹

Ада

«Жизнь — только щель слабого света между двумя идеально чёрными вечностями» («Другие берега»); вечность до меня, вечность после меня, между ними — светящаяся точка, «я». «Когда я размышляю о мимолётности моего существования, погружённого в вечность, которая была до меня и пребудет после... я трепещу от страха» (Паскаль; Набоков ему вторит). Сходное рассуждение есть у оптимиста Пуанкаре: «Жизнь есть лишь беглый эпизод между двумя вечностями смерти... Мысль — только вспышка света посреди долгой ночи. Но эта вспышка — всё».

В набоковской «цветной азбуке» букве А соответствует чёрный цвет, Д — светлый (из «жёлтой группы»). АДА окрашена так: чёрный-жёлтый-чёрный (Д — единственная согласная в «жёлтой группе»), китайская триграмма воды, цельная черта ЯН, окружённая с двух сторон разрывными чертами ИНЬ, мужчина и две женщины. Близки к Аде по окраске АННА и АЛЛА (Н и Л принадлежат «белой/белёсой группе») и РАДУГА, которая в «цветном коде ВН» сморится как жёлтая/солнечная щель между двумя чернотами: Р, А — чёрный, Д — палевый (жёлтый, paille, солома), У — золотистый, Г, А — чёрный.

Занятно, что РА (солнце) у Набокова-синестетика оказывается ЧЁРНЫМ (срв. «чёрное солнце»), АДА — луч света в тёмном царстве.

Возможно, ВН назвал роман «Ада» в память о своей парижской любовнице Ирине Гваданини, в фамилии которой скрывается Ада. В важных для ВН словах — монаДА, ЗАДАча (шахматная), АДАМ,

¹ Книга была составлена в 1978; 1988; 2021 годах; готовится к печати в издательстве «Пальмира».

раДугА, илиАДА, шахрезАДА (рассказ), арлекинаАДА, клоунаАДА, канонаАДА (сапопЕ = пушка, Пушкин) — содержится имя Ада, тихие звоночки, которые знающий о них ВН отлично слышит. Чтобы не обидеть циников и шутов, пусть здесь присоединится юношеская поэма Пушкина «гаврилиАДА».

Достоевский (начало 1860-х годов) в письме неизвестному: «Объясните мне мой сон, я у всех спрашивал; никто не знает: на Востоке видна была полная луна, которая расходилась на три части и сходилась три раза. Потом из луны вышел щит (на щите два раза написано "да, да" старинными церковными буквами), который прошёл всё небо, от востока на запад, и скрылся за горизонтом. Щит и буквы осиянные». ВН вряд ли это письмо читал, всё равно интересно: в двойном «да, да» случайным образом скрывается лунное создание Ада. Срв. лунная богиня (и богиня охоты) дева АртемиДА, сестра Аполлона (Ада — сокращённая форма Артемиды).

Важно помнить о том, что для «декадента» Набокова в слове АДА нет ничего «адского» и «негативного», скорее это отражённый в зеркале позитив ДА, дважды райский мир.

ВН получает особое удовольствие, когда придуманное им слово или имя оказывается *многозначным, многослойным*. Шарада = шар ада → жар ада (Слово шарада само является шарадой). Возможный перевод названия романа «Ada, or Ardor»: «Шарады, или Жар Ады», следующий, хитрый: «Ада, или Ada». Ещё вариант: «Адам, или Ада» (Адам — первоазыватель мира).

Набоков о себе: «Ада — это я!» По-испански Ада (hada) значит «волшебница».

У Адама носовой «м» убрать, Еве носовой «н» добавить: Ада(м) и (Е)ва+н = Ада и Ван, перволюди, единственные в своём роде, других нет: Первоадам-монада.

Палящий зной в Риме в июле-августе (ardor Sirius), время каникул, связывает Аду и Сирина. Бегство Набоковых из ПетрограДА.

→ Гваданини; → Сириус; → цветная азбука

Алданов

Исторический писатель Марк Алданов — анаграмма фамилии Ландау (1886–1957); отец — сахарозаводчик Александр Ландау, мать — дочь сахарозаводчика Ионы Зайцева. Тетралогия «Мыслитель» (1921–27, о французской истории), трилогия «Ключ», «Бегство», «Пещера» (1929–36), автор романизированных биографий.

С конца 1920-х — масон, один из основателей парижской ложи «Северная звезда». Был 12 раз (!) номинирован на Нобелевскую премию (1938–39, 1947–56).

Набоков о героях Алданова: «На всех них заметна печать лёгкой карикатурности», что, вероятно, ВН нравилось.

→ евреи; → Северная звезда

Александрит

Очень редкий и дорогой камень, разновидность хризоберилла, в течение дня меняет цвет с ярко-зелёного на глубокий красный. Найден в 1834 году в день шестнадцатилетия цесаревича Александра на Урале, назван в его честь и передан ему будущим министром недр Львом Перовским, дядей А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых. Цесаревич вставил камень в перстень и много лет носил как оберег — несколько раз он уберёг его от покушений, но 13 марта 1881 года, в день своей гибели, император забыл надеть перстень. Организатором убийства царя была Софья Перовская, внучатая племянница Льва Перовского.

Загадка про александрит: «Утром изумруд, вечером рубин». Сапфир, как и александрит, но в меньшей степени обладает способностью к «цветовому реверсу» (*многоцветный хамелеон*).

→ сапфир-изумруд-рубин

Апельсин

Оранжевый цвет *апельсина*; слово «апельсин» содержит в себе Китай и *синь*: апель-син, «китайское яблоко», но и «синее яблоко», гармонизация синего и оранжевого — холодного и горячего, мистики и прагматизма, Гоголя и Пушкина. Оранжевый, таким образом, не только оптический золотой (трансцендентный), но и словесный лиловый (мистический). Задача лингвисту: отыщи в апельсине синий цвет.

В Испании лимон и апельсин (*limón y naranja*) — традиционные знаки отказа и согласия невесты на брак (кислое и сладкое, нет и да).

Оранжевая: срв. башня из слоновой кости (искусственное защитное сооружение для эскаписта); флёр д'оранж (невеста, обещание рая и солнца). Увы, невеста не всегда помогает, чаще мешает: Лужин.

Orange → or-ange → or-Ra-ange (Ангел золотого солнца) (Z). Солнце = небесный апельсин. Жёлтый и голубой («золото в лазури» А. Белого) — шибболет *счастья* у ВН: летнее солнце на безоблачном (*serene*) небе, можно ловить бабочек! Работа ВН с образами (золотой Пушкин) и словами (лиловый Гоголь). Подробно у Сендеровича: «Сок трёх апельсинов».

Шпенглер писал о жёлтом цвете как о «цвете эстетически универсально-элементарном, первоначальном».

Годунов говорит Зине про «самое оранжевое небо» со скрытым указанием на голубое: обычное небо голубое (срв. берлинская лазурь), но сейчас, в моём описании оно стало оранжевым, я заметил его *апельсинность* и художественно застрял на этом цвете. Два любимых цвета ВН: orange & blue. БЛ — кодировка Сирина, через blau и Блоди (Володя).

→ королёк; → мандарин; → синий Бенуа

Вальзер

Многочисленные публикации швейцарского писателя Роберта Вальзера (1878–1956) в берлинских газетах 20-х годов. Набоков, с обострённым интересом следивший за происходящим в русской и западной литературе, вполне мог знать о нём. В 1905–13 годах Вальзер жил в Берлине, издал там три романа и три сборника рассказов; его талант заметили Кафка, Брод, Музиль, Гессе, Канетти. В 1917 вернулся в Швейцарию, с 1917 года — как позже ВН — стал писать карандашом, впоследствии — на мелких клочках бумаги, видел в писании *процесс без цели*. У Вальзера порой невозможно отличить героя от рассказчика, а то и опознать их, зачастую он соединяет приёмы высокой и бульварной литературы. Как и ВН, умер в 78 лет.

Вальзер — Вальс — Вальтер...

Владимир Поль

Композитор и художник Владимир Иванович Поль (1875–1962) — обрусевший немец, родился в Париже, с 1903 года жил в Москве, аккомпаниатор и муж певицы Анны Петрункевич (сценическое имя Ян-Рубан). У Поля и Даля замечательным образом совпадают имя и отчество.

По словам С. Маковского: «Его <Поля> любознательность и любопытство были беспредельны, и потому заглядывал он и к спиритам, и в кумирни тайных обществ, и к плутоватым духовидцам, “втирателям очков”, более-менее безобидным... Ему не было тридцати лет, когда сплелась вокруг него легенда многоопытного “мудреца”, не напрасно побывавшего и в Индии (куда он никогда не ездил)». Поль увлекался философией и оккультизмом, был знаком с Н. Лосским, П. Успенским, Г. Гурджиевым, занимался йогой и соблюдал строжайшую гигиену — диетическое питание, воздержание от спирта и табака, гимнастика, растирание щёткой, воздушные ванны, игра в теннис, в любую погоду он часами ходил — исполнял всё, что предписывает индусская йога.

На молодого Набокова Владимир Поль произвёл в Крыму сильнейшее впечатление (Z). Из бесед с ним ВН накрепко усвоил представления Гурджиева о человеке-машине (которые вскоре скрестились с куклами и театрализацией жизни Евреинова) и о возможности в этой жизни кристаллизовать своё будущее бессмертие.

Три Владимира-ходака (Набоков-ст., Набоков-мл., Поль) обошли все окрестности Гаспры (Z). ВН любил пешие прогулки, Поль тем более, ВНД от них не отставал: они поднимались в горы, возможно, добрались (это уже специальная поездка) до Нового Света. В Феодосии ВН вряд ли побывал — не столько из-за её удалённости, сколько из-за нежелания общаться с нелюбимыми родственниками, старообрядцами Рукавишниковыми.

Оказавшись во Франции, Поль стал масоном, 15 лет вёл музыкальную колонку в газете «Возрождение». В 1962 году в Париже его насмерть сбил автомобиль, то же самое дважды случилось (в 1924 и 1948 году) с чудом оставшимся в живых Гурджиевым.

ВН посвятил Владимиру Полю цикл «Ангелы» и стихотворение «Эфемеры» (1923).

→ масоны; → Панина; → Петрункевич

Вратарь

Как футболисту обеспечить себе *особое* место в *команде*? 1) Высочайшими способностями и достижениями, 2) особым местом и особыми функциями (в футболе ими обладает *вратарь*).

Одиночество вратаря, специальные правила для него (в пределах штрафной площадки можно играть руками), нередко № 1 на свитере. Особая одежда, не такая, как у других: свитер с длинными рукавами, перчатки. Любое действие против вратаря во вратарской площадке может расцениваться как «атака на вратаря» и повлечь за собой наказание. «Рыцарское» в перчатках: бросить перчатку к ногам противника = вызвать его на *дуэль*. Страх вратаря перед «дуэльным» («расстрельным»?) одиннадцатиметровым.

Вратарь отчуждён не только от противников, но и от «своих», у него особый стиль поведения, играет он мало и редко, чаще, одинокий, наблюдает за игрой издали. Он «наименее командный игрок в команде», вместе с тем он — последний рубеж, спасающий команду от гола.

Набоков со школьных лет играл в футбол *исключительно* вратарём.

→ дуэль; → № 1; → соглядатай

Горгулов

6 мая 1932 года 37-летний русский эмигрант Павел Горгулов (1895–1932, псевдоним Поль Бред) застрелил на книжной ярмарке своего тезку президента Франции Поля Думера и 14 сентября 1932 года на глазах трёхтысячной толпы был гильотинирован.

В ноябре этого года Набоков выступал в Париже, но о Горгулове наверняка слышал и раньше (Z). Бред — обиходное односложное слово у футуристов (брод-бред, граб-гроб) и у самого ВН; в фамилии Горгулова, отсылающей к жуткой горгулье, скрывается двойное «г» и Гоголь (ГОРГУЛОВ); два Павла — убийца и жертва, поэт и «царь» — зеркальны... неудивительно внимание ВН к убийству, пребыванию убийцы в тюрьме и казни. Казнил Горгулова палач Анатолий Дейблер, «господин Парижский» (monsieur de Paris), о чём подробно в книге Кудрявцева «Вариант Горгулова» (1999).

«Фиалка победит машину!» — выкрикнул Горгулов при аресте.

У Набокова машина неотличима от фиалки: она собрана из выдохших фиалок. ВН причудливым образом соединяет романтизм (бабочки, фиалки), символизм (их метафизическое истолкование), футуризм (любовь к машине) и эгоцентризм (тираническое главенство «я» над фиалками и машинами).

В «Приглашении на казнь» присутствует французский след (мсье Пьер ака (Робес)пьер, мсье Пьер ≈ мсье де Пари).

→ всадник без головы; → фиалка; → Штирнер

Гарри Гудини

Из фамилии Гваданини (ГУаДаниНИ) проглядывает (имя спрятанно в имени) и освобождается волшебник Гудини, знаменитый американский фокусник, способный освободиться от любых уз и узлов: мечта Набокова об освобождении от всех и вся. Гарри Гудини (1874–1926), собств. Эрик *Вейс* (срв. Мартын *Эдельвейс*); Г. Г.; Гудини ≈ Гуаданини-освободительница; Эрик Вейс ≈ Эдель-Вейс, Эдельвейс.

→ Г. Г.; → Гарри и Кувыркин; → Гваданини; → эдельвейс

Герцык

Поэтессу Аделаиду Герцык (1872–1925) в семье звали *Адой*. Первые её публикации — 1899 год, с 1905 года она под псевдонимом *В. Сирин* писала рецензии для журнала «Весы». Перевела «Прогулки по Флоренции» Дж. Рёскина, вместе с сестрой Евгенией — «Сумерки богов» и «Несвоевременные мысли» Ницше. В 1909 году в Париже вышла замуж за Д. Жуковского. Летом жила в Крыму, в Судаке.

→ Ада; → Аделаида; → Крым; → Ницше; → Сирин

Джотто

«Круглый как “О” Джотто!» (tondo como l’O di Gotto) — эти слова Вазари использовал как указатель художественного и ремесленного совершенства (Джотто нарисовал от руки идеальный круг), они же означают в итальянском языке «круглого дурака»: tondo — 1) круглый, 2) дурак.

Совершенство круга: равное расстояние от любой точки окружности до центра; относительно любого диаметра-оси круг зеркально-симметричен; непрерывное движение из любой точки окружности с возвращением в неё возможно в двух направлениях, срв. прочтение палиндромных слов вроде ОТТО. Итальянское otto — это «восьмёрка», знак бесконечности.

→ Отто

Живые карты

Сказка Андерсена «Вельможные карты» (в переводе Н. Кочкарёва «Король, дама, валет», 1926) с ожившими игральными карта-

ми; то же у Кэрролла в «Алисе в Стране чудес». «Вельможные карты» вряд ли достойны таланта Андерсена, зато поучительны. У мальчика Вильяма на столе стоит бумажный замок, на стенах которого, если заглянуть в окно, видны картины — расклеенные карты (короли, дамы, валеты), которые оживают, говорят, танцуют, когда-то они были людьми. Круг превращений здесь, по меньшей мере, тройной: люди → их портреты → игральные карты → ожившие и снова замершие карточные изображения. Но это ещё не всё: у бубнового короля стеклянное окошко-ромбик на груди, в которое можно заглянуть (: : Арлекин и его ромбы), то же у трефового короля и, вероятно, у остальных (к тройному кругу превращений людей в портреты, карты и ожившие карты добавляется окошечко, позволяющее заглянуть внутрь персонажа — чем не минимодель художественной литературы?). Срв. набокровский роман «Король, дама, валет».

Ожившие валеты рассказывают Вильяму свои истории, короли и дамы танцуют, сказка завершается пожаром замка, то есть моралью: замок сгорел от свечи, мальчикам опасно играть с огнём, связанным со страстью и адом.

Говорят, сказочник Андерсен был незаконнорождённым сыном датского короля Кристиана VIII.

→ бастард; → КДВ и ДЛТ; → мизантроп; → ромб

Инкерман

Под Севастополем/Херсонесом на правом берегу Чёрной речки (: : дуэль Пушкина) в скале высечен Инкерманский Свято-Климентовский монастырь, о котором Набоков в свою бытность в Крыму и Севастополе наверняка слышал. Одна из церквей в этом монастыре поименована в честь святителя Мартина Исповедника. Оба святителя — Климент и Мартин — папы Римские, погибшие в Херсонесе: Климент I (апостол от семидесяти, I век, +99) широко почитался в древней Руси, при императоре Траяне он был сослан в инкерманские каменоломни, где встретил мученическую смерть, и Мартин I Исповедник (+655, в житии Мартина рассказывается о подосланном к нему воине, который внезапно ослеп). Память Мартина Исповедника — 14 апреля с/с, близ дня рождения Набокова. Весной 1919 года ВН провёл в Севастополе, покидая Россию, несколько дней, его роман «Подвиг» написан не про Швейцарию, а про Крым (КРЫМ ≈ КЛИМ; барон Клим Авидов из «Ады») и про себя — поэта-изгнанника. Монастырская церковь навела ВН на имя Мартина, которым он, на русский манер изменив «и» на «ы», назвал героя «Подвига» (Z).

В четырёхстах километрах на запад от Севастополя в городе Томы (ныне румынская Констанца) в 17 году умер ещё один видный изгнанник — римский поэт Овидий. В 1820 году в Молдавию был сослан Пушкин: приятная собралась компания.

→ Мартин

Козлов и Тарновский

Николай Илларионович Козлов (1814–1889) — предок Набокова по матери, сын бузулукского купца-выкреста. Окончил Казанский университет, военный врач, в 1869–71 годах — начальник Медико-хирургической академии.

Его дочь Ольга вышла замуж за предпринимателя Ивана Рукавишников, деда ВН.

Другая дочь Прасковья была замужем за Вениамином Тарновским (1837–1906), основателем российской венерологии, поборником женского медицинского образования. Среди работ Тарновского — «Извращение полового чувства», он впервые в России ввёл термин «половое извращение». Прасковья Тарновская — невропатолог и антрополог, автор книги «Женщины-убийцы», исследования «Воровки», поборница женского образования. Разделяла идеи о врождённой предрасположенности к *рецидиву преступлений*.

Существует предание, что 4 апреля 1866 года Тарновский вручил Александру II во время посещения им Калинкинской больницы наперсный крест и, тот, надев его, направился на прогулку в Летний сад, где на него совершил покушение Дмитрий Каракозов. Пуля попала в крест, который спас императора от смерти.

Мирабель

Мелкая круглая слива золотистого цвета (Mirabelle plum: mirabilis_L чудесный; bella_L прекрасная). Срв. *Мира Белочкина* («Пнин»): mirōs смотрю, mirroгE зеркало + Белкин, Пушкин, Белый + king/queen. Косточки мирабели содержат *цианистую* кислоту (HCN), на основе которой Фриц Габер (Haber, нобелевский лауреат 1918 года), инициатор военного применения отравляющих газов, создал циклон-Б для немецких концлагерей.

Имя Миры Белочкиной «содержится» во Владимире, фамилия — через Ивана Петровича Белкина и мех/пушнину — связана с Пушкиным. Её муж, русский *меховщик* из Берлина, дважды в белках: фамилией и профессией («двойчатка»).

→ апельсин; → королёк; → синева

Мартын

Мартын — имя главного героя романа «Подвиг», в котором проглядывают ма, март (месяц гибели Набокова-ст.), птица мартин, мартышка и art.

Св. *Мартин Турский* (Мартин Милостивый, покровитель беженцев) был некогда одним из самых почитаемых святых, особенно во Франции. День его памяти у католиков 11 ноября.

Набоков позиционирует себя как изГНАННИка (↔ Ганин): в Крыму и окрестностях их собралась целая компания: св. Мартин, св. Климент, Овидий, Пушкин и Набоков.

Ещё один Мартин, шведский капитан Антон Мартин, плавал в XVII веке к Шпицбергену, его отчётами пользовался Александр Поуп, когда сочинял свою *Ultima Thule*.

Отец Мартына из «Подвига» врачевал *кожные болезни*, срв. псориаз у ВН.

→ второй человек; → Инкерман; → ма-ма-ма; → Nova Zembla

Немцы

В семействе Набокова было немало *немцев*. Его дядя Дмитрий был женат на Лидии Фальц-Фейн (прожив вместе три года, они развелись, Лидия вышла замуж за немца фон Пейкера).

Не совсем понятно, за что ВН так невзлюбил германцев — по своим привычкам и родственникам (Грауны, Корфы, Фальц-Фейны, Рауш фон Траубенберги) он явный немец.

Англофилию ВН, скорее всего, воспринял от отца и дяди Кости, известных англоманов, немецкий характер — от бабушки Марии (урожд. фон Корф), германофобию, поощряемый женой-еврейкой, сочинил сам. Вероятно, в угоду Вере, ВН изображал немцев мерзкими тварями, хотя сам был больше похож на немца, чем на англичанина: всезнайка (*Besserwisser*), трудяга (не успев закончить одну работу, берётся за другую), замкнут на дом, неспособен к дружбе, рационалист, педант, боится проявить чувства, сентиментален (бабочки), жесток (те же бабочки). Возможно, ВН стеснялся своих немецких корней.

В 1936 году ВН получил 1000 марок наследства, доставшиеся ему после продажи поместья дальнего родственника, композитора Карла Генриха Грауна (1701–1759).

ВН — «немец», впрочем, не во всём. Ни у немцев, ни у русских ВН не сумел перенять духа коллективизма, но и из английских уроков два усвоил плохо: 1) не будь слишком серьёзным, оставь место самоиронии; 2) не хвастайся, чаще прибегай к *литоте* вместо гиперболы).

«Другие берега»: «За пятнадцать лет жизни в Германии... не познакомился близко ни с одним немцем, не прочёл ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства *от незнания* немецкого языка». Сохранилась, впрочем, фотография ВН у берлинского киоска с немецкой газетой в руке.

→ голубая кровь; → композитор Набоков; → лжец

Онегин

Об Александре Онегине (собств. Александр Фёдорович *Отто*, 1845–1925) Набоков наверняка слышал. Русский коллекционер, в 1879 году навсегда переселившийся в Париж, основал там частный Пушкинский музей с богатейшими фондами. Фамилию Отто получил от крёстной матери; ходили слухи, что Онегин — незаконный от-

прыск кого-то из великих князей. Уже в 1866 году он стал называть себя Онегиным, а в 1890 году указ Александра III закрепил за ним эту фамилию. В 1887 году Онегин встречался с престарелым Данте-сом, убийцей Пушкина — отличная тема для набоковского рассказа! В 1928 году Пушкинский музей по договору с Онегиным был перевезён в Ленинград, где его экспонаты рассыпали по разным хранилищам и отчасти расхитили.

→ бастард; → зеркало; → Отто

Черносвитова

Алла Черносвитова из «Подвига», любовница Мартына: «По ней томился один из великих князей; в продолжение месяца докучал ей телефонными звонками Распутин». Гоголь: чёрный чёрт и красная свитка (одежда, свиток, свита), чорне світло (light), чорний світ (world), чёрный цвет — Африка — Пушкин («Под небом Африки моей...»).

Кирилл Черносвитов (1865–1919) — один из основоположников кадетской партии, внучатый племянник Рафаила Черносвитова. Более 100 раз выступал на заседаниях III и IV Государственных дум, был знаком с ВДН. Член петербургских масонских лож («Северная пирамида», «Четыре элемента»), расстрелян большевиками вместе со своим кузеном Александром Черносвитовым (1857–1919).

Премьер-майор артиллерии Феофилакт Черносвитов, участник взятия Татищевой крепости во время Пугачевского бунта, упоминается Пушкиным в «Записках о бунте».

Рафаил Черносвитов (1810–1868), купец, сибирский золото-промышленник, изобретатель. Изобрёл протез (который сам, лишённый ноги при осаде в 1831 году Варшавы, носил, о черносвитовском протезе есть упоминание в «Идиоте» Достоевского), управляемый дирижабль, паровой двигатель, создал проект БАМа. Друг генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Муравьёва-Амурского, автор Айгунского договора (1858), установившего русско-китайскую границу по реке Амур. Петрашевский: «<Рафаил> Черносвитов неоднократно внушал мне мысль о цареубийстве, рассказывал, что он член какого-то тайного общества... Советовал заводить тайные общества в высшем аристократическом кругу — мешать поболее аристократов». Дважды пересекался с генералом Иваном Набоковым — при осаде Варшавы (в 1831 году) и в Петропавловской крепости (дело петрашевцев).

Ольга Черносвитова (урожд. Чеботаревская, 1872–1943), собирала материалы о Фёдоре Сологубе.

Евгения Черносвитова (1903–1974) в детстве заболела костным туберкулёзом и в 1913 году уехала с матерью в Лозанну. С 1917 года жила у своей тётки Александры (урожд. Пушкиной), праправнучки поэта. Черносвитова перевела «Вечера на хуторе близ Диканьки» на французский и немецкий, Чехова, Л. Толстого, была профессором

Женевского университета. Секретарь и любовница Рильке, последние месяцы его жизни (1926 год) провела с ним в санатории в горной деревне Глион (Glion-sur-Montreux), чуть выше Монтрё.

→ генерал Набоков; → Монтрё; → Петрашевский; → Юсуповы

Шабельский-Борк

Михаил Шабельский (1848–1909), первый неофициальный чемпион России в игре в шахматы по переписке (1885), друг и сотрудник Михаила Чигорина. Его сестра Елизавета (1855–1917), в замужестве Шабельская-Борк, после революции 1905 года стала монархисткой, сотрудничала в «Русском знамени».

Офицер Пётр Николаевич Попов взял в честь неё псевдоним Шабельский-Борк. В 1918 году он был заключён большевиками в Петропавловскую крепость, затем переведён в «Кресты» и амнистирован. Принимал, по слухам, участие в неудавшейся попытке освобождения царской семьи в Екатеринбурге. Жил в Мюнхене и Берлине, редактировал с Ф. Винбергом и С. Таборицким журнал «Луч света». Страстный поклонник Павла I, «оклеветанного современниками и историей».

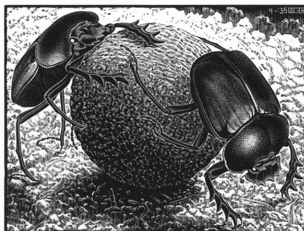
В 1917 году задумал отомстить Милюкову, который 1 ноября 1916 года с трибуны Государственной Думы оклеветал императрицу, обвинив её в государственной измене. Участник покушения на Милюкова 28 марта 1922 года в Берлине, в результате которого случайно погиб Набоков-ст. — его убил Сергей Таборицкий, друг и однополчанин Шабельского-Борка по Дикой дивизии. Берлинский суд присяжных приговорил обоих к 12 годам тюрьмы, через 5 лет их амнистировали. В 1945 году Шабельский-Борк перебрался в Буэнос-Айрес, в 1952 году умер.

Шляпин и Алёхин

Любимая роль Фёдора Шляпина — Борис Годунов в опере Мусоргского, см. его портрет кисти Головина (1912), пел арию Мельника в «Русалке» Даргомыжского. Фёдор = Теодор, Theodore_E (дар Бога) : : «Дар» ВН, Фёдор Годунов-Чердынцев.

Шляпин эмигрировал в 1922 году, Алёхин в 1921-м — два великих эмигранта, певец и шахматист. Музыка и пение Набоков не любил; иное дело — шахматы, шахматная композиция.

→ Алёхин; → Гаспра; → русалка; → Фиальта; → шахматы



Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ

/ Душанбе /



БЕЛЫЙ БУЙВОЛ ЛАО-ЦЗЫ¹

...Ранним утром я просыпаюсь
В лазоревой согбенной одинокой кибитке моей
На вершине Золотой горы Кухитилло
И гляжу в маленькое декабрьское оконце
Залепленное уснувшими изумрудными мухами...
А в оконце — белым-бело...
То ли первый альпийский снег выпал,
То ли белый буйвол Лао-Цзы
Пришёл за мной,
Чтобы унести меня в Гималаи
К Учителю Бессмертия моему...
Далёк Путь...
Боюсь...
Не доберусь...

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Я гляжу через текучее окно,
Как вешний дождь и спелый град
Разрушают... обивают... размывают
Мой безвинно... беззащитно... распускающийся
Лепетными перламутровыми лепестками сад...
Но!..
Мокрая пчела
Влетает в мою одинокую саманную нагорную кибитку...
Ах!.. Летучая... нечаянная радость!..
Ах ты, гостья долгожданная моя!..
И я забыл про дождь... про град...
Про опадающий... безвинно мечущийся
В лепестках летящих сад...

¹ Из книги «Странствия Ходжи Насреддина в XXI веке», Алетея (СПб.) 2021 г.

ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА

В необъятном Театре-Колизее
Последних Времен
Поместится все Человечество...
Там не будет свободных мест...
Там не будет имен...
А на Арене
Будет Битва Бога и Дьявола
Добра и Зла...
Победит Бог...
И в Колизей войдет Верховный Судия
Второпришественник...
Спас Ярое Око...
Меченосец Огня...
Но останутся в Колизее
Только *Аддам* и *Евва*...
Да какой-то Луноподобный Тайнозритель...
Старец
Без Ковчег...

ТЕЛЕФОН

Если не звонит твой телефон —
Значит, тебе звонит Сам Господь Бог!
Значит, Он хочет говорить с тобой,
А ты, затонувший в море мирском,
Не слышишь...
Чего же ты ждешь... Какого звонка...
Как в пустыне нищий...

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

...В поздней любви — а, может, уже прощальной —
Так много блаженной печали...
Ах!..
Древнее вино пьют... смакуют
Маленькими глотками
И оно пьянит, как Два Царства —
Уходящее — Земное...
И грядущее — Небесное...
А душа бессмертная —
Между ними —
Всё мечется... мается...
Всё разрывается...

ТЫ УШЛА...

Ты ушла...

И клятвы... слёзы... упования... уговоры и проклятья...

И прощальные смертельно холодные объятия

Не вернут тебя назад...

Лишь засохшая в хрустально-побледневшей-помертвевшей
венецианской вазе

Мраморно-заснеженная астра

Глядит остро... колко и опасно...

Как иглистый альбинос алмазный дикобраз...

А я все страшусь шепнуть: «Прощай...»

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

— Дервиш Ходжа Зульфикар!..

Что есть Жизнь и Смерть?..

Сказал:

— Жизнь и Смерть — Две Блаженные Стоянки..

Две Остановки!..

Два Перехода!..

Две Гостиницы!..

Два Караван-сарая на Бесконечной Дороге Человека...

Две Звезды в необъятной... кишачей Плеядами Вселенной...

Айххххх!..

Вселенский странник!..

Человече!..

Не держись...

Не цепляйся...

Не тщишь...

Не задерживайся...

Не ликуй и не печалься на Этих Двух...

Ведь тебя ждут Блаженные Звёздные Дороги

И Бесконечные Млечные Пути...

Иийийийииииии...

И ещё сказал:

— Во Вселенной — Множество Жизней...

А Смерть — Одна...

И ещё сказал:

Не давай Смерти руководить тобой...

А сам назначай... выбирай Её...

А сам выбирай Её Час...



Тамара БУКОВСКАЯ

/ Санкт-Петербург /

О КНИГЕ АЛЕКСАНДРА ОЖИГАНОВА «ШЕСТИКНИЖИЕ»

Жениться нужно на хорошей вдове, любит повторять поэт Слава Лён, чтобы не только за могилкой ухаживала, но и книжки издавала!

Две «хорошие вдовы» — одна вдова поэта Александра Ожиганова, другая — вдова его близкого друга — поэта Олега Охапкина, подготовили и издали собрание ранних стихов удивительного, сокровенного поэта, человека напряженной внутренней жизни, сложных интеллектуальных переживаний, — Александра Ожиганова.

Что делает юное человеческое существо поэтом? Столкновение с тайгой жизни и смерти? Ощущение брошенности людьми, даже близкими, т.е. разблужение с миром живых и близость мира «неодушевленного», того, который был и пребудет, который равен вечности....

Почему человек читающий испытывает неодолимое желание переродиться в человека пишущего и ни на минуту не задумывается — о чем? Как не задумывается и о том, что нужно сделать, чтобы вдохнуть полной грудью...

Каким должен быть ожог радости бытия или безрадостности, оставленности, чтобы захотеть НИКОМУ, именно так — Никому — рассказать об этом, самом своем внутреннем переживании?

Настоящий поэт рождается в момент онтологического одиночества, его стихи — письма в НИКУДА, НИКОМУ, НИЗАЧЕМ...

Да, все так и не так, потому что только в юности чувствуешь невероятное одиночество и... одновременно слияние с миром, словно еще не разрезана родовая пуповина, соединяющая тебе с мирозданием.

В ранних стихах Александра Ожиганова чувствуется такой удар током жизни, ее ужасом, тайной и прельстительной силой, что они способны переформатировать сознание того, кто обжигает ими.

Вот написала эти слова и поняла тайный смысл фамилии поэта — Ожиганов, ожог...

Родившийся в самом конце последней мировой войны, на земле, которая, как разменная монета, переходила из рук одних завоевателей к другим, выросший без отца и хлебнувший горечи полусиротства при живой и любящей матери, которая, чтобы прокормить в голодное время сына, работала воспитателем в детском доме, и сын был наравне с остальными воспитанниками, он рано и на всю жизнь почувствовал, как хрупка гармония, которую, по мысли Александра Блока, создаёт поэт из первородного хаоса.

Этим ужасом полны стихи первой Книги «Шестикинигия», этот ужас шевелится и дышит рядом с трепетной красотой мира.

Стихи первой Книги свободны от обязательств ученичества, они представляют выход поэта один на один с читателем, без опоры на весь культурный багаж, культурный слой. То есть в этих стихах — истинная кровь настоящего таланта, дара и словесного жара Александра Ожиганова.

Неприкаянность, равная свободе, прирожденное ощущение полноты скрытого от глаз бытия окружающей самодовлеющей Жизни, проступает в этих стихах через кожу рифм и ребра строк.

А про это острое ощущение жизнелетания, про жгучую смесь правды и вымысла или правдывымысла пишет в своей попытке автобиографии:

«В детстве я фантазировал. Вымысел не был неправдой. А правда не была констатацией фактов. Все было волшебным, и я мог часами смотреть на огонек керосиновой лампы или сидеть на корточках перед какой-то травинкой. Жизнь была ко мне снисходительна, даже нежна, но я едва выносил эту нежность, отсюда постоянные слезы. Стоило матери тихо запеть, и я уже начинал плакать... Грусть вечеров, пыль на дороге, прутик в руке, звуки оркестра, мычанье коров — все это опять вызывало слезы».

Это пронзительное чувство было его кровью, оно не истончалось, не исчезало со временем, и в стихах конца 60-х оно присутствует, как главный мотив, пульсирует и тревожит:

Октябрь, дружок мой золотой!
Я видел времени источник
Во сне предутреннем, за той
Грядюю звёзд и маятой
Пространств и выкриков истошных.

Где осыпается твой лес,
Пусть октябрём и я побуду!
Я б вместе с листьями исчез.
Прошу простое из чудес:
Нигде не быть и быть повсюду.

Вот, в сущности, по-тютчевски точное и по-ожигановски расширительное определение предназначения не поэта, а самого существа поэзии.

Это, непередаваемое никак иначе, кроме стихов, чувство слиянности с миром и неукорененности ни в чем, в сущности, и есть мироощущение настоящего поэта.

Есть в стихах Александра Ожиганова суровое презрение к сочинениям не чудотворным, не вдохновенным, а измышленным, ему присущ горький и сухой лаконизм, он не метафорствует лукаво...

В стихотворении 1979 года он, подобно иконописцу, точно, без лишних деталей творит формулу чудотворного стиха:

...как будто чудотворный стих
легко, презрительно и сухо
суровый ангел горьким ртом
оцепеневшим за столом
шепнул на ухо.

Вот и его лучшие, чудотворные стихи, нашептаны «горьким ртом»...

Однажды, в беседе с другом историком, я услышала мудрую и запоминающуюся формулу: «Историк — шпион, заброшенный в прошлое». Сказано было давно и не имело сегодняшней отрицательной коннотации. Но можно заменить слово «шпион» на «следопыт» и применить формулу к поэту и читателю: «Читатель — следопыт, заброшенный, нет — забредший в душу поэта». А если он проникает в её глубину, то и происходит самое важное, что-то похожее на переливание крови, но не в материальной, а в эфемерной субстанции, тогда становятся не важны жизненные обстоятельства, которые со временем уйдут в реальный комментарий к опубликованным стихам, а на первый план выходит нечто, определяемое как метафизика, как глубина понимания всего сущего, но свойственная именно этому поэту.

Возможно, Александру Ожиганову ближе всех других поэтов, с которыми свела его в пору юности судьба в Петрополе, были Олег Охупкин и Дмитрий Бобышев. Первый — по искренней привязанности дружбы и роли Вергилия, указывающего путь по кругам литературного Ада, второй — по глубине и сокровенности миропонимания.

Но были в юношеские годы и отложившиеся культурным слогом стихов «Шестикнижия», страстно переживаемые литературные привязанности, усваиваемые новые просодии, соблазны «свободного говорения» стихом, попытки усвоения «конкретного» письма, увлечение творчеством Александра Кушнера и его точной «вещественностью», свободным движением смыслов и ритма стихов Иосифа Бродского, который, кстати, сразу опознал в Ожиганове равного по духу настоящего поэта, метафорикой Виктора Кривулина,

любопытной повествовательностью Виктора Ширали, и... Можно продолжать этот великолепный список тех поэтов, которые были рядом и чьи голоса слышны в ранних стихах Ожиганова, но это не вопрос заимствования, а это — по формуле Пушкина — «твоя от твоих», равный от равных и современник от современников.

Читающий шесть ранних книг видит одновременно и явление настоящего поэта со своим голосом и сложным внутренним миром, и наблюдает его рост, если говорить высокопарно, взросление его музыки.

Да, он мог в порыве самоуничижения написать: «Было бы неостроумно ломиться в открытую дверь с увереньем, что я не поэт. Кого бы я удивил? Это же очевидно...», но, вопреки этому утверждению, живут стихи совсем юного человека, рано осознавшего свой дар и предназначение, остро чувствующего боль и немилосердность мира сего.

Как объяснить предпочтения славы, известности, кто знает, что нужно сделать поэту, чтобы его стихи были прочитаны вовремя и он стал «притчей на устах у всех»?

Возможно, нужно родиться и сформироваться экстравертом, а интровертам в России «не климатит»...

Но вот передо мной книга, выпущенная достойным издательством «Пальмира», чутким к поэтам, на обложке которой шестнадцать раз воспроизведена одна и та же молодая фотография Александра Ожиганова, возможно, не потому, что фотографий мало, а с мыслью, что настоящий поэт неделим на прошлое и будущее, и для читателей всех времен важно понять и прочесть самое главное в его стихах — посланиях, написанных и ненаписанных...

И возвращаясь на круги своя,
Я пью нездешний воздух Ленинграда
За несколько шагов от бытия,
За несколько стихов, которых я
Еще не написал. Их и не надо.
Ведь все, что следовало взять из сада,
Взяла сырого воздуха струя.

1973

Я прочла ранние стихи Ожиганова, получила их из рук друга и его, и моего — из рук Олега Охапкина, и «античный замес» в них мне показался могучим и неожиданным для холодного Петрополя...

Потом читала его стихи с восторгом в удивительном журнале, точнее, как нынче представляет себя это издание, «аналитическом вестнике современного искусства» — «Цирк-Олимп», издававшемся в Самаре, куда к этому времени перекочевал Александр.

Спустя много лет, в начале 2000-х, во время монтажа выставки «Поэзия в Самиздате», которую я придумала, собрала и в двух огромных клетчатых бебихах, в таких же, в каких мешочки перевозили тряпье, на своем горбу привезла еще в старое здание Фонда Солженицына на Радищевской, неожиданно пришёл туда Саша, Бог весть как узнавший о выставке и влекомый памятью о петербургском времени своей жизни, о друзьях, о братьях «по музе, по судьбам»... перебирал фотографии, рукописи, читал, перечитывал, говорил мало, да и был он не суесловен, а сокровенен.

Среди привезенных экспонатов была известная ныне фотография Бориса Смелова. На ней — четыре поэта: ККК (Константин Константинович Кузьминский), Виктор Кривулин, Виктор Ширали и Александр Ожиганов...

Еще живы были все, кроме ушедшего в 2001 году Виктора Кривулина. ККК — в американском Делавере, Виктор Ширали в Петербурге, Ожиганов в Москве...

Потом ушёл и ККК, затем Ширали, последним Саша...

Мы виделись еще несколько раз, он приходил на выставку Валерия Мишина, посвященную Евгению Замятину, в уже новый Дом русского Зарубежья — Фонд Солженицына, пришёл — и когда я читала стихи в Музее Серебряного века... Был добр и благожелателен, подарил свою последнюю книгу с пронзительно искренней и понимающей надписью, а в ответ на подаренную мою отозвался глубоко и щедро.

Он был долго болен, но старался перемогать болезнь, радовался приглашению, кажется, в Малаховку на авторский вечер, понимая, что это, возможно, вечер последний, отважился поехать на перекладных...

Но... По какой-то роковой «невнятке» его никто не встретил на перроне в Малаховке, а, возможно, в согбенном старике не узнали поэта Ожиганова... Всё... Саша с горечью написал об этой невстрече в ФБ, читать было больно... Мы с Валерой Мишиным звали его в Петербург, он надеялся, что это случится...

Но случилась иное — вышло «Шестикнижие», вышло в петербургском издательстве, так Саша вернулся в Петербург.

С обложки «Шестикнижия» смотрят на нас шестнадцать молодых фотографий большого поэта Александра Ожиганова, родившегося в Одессе, жившего в Кишиневе, Ленинграде/Петербурге, Куйбышеве/Самаре, Москве, а мечтавшего умереть в Петрополе, в его Летнем саду:

Среди сухих бледно-зелёных трав
В сыром саду, должно быть, я умру,
Как сумасшедший, горестно припав
Перед рассветом к серому бедру.

От ожиревших злобных голубей
До спиелей золотых и чёрных труб
Весь город, как родник, с ладони пей
Или плесни на побуревший труп.

Пусть потечёт гранитная вода
С твоей неловко поднятой руки
По опустевшей площади, когда
У медных лент увянут уголки.

О, пусть вберёт холодная рука
Летучее тепло души живой
Так же легко, как эти облака
Над осторожно стынущей Невой!

Дыши! живи! Здесь свет — изнанка тьмы.
Здесь жмётся жизнь между широких плит.
Здесь застывал в предчувствии зимы
На трепетных глазах сырой гранит.

1967



Олег СЕЛЕДЦОВ

/ Краснодар /

ДРУГУ ДЕТСТВА

Разбужен я давно забытой песней.
Лежу, грущу, не знаю отчего.
Ты пел её. Затейник и кудесник
Из детства моего.

Ты строил пароходы из газеты,
А из журнала делал самолёт.
Ты превращал, играя, осень в лето
И будни в Новый Год.

Ты двор наш заражал чудесным смехом,
В субботу прятал пятничных ворон.
Твой смех бежал по крышам горным эхом,
Как колокольный звон.

Бумажный самолётик реет гордо.
Гудит в гудок бумажный капитан...
А нынче ты ушёл в соседний город
Расклеивать туман.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Плачут листья дождями Августа.
Глаз коричневый щурит Сентябрь.
Лето, милое, стой! Пожалуйста!
В доках времени твой корабль.

Да, обманщик я, что поделаешь,
Но и ты обмануло меня —
Так дразнилось ты, но успел я лишь
Чуть хлебнуть твоего огня.

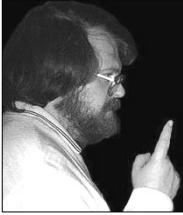
И сигналит пиратским парусом
Мне Октябрь из мятежных морей.
И далёкие звёзды Августа
Догорают в душе моей.

МОЁ СЕРДЦЕ

Я свидетель времён, я плыву по дороге.
Вот в крови мои губы и ноги в пыли.
Пусть кому-то кажусь я смешным и убогим,
У меня вместо сердца — Храм на Нерли.

У меня вместо лёгких — Долина нарзанов,
Вместо крови по венам течёт Ангара.
У меня по лицу — Бородинские шрамы.
А глаза укрываются в Покрова.

Где мне лечь при российской дороге, кто знает?
Что там Сириин пророчит, что ждёт нас в дали?
Чернью кружит над вечностью воронов стая.
У меня вместо сердца — Храм на Нерли.



Александр БАЛТИН

/ Москва /

ПАМЯТИ ПЕТРА МАМОНОВА

1

Царь беззуб и крив, тёмн лицом и актёрствует: актёрствует всерьёз, смертельно всерьёз; он захлебывается религиозным экстазом; он выкипает в молитвах, словно предчувствуя жуть, ожидающую его за телесным пределом; он возится с сироткой и наслаждается лютой людскою болью...

Мчат опричники по земле, мчат псы царёвы, готовые рвать народную плоть...

Царь, повелевший построить белое убежище, где можно схорониться после конца света; ведущий вдоль стен сиротку, чтобы показать ей самого лютого — Андрюшку-медведя.

Сиротка не боится их...

Царь Петра Мамонова держался на полюсах: и на мощи невероятного единства актёрской одарённости...

Странный, вибрирующий, как будто потусторонний голос.

Жестикаляция: в диапазоне от униженной, сгорбленной, жалкой, до — яростной, неистовой, кипящей...

Жуткий Царь.

Сыгранный так, что непроизвольно приходится думать о золотых страницах актёрского мастерства...

Пётр Мамонов был неистов в жизни: дважды выгнанный из школ: за устраиваемый цирк, сблизившийся с хиппи, дравшийся, получивший заточкой тяжёлую рану в грудь, выживший.

Создавший группу: для определённой субкультуры важную группу, ставшую знаменитой, прошедшую путь от квартирников до больших гонораров...

Это кажется второстепенным в сравнение с ролями, сделанными Мамоновым: в фильмах «Царь» и «Остров»...

...прозорливец, схоронившийся в монастырской щели; прозорливец, юродствующий, и предрекающий, согбенный и захлёбывающийся молитвами, знающий грех свой и живущий с бременем его...

...меня убить мало — а меня в святые возвели.

Словно из Достоевского: невозможная смесь Мышкина и Смердякова, Ставрогина и Алёши Карамазова.

Кажется, Мамонов сыграл бы блестяще такие роли...

...знаменитый рок-музыкант, пивший невероятно, как и положено, удалившийся в деревню, уже сыгравший в кино...

Выходящий зимний ночью на крыльцо: снег блестит, как выраженная запредельность, тишина вибрирует той правдой, к которой следует идти всю жизнь; алмазные и серебряные высверки заораживают, как строчки, приходящие в голову...

...глядящий в зимнюю ночь — в которой хочется раствориться: навсегда, до конца, чтобы прикоснуться к запредельному творчеству.

2

Метафизические стержни одиночества держат иные словесные конструкции П. Мамонова: больше предназначенные для исполнения, нежели для чтения:

Я часто встаю на бугор
И устремляю свой взор
На вершины далеких гор
На полей молчаливый простор
И я не скрываю, и я не скрываю, и я не скрываю
Восторг!

Слиться бы с пространством, с вершинами гор: с собственным восторгом, наконец!

Тугие кольца рока, понятого по-русски, сжимали тексты Мамонова: даже несмотря на некоторую расхлябанность, на содержание, где вороха жизни мешались с мечтами.

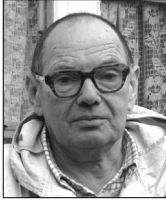
Внутреннее связано с внешним: когда не определяет его — здесь, конечно, метафизическая подмена, однако «Зима» Мамонова звучит убедительно:

Как легко представить зиму если холод внутри
Как легко возникают сугробы за моим окном.
И крики детей царапают коньками следы на стекле
И твердеют следы застывают узоры.
Как легко вспоминаются покрасневшие пальцы на этом ветру
Покрасневшие пальцы и поднятый воротник пальто
Да это зима это ее сугробы
Ее приметы за моим окном.
От холода, который вну-у-три вну-у-три

...это не совсем стихи: в классическом понимании с ориентацией на историю, на наиболее правильное интеллигентски-эстетское восприятие.

Это его стихи — Петра Мамонова, чьи актёрские работы в «Царе» и «Острове» останутся золотыми страницами...

Этим и интересны его стихи: дополнением к яркой жизни, имевшей много вех, и свои вершины; жизни рвавшейся и гудевшей, неистовой, приводившей к свершениям: жизни, дополнительно характеризующейся стихами.



Валерий СКОБЛО

/ Санкт-Петербург /

* * *

Не о легкой смерти, не о ней —
 Полной смысла... Смерть ведь и такую
 Может быть... Казни меня сильней...
 Уходя со смертною тоскою,
 Оставляя все свои дела —
 Малые... большие... никакие...
 Хочется поверить, что была
 Цель ее... Что были и такие
 Легкие судьбы моей шаги,
 Ведшие за край всего земного.
 От того, что видишь, не беги:
 Как от камня, по воде круги...
 Ты взыскуешь смысла? Нет иного.

* * *

Помню: снимали дачу у братских могил.
 Ночью бегал туда — такая проверка.
 Как я надеялся: хоть кто бы остановил.
 Даже не скрипнула в комнате ветхая дверка.

Зябко. От холода или страха знобит.
 Все собрались и подначивают: беги же!..
 Доску откинул, которой проход был забит.
 Явственно так у могилоч покойников вижу.

Медлишь, пока не хихикнет подружка вдруг...
 Тут и припустишь. Кто пожелал бы удачи?
 Воздух свистит, забываешь ты и про испуг,
 И про друзей, оставшихся позади... у дачи.

Бега минут на семь... или даже на пять.
Воздух сгустился. И вот, наконец, на месте.
Метку поставил, назад побежал. И опять
Воздух локтями месишь... точно ты в липком тесте.

Перед забором сам себе шепчешь: Постой!..
Доску на место приладишь так бесшабашно.
Ты забываешь ужас... легкий, внутри пустой.
Бросишь небрежно: Трусы... Это совсем не страшно.

Но про мгновение там... у могил... в ночи...
Среди оград, холмов, надписей полустертых
Память останется. Тогда ты и заучил
Намертво... навсегда: не стоит бояться мертвых.

* * *

Я... как бы это точнее сказать... не ропщу.
Что, если правде в глаза посмотреть, этот ропот?
Будь я Давид, вспыхнув, схватился бы за пращу,
Но — что я отнюдь не Давид, мне подскажет опыт.

Это так очевидно каждому, кто не слеп:
Сам я убогий, и ропот бы вышел убогий.
Телом ослаб, да и духом, увы, не окреп,
И не окрепну уже ни в борьбе, ни в дороге.

Скорее, Самсон, но остриженный навсегда,
Наголо, налысо... типа Самсона в отставке.
Все мною в вечность заброшенные невода
Принесли всякий хлам, вроде вялой морской травки.

Говоря попросту, смирился со всем, что есть,
С тем, что лишь капелька в месиве этом кровавом.
Но не забывший, что есть еще право на месть,
И каждый волен распорядиться святым правом.

* * *

В шестидесятые не было дезодорантов,
Редки были частные автомобили,
У Конституции не было даже гарантов,
А мы благоухали и как-то жили.

Не было вовсе ни мобильных, ни персоналок,
Документ нельзя написать было в Word'e,
Отдельных квартир было меньше, чем коммуналок,
И в чужом дворе получали по морде.

В Ленинграде не было напрочь тогда прокладок,
Ни рекламы их... ни вообще рекламы.
Девчонки были красивы, и сахар был сладок,
У ровесников — живы папы и мамы.

Я комсомольцем был... до этого пионером,
Такими были все кругом поголовно.
Так вот и жили... таким вот и жили манером.
Счастье?.. Не знаю. Так ведь оно условно.

Трава зеленее, и солнце светило ярче.
Люди добрее, много умнее книжки...
Рыбка спросила бы: Что тебе надобно, старче?
Хочешь назад?.. — Ни за какие коврижки.

* * *

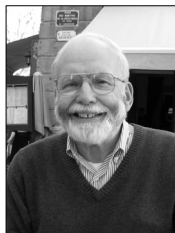
Грипп... или, как участковый доктор напишет, ОРВИ.
В самом начале. Как эти мгновения сладки.
Вирусы, без препятствий расплодившись в крови,
Носятся, как угорелые. Тебя трясет в лихорадке.

И под тремя одеялами не согреться никак.
Как состояние это назвать? — Лихоманка?
Надо же... Сладко тебе оно было, чудак.
В детстве болезнь называлась чудно и нелепо: испанка.

Что тебе чудится в жарком, точно парилка, бреду?
Свалка у выхода... школьная потная драка?
Весь разговор этот, знаешь, к чему я веду:
Кажется, детство вернулось? Оно не вернулось, однако.

Барри ШЕР

/ Ханوفر, США /



ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРЕИ

М. Л. Уральский и Г. Мондри. *Достоевский и евреи* / Предисл. С. Алоэ, Л. Сальман. СПб.: Алетейя, 2021. 888 с.: ил.

Тема Достоевский и евреи была предметом широкой дискуссии еще при жизни писателя. В последние десятилетия XX в. к ней вновь отмечался повышенный интерес научного сообщества, во многом инициированный книгой Дэвида Гольдштейна, называвшейся так же, как и рецензируемая нами книга «*Достоевский и евреи*» (*Dostoïevski et les Juifs. Paris, 1976*; в английском переводе *Dostoyevsky and the Jews. Austin, 1981*). В ней автором анализируются как художественные, так и нехудожественные тексты русского писателя, касающиеся еврейской тематики. Пафос книги выражен обличительный: Достоевский безоговорочно обвиняется автором в антисемитизме. Поскольку книга Гольдштейна с документальной точки зрения является очень информативной, уже только по этой причине она вызывает у читателя особый интерес. Однако аналитические выводы автора, касающиеся личности Достоевского в свете его отношения к евреям, заслуживают упрек в тенденциозности. В своих обвинениях Гольдштейн часто предвзят, поскольку в оценке тех или иных высказываний Достоевского о евреях и еврействе игнорирует их исторический и биографический контекст. Он также уделяет слишком мало внимания всестороннему анализу мировоззренческих идей писателя и художественным аспектам его произведений. В результате всего этого многие исследователи творчества Достоевского после знакомства с книгой Гольдштейна не только не посчитали поднятую им тему исчерпанной, но и были мотивированы обратиться к исследованию этих аспектов лично, чтобы прояснить их с большей научной объективностью, а то и с новых позиций.

Безусловно, самой исчерпывающей из таких работ является впечатляющая по своему объему и охвату материала рецензируемая книга Марка Уральского и профессора Генриетты Мондри. Авторы подходят с различных творческих позиций к обоюдному со-

трудничеству: Уральский — писатель-документалист, Мондри — ученый-славист. Однако они оба хорошо знакомы с проблематикой русско-еврейских культурных связей. Среди работ Мондри, релевантных для этой темы, являются книги «Розанов и евреи» (СПб., 2000), «Образы телесности: представление еврея в русской культуре с 1880-ых годов» (*Exemplary Bodies: Constructing the Jew in Russian Culture, since the 1880s. Boston, 2009*) и «Олицетворенные отличия: телесность и материальность еврея в русской литературе и культуре» (*Embodied Differences: The Jew's Body and Materiality in Russian Literature and Culture. Boston, 2021*). Со своей стороны, Уральский, начиная с 2018 года, опубликовал четыре книги из разряда нон-фикшн о русских писателях-классиках — Лев Толстой, Чехов, Горький и Бунин — и евреях, а также биографическое исследование о Марке Алданове (Ландау) — видном русском писателе и публицисте эмиграции еврейского происхождения: «Марк Алданов, писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции» (СПб, 2019). Во всех этих книгах Уральский с привлечением большого числа документальных источников описывает исторический контекст, в котором жили и работали писатели, анализирует их публицистические тексты, особенности мировоззрения, а также воспоминания современников, касающиеся их дружеских связей с евреями. Аналогичный подход применяет он и в рецензируемой нами книге, восемь из одиннадцати глав которой (т.е. примерно 700 страниц из 800 основного текста) написано им самим. В свою очередь, Генриетта Мондри свое внимание концентрирует на еврейских персонажах и реминисценциях, аллюзиях и прямых отсылках к еврейской проблематике в романах Достоевского. Ее подход — суть герменевтический анализ художественных текстов писателя, в котором она органично и ненавязчиво развивает известные концептуальные представления о полифонии (М.М. Бахтин) и семантической многоуровневости его беллетристики. Предисловие в книге М. Уральского и Г. Мондри написано двумя известными итальянскими учеными-славистами, Стефано Алоэ и Лаурой Салмон. В дополнение к общему обзору материала книги и оценки ее значимости они привносят информацию, которая, несомненно, будет для большинства читателей совершенно новой — в частности, сведения о рецепции творчества Достоевского идеологами итальянского фашизма. За основным текстом книги следует обширная библиография (почти 40 страниц!) и большой именной указатель, включающий в себя даты жизни и короткие биографические сведения обо всех упомянутых в ней персоналиях.

Первые пять глав книги создают необходимый фон для детального обзора высказываний и идейных представлений Достоевского о евреях, который проводится далее, последующих главах (с VI по VIII). В главах I–V основное внимание уделено личности Достоевского, его общественной репутации, той интеллектуальной среде, в

которой формировалось его мировоззрение, а также положению евреев в Российской империи в годы правления императоров Николая I и его сына Александра II Освободителя. Глава I книги, озаглавленная «Парадоксы и антимонии Федора Достоевского» ставит своей целью ознакомить читателя с особенностями личности писателя. В ней, как свидетельствует заглавие, акцент делается на различного рода противоречиях и странностях, имевших место в его поступках и образе мыслей. Как основной «парадокс» Марк Уральский, при явном согласии на то своего соавтора Генриетты Мондри, классифицирует то обстоятельство, что, несмотря на страстные призывы Достоевского к братской любви и его преклонении пред личностью Христа, он был типичным *ксенофобом*. Это качество его личности, как свидетельствуют документы, в частности, эпистолярный писателя, проявлялось не только в приватной сфере, но и на общественно-публицистической сцене. Не случайно Достоевский, единственный из всех русских писателей-классиков XIX в. (!), имел у современников устойчивую репутацию антисемита и полонофоба. Глава II посвящена детальному обзору восприятия Достоевского-писателя его современниками и ближайшими потомками. В ней обращают на себя внимание страницы, касающиеся высказываний писателя-историкософа Марка Алданова, автора емкого определения Достоевского как «черного бриллианта русской литературы». Точка зрения этого авторитетного в середине XX в. критика и мыслителя русского Зарубежья заслуживает, по нашему мнению, самого пристального внимания. В главе III освещается тема «Российские евреи в середине XIX столетия», причем делается это с особым акцентом на пореформенную эпоху и те изменения, что произошли тогда в еврейской среде. Отдельным предметом внимания в этой главе является также фактор роста антисемитизма, как в России, так и в Европе. Отмечается, что антиеврейские настроения формировались параллельно с усилением процесса эмансипации европейских евреев и включения их в общественную и экономическую жизнь своих стран.

В главе IV речь идет о формировании политических и социальных взглядов Достоевского, а также о его вкладе в общественно-политический дискурс пореформенной эпохи. После краткого описания роста славянофильского движения, большая часть этой главы посвящена полемике вокруг знаменитой Пушкинской речи в 1880 году. Приводимые сведения о критических нападках либеральных демократов на ура-патриотические идеи, заявленные Достоевским, и характере его высказываний в защиту своих взглядов, позволяют читателю уяснить мировоззренческое позиционирование писателя на поле идеологических баталий того времени. Глава пятая начинается с анализа «почвенничества» — интеллектуального движения представителей русского национализма, с которым ассоциируется имя Достоевского. В глазах современников оно представляло собой некую разновидность славянофильства. Как будет показано в после-

дующих главах, один из важнейших аспектов понятия «почвенности» является фактор предпочтительного выделения русского народа и православия по отношению к другим народам и религиям. В конце этой главы особое внимание фокусируется на Германии и Австро-Венгрии, где в то же самое время шли однотипные по характеру процессы этнического обособления, самовозвеличивания и национального экспансионизма («пангерманизм»). Их экстремальное развитие в XX в., породило такое чудовищное явление, как идеология германского национал-социализма. Хотя, как неоднократно подчеркивают Уральский и Мондри, Достоевский лично не имеет ни малейшего отношения к случившемуся, особый интерес и почитание его имени со стороны нацистских вождей делает необходимым постановку специальной исследовательской темы «Достоевский и тоталитаризм».

В главе VI, которая начинается с анализа антисемитских постулатов лидеров славянофильского движения в общественном дискурсе о «еврейском вопросе» 1860-х годов, предметно раскрывается острая линия книги. Здесь обсуждаются высказывания Достоевского о евреях в его личных текстах, в том числе письмах, где звучит не просто болезненная нота озлобленности на всех и вся, но и идея о евреях как врагах всего человечества. В последующей VII главе анализируются тексты Достоевского в «Дневнике Писателя», отзывы на них читателей и последующие ответы Достоевского. Ситуация здесь более сложная, чем в предыдущей главе, поскольку здесь — в публичной сфере, сам Достоевский декларативно отвергает обвинения в свой адрес, касающиеся его ненависти к евреям. В этой части книги Уральский обсуждает три основные критические идеи: (1) современники Достоевского однозначно воспринимали его произведения как нападки против евреев; (2) личное знакомство Достоевского с евреями по жизни было минимальным; (3) у Достоевского не было знаний об иудаизме, почерпнутых из авторитетных источников, а его мнения о еврейской религии в целом основывались на тенденциозно искаженной информации, предоставляемой различного рода антисемитскими изданиями. В главе VIII исследуются высказывания Достоевского о евреях и иудаизме, критически осмысленные после его смерти русскими философами — Бердяевым, Шестовым, Мережковским, Штейнбергом и т.д., историками литературы — Аркадием Горнфельдом, Леонидом Гроссманом, Михаилом Бахтиным, а также современными российскими и западными учеными. Диапазон анализируемых мнений в этой главе широк, начиная с прямых осуждений Достоевского и кончая мнениями, в которых основное внимание предлагается обращать на историческое прочтение контекста, его антиномические противоречия и многоуровневость мышления писателя.

В этих последних трех главах методология Марка Уральского очень плодотворна, ибо представляет читателю огромный источник информации, содержащий практически весь корпус работ ведущих ученых и мыслителей по теме «Достоевский и евреи». Безусловно,

как составитель и комментатор, Уральский играет определяющую роль в представлении материала и балансировке различных мнений. И хотя он всячески пытается избежать одностороннего подхода в окончательных формулировках, озвучивание им фактов преклонения нацистов и близких им по духу мыслителей перед гением Достоевского в совокупности с собственными юдофобскими высказываниями писателя, несомненно, не формирует у читателя книги привлекательный образ личности Федора Достоевского. Впрочем, и сам великий русский писатель отмечал в «Бесах», «что самые высшие художественные таланты могут быть ужаснейшими мерзавцами и что одно другому не мешает».

Хотя как рецензент я восхищен той огромной работой, что проделал Марк Уральский в своей части книги — всем тем, что ему удалось найти, собрать, объединить и представить читателю в одном тщательно обдуманном и всесторонне сбалансированном исследовании, мне представляется важным отметить и присущие его тексту недостатки. Все пять глав, где тема, обозначенная в заглавии книги, затронута лишь косвенно, занимают в ней более половины суммарного объема текста. Можно полагать, что специалисты, интересующиеся лишь материалом, относящимся к заявленной авторами теме, скорее всего, пролистают эти главы, которые, на мой взгляд, стоило бы сделать короче. С другой стороны, Уральский относит данную книгу к разряду научно-популярных изданий и этим оправдывает присущие ей в избытке пространные отступления. Хотя количество опечаток в тексте невелико, особенно учитывая размер исследования, некоторые из них стоит отметить. На стр. 73 Уральский пишет «трагическая смерть отца имела место не в детстве писателя, а в зрелом возрасте, когда ему было 28 лет». Однако Достоевский родился в 1821 г., а его отец был убит в 1839 г., когда ему было около восемнадцати лет. Закон, гарантирующий французским евреям официальное равенство в гражданских правах был принят в 1891, а не сразу же после Французской революции — в 1791 (стр. 283)¹. Мёллер ван ден Брук (Moeller van den Bruck) издал и написал вступление к переводам работ Достоевского на немецкий язык,

¹ Дорогой Барри, согласно Электр. еврейской энциклопедии: «В Европе процесс эмансипации евреев начался в годы Великой французской революции и был тесно связан с ее эгалитарными идеологическими основами. <...> Предоставление равноправия евреям рассматривалось Учредительным собранием 21–23 декабря 1789 г. при обсуждении вопроса о предоставлении активного и пассивного избирательного права. 28 сентября 1791 г. Учредительное собрание приняло закон о предоставлении евреям гражданских прав. Выступления депутатов Эльзаса, угрожавших погромами, если не будет принят одновременно декрет, улучшающий положение христианского населения, вынудили Собрание принять постановление о сокращении на одну треть долгов христианского населения евреям»: <https://eleven.co.il/diaspora/regions-and-countries/15501/>. Однако вполне возможно, что Вы располагаете более авторитетными сведениями...

но он не «перевел их» (стр. 442). Хотя некоторые источники свидетельствуют, что он был переводчиком, в действительности перевод был сделан Элисабет Каеррик (Elisabeth Kaerrick), писавшей под псевдонимом «E.K. Rahsin». И, последнее, один момент *pro domo sua*, касающийся сноски на стр. 676. Дэвид Гольдштейн закончил колледж Дартмут за несколько десятилетий до того, как я начал там преподавать, и после его смерти я был задействован в переписке, которая привела к передаче части его личной библиотеки в это учебное заведение. Однако я не знал его лично.

В части книги, написанной Генриеттой Мондри (главы IX–XI), исследование той роли, которую играют различные персонажи в беллетристике Достоевского, проведено всесторонне и исключительно тщательно. Даже в тех случаях, когда осведомленный читатель знаком с литературой на эту тему, многие из высказанных ею положений, несомненно, окажутся для него новыми. Так, обсуждая в последней главе один из самых болезненных у Достоевского в этическом плане, а потому постоянно анализируемых исследователями эпизодов из романа «Братья Карамазовы», где Лиза Хохлакова спрашивает Алешу, правда ли, что евреи воруют детей на Пасху и убивают их (ради крови), на что Алеша просто отвечает: «Я не знаю», Мондри, хорошо осведомленная о полярных точках зрения на сей счет, комментирует этот эпизод в широком контексте всех факторов, определявших отношение Достоевского к кровавому навету, показывая одновременно, как «неопределенный и даже беспомощный ответ: “Не знаю” Алеша соотносится с близкими ему темами в романе. По мнению Мондри: «Эта неопределенность находится в прямой оппозиции по отношению к реакции Алеша на историю о крестьянском мальчишке, на которого натравил стаю борзых русский генерал. Напомним, что в ответ на провокационный вопрос брата Ивана, надо ли расстрелять генерала в наказание, Алеша дал однозначный ответ: “Расстрелять!” <...> Исторический экскурс в Кутаисское дело объясняет то, что Достоевский ввел тему кровавого навета в роман, писавшийся во время судебного процесса, но никак не помогает объяснить решение вложить в уста Алеша такой охранительный ответ: “Не знаю”».

Рассматривая еще один знаковый персонаж, Исаю Фомича Бумштейна из «Записок из Мертвого Дома», Мондри, как и другие комментаторы, отмечает, что, несмотря на все стереотипные черты, которыми он наделен, и с учетом комичности самой ситуации изображения этого образа, Исай Фомич нарисован как *симпатичная фигура*. Все ее замечания об Исае Фомиче отличаются тщательностью анализа отдельных аспектов представления Достоевским этого персонажа. В частности, Мондри, скрупулезно исследуя источники, послужившие Достоевскому базой для создания образа, и все стереотипы характеристики еврея, собранные воедино в Бумштейне — а их множество, приходит к выводу, что Исай Фомич представлен

как «кариатура на карикатурные изображения еврея» (стр. 717; ср. стр. 727). Посредством образа Исаия Фомича, утверждает она, Достоевский выказывает живой интерес к еврейской религии, хотя описания молитвы содержат, конечно же, фактические ошибки (возможно, из-за пробелов в памяти, или отсутствия непосредственного знания еврейских ритуалов). Примечательно, что для подкрепления своего утверждения Мондри цитирует интересный и малоизвестный на Западе источник — раннюю и незаконченную статью знаменитого советского психолога Льва Выготского «Евреи и еврейский вопрос в произведениях Ф.М. Достоевского».

Особый интерес в части книги, написанной Генриеттой Мондри, представляет глава X, где она предлагает оригинальные интерпретации других персонажей в художественных произведениях Достоевского. Некоторые из этих образов в романах писателя появляются только кратковременно — как, например, еврей-пожарник, ставший свидетелем самоубийства Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Этот маргинальный персонаж давно вызывал интерес со стороны ученых, которые были заинтригованы и столь странной фигурой в шлеме Ахиллеса, и самим фактом того, что Достоевский выбрал еврея собеседником Свидригайлова в решающий момент его жизни. В своем анализе Мондри подчеркивает, что *фантомное* появление пожарника — это явление акцентировано в самом названии главы: «Фантомы и конспираторы: От Вечного Жида в "Преступлении и наказании" до шута-революционера в "Бесах"» — выполняет двойную роль. С одной стороны, он, судя по его попытке отговорить Свидригайлова от самоубийства, выступает как бы «добрый ангел», с другой — несет функцию чего-то *потустороннего* в изображении атмосферы Петербурга, в которой призрачное символически сливается с реальностью. Мондри постулирует, что еврей-пожарник представляет две интересующие Достоевского темы: одна этническая, присутствие евреев как древнего народа в российском социуме; и другая — религиозная, относящаяся к идее бессмертия души, которую разделяет как христианство, так и иудаизм. В последней части этой главы она рассматривает еще один персонаж еврея, который был детально разработан Достоевским в «Бесах» — «жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано». Схожесть образов Бумштейна и Лямшина, состоящая в их комедийности, давно показана в научной литературе. Однако Мондри находит некоторые дополнительные параллели и одновременно исследует отличия между ними. Они касаются не только отсутствия внешних еврейских характеристических черт у Лямшина, который упомянут как еврей только дважды в начале романа и не наделен такими стереотипными характеристиками, как Исай Фомич Бумштейн. «Его образ, — по ее утверждению, — вписывается в общий гротесковомедевиальный тон нарратива, где все персонажи, связанные с политической линией сюжета, так называемые "наши", подаются, по мет-

кому определению Мочульского, как "театр трагических и трагикомических масок". Модри предлагает весьма оригинальную трактовку образа Лямшина, в которой его постоянное шутовское актерство «выражается в сакральной тематике». Она показывает, что: «Актерские представления Лямшина хрестоматийно соответствуют карнавальному поведению: здесь есть тема человека, меняющего облик на животного, что есть вызов традиции установленных церковью иерархий. В его репертуаре присутствует момент профанации акта появления человека на свет. Лямшин также профанирует Пятикнижие, поскольку во Второзаконии 22:5 строго оговаривается, что мужчины и женщины не должны обмениваться ролями и «переодеванием». Лямшин также профанирует иудейские законы о чистых и нечистых животных в своем акте представления свиньей. Все эти темы свидетельствуют о том, что Достоевский придавал образу Лямшина большое значение. Заметим, что Лямшин святотатствует по отношению не только к христианским, но и иудейским религиозным ценностям и правилам. Этот момент исключительно важен для темы "Достоевский и еврейство", поскольку он подает Лямшина как еврея, который профанирует традиции иудаизма». По мнению Модри, более всего поражает в образе Лямшина то, что его поступки в конце романа можно рассматривать как *положительные*, ибо они не столько иллюстрируют его, как «мелкого беса», трусость и предательство, сколько свидетельствуют о моральном пробуждении, освобождении «блудного сына» от бесовского наваждения. Несомненно, не все согласятся со сложной герменевтической аргументацией Модри, но даже в этом случае ее выводы заставят исследователей по новому взглянуть на Лямшина, ибо Модри убедительна именно в том своем утверждении, что Лямшин персонаж *не* безнадежно отрицательный, а потому он отнюдь не «относится ко второму плану разных "мелких бесов", среди которых есть и другие инородцы, в частности, немцы, а заслуживает более значительного внимание».

Последние главы книги, принадлежащие перу Генриетты Модри, включают в себя продуманный и во многом провокативный анализ немногочисленных еврейских образов в беллетристике Достоевского. Достоевский создал всего только два значительных еврейских персонажа, и хотя, как показывает Модри, изначально они представлены негативно, в их изображении есть амбивалентность. Так, например, повествователь в «Записках из Мертвого Дома» декларирует свою симпатию по отношению к трагикомичному еврею Исаю Фомичу. Примечательно, что свои художественные произведения «патентованный юдофоб» Достоевский отнюдь не насыщает антисемитскими стереотипами, в отличие, например, от его английского современника Антони Троллопа, принадлежащего к числу «великих викторианских писателей». В таких его романах, как «*Бриллианты Юстыса*» (*The Eustace Diamonds*), «*Премьер-министр*» (*The Prime Minister*) и «*Как мы живем сейчас*» (*The Way We Live Now*), написан-

ных в 1870-х годах, клишированные еврейские персонажи встречаются сплошь да рядом. Отметим также, что ни один из еврейских персонажей Достоевского не отвратителен так, как «веселый старый джентльмен» Феджин в романе Диккенса «Оливер Твист» (в одном из своих последних публичных чтений в 1869 году, за год до своей смерти, писатель «очистил» образ Феджина от всех стереотипных карикатурных черт). Можно полагать, что если бы не публицистика и эпистолярный Достоевского, то изображение им еврейских персонажей навряд ли породило бы нечто большее, чем несколько сугубо научных статей, как в это имеет место в случае Диккенса и Троллопа, т.е. вряд ли было бы кем-то замечено как нечто «значимое».

Однако и статьи, и письма Достоевского существуют, и они, к сожалению, свидетельствуют о ксенофобии писателя, несмотря на его возражения, что он: «вовсе не враг евреев и никогда им не был», патетическое утверждение: «когда и чем заявил я ненависть к еврею как к народу? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда», и отговорки типа того, что: «слово “жид”, сколько помню, я упоминал всегда для обозначения известной идеи: “жид, жидовщина, жидовское царство” и проч. Тут обозначалось известное понятие, направление, характеристика века. Можно спорить об этой идее, не соглашаться с нею, но не обижаться словом» (sic!)¹. Мы, естественно, склонны относиться к выдающимся художникам как к «великим людям», но именно в этом качестве «идолов» они часто нас разочаровывают. Во второй половине XIX в., как и в последующем столетии, можно найти антисемитские высказывания у самых талантливых и, казалось бы, добродетельных представителей духовной элиты. Тем не менее, мы приходим на представления опер Вагнера, посещаем музеи для созерцания картин Дега и читаем романы Бальзака, Гоголя, Гюго, Диккенса, Троллопа, Достоевского, Джека Лондона и иже с ними. Мы признаем заблуждения гения, отрицаем презумпцию его непогрешимости и преклоняемся перед его талантом. В то же время, что особо примечательно в случае Достоевского, сам контраст между низостью помыслов личности и художественным даром гения является тем экзистенциальным парадоксом, который, безусловно, будет всегда поводом для рефлексии, анализа и публичного дискурса. Касается это и тематики рецензируемой нами книги Марка Уральского и Генриетты Мондри, которая на данный момент времени представляется нам всеисчерпывающим исследованием.

Barry Scher
Professor Emeritus of Dartmouth College

¹ Ср.: Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю... не обижается же! А. П. Чехов. На чужбине (1885–1886).



РОСТИСЛАВ ЯРЦЕВ

/ Москва /

ПЕСНИ САДА

Я не знаю, Мария, болезни моей.
Это сад мой стоит надо мною.

Ольга Седакова

1

створчатый сад сотню глаз открывает в себя,
где стрекочет рассвет, умирает земля —
почерк ищется раньше, чем пища сжирает смерть, —
карагач, земляника, ясень — сплошной просвет
и изгиб — нивяник, иволга ивняка —
хоровая сутолка тростника —
вайи папоротников: разлив, родник:
однодневный сквозняк одних —
и других безвозмездная мурава
вдоль зыбучего чрева рва.

2

— равенствие — странствие на весу:
как в него войду и произнесу
сухожильную полосу! —

на песчаных ветрах я полынный страх
и пустой головой трясу. —

3

там — железные двери навстяг, на спад —
закрывают скворчащий сад:

зарешечены женщины, скошен луг
глазомером вечерних служб.

колокольчики ощупью прячут стыд —
стороною в кусты, в кусты.

4

если выйти не уходя —
обойдёт беда
палисада забор,
не глядя на хруст;
гряда зарастёт сорняком —
и на смелость пошлёт
золотистый паслён труда
в огород —
вместе выйти не уходя

там
туда

5

время близко — и с облаками конец концов
и начало начала — и ночь и день —
перельются по саду из царских его сенцов
многоглазым лазом — слово и канитель.

и свирели зверей и птиц, тополей и трав
не отравлены будут, но выбьются к свету вод,
где ступенями пятится аду прохладный прах, —
и ягнёнок огнём их слёзы свои утрёт.

6

и вот, распустилось небо без дна, без дня —
сумеречный свиток, гневной звезды возня —
возникая, сквозит на землю —
и вот, земля
раздвигает горы,
долу язвит глаза.

7

— не страшись до смерти и не ищи еды.
се, имеющий ухо да слышит: богатый — нищ.

не горяч и не холоден голос в устах беды
бедняку. — что ты видишь? — иди и виждь.

8

там
туда

если выйти не уходя
палисада забор
обойдёт беда

где воркуют твои сизари
собирая сор
сотвори три зари
созови долговязый хор
без дорог и ветров с четырёх сторон

это будет земля без огня
это будет Он

9

опустела моя голова и трава мертва
у колючего рва на крови слова:

ты начало начала конца и конец лица
твоему агнецу подобает хвала отца

а иным саранча и бестия коей несть
во языцех смертных мертвых языков лесть

переливы молний
четыре его коня
отведи от меня
по воле твоей исполни

10

помнишь ли, Господи, как они умирали —
праведники Твои и честные овцы?
злаки Твои, птицы, былинки, люди,
низкие воды и мачтовые деревья.

вот мы глядимся в просветы оконной рамы —
липовый сад маковым полон звоном,
или за городом — кладбища, огороды —
помнишь ли, Господи, как они умирали?

я и теперь, заслышав их голос хриплый,
тонкие руки держу и дыханье прячу:
в дряхлый парник мои старики заходят,
молча гряды ровняют — и ждут заката.

11

створчатый сад и за¹ полночь не смолкает,
вьётся ветвями, тоскует, свистит и дышит,
звёзды в глазастом пруду окунает, студит,
гладит лозу и росу рассыпает всюду.

городом дальше тьма пробегает горше,
годом далече смерть прорастёт жесточе:
створчатый сад не откроет свои ворота,
вырастет город — и зарастут могилы.

выйти не выходя — и найти теряя:
здравствуй, блаженство срытого навзничь сада!
— где твоё жало, зверствующий старатель? —
спят мои травы,
лечат мои деревья.



Юрий КАСЯНИЧ

/ Рига /

СЕРДЦЕ ПРИМОРСКОЙ СИВИЛЛЫ

(листая новую книгу стихов Милены Макаровой)



В Санкт-Петербургском издательстве «Алетейя» издана новая книга стихов Милены Макаровой «Новая мифология». Книга, которую ждали долго. Даже слегка устали от ожидания.

Милена Макарова в первых декадах XXI века работает очень ярко и в поэзии, и в переводе с латышского, немало заметных проектов, авторских вечеров, публикаций. Ее стихи узнаются сразу. Прочитывается отточенный, с только ей присущим семантическим наклоном и эмоциональным нажимом, выверенный, но в чем-то сохраняющий таинственность *«почерк с готическим прошлым»* (42, Ю.К. — здесь и далее указание на страницу книги). Есть магия *«ослепительных пауз»* (63).

Есть зеркало слушающего зала, в котором она придирчиво и — часто — удовлетворенно оценивает возвращающийся к ней отклик, эхо, отражение. Есть словарь, нет, словари! — за нею залы времен и библиотек, фолианты и инкунабулы...

Считал взглядом название книги — «Новая мифология», и память немедленно и порывисто, привстав над легким и плоским велосипедом, покатила в давнее — в ранние школьные годы, когда на какое-то время чтением взхлеб стал томик Куна «Легенды и мифы Древней Греции».

По мнению словарей: мифология — способ сохранения традиций в изменяющейся действительности. И все-таки? И каковы же

они, новые мифы? Ролан Барт пишет: «И в древности, и в наше время мифология может найти свое основание только в истории, так как миф — это слово, избранное историей».

*

Ведомый любопытством искушенного туриста (ведь, согласитесь, чтение — это своего рода интеллектуальный туризм) я входил в эту книгу, как в незнакомый замок, вспоминая и сравнивая ощущения ожидания, когда вступал под своды других замков, будь то прянично-коричный магистерский Мальборк, резиденция крестоносцев в дельте Вислы, или аскетичный Кронборг, периметр которого время от времени обходит дозором тень отца Гамлета, или поставленный среди баварских гор безумным Людвигом внезапный Нойшванштайн, с балкона которого можно увидеть в лесном недалёке зеркальце настоящего Лебединого озера, или же феерично-эпатажный, а в чем-то архитектурно-кондитерский, что ли, дворец Пена в португальской Синтре...

Когда-то в отклике на поэтический сборник Лианы Ланги «Вещество взгляда» в блестящем переводе Милены Макаровой я писал: «Остается только гадать, сколько часов провела Милена Макарова вблизи балтийских волн, пытливым, стерегущим взглядом сивиллы всматриваясь в сырую полосу пляжа...» Поэтому мне изначально было понятно, что предстоящее путешествие вдоль строк окажется чем-то вроде занимательного скитания по замку, в котором сивилла слагает свои стихи. Я еще не знал, каков он изнутри, но уже понимал, что мне предстоит квест, что предстоит, преодолев себя и щекочущую под кожей тревогу, *«забыть на минуту, что в замках живут привиденья»* (42).

Уже в самом начале книги, стоило мне лишь пройти под аркой ворот, которая ощерилась над головой потемневшими от снега и дождя острыми деревянными зубьями, и оказаться во внутреннем дворе замка, как каким-то ошеломительным прорицанием, (впрочем, почему — ошеломительным, ведь — сивилла же), до смущения удивительно сегодня звучали строки, датированные 1995 годом: *«Порожденный страхом танец — то Европа в карантине...»* (27).

Стихи — всегда — хотя бы отчасти ясновидение, хотя бы на чуть-чуть, но алхимия. Поиски философского камня, панацеи...

*

Главная цель сформулирована поэтом уже в самом начале творчества, в канун миллениума, еще в первом сборнике, в «Амальгаме», стихи из которой, затевающие, предваряющие событие этой новой книги, ведут ко входу, словно ступеньки парадной лестницы замка: *«Какое-то зло переплавится в благо»* (17).

«Золото дней» (18) становится «золотом воспоминаний», чтобы впоследствии можно было, поглядывая в стрельчатое окно замка, на досуге *«судьбу развернуть как написанный золотом свиток»* (71).

Вознамерившись *«бродить по лабиринтам и петь в ночь полнолуния»* (106), я заметил подсказку: на мраморном столике лежала *«связка ключей, открывающих разные двери»* (47). С ключами куда как сподручнее...

В железных, покрытых аллергической ржавчиной времени запорах дверей, в стрельчатых сводах, куда подобно летучим мышам вспархивают тени, ощутимо жила — живет! — ностальгия по Ренессансу, самый воздух которого, кажется, обеспечивает существование этих стихов. Что это? Романтизация наших представлений о той далекой эпохе, которая подобно грядущим барселонским куполам собора Саграда Фамилия головокружительно взметнулась над историей последнего тысячелетия? Воспоминание о мире, в котором устанавливала свои страшные правила чума? О мире, зятанутом тяжелым смрадным дымом костров, на которых горели еретики и ведьмы? *«Душа переходит на шепот... Но все-таки я жива! Как погребенный заживо чародей...»* (70).

Сивилла умеет уноситься на машине времени своей фантазии далеко вспять — ведь, окунувшись в готический воздух Витербо, она, нимало не удивившись, ощущает, как ей навстречу *«раскрывает объятия Ее Возлюбленное Средневековье»* (92), с которым она, вне сомнения, знакома накоротке...

Ее стихи часто похожи на витражи. Которые скупясь пропускают внутрь стихотворения не слишком много солнечного света. Приглашенные готические мизансцены требуют крупных деталей. Пространство и время — это тоже помещения, интерьеры, где поэт совершает магические ритуалы, в которых свойственно отражаться мифам. Оттого в стихах непременно карильоны, грифоны, амулеты, алтари — эти атрибуты повседневной жизни сивилл.

Именно поэтому поэзия Милены Макаровой — изысканная, отточенная до блеска — контрастирует с современной речью: сбивчивой, торопливой, бессвязной — *«поколения нервный вокабуляр»* (78). Она порой бросает лексическую милостыню новейшему, «облому», времени: то *«ноутбук»* (51), то *«хай-тек»* (65), то *«девайс»* (124). Но каждое слово ее — как точная нота в партитуре мелодии стихотворения — на своем месте. Миф — это всегда немного пафосно, ибо сущность мифа — очередная попытка преодоления хаоса, это очередная попытка подняться в высоты космоса, оказаться ближе к таинственной колыбели творения. Впечатляюще звучат в авторском исполнении стихи, полные продуманных и обоснованных, *«звнящих лакун»* (56).

Мифы любимы и желанны, они подобно колыбели укачивают, убаюкивают, принося ощущение — пусть недолгое! — гармонии: и с человеком, что оказывается на расстоянии руки, и с обществом,

что на расстоянии окрика, где *«мы — куклы. Мы за все заплатим»* (117). И с космосом, что и на расстоянии взгляда, и далеко — везде, но который, волшебным образом уменьшившись до размеров пичужки, может оказаться на твоей ладони, доверившись тебе на то мимолетное время, пока поэт читает, а ты слушаешь стихи...

Иногда — строки, отзвучав, не рассеиваются, а остаются там, где им должно существовать: паря в воздухе над нами, как пророчество, отстраненное и печальное: *«Как же ярко светит Бетельгейзе... // После нас останется не слава. // Битое стекло. Пустые гильзы. // Шелковая ткань с пятном кровавым»* (84). Милена Макарова впервые читала это стихотворение в начале памятного 2014-го года.

Ей дан талант одним словом определить пространство поэтического текста. Бетельгейзе. Это яркая звезда, расстояние до которой не менее 500 световых лет, далекая, но различимая искусственным астрономом без посредства оптики. Масштаб, достойный поэта! Сивилла сдержанна в игре, *«где осколки льда или ожоги // притворяются звуками или словами»* (53), она понимает, что *«горе осилит молчащий»* (43).

*

Иногда стихи — почти заклинание, ворожба: сивилла, явно входящая в алхимическую гильдию, водит дружбу с гаруспиками и авгурами, умеет *«в листве услышать предсказание друида»* (118).

Хотя в ее стихах практически нет природы в традиционном смысле. *«Здесь птицы не поют, деревья не растут...»*

Лишь иногда — *«среди дубрав священная омега»* да *«горсть английской черной ежевики»* (119). А все остальное, замеченное где бы то ни было, вот, скажем, на октябрьском бульваре, становится по ее мановению или замыслу: либо золотом — клены, либо бронзой — каштаны. И поступает в ее казну, вместе с *«соверенами, дукатами, динарами, эскудо»* (18), потому что *«золото дней моих трачу столько безрассудно, // что даже страшно самой»* (18).

Кустарники, соцветия, мотыльки, метелки травы не живут там, где царствуют готический камень и магический огонь.

Птицы, звери крайне редко — разве что скрываясь от погони или ведόμεе лунным повелением — забредают в сдержанные пейзажи, где обитает поэзия Милены Макаровой, в пейзажи, в чем-то схожие с вулканическими ракурсами, скажем, канарского острова Лансароте, на котором Педро Альмодовар снимал эпизоды одного из самых ярких своих фильмов *«Разомкнутые объятия»*.

Если птица у нее — то непременно райская, если зверь — то, конечно, мифический дракон. Если розарии — то розарии кармы, которая непременно зацветает карминовыми розами с безжалостными шипами....

Направляясь в анфиладу залов, в глубине которых тьма *«чернее, чем в гадальных зеркалах обсидиан»* (51), я, конечно, опас-

ливо думал о том, что ведь может так произойти, что случится «споткнуться о тень, поцеловать привиденье, // фантом приголоубить, о призрак щекой потереться» (68). Однако все бестелесно-бессмертные обитатели замка лишь приветственно покачивались под касаниями воздуха, разбуженного моим движением, словно облака или парящие оболочки.

И еще я подумал, что, собираясь в магический замок, зря забыл написать «на подметках имя врага // и стирать его шаг за шагом» (106). Впрочем, — мелькнуло в голове, — я ведь наверняка вернусь сюда, и уж в следующий раз не забуду, если к тому времени враг не проплывет по ручью, как обещает фэншуй любому, прилежно и послушно сидящему на берегу.

*

«Холодно сердцу приморской сивиллы» (62), которая, созерцая людей и наблюдая за человечеством, вспоминая отметины на своей судьбе, полученные от одних и от другого, знает: «сердце — камень, конечно же, гряда большого базальта» (33). Но — тем не менее! — ей дано расслышать биение сердца — в камне. Александриты, агаты, янтари, сапфиры драгоценны не только для ювелира, где они выступают всего лишь сырьем, материалом, мне кажется, они еще более драгоценны для историка, ибо, созданные длительными процессами в толщах земных, говорят с ним на равных, ибо они — это пресуществленное время. Ведь историк, всенепреренно, еще и геолог, археолог... Историк (а ведь это специальность, особая сердечная расположенность поэта Макаровой, примыкающая к творчеству) зачастую присуще — и это отрадный талант — различать жизнь там, где иные, проскальзывая взглядом, не ощущают дыхания бытия, жизнь, настойчиво и неустанно ведущую свои дневники, летописи, блоги и хроники, жизнь медленную, еще от времен Большого взрыва, миллионнолетнюю, сокрытую от многих взоров и сознаний поверхностями — гладкой или шершавой, отражающей или матовой, запыленной табунами ветров или вылизанной псами ветров — крепостной стены ли, скалистого пейзажа ли, готической мостовой... Еще в первой своей книге сивилла недвусмысленно обозначила это свое магическое умение — «так алмазы живут в кимберлитовой мгле» (20).

В стихах Милены Макаровой как маркером эксперта помечено лучшее, высшее, вызвавшее восхищение, поклонение, случившееся и запечатлевшееся длящимся оттиском в истории культуры: Серебряный век, «Вечная весна» Родена, Кант, Рабиндранат Тагор, «Декамерон», лак Страдивари, куклы Гофмана. Любый из таких ориентиров, маяков немедленно выстраивает уникальные декорации, создает вокруг, как принято нынче, говоря с ковидным акцентом, «пузырь» соответствующего пространства, в котором ощутима и верхняя нота эпохи, и касающийся сердца

основной аромат эмоции, и длящийся шлейф ассоциативного ряда... Слова, избранные историей. Элементы мифа должны быть вечными, неизменными. Непререкаемыми.

Преодолев скрежет ключа, встретившегося с замком, толкая тяжелую дверь, она отворяется в темноту зала, прорезанную конусом вызывающе старомодного киноаппарата, — и передо мной разворачивается стихотворение «СИНЕМА» (113): мгновенно раскатывается красная ковровая дорожка Каннского кинофестиваля, по которой во второй половине XX века к лауреатству восходили и Федерико Феллини, и Ингмар Бергман, и Лукино Висконти, и Педро Альмодовар, и Ален Фанфан-Тюльпан.

Поэт взмахнет властной рукой, завершая стихотворение, и картина немедленно, неотвратно смешается, словно по мановению пальцев художника, рисующего песком, а строки на глазах изумленного читателя начнут угасать — fade out — и исчезнут, словно были написаны симпатическими чернилами.

Сивилла, любя *«играть словами не замечая // как слова уже играют тобою...»* (124), склонна давать новые формулировки аксиомам, которые вроде бы уже до блеска отполировало время. Скажем, выражение «Каждый умирает в одиночку» из стиснутого, сквозь зубы выдохнутого тезиса обретает бесконечные координаты далианского пейзажа: *«И ушедший в закат остается один»* (20).

В наше невзыскательное время, неудержимо скатывающееся, как детская коляска по ступеням Потемкинской лестницы Одессы в знаменитом фильме Эйзенштейна, к постмодернистскому стебу и брюзжанию по поводу и без, особенно отраднo читать прозаические фрагменты, каждый из которых начинается со слов «Я люблю...» Это стихи в прозе. Милена иначе не может.

*

Кому-то может показаться, что изысканный слог ее нарочит, словно встревоженный прохожий, что, возмущенный настоящим, испуганно оглядывается в прошлое, где многое было иным — ярче, чище, искренней...

Горы не высокомерны, они — just — горы, и комментарии излишни.

По сути, сивилла с усталой и, кстати, не слишком тщательно скрываемой иронией, в книге своей неспешно размышляет о том, что новая мифология (да и есть ли она вообще?) вряд ли достойна стать мифологией для грядущего времени, той мифологией, что пополнит (и пополнит ли?) новую Александрийскую библиотеку?

Ведь миф — это, согласитесь, прозрачный мир, в котором точно расставлены ударения и знаки препинания: там, где зло, — растет борщевик и от недобрых помыслов рушатся исторические памятники, там, где добро, во время цветения черемухи не ударяют

заморозки, а лишь становится прохладнее, и люди любят и понимают друг друга, мало того, что он, миф, грамматически безмятежен в своей правоте, так как своим нарративом он еще и порождает в нас мечту... А мечта, она — комета, сполох, зарница, что-то небесное, неуловимостью своей понуждающее нас стремиться к ней! А что у нас нынче? Пойдите к зеркалу.

Под силу ли новейшему времени сотворить новые скрижали? Куда ни обернись, добры молодцы с отбойными молотками дробят мифы. Невооруженный глаз замечает, что время нивелирующего постмодерна, взалхлеб, «по самое не хочу» ушедшего в сумрачную игру и передергивающего цитаты, время, в котором *«глянцевых манекенов не сосчитать в витрине»* (55), начало стесывать их, скрижали, переиначивать мифы, подгоняя формулировки под нынешние разрушительные стандарты, размытые безудержным плюрализмом мнений, делиться которыми не стыдится современный, теряющий базовые знания контингент, электорат или как там еще можно назвать эту массу, печально колышущуюся между *«быть или казаться»* (55).

Конечно, главный миф — это Любовь, у которой *«золотые зрачки»* (23). Он вечен, как мир. Есть ли она, любовь? Или нет ее вовсе? Способны ли мы постичь любовь? Способны ли мы достичь любви? Каждый прикасается к этому мифу по-своему, вплетая свое волоконец в нить бытия, а память о смерти делает эту нить более упругой. Помните, у Батюшкова: «Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд, где капля меду средь полыни...»

Эрос ходит на пару с Танатосом. «В слово "Танатос" вплетенное "Эрос" // Вспыхнет горячими каплями крови» (72). Так это было у Овидия, у Петрарки, у Лорки... Так и у Макаровой: *«душа ... словно рифмуется неловко — "эрос — танатос"»* (74). Любовь побеждает, ибо в ней — до тех пор, пока роботы не убедили нас в ином — корень жизни, ибо *«душа — забытая Даная — // от дождя проснется золотого...»* (103).

Да и какую иную силу, кроме пронзительной искренности и магической глубины, поэзия может противопоставить нынешнему хаосу рассыпающихся чувств и испаряющегося рассудка?

Именно поэтому на страницах книги — Теночтитлан, Летучий Голландец, Латинский квартал, перстень Нерона, капиталийская волчица, Великий потоп, Шервудский лес, капитан Немо, Макиавелли, Артур и Ланселот...

Все должно быть по гамбургскому счету. Пускай он и оплачен уже давно, великими, еще тогда, на исходе Серебряного века! О чем обмолвились? Звезда с звездой говорит? Ну, это вы, право же, шутить изволите, когда это было — совсем-совсем тогда... А для нынешних — так просто никогда...

Сивилла, так а что же здесь и сейчас? Хозяйка замка, словно Джулия Ламберт, тянет ослепительную паузу.

Слегка запыхавшись, я скорым шагом устремился в последний зал, в дальнем углу которого бледно, как теряющий электрические силы фонарик, мерцал выход к берегу, и почти увидел в испаряющемся с поверхности огромного зеркала отражении, как сивилла, намерившись выйти из замка, убирает *«со стола // ту рукопись, что стала Мной»* (50). Мне осталось оставить связку ключей на инкрустированной полке открытого бюро и последовать в открытый проем, откуда, окликаая, тяжело шумело море и тянуло влагой. И мне стало ясно, что *ТУ рукопись, написанную гиацинтовыми чернилами, «которыми из-под земли пишут письма Аполлону»* (89), мы еще не прочитали. Потому что *«счастье осилит живущий»* (43)!

Ощущая на лице прикосновения византийских ветров, она идет вдоль скупых прибрежных пейзажей одиночества: порой вдоль январской кромки затаившегося холодного Балтийского моря, которое *«колышется... как серебристый от снега рахат-лукум...»* (57), порой вдоль прихотливо изломанных киммерийских скал *«среди полынного зноя, где бродят античные тени»* (59).

Выйдя из замка, я увидел, как сивилла, *«вечная женственность, приговоренная // к вечному отчаянному мужеству»* (86), прихотливо дернув плечом, стряхивает боль-тоску-печаль по серебряным-золотым векам, и, не оглядываясь, скрывается за изгибом берега, потому что *«бьется сердце в ожидание слов, // еще неслышных, словно ультразвук»* (51), потому что там, за поворотом случившегося полдня, где *«бирюзой грохочет море»* (45), можно вслушаться в диалог волны и камня, времени и пространства.

Под патронажем вечности.

Рига, 2021



Б. КОНСТРИКТОР

/ Санкт-Петербург /

ЗЕТ

(предрецензия)

Прочитанная с подачи Бориса Останина корректура фрагментов его будущей книги «Догадки о Набокове» произвела на меня нестандартное (впрочем, как всегда у этого автора) впечатление.

В мире что-то основательно треснуло. Это уже не чеховская струна лопнула, а мифологическая черепаха ожила. Поэтому многое, вчера казавшееся безусловным, обрело свою неприглядную условность. Трагикомическая ситуация порождает всё новые способы реагирования на меняющуюся «реальность». Особи, которых перманентные треск и скрежет зубовой ноосферы наиболее достали, ищут адекватные формы для их воспроизведения — см. два тома «Дребезгов» Бориса Останина и мою мини-рецензию: «Крещатик» 2020, № 3 (89). С. 339–340. Ныне для передачи этих тектонических процессов автор покусился на академическую филологию.

Сделав предметом своих штудий Владимира Набокова, он умудрился сообщить об этом писателе минимум общеизвестного, но зато пыльным цветом распускаются импровизации вокруг этого американо-русского феномена, обозначаемые знаком Z. Останин свингует, не настаивая на достоверности своих догадок. «Действительность» — повод для создания разной степени совершенства музыкальных пассажей, запечатлённых словами.

Ещё это контрреакция на добросовестное литературоведение, столь неустанно исследующее исподнее своих героев, что в результате оно превращается в тряпье.

Останину малоинтересно возиться с этими лоскутками. Вообще автор смотрит *боковым* зрением на предмет штудий. Последний не в фокусе. В фокусе малые вибрации вокруг порхающих в его сознании мотыльков набоковского ареала. И кто поручится, что они были (или что их не было)? Ведь постулат «никогда не говори *на самом деле*» не отменён.

Z — это не только эпитафия герою книги, но и всему человеческому роду.

5.09.2021

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства

И. Савкин

Дизайн обложки *И. Граве*

Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство «Алетейя»,
192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д. 86 А, оф. 536, 532

Подписано в печать 10.11.2021
Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 27
Печать офсетная. Заказ 315

Мы – в неустанном поиске новых имен, неизвестных авторов, где бы они ни жили – в Киеве, Петербурге, Израиле, Нью-Йорке или Мюнхене, мы – перенесенный в ментальное пространство проспект, как бы он ни назывался в каждом городе, где когда-то завязывались великие дружбы, писались великие стихи, происходили знаменательные встречи...



В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:

